

НОВОСТИ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7 (903)

Июль, 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЕЛЕНА ШВАРЦ — При черной свече, стихи	7
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Нам целый мир чужбина, роман	14
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ — Море, которое не переплывет никто, стихи	74
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ — Ложка супа, маленькая повесть	77
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ — Мираж у Геммерлинга, рассказ	90
АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ — Раздоры бытопорядка, стихи	105
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Бабе Ане — сто лет, рассказ	110
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — С выходом на Волхонку, стихи	119
БОРИС ЕКИМОВ — Память лета, короткие рассказы	124

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ КОСТОМАРОВ — В ряду поколений	135
---------------------------------------	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — Из книги «Мегабитовая бомба». Перевел с польского С. Ларин	156
--	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — «Квартирный вопрос» может нас испортить	166
---	-----

МИР ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Традиция без слов. Медленное в русской музыке	173
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Евгений Носов. Из «Литературной коллекции»	195
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Быков. Камера переезжает	200
Юрий Кублановский. Поэтическая Евразия Семена Липкина	204
Олег Мраморнов. Страсть к целому	207
Мария Виролайнен, Мелвар Мелкумян. В поисках «русской картины мира»	211
Ирина Роднянская. Философская «собака, зарытая в стиле»	216
Павел Крючков. Вся «Чукоккала» и «Весь Чуковский»	223

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО	228
---------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	234
Периодика (составитель Андрей Василевский)	238
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	249
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА АЗОЛЬСКОГО
С 70-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА МАКАНИНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!**
Одно из премированных произведений Владимира Маканина —
«Кавказский пленный» — было напечатано в «Новом мире»
(1995, № 4).

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА КИМА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
«МОСКВА-ПЕННЕ»!**
Премированная повесть «Стена» была напечатана в «Новом мире»
(1998, № 10).

ЕЛЕНА ШВАРЦ



ПРИ ЧЕРНОЙ СВЕЧЕ

* *
*

Так надрывно и длинно вопил паровоз
(Он по небу развозит пар).
Он промчался, взывая, чрез сердце мое,
Чрез его опустевший вокзал.
И потом он так долго кричал в полях,
Источая с одышкой пар,
Только волк за болотом подхватил этот вой,
Потому что он зол и стар.
И всю ночь я душила душу свою,
Как снимают со свечек нагар,
Представляя дрожащие рельсы и даль
И к Хабаровску мчащийся пар.

Разговор с кошкой

«Я выпью, а закусишь ты», —
Я кошке говорю, а та
Мне отвечает торопливо
Ударом пышного хвоста.
«Пусть плачущие будут как не
Плачущие... Кто, кошка, так сказал? Не Петр?»
Она не отвечает мне,
Упорно молча гложет шпроту.
От мертвых нет вестей, а странно...
Из смерти ль трудно вырыть лаз?
Она понурившись мурлыкнет,
Но зорких не отводит глаз.

* *
*

Мы с кошкой дремлем день и ночь
И пахнем древне, как медведи,
Нам только ангелы соседи,
Но и они уходят прочь —
Нам не помочь.

Шварц Елена Андреевна — известный петербургский поэт, эссеист, прозаик. Автор нескольких поэтических книг, вышедших в России и за границей (см., например: Шварц Елена. Стихотворения и поэмы. СПб., «ИНАПРЕСС», 1999). Лауреат премии «Северная Пальмира» за 1999 год.

Кругом бутылки и окурки,
Больная мерзость запустенья.
В нас нет души, лежим как шкурки,
Мы только цепкие растенья,
Нам нет спасенья.

Дурман, туман, ночная ваза,
Экзема, духота — все сразу,
И время не летит (зараза),
А словно капля из пореза,
Плывет не сразу.

О нет — не только голова,
А все кругом в табачном пепле,
Тоска в лицо влетает вепрем,
Ум догорает, как листва
По осени. Конец всему?
И мне, и горю моему.

Саламандра

Саламандра нежится в огне,
Дымом дышит,
Пьет золу.
Жарко ей и больно ей в воде,
В воздухе ей душно —
На земле ей скучно.
Ты одна — насельница огня,
Ты живешь и в сердце у меня.
Кровь мою закатно золотит,
Память мою пепельную ест.
Поживи еще — душа горит,
И горит и не сгорает крест.

Самоубийственное море

Когда выплачешь море,
То и кончится горе.
Едкое из глаз сочится
По слезинке в час,
Будто хочет броситься в землю,
Вылиться через нас.
Горькое на вкус, теплое для уст,
Но вот уж источник пуст.
Лилось оно, сочилось,
Кончилось — нет его.
Тут все, что было на дне, в глубине
Прихлынуло тоже ко мне,
Все его осьминоги,
Кораллы и камни
Толкают изнанку глаз,

Хвостами, мордами злыми
 И выскочат вместе с ними.
 Почему с моими?
 В каких же ты было, море,
 Погибельных местах,
 Что решило вдруг раздробиться
 В человеческих скудных слезах?

Трактат о безумии Божьем

Бог не умер, а только сошел с ума.
 Это знают и Ницше, и Сириус, и Колыма.
 Это можно сказать на санскрите, на ложках играя,
 Паровозным гуденьем или подол задирая
 (И не знают еще насельники рая).
 Это вам пропищал бы младенец шестимиллиардный,
 Но не посмеет, сразу отправят обратно.
 Но на ком же держатся ночи, кем тянутся дни?
 Кто планет и комет раздувает огни?
 Неужели ангелы только одни?
 Вот один, как бухгалтер, не спит, все считая
 Мириады, молекулы. Только затея пустая.
 И другой, подхвативши под руки птицу,
 Скачет, смеется и странно резвится.
 Может, и ангелы?
 Подкожной безуминкой вирус и в солнце и в сердце.
 Если вся тварь обезумела, Творцу никуда уж не деться.
 Мира лопнула голова.
 Холодно стало в раю. Морды кажут слова,
 Их пропитанье — дурная трава.
 И только надежда на добротолубие тех,
 Кто даже безумье священное стиснет в арахис-орех.

Трактат о нераздельности любви и страха

Глухой: Бомба ли разорвется,
 Подумаешь: «Я оглох».
 (Не входи в темную комнату,
 Не зажигай света,
 Там может быть Бог.)

Слепой: Если вдруг что-то вспыхнет,
 Подумаешь: «Я ослеп».
 И превратишься в сияющий,
 Но заколоченный склеп.
 Тогда и входи в комнату,
 Зажигай оранжевый свет,
 Бога там больше нет.
 Он теперь весь внутри,
 Вы одни в темноте.
 Нищете, тесноте...

Смятенье облаков*С. Ивановой.*

На теплой выжженной траве
Не час, не два,
Не жизнь, не две...
Вздуваясь кругло, облака ходили будто корабли,
И вдруг промчалось низко так
Одно, дымящее как танк,
И унесло с лица земли.
Кружась, смеясь, летела я
В пустыню дикобытия,
Как лист с дерев.
Где нет дерев.

Потом на облаке другом
Я возвращалась в старый дом,
Смотрела сверху на траву,
Завидовала муравью,
Что он не плачет.
И муравей в траве привстал,
И бронза щек его — кимвал,
И сердца каменный кристалл
В нем лязгал глухо и сверкал,
Он ожерелье слез сухих
Чужих перебирал.

А я валялась в облаках,
В стогах пышнейших,
На бело-розовых полях
Нежнейших
И, как дельфин, вращалась в них,
В шафранных, апельсинных,
Набитых пеною густой
В их парусах, перинах...

На ярко-розовом клочке
Повисла и носилась,
В космический пустой карман
Оно клонилось.
И запах облаков пристал —
Он стойкий, громкий, будто мухи,
Он пахнет мокрой головой
Отрубленной черемухи.

Смерть вяжет

Что ты умрешь — ужели вправду?
Кто доказал?
Чужие руки прикоснутся
К твоим глазам.
И не польется свет оттуда
И не туда,
Лишь тихо шепчется с землею
Твоя руда.
А смерть подкинет на колене

Шаль иль платок
 И вот — ко всем тебя привяжет,
 Вонзив крючок.
 И вот тебе уже не больно,
 Вдали юдоль...
 Смерть машет спицей, недовольно
 Ворча: мол, моль.

Черная моль

Книгу жизни в середине открыть,
 Если боль — там чудесная боль,
 Но уже в корешке затаилась
 Черная жирная моль.

Лучше бы в море ее бросали,
 Лучше б разъела едкая соль,
 Чем эта — жрущая с конца и начала
 Ненасытимая моль.

О, теперь я узнала тебя!
 Это ты торжествуешь, проклятый, —
 Ангел смерти, тупой Самаэль,
 И твои слепые солдаты.

Времяпровождение № 3

Над ядром земным, обжигая пятки, пробегать,
 Рассыпаясь в прах, над морями скользить,
 Солью звезд зрочки натирать
 И в клубочек мотать жизни нить.

Сколько слез! Сколько жемчуга!
 Надо глотать их!
 В животе они станут пилюлей бессмертья —
 Это круг моих ежедневных занятий.

Говорить всем сразу — сюда! И — прочь!
 Левым глазом читать, а правый
 Скашивать вправо. Вот, право,
 Это все, что я делаю день и ночь.
 Потеряю во тьме свое имя
 И охриплым голосом стану петь я,
 Все забуду и снова вспомню,
 И друг друга толкают мои занятья,
 И упорствовать в том, что ночь не для сна —
 Для него нашатырный настойчивый день.
 И всегда не сама, и всегда не одна,
 Как небесное облако, ширится лень,
 И смотреть, как пульсирует жилка в запястье
 И в нем кружится жизни моей колесо,
 И как белка всегда торжествующий враг,
 Почему-то я в его власти...
 Вот собака бродячая, как несчастье,
 Я не Бог — я жалею собак.

Астрология

Сатурн с Меркурием сойдутся —
И ваши вены разорвутся.
А Марс под Львиный хвост вопьется —
Война нещадная начнется.

Как странно — миллионы нитей
В одних и тех же сходятся руках!
Бессчетность маленьких событий
В морях и кровавых тельцах
Сокрыта в пляске огненных шаров,
Всего лишь девяти...

А тот, кто играет звездами,
Играет одной рукой,
Смотрит глазом одним,
Об этом странно думать под небом дневным,
Когда безмятежен лазурный покров,
За его голубыми волнами
Ходят парами звезды, тащат улов,
Разноцветными взблескивая глазами.

* *
*

Мне моя отдельность надоела.
Раствориться б шипучей таблеткой в воде!
Бросить нелепо — двуногое тело,
Быть везде и нигде,

Всем и никем — а не одной из этих,
Похожих на корешки мандрагор,
И не лететь, тормозя, как дети
Ногой, с невысоких гор.

Не смотреть из костяного шара в зеленые щели,
Не любиться с воздухом через ноздрю,
Не крутиться на огненной карусели:
То закатом в затылок, то мордой в зарю.

При черной свече

С помраченным сознанием
Статью о цветах напишу
И, осыпавшись пеплом,
Увядшею розой дышу.
А потом через город
Плестись, иль бежать, иль ползти
Через трубы подземные,
Повторяя: прости!
Так и ворон подстреленный
Машет последним крылом,
Хоть и стал уже дымом
И черным в небе цветком.

Я клянусь перед страшной
Черной свечой,
Что я Бога искала всегда,
И шептала мне тьма: горячо!
Распухали слова изнутри,
Кривились тайным смешком,
Я в слезах злою ночью
Обшарила дом,
Надрезала Луну
И колодец копала плечом,
И шептала вдогонку белая тьма:
Вот уже, вот уже горячо!
Только сердце в потемках
Стояло мое за углом
И толкалось, как прорубь,
Расцветая черным цветком.



АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ



НАМ ЦЕЛЫЙ МИР ЧУЖБИНА

Роман

Лапин так и остался рассчитанно скучающим брехуном с веселой бесноватинкой в черных глазах и яростной запятой эспаньолки: Коноплянников завязался с англичанами, фунты сыплются пудами, требуются крутые вроде меня (предание все еще числит меня крутым), а ему, Лапину, не разорваться же — одной задницей на два очка не сядешь, — и ринулся в трамвай с исполинской сумкой в фарватере. Но палец, поманивший из канувшего, все же взболтнул во мне давным-давно осевшую мать, которую психиатры именуют бредом значения: все, как в юности, снова сделалось захватывающим и словно бы усиленно намекающим на что-то. Правда, у метро тогда не раздавали листовки «Собаководство — это судьба» и «Встреча с духовным учителем» — борода, тяжелый недоверчивый взгляд. Напоследок сунули еще что-то православное. Зато озабоченный Кутузов по-прежнему утопал в банных складках перед величественным порталом Казанской колоннады, обрывающейся в гранитную Канаву, куда немедленно всплыла из Леты в исчезнувший ныне латунный пяточок исполинская, вялая пивяка, на которую я, ошалевший от прикосновенности к великому пацан, тарасился тоже не без благоговения.

Пот, пот — за этой недвижимой жарой явно ощущалась чья-то издевательская воля, — я так и не возвысился до верховной научной мудрости: естественно все, что есть.

А медный Кунктатор, пересидевший Наполеона, и нас не моргнувши глазом перестоял. Когда я вспоминаю, что мне уже пятьдесят, я съеживаюсь в зачуханного неудачника, ибо в моем нынешнем мире не существует свершений, достойных этой цифры. Я начинаю перечислять себе, что я доктор, профессор, главный теоретик лакотряпочной отрасли, но мне все равно становится стыдно проявлять какую-то оживленность, любезничать с женщинами... А я, как нарочно, большой бодрячок, меня страшно изматывает узда мрачноватой невозмутимости.

Адмиралтейская игла поблескивала сквозь прозрачное одеяние строительных лесов. К Коноплянникову было еще рановато, и я присел в Сашкином садике рядом с типичной старой ленинградкой. Фирма IBM готовила для Интернета седьмое поколение компьютеров — эта газетная сенсация поглощала старушку с головой. Напротив, через аллею, багровый провинциал глотал из горлышка пиво, пополняя бегущие с него потоки пота. Когда он поставил пустую бутылку на землю и взялся за следующую, старушка не без

Мелихов Александр Мотельевич родился в 1947 году в г. Россошь, детство провел в Казахстане. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета. Автор пяти книг прозы и многих журнальных и газетных статей. В «Новом мире» опубликовано два романа — «Изгнание из Эдема» (1994, № 1) и «Роман с простатитом» (1997, № 4 — 5). Лауреат премии Союза писателей С.-Петербурга и Петербургского ПЕН-клуба. Живет в С.-Петербурге.

Журнальный вариант.

грации просеменила к нему, с полупоклоном подхватила бутылку (в кошелке звякнуло) и вновь погрузилась в Интернет. Подошла другая типичная ленинградка, тоже в детской панамке: да, с пятьдесят второго, нет, пятого года такой жары не было, но Алевтина Николаевна, куда же вы, простите, смотрите, вы видите, что он делает, — взял и пошел! Нет, но какие пошли бесцеремонные, невоспитанные люди — чтобы ни у кого не спрашивая... смотрите, смотрите, еще одну схватил, еще!..

Бомжистый мужичонка с котомкой через плечо бодро, как грибник, перебегал от скамейки к скамейке, время от времени подхватывая пустые бутылки, заглядывая в урны, словно в собственный почтовый ящик. Я не почувствовал ни сожаленья, ни печали — что ж, значит, такая теперь пошла жизнь. Смотреть в лицо самой ужасной правде, мириться с неизбежным — сегодня единственный для меня вопрос чести. Вот только с этой идиотской жарой, разъедающей неиссякающим потом все самое сокровенное, я никак не могу примириться — не могу поверить, что и у нее есть какая-то неустранимая причина.

Произнести слово, не измусолив трех монографий, кого-то недослушать, чего-то недочитать — подобные вещи вызывают у меня чувство совершенной гадости. Но, общаясь с людьми, свободными от пут добросовестности, не делать подобные гадости невозможно — поэтому я стараюсь избегать людей. Господа, обожающие настаивать на своем, гордящиеся независимостью своих мнений, для меня гораздо отвратительней удивительных личностей, обожающих красть у друзей и гадить на видном месте. Вступая в спор, большинство людей стараются не узнать что-то, а защититься от знания — перекричать, обругать, заткнуть глот...

Стоп, не заводись, не позорься — таков мир. Вместо того чтобы расчесывать болячки, достойнее будет хотя бы поинтересоваться, чем недовольны еще и собачники. «В последнее время обострилась политическая борьба в высших сферах собаководства... Простые собаководы в растерянности... Утрачен контроль за вязкой... Плоды племенной работы многих поколений...» Все везде рассыпается в пыль, когда каждый становится сам себе высшим судьей. Личность осознала свои права, еще не сделавшись личностью, ее начали защищать прежде, чем она доказала, что стоит защиты: гуманисты, дабы не отвлекать энергию от освещения частных квартир, принялись разрушать электростанции. Человек высшая драгоценность уже за одно то, что умеет жевать и сморкаться! Все должно служить человеку, и только он ничему не должен служить, и он это быстро просекает: любое усилие ради другого превращается в непосильную обузу. Казалось бы, уж какой кайф — любовь! Но — риск неудачи, столько хлопот, чтобы завоевать, а с победой новая ответственность: кормить, защищать... Нет, спокойнее оставить от любви голый секс. Но ведь и там обязанности: нужно хоть на полчаса ублажить и другого — лучше перейти на мастурбацию. А самые передовые уже дотумкали, что и мастурбация все-таки труд: еще проще вколоться — и иметь полный кайф сразу и без хлопот.

Спокойно, спокойно — нужно только увериться, что мастурбационные тенденции нашей культуры неотвратимы, как смерть, и тогда я немедленно заставлю себя смириться: самоуслаждайтесь на здоровье, если уж дело вас больше не цепляет. Эта мегатонная сосулища нарастала веками: скажи древнему греку, римлянину, галлу, арабу, что он обязан служить не семье, не роду, не Богу, не государству, а себе лишь самому... В былые времена боевые песни слагали и горланили не для того, чтобы раздухариться и разойтись: их пели, чтобы воевать, — ни о каком искусстве для искусства никто не мог и помыслить, все гимны и хороводы чему-нибудь да служили: богам, плодородию, свадьбам, похоронам... Но вот культура объявила себя своей собственной целью, ценности деяния были пережеваны ценностями переживания — так истощившийся распутник, уже не способный на страсть к реальной жен-

шине, начинает задрочиваться до смерти: долгий дрейф от эпоса к лирике сегодня завершается стремительным спуртом от индивидуализма к героину. Алкаш, торчок, шизофреник — окончательное торжество духа над материей, мира внутреннего над вульгарным внешним. Что общего у наркомана с романтическим лириком? И тот и другой считают высшей ценностью переживания, а не презренную пользу.

Жизнь и добросовестность — непримиримые враги. Абсолютно добросовестный человек абсолютно нежизнеспособен: чтобы себе не подсуживать, он должен подсуживать врагу. А я подсуживаю мраку. Всеобщее самоуслаждение утешительными сказочками внушает мне такое отвращение, что из двух равновероятных суждений я всегда стараюсь выбирать более неприятное. Когда Катька (фу, как фальшиво звучит ее навязанное общежитской традицией имя, — но «Катя», «жена», «супруга» еще фальшивее), — так вот, когда она сетует, что наш сын «выпивает», я прихожу в сосредоточенное бешенство: он пьет, пьет, пьет... Я заранее отказываюсь от всех обезболивающих, срываю все припарки с умягчающими снадобьями, я не стану приставлять обратно ампутированную ногу и делать вид, что она все еще живая: мои дети — чужие и неприятные мне люди.

Наверно, Богом можно назвать только такую рещалку, которая способна выносить обвинительный приговор даже тебе самому. Поэтому на дочь я давно не сержусь — у нее никогда не было Бога. А у сына был. И даже сейчас есть. Только Дмитрий его предал.

«Дмитрий» звучит в самый раз — взросло и отстраняюще. Митя — было, не мог отпустить с языка эту сладость, теснило в груди, коленки слабели от нежности, когда я шептал это имя. Помню, в Таврическом саду мы с ним наблюдали, как невероятно нарядный мальчуганчик, примерно Митькин ровесник, в черном жилетике и крахмальных манжетиках (невозможно ищешь цилиндрик) прямо на своих черных отглаженных брючках раз за разом скатывался с детской горки.

— Как ему только разрешают?.. — наконец вознегодовал Митя.

— Ты бы тоже, наверно, так хотел? — поддразнил я.

— Нет! — В его взглядики сверкнула смертельная оскорбленность.

Уж до того был вдумчивый и ответственный барсучок.

А сейчас жиреет да пыжится. Но ведь пыжиться — это почти агония, можно сколько угодно с угрожающим видом держать руку в кармане, но исход дела решит то, что ты оттуда достанешь и сумеешь употребить. Так меня научили в двух моих школах: великий *Москва*, посвечивая фиксами с дальнего дивана — затемненного наблюдательного пункта всех разборок при фойе ДК «Горняк», скупым царственным жестом немедленно подзывал понтаря: «Чего там у тебя в кармане, дрочишь, что ли? Сунул руку — доставай! Достал — пори! Дай сюда пику». Кончиками пальцев он перебрасывал заточку за приземистый диван, кряхтя приподымался и, неловко дотянувшись, словно муху смахивая, хлопал *дешевку* по малиновой щеке свернутой «Правдой», всегда зачем-то торчавшей у него из кармана. Если же и заточки не оказывалось, он уже не ленился встать и хлестал долго и всесторонне, а затем, словно брезгуя даже ею, выбрасывал и газету. И впоследствии, когда на занятом ученом докладе кто-нибудь выразительно помалкивал, иронически усмехаясь, мне всегда страшно не хватало *Москвы* с газетой: «Чего разлыбился? Дрочишь, что ли? На понтах в крутняки промылиться хочешь? Доставай, чего там у тебя?..» Наука тоже беспощадно раздевала до полной микроскопичности самоупоенных мальчишек, которые не могли предъявить ничего, кроме поз, ухмылок и происхождения. Отличнику двух великих школ, мне совестно даже просто повысить голос, прибавить пафосу, а эффектный жест представляется мне совсем уж тошнотворным шулерством: не можешь приколоть — приткнись. И не ловите меня на моей псевдочеховской бородке с асимметричной проседью, напо-

минающей потек изо рта, — бородка моя не знак внутренней фальши, а честная маскировка: внешности классического интеллигента, а не барсука требует мой чин главного лакотряпочного теоретика.

В школе, в общаге, отправляясь на танцульки, я примерял перед зеркалом разные оболстительные развороты — и каждый раз готов был трахнуть по отражению кулаком: ну барсук и барсук! Но грохот музыки разом отшибал у меня память — я отплясывал, понтился, сыпал остротами, покатывался со смеху, западал, оболщал — и чувствовал себя несомненным красавцем. И что самое удивительное, другие, мне казалось, тоже ощущают меня блестящим и неотразимым. А потом, забегая в умывалку поплескаться в раскаленную рожу холодной водой, я мимоходом вскидывал глаза на зеркало: ну что ты будешь делать — опять барсук!

Я еще тогда мог бы понять, сколь незначительную роль играет правда в человеческой жизни: красавец — не красавец, сумасшедший — не сумасшедший, — сумел создать нужный тебе коллективный бред — значит, и прав. А кто ты на самом деле... Да есть ли оно, это «на самом деле», которому я поклонялся в лучшие свои десятилетия? Или вера в истину — тоже коллективный бред? Но если он окончательно развеется, если вместо «он прав» мы начнем говорить «ему так нравится», исчезнет последний импульс для борьбы и сближения мнений — их сменит нагая борьба интересов, что, впрочем, не раз уже и случалось. И когда мне говорят: «Какой вы злой!» — мне хочется ответить: да, я перешел в вагон для злых, потому что вы слишком уж туго набились в вагон для прекраснодушных — из-за вас там уже нечем дышать. «Но если все время смотреть в глаза горькой правде, для чего тогда и жить?» Как для чего — назло! Назло этой твари — жизни: а вот я все равно буду жить и делать то, что считаю возможным, раз уж невозможно все остальное. «Но разве таким способом можно достичь счастья?..» Что-о?! Да кто вам сказал, что мы живем для счастья, какая гнида выдумала это подлое слово, из-за которого мир с каждой минутой уходит все глубже под вселенскую помойку предательства, жестокостей и лжей?.. Думать, что человек живет для счастья, все равно что верить, будто он ест для удовольствия, а не для того, чтобы не сдохнуть с голоду. «Так что, все творения человеческого духа — вся поэзия, все идеалы — не более чем мастурбация?» Нет, мастурбация только то, что не ведет к делу.

Ну, апокалипсис — Нева дышит теплом! Башня Кунсткамеры совершенно затушевана непроглядными строительными лесами. Любимая университетская линия испоганена беспросветно советским памятником Ломоносову. Приподняв пухлое лицо, Михайло Васильевич щурится через Неву на Медного всадника, словно передавая вызов одного ваятеля другому: пошляк не потупит взора перед гением! Зато спуск к Неве все тот же — по этой каменной кольчуге со своим оранжевым фанерным чемоданом, одурев от блеска, сини и Ниагары красот, я устремился к воде, а простукивавший мимо буксир осчастливил меня по колено *настоящей* невской волной!

А заверну-ка я в «Академичку» — это будет, пожалуй, уже не расчесывание ступа, ибо ампутированная половина жизни, похоже, начала оживать. «Нам нужно то, чего нет на свете» — фантомные боли ампутированной религии: нет уж, я больше не искатель того, чего нет, мне нужна только реальность! Но пломба была уже сорвана, и тени ампутированных, весело гомоня, заполнили бесконечную столовку под чередой средневековых сводов, заскрежетали трубчатыми стульями, загремели подносами, Славка, восторженно выкатив голубые глазщицы, повернул меня полюбоваться, с каким самозабвением Катька вчитывается в меню, взять ли ей туманного киселя с курагой за шесть копеек или замахнуться аж на взбитые сливки за восемнадцать... Или двадцать две? Славка такие штуки помнил поразительно. Стипендия-то была двадцать восемь или тридцать пять в месяц?

Катьку мне отсюда почти не разглядеть сквозь ее сегодняшней образ — ядреную девку со струящимся золотым хвостом вдвое толще нынешнего и — тоже вдвое толще нынешней — свежей мордахой, чрезмерно распахнутой, а потому, на мой теперешний взгляд, несколько приглуповатой. Зато — вот уж чего не замечал так не замечал залитыми самоупоеием глазами — бесконечно трогательной. Годы и горести — я уж постарался! — чрезвычайно ее облагородили. Сегодня я люблю любоваться ею, движениями ее рук, ее хвоста, ее души, полностью овладевающей ее мимикой, стоит ей забыться в моем присутствии. К сожалению, теперь это бывает далеко не всегда — она уже боится любить меня и без оглядки...

Мишка, румяный молокосос, с односторонней снисходительной улыбкой взрослого дяди через Катькино плечо также читает меню: «Духовная говядина». — «Духовная пища — а сколько дерут!» — радуюсь я. «Гарнир — пюре», — «пюре» Мишка произносит с французско-еврейским картавым раскатом. «Наверняка печатка! — стараюсь не захлебнуться от переполняющего меня бессмысленного восторга. — Наверняка имеется в виду кюре!» Мы счастливы и такому поводу покатиться со смеху, особенно мы с Катькой, но тут весь первый план заполняет исполненная фигура дяди Семы. Правда, дядю Сему образца сорок шестого года — юного, тогошего, ковляющего на костылях, с перезванивающимися медалями на лямке гимнастерке — мне не вообразить: он и там предстает барственно облезлым барсуком-бонвиваном со встряхивающимися при каждом выбросе чугушной ноги коньячно-румяными щечками. Жизнь давала им с моим отцом примерно одинаковые уроки, из которых решалки их сделали прямо противоположные выводы: отцу открылась брэнность всех мимолетных удовольствий — его брат понял, что лишь удовольствия и имеют цену. И сегодня отец выглядит облезлым подсохшим барсуком, всю жизнь проведенным на охоте (на него), дядя Сема же похож на барсука облезлого и раскормленного, коего оригиналка барыня всю жизнь продержала у себя в будуаре в роли любимой болонки, заказав ему специальный протезик вместо раздробленной лапки и даже отказавшись усыпить, когда его шибанул паралич.

Он придерживает отвисающую щеку с мертвой половиной рта и бесшабашно шепелявит, что кондратий дурак, отшиб ногу, которую и без него давно оторвало. Он любит выводить из себя приятеля, тоже фронтвика, рассказывая в его присутствии, что ногу ему по пьянке отрезало трамваем — зато на ботинках какая экономия! Через слово он матюгает Ленина, которым славно кормился лет сорок: если государство не просто-яло и восьмидесяти лет, значит, не политик, а мудозвон. Помню мое изумление, когда на мои студенческие фрондерские разговорчики он внешне благородно посуровел: не обо всем можно шутить, есть Родина, есть Ленин — с чем-то и его забубенная решалка все-таки не осмелилась поссориться. «Ленин... — раскрепощенный анекдотами об Ильиче, фыркнул я. — Материализм и эмпириокретинизм...» — «А ты всего Ленина читал?» — торжествующе надвинулся дядя Сема, и я поник: я понял, что как честный человек я никогда не дослужусь до права судить о Ленине, ибо мне сроду не осилить пятьдесят пять томов этого бронированного однообразия, в котором скромненькая мысль, десятилетиями абсолютно не развиваясь, лишь обрастает все более устрашающей физической мощью. «Ну ладно, — смягчается дядя Сема, — учись, пока я жив. Знаешь, что такое: без рук, без ног на бабу — шок? Какое коромысло — инвалид Отечественной войны. Раз как-то в доме отдыха начали знакомиться — ну, кто директор, кто секретарь, а я говорю: а я гинеколог. Один просит: слушай, посмотри мою жену. „Пожалуйста“. Приходим в номер, баба спелая, я ей говорю: вы лягте как-нибудь поудобнее. И ноги повыше»...

Разговор течет в Летнем саду под «Карданахи». Мы пьем из украденного в киоске газоды граненого стакана. Дядя Сема и здесь не обошелся без архитектурных излишеств: когда продавщица отвернулась, он сунул

чистый стакан под прилавок и тут же — провинциально-начальственный, в сетчатой шляпе — протянул стакан обратно: налейте мне, пожалуйста, в мой, я из чужих не пью. Выпил, попросил вымыть, завернуть...

— Другого места не могли найти? — мимоходом бросает нам строгий плюгавец, и дядя Сема мигом наливается контуженой синью:

— Иди сюда, я тебе сейчас башку проломлю! — Он потрясает роскошно инкрустированной палкой — дар высших партийных учеников, и я знаю, что он слов на ветер не бросает — сам бывал свидетелем. «Я кровь мешками проливал!» — дядя Сема первым был готов потешаться над драмой, когда она миновала. Только одну нашу совместную вечеринку у него в гостях мы стараемся не вспоминать. Это святое. Вроде Ленина.

Я в десятом классе, третья дяди Семина жена в командировке. Он посвящает меня в тайны марочных коньяков и твердокопченых колбас из спецраспределителя. Байки сыпались одна другой забористей, — появлялись и исчезали какие-то плешивые друзья, возникла неведомая старуха (помоложе меня сегодняшнего), которую дядя Сема в ошеломляюще прямолинейных выражениях предложил мне оттарабанить, отчего я в ужасе замотал головой и только что не зажался, как насилуемая гимназистка, к их обоюдному веселью. Когда бабка рассеялась в воздухе, дядя Сема извлек несколько засаленных порножурналов: «Швеция! Не разберешь, кто кого! — и стремительно повлек меня по трехслойным живым пирогам, задерживаясь лишь на крупных планах: — Воротник малость облез, а так пецец что надо!»

Или «писец»? Вдруг дядя Сема, радостно сверкая золотыми зубами, навалился на меня с игривыми щипками: «А ты на что драчишь? Не ...зди, все дрочат. А ты не пробовал дрочить наперекрест? Ты что, намного лучше, мы в ремеслухе все задрочивались до усрачки, давай научу, давай-давай, не пожалеешь!»

В оправдание растлителя должен сознаться, что я не проявил достаточной твердости в сопротивлении, ибо он вскричал с восхищенным кавказским акцентом: «Х... железо, пака гарачий!» Его небольшого, но задиристого петушка я своей робкой дланью еле разыскал между осевшим брюхом и потрескавшимся ремнями деревянной ноги. Дело не удалось довести до конца — я едва донес до унитаза мощный порыв изысканной рвоты. Дядя Сема приговаривал надо мной одобрительно: «От души поплевать — никакой е...ли не надо», а когда я утер губы и заплаканное лицо впервые увиденной туалетной бумагой, он с хохотом показал мне фронтальную выбоину на светловолосой ягодице: «Сразу видно, куда наступал. Ты заметил? — как раз дуля вкладывается. Нет, ты вложи, вложи!»

Разъедаемый пáoтом, я очнулся в Таможенном переулке (в правой руке еще гадко пружинило). Перед «Академичкой», разложив шкиперскую бороду по широкой груди, приосанивался ражий швейцар. «Старая таможня. Найт клуб», — прочел я электрическую вывеску. За стеклянной дверью под темными бесконечными сводами, будто новогодняя елка, перемигивались разноцветные огни — мне не удалось разглядеть столики, за которыми Катька, мечтательно вглядываясь в свой внутренний мир, пресерьезнейше перечисляла: «Больше всего я люблю молочный суп с лапшой, потом с рисом...» — «Так-так, — услужливо подхватил я, изображая восхищенного репортера, делающего лихорадочные записи в невидимом блокноте, — значит, на втором месте у вас молочный суп с рисом...»

И снова всех оттесняет невообразимо юный дядя Сема, полуголодный на продуктовых карточках, ковыляющий на ободранных костылях по бесконечной «Академичке», по которой снуют официантки — последний пережиток царизма. После серых макарон с призрачным сыром дядя Сема присел передохнуть как раз за тем столиком, на который официантка

только что поставила поднос с десятком припорошенных сырными опилками порций.

— Ты чего сидишь? — пробегая, поинтересовался такой же поджарый приятель.

— Да вот к концу месяца отоварил все карточки, а съесть не могу.

— Так давай я доем?..

— Давай.

С удобной позиции у двери дядя Сема насладился зрелищем с полным комфортом: вот бежит официантка, вот приятель, загоразиваясь локтями и отругиваясь через плечо, с удвоенной скоростью работает сальной дюралевой вилкой, вот они пытаются вырвать поднос друг у друга... Кстати сказать, за хищение соцсобственности в ту героическую пору по закону «семь восьмых» давали срок независимо от размера хищения.

— Он месяц потом со мной не разговаривал, — самодовольно завершал дядя Сема.

Я пришел в себя (вышел из себя) у центрального входа в Двенадцать родимых коллегий — гордые ордена на трезиниевском фасаде теперь кажутся мне кровавыми болячками, но скрижаль подвигов 1905 — 1906 годов уже не оскорбляет памятных досок Менделееву-Докучаеву: Девятьсот пятый год и далек, и воспет. ...И хмурые своды смотрели сквозь сон на новые моды ученых персон, на длинные волосы, тайные речи...

Все тот же темный, обморочно знакомый вестибюль, только сортиром веет еще более явственно... Не самоулаждаться, не падать на колени пред унитазом, заваленным продукцией внутреннего мира, — употребить его по прямому назначению. «Несмыываемый позор», — с кривой усмешкой процедил Мишка, и наш со Славкой радостный гогот ударил в эти самые своды, нынче совсем уж изъеденные проказой сырости...

Два пролета — и новая сорванная плomba: направо замурованный буфет, «Тараканник»... Разбросав усы вперемешку с лапами, тараканий Моисей пал на самом рубеже расчерченной на прямоугольники, липкой Земли обетованной — у подноса с сыпучими «александровскими» пирожными... Хорошо, что теперь, даже корчась от невыносимой муки, я умею хранить свою глубь холодной и невозмутимой. Именно так я фиксирую еще один легкий спазм фантомной боли: первая стипендия — повышенная, как я и верил. Мне не терпится выбросить этот избыток на друзей как-нибудь пороскошнее, а «Тараканник», словно после какого-то тропического авианалета, с чего-то завален чешуйчатыми бомбами ананасов. Ну можно же простить семнадцатилетнему юнцу некоторую самополенность, с которой он выбирал бомбу покрупнее?.. Правда, мы казались себе, наоборот, ужасно взрослыми...

— Громче, громче, а то на набережной еще не слышали. — В Мишкином голосе звучит целый психологический аккорд: и отрывистая грубость простого работяги, и насмешка над тем, кто принял бы эту манеру всерьез...

Я каменею от незаслуженной обиды, но рублевки продолжаю отсчитывать с прежней небрежностью.

— А руки-то трясутся, — от жадности, мол.

— Что?! — Я внезапно толкаю его в грудь. Еще слово — и я засвечу ему по зубам. Но он снисходительно восхищается:

— Какой темперамент! Завидую...

Остаться без стипендии из-за своей же дури — злить капээсэсницу!.. — а потом изображать из себя единственного нонконформиста среди проныр и подхалимов — сегодня мне это кажется делом совершенно естественным. Зависть тоже представляется мне совершенно нормальным чувством — даже между друзьями. Оттого мне больше и не нужны друзья. Лихорадочная нужда безостановочно с кем-то делиться, в ком-то отражать-

ся — это и есть молодость. Страстные влюбленности и бешеные обиды от единственного слова, часами, полуслепой, бродишь по улицам, придумывая самый-самый неотразимый аргумент, который наконец откроет обидчику, как он был не прав... Или лучше просто врезать по морде? Можно ударить, можно убить, можно театрально простить, можно все, что угодно, — кроме единственно разумного: прекратить общение. Категорическая неспособность оторваться от коллективного самоуслаждения — это и есть молодость: не факты, а мнения тебя заботят.

Снова Нева, горячий гранит, пластилиновый асфальт, неумолимая жара, беспощадное низкое солнце — скорее под арку, мимо блоковского флигеля, мимо фабричного кирпича огромного спортзала, где мы вышибали друг другу мозги. Прямо пойдешь — попадешь в кассы (тени сосредоточенной преподавательской и развеселой слесарно-уборщицкой очереди), налево пойдешь — негустая автомобильная свалка под залитыми смолой бинтами горячих трубных колен, а направо — направо подержанная железная решетка окончательно одичавшего английского парка, в глубине которого едва мерцает затянутый ряской пруд, почти поглощенный распустившимися деревьями, совсем уже закрывшими облупленное петровское барокко двухэтажного особняка, некогда принадлежавшего генерал-аншефу, генерал-прокурору и кабинет-министру Пашке Ягужинскому. В ограде прежде были подъемные ворота для посвященных — повисшие на жирных, словно выдавленных из тюбика звеньях якорной цепи три высоченных квадратных лома, приваренных к паре стальных поперечин: нужно было, по-бычьему упершись, откачнуть их градусов на сорок и тут же увернуться от их обратного маха — танкового лягза через мгновение ты уже не слышишь, проныривая за кустами к неприступному заднему фасаду, надвинувшемуся на пруд. Электрички ходили так, что надо было либо приезжать на полчаса раньше, либо опаздывать минут на пятнадцать. Но у меня в заплочном мешке хранился верный абордажный крюк — закаленная кошка с четырьмя сверкающими когтями, испытанно закрепленная на змеистом лине, выбеленном тропическим солнцем, обветренном муссонами и пассатами, размеченном орешками мусингов — узелков на память...

Уже страстно отдавшийся Науке, я еще долго не ампутировал смутной надежды сделаться когда-нибудь одновременно и капитаном пиратского корвета и продолжал совершенствоваться в искусстве абордажа: раскрутивши тяжеленькую кошку, без промаха метнуть ее на крышу, на дерево, хорошенько подергать, поджимая ноги, а потом по-паучьи взбежать на стену... На Пашкином фронтоном был присобачен очень удобный герб. Окно уже было расплачено, откачнувшись, я перемахивал через подоконник и попадал в задохнувшиеся от счастья Юлины объятия: «Псих ненормальный!» Бальная зала кабинет-министра была нарезана на двухместные кабинки, и от линялого плафона с розовой богиней победы нам достались только ее груди, на которые я блаженно пялился, покуда Юля блаженно отключалась на моем голом плече...

Пашкин дом оказался неожиданно подновленным, а из вестибюля даже исчезло классическое бревно, испокон веков подпиравшее двухдюймовой плахой провисающую лепнину, заплывшую от бесцеремонных побелок. Коренастый Геркулес, черный резной ларь-кассоне, барочная лестница — все топорной работы крепостных умельцев — были отмыты и надраены, а приемная Конопляникова под освеженным пупком Викторией отдавала буквально евроремонт. Тени припали на старт — и вот воплотилась первая: поседевшая, обрюзгшая, багровая от жары и смущения — Коноплянников. Разумеется, Лапин переврал, речь шла не о работе, а об выпить, посидеть — вот трепло хреново! Контракт-то, вернее, есть (в основном, правда, вычислительный), как раз сейчас и обмывают, только, увы, в обрез на своих. Но конечно же он будет счастлив со мной работать, и, разумеется, при первой же...

Чувствуя себя идиотом, я применил защитную маску № 7 — «возвышенная озабоченность». Подальше от начальства уже вовсю галдели, боролись на руках (я когда-то был мастак в своем весе), напротив меня какой-то молоко-сос изображал лорда Байрона. Уставясь в меня взглядом с трагической поволокой, поинтересовался у соседа: «Откуда это такой серьезный дядечка? Не люблю серьезных». И снова впал в гусарскую тоску. Нет, он не Байрон, он другой...

Я несколько опешил — это у нас в ДК «Горняк» нельзя было ни на миг расслабиться, ибо там развлекались исключительно за чужой счет: торпящийся мимо весельчак мог вдруг схватить тебя за штаны и проташить за собой несколько шагов, пока опомнишься, — и тут уж твоей решалке нужно было в доли мгновения оценить, должен ты смущенно улыбнуться, нудно запротестовать, обматерить или врезать по роже. И вдруг я почувствовал небывалое облегчение: ба, есть же на свете и такое — не вступать в дискуссию, а без околичностей бить по зубам. Мне столько лет — или веков? — представлялось верхом низости на аргумент отвечать не аргументом, а пафосом, хохотом, зуботычиной, что меня уже сторонятся. А вот, оказывается, что испытывают мои близкие, когда меня нет рядом, — счастье, что можно наконец развернуться от всего сердца...

Но момент был упущен — тут надо сразу отвечать вопросом на вопрос: «Это что за вонючка? Ты на кого пасть разеваешь, сморчок?» Едва не ерзая от нетерпения, я бросал на обидчика умильные взоры, выпрашивая ну хоть какую-нибудь зацепку.

На угол ко мне подседа и принялась меня магнетизировать черно-белая среди всеобщего побагровения женщина-вамп — прежде эта изысканная птица водилась лишь на филфаке.

Возник Коноплянников:

— Он, как всегда, с женщинами!

Я подхватил его тон, мы опрокинули по одной, по другой, закусили невиданной прежде копченой курицей, замаслились, отыскалась еще тройка-пятерка наших — тоже теперь из местной элиты, все были счастливы через меня прикоснуться к невозвратному, а женщины (такие *тетки*...) так вообще без затей бросались мне на шею: посыпались анекдоты пополам с упоительными леммами, зазвучали волшебные имена старого матмеха. Я снова блистал, то есть умничал и наглничал, — зачем и пить, если не врать и не наглеть: ум без вранья и бесстыдства справедливо именуется занудством. Моего бесстыдства достало даже на задушевность! Мне и правда было жаль, что они начали любить меня только тогда, когда это мне было уже не нужно.

Недоумевающая и оттого почти трогательная вамп тщетно пыталась понять, кто я такой. Я в свою очередь бросал влюбленные взгляды на Байрона: «Ну скажи хоть что-нибудь, открой ротик!» Я нетерпеливо прикидывал, в каком он весе — влестится он в стену или осядет на месте: моей правой когда-то рукоплескал весь закрытый стадион «Трудовые резервы».

Она-то, правая, и помешала мне выйти на первый разряд. С моей реакцией и скоростью я должен был ставить на верткость, но я предпочел пользе позу и принялся лепить из себя файтера, неповоротливого, но бьющего наповал. Любители бокса наверняка помнят ослепительный взлет Черноуса: за год камээс, еще через год — мастер, призер Союза, еще через год в ДК «Горняк» два сломанных носа и перо под ребро, — а после больницы это был уже не тот Черноус. Однако до пера он успел провести сорок шесть боев, из которых сорок пять закончил нокаутом. И единственный бой, нарушивший эту традицию, Черноус провел со мной. Он валтузил меня, как тренировочный мешок, но я, почти уже ничего не соображая, среди черных молний и желтых вспышек иногда выхватывал его бешено-собранную безбровую физиономию и бухал, ровно три раза посадив

его на задницу. И аплодировали мне, а не ему. И судья не хотел прервать избивание за явным преимуществом возносящейся звезды: бой прервали, только когда кровь из моей рассеченной брови при ударах стала разлетаться веером.

Если бы жизнь оставалась игрой, я бы до сих пор не знал страха. Но реальность не стоила риска. Нет, не то — она требовала результата, пользы, а не позы. И, следовательно, честности, а не куража.

Внезапно честность вновь обрушилась мне на плечи: я снова был не в силах ни обнять, ни отбрызнуть, ни ударить. А кому я такой нужен! Я бросил на Байрона последний умоляющий взор, но он, похоже, давно сообразил, что задел не того, кого надо, и глаз не поднимал намертво. Передышка закончилась — уже не увертливая логика, а неумолимый мой бог, моя решалка увидела истину: какой-то опущенный, втягивая голову, бредет прочь из ДК «Горняк» и, столкнувшись на крыльце с еще более опущенным, внезапно отвешивает ему затрещину.

Я ощутил безнадежную зависть к безмятежности моих бывших коллег: для них по-прежнему не существует мира за пределами их пятивершковой ойкумены, чей небосклон до горизонта заполнен ликом Орлова-пантократора. Поэтому они всегда правы, то есть всегда счастливы, несмотря на все катаклизмы и перебои в усохшей зарплате: что полезно нашей конторе, то полезно России, Горбачев — агент ЦРУ, Ельцин — алкоголик, Гайдар — вор, а перестройка затеяна ради грабежа.

И все-таки жаль, что они начали меня слушать только тогда, когда мне это уже не нужно. Зато, оказавшись один на дохнувшем русской печью чухнушем дворике, я до мурашек отчетливо ощутил, что Юлия сейчас хоть на мгновение непременно прижалась бы ко мне, а то и, оглянувшись, воровато запустила и руку куда-нибудь в недозволенное: когда мне случилось произнести что-то, по ее мнению, ужасно умное, высокий восторг всегда отзывался у нее мощным откликом вниз: ее дух отнюдь не презирал плоти.

Она (как и Катька) относилась к тому лучшему женскому типу, кто не получил интеллигентность автоматически, по наследству, а из глубин простонародья высмотрел ее где-то в небесах и устремился к ней, упоительной легенде, жадно поглощая умные книги, умные разговоры, постановки, выставки, более всего, однако, восхищаясь теми небожителями, для которых все это — будничное дело жизни. Жить среди них и служить им — это для них и было счастьем, как они его неотчетливо понимали. На первом этапе. На втором им требовалось уже не только служить, но и владеть. Хотя бы одним. Вернее, в точности одним. Самым лучшим и незаменимым. Как-то, отчасти желая бросить трагический отблеск и на собственную жизнь, я рассказал ей об отцовском друге, чью жену с маленькой дочерью расстреляли в Бабьем Яру, пока он отбывал срок в Дальлаге. Он долго был близок к самоубийству, и только полюбившая его русская женщина сумела... «Значит, он их не любил!» — Юлия вспыхнула розовым, как новенькая черешня. «Но это же было через шесть лет, после лагеря...» — «Какая разница!»

Когда жизнь ненадолго подбрасывала нам помещеньице, она немедленно принималась вить гнездо: подметать, расставлять собственные чашки, накрывать их салфетками... На самый худой конец, старалась свить гнездо у меня на голове или на шее — связать мне шапочку или шарф взамен тех, что меня либо старят, либо излишне молодят. Дипломатические усилия, которых мне стоило отбиться от ее подарков, были сравнимы разве что с досадой, которую вызывали у меня ее вечные шпильки по адресу моего шмотья. Пока я наконец не понял, что истинной их мишенью была Катька, ну совершенно не умеющая и не желающая обо мне заботиться. Особенно острая и затяжная борьба у нас завязалась вокруг моих трусов — «семейных», хотя все приличные мужчины уже давно перешли на плавкообразные. «Как я

объясню их появление?!» — допытывался я, уже наученный горьким опытом избегать слова «дом». «А что, ты никогда себе трусов не покупаешь?» — «До сих пор не покупал». — «Может, она и на горшок тебя сажает?» Кончилось тем, что я таскал эти трусы в портфеле и перед каждой нашей встречей переодевался в них чуть ли не в лифте.

Мысль, что другая женщина распоряжается моими трусами, ввергала ее в неистовство: она несла невообразимый бред про Катюку, про меня, про всю нашу — нет, только Катюкину — родню, — каждый обретал устойчивую кличку: «пьяница», «балбес», «потаскуха» — никто из знавших Юлину милую благовоспитанность отродясь бы не поверил, что ее губки способны выговорить этакое. Меня могла взбесить только неправда — вернее, отказ ее аргументировать, — она и меня доводила до иступления: я даже дважды бил ей морду, притом один раз в общественном месте. В тамбуре электрички — поехали развлекаться, — когда она с раскаленным лицом попыталась выйти на промежуточной платформе, я, чудом удержавшись от полновесного удара кулаком, закатил ей такую пощечину, что она треснулась об пол и не сразу сумела подняться. Отправил в нокдаун...

Прожив два дня в мертвенной готовности к чему угодно, я едва не осел на пол, услышав в трубке ее заигрывающий лисий голосок: «Ты еще живой?» Мы обнялись, словно после долгой возвышенной разлуки. Второй раз я подвесил ей слева в ледяной обдуманности: если слова — высшая святыня — для нее ничего не значат, пускай тогда или терпит, или порывает со мной, раз уж я сам не могу соскочить с этой иглы. «Ах ты!..» Она задыхнулась и попыталась что-то... не то хватать меня, не то царапать, но я, понимая, что наказание не должно перерасти в равноправную драку, добавил ей справа почти уже от души — у нее ноги слегка взлетели, прежде чем она шлепнулась на бок.

— Убирайся! — Она швырнула мне мои штаны.

Застегиваясь в прихожей, я увидел в зеркале свое лицо — совершенно белое и каменное спокойное. Появилась она, брезгливо, кончиками пальцев неся кулачки моих носков, надменно обронила их к моим ногам и, разрыдавшись, бросилась мне на шею. И я — увыв мне — принялся умолять ее, когда ей хочется причинить мне боль, без затей вонзить вилку мне в ляжку или куда ей вздумается, но только не использовать для этого *слова*.

Разумеется, она не отказалась от единственного своего оружия, но я уже был сломлен — слишком долго мне пришлось сдавленно мычать и мотать головой, чтобы разогнать снова и снова стягивающуюся обратно картину: она, неловко подогнув ноги, лежит на боку, на чужом паркете... С годами — а их много натекло, целая жизнь — я научился не относиться всерьез к ее бешеным словоизвержениям, — но не относиться всерьез к словам означает не относиться всерьез и к тому, кто их произносит... Тем не менее я был в шоке, когда она вдруг объявила, что больше не желает переносить нескончаемые унижения. А унижением она считала все: любую случайную встречу со знакомыми на улице, в кино, на выставке — где угодно, кроме тех немногих мест, на которые нам выдавали индульгенцию производственные нужды. Она постановила, что я живу с Катюкой только ради детей, и если до нее просачивалось, что мы где-то были вместе... Но как можно сравнивать все эти мелкие царапины и нашу... Не «нашу», я-то ладно, — *ее* любовь ко мне?! Зачем тогда было внезапно втащить меня в случайную подворотню и, воткнув за дверь, с хозяйской нетерпеливостью дергать мою молнию?.. Ей, такой брезгливой фифе и недотроге, что первая же моя попытка обнять, казалось, оскорбит ее смертельно и навсегда? Мы даже в объяснения не вступали — вместо нас говорили дожди, снегопады: в ботинках чавкало, снег отваливался от нас отмякшей корой, а мы все бродили, все стояли...

Впоследствии для меня было полной неожиданностью ее юмористическое признание, что ей сразу понравилось, когда я коснулся ее груди.

Хотя в тот вечер, когда я, как это прежде называлось, обесчестил ее, не разразилась ни одна из тех сцен, коих я всерьез опасался. Так что, спускаясь с нею по полутемной лестнице Пашкиного особняка (светящаяся белая шубка, белек-детеныш тюленя, самого доброго и уклюжего зверя в природе), я позволил себе провоцирующую шутку: «У тебя неприлично счастливый вид», — впоследствии одно напоминание об этой исторической фразе неизменно приводило ее в прекрасное расположение духа — ее, вспыхивавшую гадливостью, как новенькая черешня, от малейшего игриво-пикантного словца, — поди догадайся, что игривость-то ее и коробила.

У нее было и другое табу: нас не должны были касаться посторонние. Как-то мне подвернулся на денек редкий тогда порножурнальчик — так склонить к нему взгляд моей возлюбленной не удалось никакими поддразниваниями. Третьему в нашем союзе не было места ни в виде фотографии, ни в виде тени. Однажды, когда на чердачной площадке куча черного тряпья зашевелилась и сиплая бомжиха принялась успокаивать нас из тьмы: «Не бойтесь, ребята, охтавайте, охтавайте!» — она вдруг наотрез не пожелала обратить приключеньице в шутку. «Ты превратил меня в потаскуху!» Эта мазохистская формула всегда рождалась из тех пустяков, которые могли стать известны третьим лицам.

Она то отчитывала меня, что я слишком близко к ней стоял в автобусе, то воркующе признавалась: «Да мне чем неприличнее, тем лучше!» Когда она прошептала мне ухо сообщением, что она беременна, я страшно напрягся — влипли! Однако...

— Я не пойму, ты чему-то рада, что ли?..

— Угу, — сдержанно сияя, закивала она, не то поднывавшая на новую ступень нашей близости, не то приобщившаяся к жизни настоящих женщин.

Ради моральной поддержки я таскался с нею по всем преддвериям, но она и из вендиспансера выбегала, словно из жилконторы, и в самое чистилище удалилась, будто в ночной профилакторий. Может быть, там она была безличной, а потому не ощущала холодные никелированные трубки вторжением в личную жизнь? На следующий день, с каждой минутой нервничая все сильнее, я ждал ее в Горьковке. Тогда я еще позволял себе разные телодвижения, направленные исключительно на саморазрядку: выкручивал пальцы под примитивным аудиторным столом, то и дело выглядывал в бесконечный коридор, чтобы увидеть ее фигурку на четверть минуты раньше...

Прободение, фонтан крови, ее признание на смертном одре, рыдающая мать, отыскивающий меня в траурной толпе отец-танкист, ныне бульдозерист-ударник, Каткино потрясение, отверженность... Но еще полчаса — и я уже молил об одном: только бы она осталась жива! Я принялся деловой походкой носиться меж бесконечных книжных шкафов и укоризненных портретов отцов основателей и чуть не взмыл к потолку (осел на пол) от облегчения, увидев, как она легко взбегает по лестнице — стройненькая, статненькая: зимняя форма одежды исправляла ее излишнее — как бы поделикатнее выразиться? — излишнее изящество.

И опять ни малейшего надрыва. В чаду кувыркающегося разговора, где говорили не слова, а лихорадочный захлеб, неудержимые улыбки, сияющие глаза, мы оказались в нашем отсеке под персями Победы и, на полминуты замерев в робовом молчании (нет ли шагов в коридоре?..), не сговариваясь отрезались задвижкой. Мы долго истязали друг друга, пока наконец не махнули рукой и на ледяной ветер из оконных щелей, и на взорвавшиеся голоса в коридоре, и на строгие докторские запреты. Эта чистюля и недотрога как будто вообще нетронутой прошла сквозь чистилище. «Здрасьте!» — поприветствовала она всегдашним своим рукопожатием наиболее открыто устремившуюся к ней часть моего существа, которую в пору отрочества у нас изящно именовали двадцать первым пальцем.

Она была там младенчески выбрита, и от этой беспомощной сверхобнаженности я готов был вот-вот взорваться. Если без изящества, она всегда казалась мне чересчур тощей — особенно под сенью полногрудой Победы. Но — возвращаясь к былому изяществу выражений — «хотел» я ее буквально до изнурения, до капелек самой настоящей крови. Как будто в глубине души (тела) вождедел я не к красоте и даже не к пышным формам — теоретически главному достоинству женщины, — но исключительно к беззаботности. По части красоты Катька вряд ли уступала Юле — облагороженной университетом и БДТ, но все же довольно тривиальной вариации Мерилин Монро, а уж что до ядерности... У Юли, когда она сдвигала колени — как у петуха, по ее собственной простодушной характеристике (зато у меня — «дьявольские»), — между жидковатых ее ляжек возникал веретенообразный просвет — и ничего.

Походило на то, что я вождедел бы и к любой образине, если бы только она не портила мне настроение своей глупостью, злобой, жадностью — не напоминала об унылых сторонах реальности. Катькина беда (и моя, и моя, чего уж там) заключалась в том, что именно через нее в мою жизнь проникли заботы, от которых невозможно улизнуть, долги, которые невозможно заплатить... Все должно служить человеку, а потому и семья, как и все, что требует не только брать, но и отдавать, оказалась для человека бесчеловечной ловушкой: свою высшую нужду — сексуальную — неповторимая личность вынуждена справлять там, где все напоминает о самом невыносимом — о долге.

Наш с Юлей — не роман, поэма — настаивался на ядах куда более утонченных: прикосновенность к Науке, захватывающие препирательства о редких фильмах и книгах, ощущение избранности (моей — это и для нее было более чем упоительно). Ропот значащих речей был шифровкой ничем не заслуженного счастья — губы сами собой ни к селу ни к городу растягивались в блаженную улыбку. Чуть прерывая возбужденную болтовню (нужно было успеть как можно больше про себя рассказать — обнажить хотя бы душу), Юля немедленно принималась напевать. А Катька пела только под грустную минуту — что-нибудь страшно прочувствованное, великолепным сильным голосом, пробуждающим в тебе что угодно, только не легкомыслие, немедленно овладевавшее мною в присутствии Юли. Ради него-то и благодаря ему я совершил главное в своей жизни предательство. Легкомыслие — это, в сущности, и есть счастье.

После того как все было кончено и она сначала едва кивала мне при редких встречах (я уже подвизался в лакотряпочной отрасли), опасаясь, что я снова полезу объясняться, а потом уже едва кивал ей я, по причине чего ей самой пришлось ввязаться в объяснение, она поспешила мне сообщить, что я обошелся с нею как подлец.

— Если ты, с твоей добропорядочностью, с твоей осторожностью, трахалась на письменном столе, — наверно, с этим не так-то легко справиться? — с ненавистью спросил я. — Так чего же можно от меня требовать?

Мимо, как в былую пору нашей бесприютной любви, пробирались шубы, пальто, куртки — дело происходило в метро.

— Но ты мне тоже дорого досталась — я больше никому не верю. Думаю: если уж *такие* страсти, *такие* восторги ничего не значили...

— Почему, значили — я тебя и сейчас люблю. — Она как бы легкомысленно пожала плечами. — Просто больше не хочу унижаться.

— Господи, унижаться... Я же погибал тогда, мне от летнего ветерка становилось больно!.. А тебе оказалось дороже твое самолюбие...

И вдруг она пристыженно-ласково улыбнулась и кончиками пальцев быстро-быстро погладила меня по руке, словно ваткой протерла перед инъекцией. Я едва не отдернул руку — только-только корочка подсохла...

Как подлец... На всех тропках, ведущих к любой халяве, к любому незаботанному наслаждению, с незапамятных времен расставлены преду-

преждения: «Запрещено!» Запрещено красть деньги, труд, беспечность, пере-кладывая предусмотрительность на ближних, — и только на пути к самой соблазнительной халяве — любви, прекрасному настроению без усилий и достижений, — только там вместо запретительного плаката расцветает сияющий павлиний хвост: «Не упусти!» Вступая в эту зону, которую следовало бы сделать трижды запретной, ты еще чувствуешь себя возвышенной личностью: как же, ведь любовь всегда права!

Но это, разумеется, меня не оправдывает — чужую вещь я никогда не взял бы, сколь бы неотразимо она меня ни возбуждала. Но вот Любовь!.. Когда я решил, что достаточно натерпелся — ей-то, казалось, вполне довольно было наслаждаться моим обществом, — ни малейшие зазрения совести больше не посещали меня ни тогда, ни сейчас. Ну, проторчала из-за меня в Пашкином особняке, где платили только асам да прихвостням. Ну, упустила пяток претендентов на ее руку и сердце, пока она лет пятнадцать (или сто пятнадцать?) валандалась со мной, — ну так и что? Любовь требует жертв. Правда, при ее катастрофически завышенных требованиях к уму и нравственным качествам мужчин (как только я до них дотянулся?), не представляю, кому она могла бы позволить до себя дотронуться. Когда у нас — лет еще через сто — снова восстановилась некая шутивная дружба в виде редких звонков, она однажды похвасталась, что какой-то чмошник сделал ей предложение. И я — вот гадство — почувствовал удар холода в голову и ненависть к этому мерзавцу. (Кто бы это мог быть? Этот молчалин Хрунов? Этот проныра Чумаченко? Или какой-то мужлан из ее семейного окружения?)

— Неужели ты можешь лечь в постель с этим... с этой трухой? После мраморов Каррары? — Надеюсь, в моем голосе не прозвучало ничего, кроме насмешки (да нет, прозвучало).

— Постель... — Трубка юмористически вздохнула. — До нее еще дожить надо — главный вопрос, как день перетерпеть...

Фу, этой жарнице ни вечер, ни тень не указ. А под аркой Двенадцати коллегий все равно тянет нагретой плесенью. Все цветет... А, вот та самая дверь — амбарный замок, со вкусом у завхоза по-прежнему все в порядке, а то бы подняться по ушербным ступенькам — и ты в Горьковке. На тамошней прокуренной площадке, поймав за полу смущенно-снисходительно улыбающегося Мишку, я заходилися над Уитменом: безграничный, прозрачный фонтан любви знойной, огромной, дрожь испуга, белоцветный яростный сок, бедра, округлости бедер и корень мужской, легкие, желудок, кишки сладкие, чистые, мозг с извилинами внутри черепной коробки, чрево, грудные сосцы, молоко, слезы, смех, плач, взгляды любви и ее треволнения, пища, питье, пульс, пищеварение, пот, сон, ходьба, плавание, влечение странное при касании рукой нагого тела, реки артерий, дыханье, вдох и выдох, алый сок внутри вас и меня, кости и костный мозг — это поэмы и части не только тела, но и души, о, все это — сама душа!

Но, опомнившись от гимнов электрическому телу, я бы уже не мог без натуги согласиться, что запах пота у меня под мышками (тем более — у кого-то другого) ароматнее всякой молитвы. Когда-то в «Трудовых резервах», отвалившись после убойной разминки, широконосый, как папуас, Толька Гоголев по кличке Гоголь понюхал сначала свою подмышку, затем мою и радостно спросил: «Правда, луком пахнет?» Но не в этом дикарском простодушии — в своенравной чистюле и недотроге я с изумлением обнаружил не то что слияние души и тела, а как бы даже и незнание того, что между ними могут быть какие-то недоразумения. Стыдливость для посторонних — этого добра в ней было на десятерых. Но стыд вовсе не казался ей знаком из глубины, напоминающим о том, что далеко не все в нас достойно нашего бессмертного духа, — нет, скверными в ее глазах могли быть только сознательные поступки, все же остальное — требования исключительно условностей. Но зато уж их-то, условности, она почитала с религиозной непреклонностью.

Казалось бы, в ту пору я и сам был одержим уверенностью, что прекрасное есть жизнь, и не парадная ее сторона, которой рад полакомиться всякий, а *подлинная*, то есть скорее изнаночная. Я с упоением вглядывался в вулканический фурункулез вскипевшей штукатурки в сыром подезде, в разорванную напрягшимся льдом жуть водосточных труб, в мозаику битого кирпича и давленого стекла у осыпающихся красно-коричневых стен Петрограда... И Юлю я тоже вечно таскал на прогулки по промзонам, заваленным, словно караванные пути — верблюжьими ребрами, угловатыми останками таинственных ржавых механизмов, на которых вспыхивали отсветы *подлинных* вспышек за *подлинными* копчеными стеклами *подлинных* неведомых цехов. «Господи, по каким помойкам ты меня таскаешь!» — не скрывая удовольствия, возмущалась она: каждая новая моя причуда (если только она не угрожала ее монополии) лишь открывала ей новую возможность проявить ворчливо-воркующую снисходительность.

Но снисходительности к непарадной стороне человеческого тела — не натужному воспеванию, а юмористической снисходительности — я учился у нее, у этой фифы, от малейшего проявления публичного бесстыдства вспыхивавшей гадливостью.

Мы доводили друг друга до помешательства, до иступления, до изнеможения, но стыд, несмотря на все усилия, все равно оставался недостаточно растоптанным, а изнанка жизни недостаточно изнаночной. Зато когда покорно бродившая за мной овечка начала взбрыкивать, мы стали проводить досуг все более и более содержательно: бесчисленные петербургские красоты, выставки, хорошие фильмы... В принципе, она все это обожала — общую атмосферу прежде всего, но и в причудливо избираемые конкретности, бывало, втрескивалась по уши, посещая по пять раз «Дядю Ваню» с Басилашвили во главе или вступая в личные до фамильярности отношения то с каким-нибудь розовым Буше, то со вспыхнувшей на солнце, выкачнувшись из-под моста, желтой мачтой Моне, радуясь своим любимчикам, как пятилетняя девочка плюшевому мишке. Благоговением, в которое меня всегда ввергала красота, там и не пахло. Катькины вечные восторженные слезы теоретически мне были ближе — зато с Юлей отлегло от души. При этом она была далеко не дура — только как будто чувствовала, что ум хорошо, а счастье лучше. Тем не менее она обожала умных людей, не могла различить, красив человек или безобразен, пока он не заговорит (слышал от нее я даже такое: как он может быть красивым, он же подлец!). В перестройку ее больше всего восхищал наплыв умных людей на телеэкраны — и уж их-то она успевала разглядеть: я буду голосовать за Лубенчикова — он такое чудо, ушастенький!.. Рядом с нею казались не страшными даже подлинные умы — занятые разрушением иллюзий, а не самоуслаждением, коему публично предавались ее телелюбимчики, используя для коллективного сеанса Рынок, Демократию, Гласность...

Но и самыми мрачными своими прогнозами я тоже действовал на нее «как сирена» — не та, разумеется, которая предупреждает об опасности: вопреки политическим восторгам ей доставляла наслаждение и моя трактовка политической борьбы как вечного конфликта между мастурбаторами и людьми результата, милыми детьми и гадкими взрослыми, опасными психопатами и корыстными тупицами. Мне казалось в свое время, что она подседа на меня бесповоротно — ведь дышать без меня не могла... Стоит в глазах: потная, как японец, почти падая с ног, она бежит по перрону, чтобы четверть минуты пообщаться со мной до отхода поезда — целую же неделю не увидимся!

— Видишь, какая я *отцеубийца*? — ухитрилась мстительно выговорить она, прежде чем проводник захлопнул тяжелую тюремную дверь: она, гиперответственная пятерочница, сбежала от постели больной (хотя и не умирающей) матери.

Изнанка жизни ее нисколько не привлекала. Зато она прямо-таки тянулась к изнанке моего организма. Когда на морозе я потихоньку вытирал перчаткой отмокающий нос, она не только не делала вид, что не замечает, а, напротив, спешила с нежным укором: «Шелушиться же будет!» Понемногу и для меня стало естественным делом почесаться или сплюнуть в ее присутствии. «Раньше ты таким не был!» — счастливо обличала она. «Значит, от тебя набрался», — отвечал я, неизменно приводя ее в еще более прекрасное расположение духа.

На второй аборт она угодила одновременно с Катькой. Я очень боялся, что она как-то прознает — она вообще не терпела никакого параллелизма, а уж в таком деле... Но из какого-то мелкого прокола она вывела правильную догадку и — насмешливо хмыкнула. Не угадаешь, что ее вдруг взбесит... Но я-то, конечно, все равно не сознался.

С осмотра у гинеколога (я все ждал какого-то взрыва) она вернулась целеустремленная и после самых беглых предосторожностей жадно прильнула ко мне — что-то там среди белых халатов и сверкающих орудий пытки пробудило в ней желание.

— Я даже по улице шла с опаской — вдруг что-то по лицу заметно, — это при том, в десятый раз повторяю, что такой фифы и недотроги свет не видел.

На этот раз вернулась она из чистилища выбритая уже в строго необходимом объеме, с сохранением декораций (наши шоферюги интересовались у гаишника, придравшегося к немытой машине: что, по принципу «волоса п... не греют — только вид дают?»), и снова без малейшей униженности принялась повествовать, какая женская солидарность завязывается в этом проклятом месте. Утром врачаха, прежде чем выпустить на волю, прощупывала резиновым пальцем, закрылась ли матка. «Ну и как, больно?» — с тревогой спросили у первопрошупанной. «Нет, даже приятно», — ответила та. И все как грохнул! Я слушал с тайным недоумением: видимо, даже мучительная изнанка любви в ее глазах настолько нас сближала, что... Но чем та бомжиха была хуже докторши?..

Все, из-под затхлої аркады возвращаюсь в безжалостный свет — альма-матер ампутирована окончательно. Некогда повергавший меня в трепет строгий серый бастион — БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ НАУК. Заниматься в БАНе — это большой снобизм среди нашей золотой молодежи, которой туда пока что не полагалось; и какие часы возвышенного счастья я впоследствии там просиживал, прображивал по коридорам!..

Раскаленный воздух тесной площади был пронизан невидимыми сигнальными лесками: чуть зазеваешься — и ты уже на крючке. А по цепочкам зазвенит, замигает — глубже, глубже, глубже...

Слева тенькнула полуподвальная кофейня, с которой нагло вытаращались целых две новых вывески: «Multiprint» и «Авиакассы». В этих авиакассах за столиком с неубранной посудой Юлия однажды так разрыдалась, что сделалась совершенно фиолетовой, — рядом чудом не оказалось знакомых, только уборщица мимоходом утешила: не надо так расстраиваться. Это при том, что при посторонних мне запрещалось трогать ее за плечо...

Оскорбленная любовь очень легко (только, увы, непрочно...) переходит в ненависть — я одной ненавистью и спасался. Но ее ненависть оказалась попрочней. «Ты заметил, когда тебя нет, я о тебе забочусь, все покупаю, а как увижу твою самодовольную рожу...» А мне все было не привыкнуть, что моя невинная слабость опаздывать на две-три минуты ввергает ее уже не в умиление, а в совершенно нелепый (придирающийся к поводу) пафос: «Я тебе что, пес — привязал и забыл?!» Я уверен, если бы я оставался ее собственностью, она бы до сих пор сдувала с меня пылинки — нелегко мне было постановить, что это *нормально* — любить лишь то, что тебе принадлежит. Я сам не хочу любить Митькиного сынишку из-за того, что он не моя соб-

ственность: я к нему прирасту, а чужие люди будут учить чему вздумается, забирать когда вздумается...

Что-то культурные слои стали перемешиваться — меченная Славкой столовая-«восьмерка» со второго этажа напозает на авиакассы, меченные Юлей. Вонзившийся крючок — Славка — отозвался предостерегающими звонками, манящими огоньками по всей петле: «восьмерка» — аппендицит — профилакторий — опять «восьмерка»... Вот по темному коридорчику над пытошными сводами матеховского гардероба гордо удаляется наша Джина Лоллобриджида — доцент кафедры дифуров (дифференциальных уравнений) Людмила Яковлевна Андреева, которую снобы без малейшего с ее стороны повода развязно именуют Люсей, — роскошный изумрудный отлив ее синего костюма, коим могут гордиться также высохшие чернила и басистые мухи, лишь угадывается в полумраке, подобно зелени ночной ели, зато алое платье, в котором она принимала у меня вступительный экзамен, сквозь все наслоения просвечивает праздничным пионерским галстуком — я до такой степени обомлел от ее сверхчеловеческой красоты, что перепутал арксинус с арккосинусом, — тем не менее она уже с той пятерки запомнила мою легкрылую смеялку, а этот пустячок в нашем Эдемском саду разом смазывал все должностные и возрастные грани: может, и не зря в ее надменном кивке мне всегда мерещилось зернышко женского интереса, может, и напрасно я завидовал Славке, балагурившему с ней на семинарах, будто парубок у плетня, в то время как мои куда более отточенные реплики она — при явной симпатии — встречала не прелестным смехом, от которого слегка обрывалось в груди, а некой выжидательной настороженностью: уж не вообразил ли я чего?

Но в предыдущей картине Славке не до шуток: придерживая локтем живот, он кособоко поспешает за «Люсей» с зачеткой, а мы — друзья! — подбадриваем его развеселыми выкриками, ставя на Люсю три против одну, пять против одного... Славка исчезает за поворотом на недельку-другую, и мы — друзья! — изошряемся в версиях одна уморительнее другой, пока не выясняется, что он залег с аппендицитом. Бессердечие? Ничуть: просто с нами ничего не могло случиться. Когда Славка — как будто минут через десять — возник снова, он и сам похвалялся не глянцевым рубцом, а своей находчивостью: покуда медсестричка удаляла ему с паха постороннюю кучерявость, его красавец выпрямился во весь рост, а Славка якобы вычурно извинился: «Против природы не восстанешь».

Для полноты реабилитации Славке дали путевку в профилакторий с видом на Зимний дворец и кормежкой в крахмальном профессорском уголке, отгороженном ширмочками от плещущего щами и гуляшами оглушительного пластикового зала «восьмерки», — из этого уголка навстречу нам со Славкой протрусил однажды пухлый седоусый академик Фок с золотой звездой на лацкане и телесным натеком слухового аппарата на ухе. Я обомлел, а Славка с радостным азартом вытарашил голубые глазищи и, близко придвинувшись лицом добродушно оглаженного от острых граней ястреба (нежно скругленные рудименты крыльев заняли место ушей), заговорщицки потребовал подтверждения: «Видно, что он скоро умрет, да?..»

Как всякой парадоксальности, я и этой Славкиной манере в ту пору пытался подражать. Даже после двух лет в сверхатомном Арзамасе-16, уже хватив невидимых рентгенов подлинной жизни, Славка, все так же словно бы радостно тараша глаза, рассказывал, как во время термоядерной вечеринки выпала с пятого этажа (насмерть, насмерть) наша однокурсница Соколова, вышедшая замуж за нашего же однокурсника Соколова и отказавшаяся в загсе взять фамилию супруга: какой-то физик успел схватить ее за запястья, но только что вымыл руки — «вот ему теперь противно, да?..». Именовать ужасное противным, переносить внимание со страдательной стороны на деятельную, с исчезнувшей на живущую — ей-богу, в этом что-то было.

Зарекался же заныривать в нетрезвом виде — в нем я утрачиваю дар отсекал одним ударом припугавшиеся к ногам жернова воспоминаний. И, обтекая потом, как памятник под дождем, дивлюсь, что сквозь стены «восьмерки» мне всего труднее разглядеть Катю — слишком уж реалистически непрозрачен ее сегодняшний облик. Чем она там, в летейской толще, сейчас поглощена: протирает для нас палитру соусов на столовском пластике или ее девичья гордость еще удерживает в узде ее страсть опекать и наводить порядок?

Нет, если все столы были засвинячены, Катя непременно отправлялась на розыски тряпки, почему-то вечно марлевой. Вот Томка Вороница — та с полной непосредственностью гоняла других. «Тома, принеси мне, пожалуйста, чаю», — вдруг с самым невинным видом попросил Славка, и мы с Катюшкой покатались со смеху. А Томка обалдело застыла с полуоткрытым ртом — еще курносая пампушка, а не холеная молодая баба с нагло задранными ноздрями: мы еще только дружим, любовь еще не вступила в свои права, чтобы всех щедро окатить грязью и заставить возненавидеть друг друга. Когда Катя пользуется очередной оказией уведомить меня, что в былые времена я ее любил, а теперь не люблю, я с холодным бешенством приказываю себе: спокойно, это нормально. Точнее, непоправимо. Что из того, что я, проходя по коридору, с нежностью трогаю за рукав ее пальто, что я люблю ее движениями, детской серьезностью (из-за Катюшки я теперь люблю наблюдать за животными), с которой она гладит белье, стряпает, умывается, с особой тщательностью растирая уши (в восьмилетнем возрасте ей разъяснили, что это способствует бодрости), углубляется в книгу с внезапно увеличившимися из-за непривычных очков глазами; что из того, что у меня каждый раз сжимается сердце, когда мой не желающий смотреть правде в глаза взгляд снова и снова находит на прежнем месте все эти сеточки и веерочки морщинок; что из того, что я серьезно стараюсь сделать ее жизнь хоть чуточку более сносной; что из того, что когда она беспрерывно отжимает воспаленный нос или ходит изжелта-бледная от сердечной недостаточности, я испытываю сострадание и тревогу, а не раздражение, как в былые времена, когда я ее «любил», — что из того! Если она не в силах забыть тех лет, когда я торчал на Юле, значит, надо с этим жить.

Спасибо еще, она способна забываться — в болтовне (оставшись вдвоем, мы и сегодня, как в пресловутые былые времена, готовы проболтать царствие небесное), в постели (хотя, к неудовольствию моему, она по-прежнему не любит это обсуждать). А я — в отличие от былых времен — сегодня, наверно, уже и не мог бы спать с другой женщиной: я не вынес бы фальши ласк и поцелуев, которые из средств сексуального самостимулирования теперь превратились для меня в знаки — нежности и... дружбы, что ли? Если сегодня мне случается заглядеться на девушек, я почти всегда заглядываюсь на дурнушек — их доверчивая женственность, мечта о крупнице любви и готовность платить за нее в стократном размере не прикрыта надменностью красоты или глянцем смазливости, а потому особенно трогательна и... Да, прекрасна. Пожалуй, с кем-то из них я все же мог бы совершить дружеский акт.

Приятна все-таки эта восстановившаяся сытая снисходительность полноценного самца, спрос на которого существенно превышает предложение. Нулевое, собственно: мне не хочется никого, кроме Катюшки. И врать не надо, и... Я с отечески-блудливой улыбкой заранее устраиваюсь поудобнее, когда она разбирается под одеяло, каждый раз, чтобы оно расправилось, помолотив его розовыми после ванны согнутыми ногами, вот уж лет тридцать не подозревая, какое зрелище этим открывает опытному глазу. Но если ей случится уснуть раньше меня, я стараюсь не разбудить ее. Даже если она спит с открытым ртом. И даже явственно похрапывает. Я испытываю лишь мучительную нежность к ее заезженности и беспомощности. Особенно к ночной разгоряченности ее тела — к тому, что помимо ее воли и сознания в ней не унимаются какие-то химические процессы... А вот в те хваленые дни любви

я испытывал лишь раздражение, что она своей низкой физиологией мешает мне ее любить — мастурбировать ею.

Когда Юля меня бросила, я злобно твердил себе: да у меня таких... В ДК «Горняк» прибавляли: раком до Москвы не переставить. Но, к тревожному изумлению моему, я встретил настороженность там, где был уверен в полной готовности. Чем я их вспугивал — целеустремленностью, скрытой затравленностью, стиснутыми челюстями? Или просто одно дело лупить по стае из дробовика и другое — сбить пульей заранее выбранную уточку. Я стал сторониться женщин, опасаясь тронуться еще и на том, что недоделки вроде меня вообще не способны вызывать ничего, кроме...

Проснуться от невыносимой душевной боли, словно от рези в мочевом пузыре, и похолодеть от ужаса, что придется вы́ходить с этой болью целый нескончаемый день... Все вымахивает в символ: обронил двушку — даже на это не годишься, ушел трамвай из-под носа — таким всегда не везет, небрежно ответила дочь — даже дома меня не уважают. О смерти думается с такой проникновенной нежностью, какой ты никогда не испытывал ни к женщине, ни к ребенку. Останавливает не страх — его ты чувствовать уже не в силах, не помыслы о близких — они, ты убежден, будут только рады от тебя избавиться, — останавливает обиды: никак не смириться, что так вот все и в самом деле кончится. И все же чуточку отпускает, когда снова и снова примериваешься к отполированным рельсам в метро... (Сегодня-то мне и самоубийство противно, как любая мастурбация.)

Я пытался подкалываться ополосками утраченного кайфа. После работы, безмерно ненужной, но спасительной, ибо уклониться от нее было невозможно, я забредал в Публичку, где мы с Юлей когда-то проводили наши медовые часы, пока на ней от каждого столкновения со знакомыми не начала вспыхивать шапка. Многоярусные стены старинных книг, деревянная галерея, придающая зальчику отдаленное сходство (галера?) с каравеллой — вот вот услышишь удары волн о дубовый корпус, увидишь росчерки летающих рыб за окном... Это, собственно, и есть рай — библиотека и одновременно каравелла для странствий по двум океанам сразу.

Блуждая глазами по странице, я то отвожу взгляд на бронзовую в фонарях величественную Катюку за окном, то внезапно, будто сачком, пытаюсь накрыть в проходе спрессованную моей надрывающейся мечтой Юлю, поправленную зимней формой одежды, заранее лучашуюся...

Когда эта доза перестает цеплять, забираю свою откатившуюся к соседке голубую ручку и ухожу, напрягая все силы, чтобы отрывать подошвы от исшарканной ковровой дорожки. В гардеробе обнаруживается, что в моем портфеле уже есть голубая ручка, — ладно, соседка не обеднеет. В незапамятные времена у этого же барьера я обратил Юлино внимание на оставленную кем-то на подзеркальнике коротенькую — как раз для рубашки — шариковую ручку. Возвращаясь часов через пять, я увидел ручку на прежнем месте. «Не бери, не бери!..» — фанатично зашептала Юля, прочтя мои несложные мыслишки. Я протянул руку — ясно же, что ручка забыта безвозвратно, — и вдруг ее смазанные губки задрожали, всегда словно бы смеющиеся глазки наполнились слезами...

— Я не хочу, чтобы ты даже такой мелочью был испачкан! — страстно благодарила она меня, когда мы шли по самой короткой и прекрасной в мире улице Росси.

Как же она не видела, что я перепачкан с головы до ног?

Раздавленный согбенный старик, донимаемый одышкой, я шаркал сквозь редкий, но беспощадный встречный поток бесконечно ненужных, но напористых фигур к Инженерному замку, где когда-то, как бы резвяся и играя, я впервые пытался ее обнять, а она выворачивалась, игры, однако, не прерывая. Впоследствии она долго напоминала мне, что лишь по исключительному благородству души она не сдала меня притормозившей милицейской машине.

С бесконечным терпением бессильного (малейшее раздражение немедленно обрушилось бы на мою же голову припадком совершенно несоразмерной ненависти к себе) я пробирался сквозь тесную, но могучую кучку, осаждавшую ресторан «Баку», и чуть не задохнулся от ужаса, когда кто-то от стеклянной двери схватил меня за руку. Мой бывший завлаб, в прошлом подводник, намеревался обмыть встречу со старым корешем.

В «Баку» гремел, сверкал и чадил купатно-шашлычный праздник жизни, на котором мне уже никогда не будет места.

— Дорогие гости! — Сверкающий горлодер со сцены обращался к полосуемой разноцветными прожекторами публике почти подобострастно, прежде чем завывать и задергаться, заряжая еще большей бесноватостью скачущую у его ног танцплощадочку.

Но когда в зале начинали его поддерживать ритмическими взвизгами, он становился прямо-таки вкрадчивым:

— Дорогие гости! Кто хочет вижжять, может пройти в вижжяльню.

Разговаривать было невозможно — кореша орали друг в друга, словно под восьмибалльный шторм. Мой бывший шеф (я уже ходил в лакотряпочниках) был хороший мужик, но тоже мастурбатор: доказывал, что он все еще моряк, а не орловский жополиз с синим якорем на руке да флотскими смехучками на языке. Я тоже когда-то самоуслаждался с ним на пару, рискованными загулами доказывая себе, что я не то что прочая дворня (в приближенные меня Орлов и не пустил бы). И тем не менее единственным настоящим мужиком за нашим столиком был этот полированно лысый, с разноцветными бликами кап-два. Как истинный герой он рассказывал не о подвигах и штормах, даже не о стрельбах и катастрофах (ну, заело зенитку — так выставили канистру спирта, им и выставили четверку; ну, сварился кок во время пожара на тонущем судне — так что поделайся, если в иллюминатор одна голова пролезает — звать на помощь отличников боевой и политической подготовки), а все больше о потешных случаях: Севастополь — Ялта, такси, перекинемся в картишки, все бабки за полгода; сошел с мурманского, последнюю бутылку прямо на перроне, мест нет, койку вместе с племянницей, прочухался, а ей лет тринадцать, совращение — сто процентов, что-что — проверил уроки, чего ж еще!..

Вальпараисо, Рио-де-Жанейро... На берег пускают только по трое, он старший по званию, молодых козлов не удержать, трехчасовое дежурство у публичного дома, непреклонность охраны — «тикет!», «за что же тикет, мне же только фрэндз!»... Раз уж все равно заплачено... Как из брандспойта... Отнеслась очень сочувственно... Козлы в общем зале: коммунизм — с третьего раза бесплатно...

Я старался не портить мужикам кайф, хотя обмякшие мышцы лица почти не слушались, но сам уже не выражал ни чрезмерного восторга, ни чрезмерной зависти, ни чрезмерной любви: завтра все равно каждый пойдет своим путем, никакие объятия и признания ничего не означают — ну так и ампутировать их к чертовой бабушке. Однако рюмка за рюмкой бескрайнее поле сознания стягивалось в узкий оглушительный и ослепительный иллюминатор, и спасительный дар лгать, не зная, что лжешь, начал возрождаться во мне.

Неожиданно стола через три я увидел семафорно мигающую москвичку Ольгу Кудрову из Института Келдыша, раскосую и надменную, как корабельная дева. Она что-то гневно выкрикивала двум слегка прибалдевшим мирным лицам кавказской национальности, в стремительной позе надвинувшись на них через стол и припечатывая каждую фразу вертикальным спичечным коробком. Как патриот Ленинграда я всегда держался с ней официально, однако тут я вдруг почувствовал себя до потери дыхания влюбленным в ее таинственные скулы, в ее надменную раскосость... Я подошел к ней и, слегка ошеломив восторгом встречи, пригласил танцевать. В трясках и скачках я в свое время считался вторым после Рижского-Корсакова, кото-

рый, казалось, вообще состоял из одних привычных вывихов, — зато я был сильнее и мог более замысловато вертеть партнершу. Я погрузил столичную штучку в целый смерч ритмов, шуток и гусарских комплиментов: «Что за дела! — кричал я ей, содрогаясь, как выхлопываемый половик. — Эти черно-мазые отнимают у нас самых красивых женщин!»

Оказалось, из-за своего английского она была вынуждена показывать Ленинград двум сирийским коллегам. «Да пошли их к черту!» — умолял я ее, не выпустив и на медленный танец, и, не в силах сдерживать разрывающую мою грудь страсть, принялся все более самозабвенно целовать ее в потную шею. Она казалась несколько ошалевшей, но поцелуям не препятствовала.

«Поехали со мной», — звал я ее сам не зная куда, и она заметно подавалась. Я бросился звонить, но в укромном телефонном уголке внезапно понял, что можно сначала позвонить Юле.

— Ну как жизнь? — с долей снисходительной игривости спросил я, строго напоминая себе: это я просто так, я притворяюсь.

— Я же просила тебя так поздно не звонить, папаша недоволен.

— Пардон, пардон. Но раз уж это несчастье все равно произошло... — Я притворяюсь, мне на нее...

— У тебя какое-то дело?

— Самое важное — узнать, как твое здоровье. — Это я нарочно паясничая, нарочно!

— В порядке. Спасибо зарядке. Все?

— Ну, если ничего другого... Пошла ты к...! — завершил я в панически запикивающую трубку.

Я притворяюсь, притворяюсь, притворяюсь, остервенело повторял я, с безнадежностью наблюдая, что уже колочу по стене кулаком, всхлипывая, как ребенок: «Я притворяюсь, притворяюсь, притворяюсь, притворяюсь...»

Я бы сгорел со стыда за свою тогдашнюю хирургическую беспомощность, если бы с тех пор не выучился прихлопывать бесполезные чувства стремительно и точно, как обнаглевшего среди бела дня таракана. Я очнулся у «восьмерки».

Мы с Катькой и Славкой чуть не вприпрыжку спешим поперед батьки в пекло от исколупанных, но страшно египетских сфинксов у Академии художеств к родным Двенадцати коллегиям, никак не в силах наконец наговориться и нахохотаться, перескакивая с патетического на дураческое. «Хорошее слово — *чертеча́о?*» — радостно тарачит Славка, и мы помираем со смеху: чертечо, чертечо, чертечо... А еще он в детстве думал, что это одно слово: цветлицáа. Каково — цветлица! А я думал, что есть слово «кустраки»: кустраки, ты над рекой. «Вы любите со словами играть!» — радостно определяет Катька еще одну нашу совместную черту: наконец-то у нее появились такие умные и веселые мальчишки, она извелась в своем Заозерье быть вечно умнее всех. Мы пока только дружим, а потому вполне счастливы друг с другом, любовь еще не пришла, чтобы все... Славкин анекдот: два француза поставили на стол голую девку, воткнули в известное место бутылку из-под мартеля и только расположились насладиться зрелищем, как один из них выглянул в окно и махнул рукой: ну вот, сейчас придет Жан и все опошлит.

Жан еще не позвонил, все вокруг сверкает синью, золотом, малахитом, но все-таки и Нева с ее кораблями, и Академия с ее художествами, и Исакий с его солнцем в куполе, и университет с его науками были только дивными декорациями главного спектакля — нашей жизни. Мы вечно будем шагать и смеяться среди наук, художеств, красот и кораблей, на которых я когда-нибудь еще не раз пересеку экватор и полярный круг, попутно совершая открытие за открытием к восхищению терпеливо ждущей меня на далеком берегу... Она была бы Катькой, если бы этот туманный образ допускал

хоть какое-то конкретное воплощение: любовь действительно неземная страсть — она не терпит для себя никаких реальных границ.

Но пока неземное еще не успело уничтожить земное, любовь — дружбу, неопределенность мечты — определенность счастья, мы уже доскакали до ревущего стыка Съездовской линии с Университетской набережной, напоминающего критический поворот автотрека. «Почему собаки гончие, а машины гоночные?» — прокричал Славка, и мы, радостно расхохотавшись, ринулись в мимолетный просвет среди ревущего, обезумевшего от душливого бензина автомобильного стада. Вылетев к бывшему Кадетскому корпусу, мы оглянулись на струхнувшую в последний миг Катьку. Совершенно круглыми от ужаса глазами она метала молниеносные взгляды то влево, то вправо, и ее густого золота волосы, в ту пору ничуть меня не интересовавшие, тоже метались почти в противофазе. Потом ее закрыл автобус, а когда дым рассеялся, мы увидели уже только ее спину, улетающую во все лопатки (голова была до упора втянута в плечи). Мы переглянулись и покатались от любовно-снисходительного смеха (маньяки, маньяки...).

Ого, вместе с Катькиной спиной восстановилась из небытия и обтянувшая ее табачно-зеленая блузка. А за нею возродился и собственноручно пошитый Катькой сверхпрочный синий костюм, в котором она, стоя на валуне среди ручья под сказочными елями, медленно-медленно кренилась вправо (мы, уже в Заозерье, решили посетить барачного вида опасный кинотеатришко), не сводя с меня этих же самых совершенно круглых глаз. Мы оцепенело смотрели друг на друга, пока она наконец со вкусом не уселась в ручей, как в ванну. Я все еще умел дружить только по-мужски, без подавания ручек: каждый сам должен видеть, куда ступает. «Ну вот», — сказала Катька снизу из ручья, и меня опять разобрал неудержимый смех. Смешно дураку, что нос на боку, любовно-снисходительно комментировала Катька в подобных случаях, если только мой дурацкий смех не казался ей свидетельством, что я ее «не люблю». Тот — еще не казался. И зря.

Вообще-то она и сейчас любит, когда мне раз что-нибудь в полгода вдруг захочется на полминутки повалять дурака: если человек (я по крайней мере) чересчур серьезен, это не к добру. Когда-то во время перерыва на меня ей впервые показала Верка Пташкина: «Этого мальчика я люблю». Я по обыкновению хохотал, и Катька подумала: какой веселый. Потом нас с ней познакомил Славка — Катя Ковригина, Катя Ковригина, с удовольствием выговаривал он, — и с нею я тоже первое время беспрерывно острил. А потом она увидела меня в бесконечном коридоре Публички — не россиянской, а кваренгиевской, что на Фонтанке, — и ее поразил мой серьезный вид. А еще больше — собственный испуг: она вдруг бросилась в первый попавшийся зал.

Сегодня не только ее круглые от ужаса глаза в ручье, но даже тот ее девчоночий испуг отзываются во мне такой болью, что я немедленно отсекаю их непроницаемой переборкой: лучше поменьше предаваться раскаянию, жалости или умилению, а побольше делать для тех, кого ты обидел. И все-таки я обнаруживаю себя перед «восьмеркой» с трепещущими на глазах бессмысленными выделениями, которые я единым окриком гоню с глаз долой: пусть льется только честный труженик-пот. А теперь передо мной заурядное здание с убогими флорентийскими потугами — что из того, что за этой рыжей стеной в какой-то другой жизни невменяемый юнец, носивший мое имя, захлебывался с удвоенным напором, чтобы отвлечь себя и Катьку от прискорбного зрелища их общего друга, в одиночку поглощающего перенасыщенный вишнями и сливами компот ассорти, что из элегантной (узкой, а не пузатой) венгерской банки, открывавшейся без консервного ключа: достаточно было расстегнуть золотой пояс.

— Если разделить, вообще же никому не достанется? — доверительно потребовал нашего согласия Славка, и я закивал головой с удвоенной поспешностью: я-то был уверен, что и молекулу следует делить на атомы.

Кажется, вариант «весь компот — Катьке» мне тоже еще не пришел в голову, хотя Катька уже не раз изумляла меня тем, что может отправиться в магазин, купить банку этого самого ассорти или сто грамм конфет «Южанка». Разбирать сорта конфет — это само по себе было странно, а уж специально покупать можно было только «ветчинную» колбасу по два двадцать или водку, а конфеты есть, только когда угощают. Я, как все люди с тонкой душевной организацией (для меня это не самокомплимент, а признание в постыдной слабости), собственно, тоже знаю толк во вкусной еде, но на что-то ради нее пускаться...

Сегодня я многое бы отдал, чтобы снова сделать Катьку лакомкой — это означало бы хоть крошечную регенерацию спасительного легкомыслия, — но тщетно: вкусненькое она покупает только для нас и для гостей, а сама почти беспросветно умерщвляет плоть изуверской диетой, доказывающей, в сущности, что еда не так уж необходима человеку.

Зарекался же пить эту слезогонную жидкость — я теперь избегаю даже музыки: с первых аккордов оказываешься словно бы в ударающем по глазам не столько даже невероятной красотой, сколько огромностью зале, но уже в следующие секунды у него как будто распахивается крыша, и развернувшаяся безмерность поднимает со дна души что-то настолько огромное и бесцельное... Мне некуда это деть, мне негде с этим поместиться в реальном мире.

Из безбрежных мастурбационных пространств духа я в который раз материализовался на тесной жаркой площади... Ба, площадь перед БАНом теперь носила имя Сахарова!

Впервые это имя было выловлено из Бибисей Толиком Кучеренко, обструганным простовато, как все любители политики, во время таймырской шабашки на берегу ледникового озера, то и дело вспарываемого галошами гидрокукурузничка «Сергея Санин», на фоне далеких сопков, обведенных голубиной нежностью сизой каймой, — «отец водородной бомбы» в ту пору звучало для меня немногим почтеннее, чем «отец стиральной машины». В нашей аристократической гильдии точные науки (все прочие были не науки) считались чем дальше от реальности, тем престижнее: превыше всего сияла какая-нибудь топология, матлогика, алгебра. Я был, кажется, единственным на курсе, кто добровольно пошел на механику, — это был первый шаг к чему-то грандиозному — космос, термомод... В мастурбационной культуре — М-культуре — грандиозными бывают только образы, символы — реальность в ней всегда ничтожна.

Короче говоря, Сахаров был не фигура. И когда Толик, ворочая запорожской шеей, внушительно, словно рапирой, вращал тараканьим усом «Спидолы» — «...здеть-то всякий может, а Сахаров *латформу* выдвинул», — я ощущал лишь кислый скепсис: ерунда небось какая-нибудь... Права человека, соблюдение законов... Что можно отнять, не право, что можно нарушить, не закон — кто же принимает всерьез писанные законы, в ДК «Горняк» тоже висели на стене правила для танцующих: запрещено появляться в нетрезвом виде, запрещено исказить рисунок танца, девушка имеет право отказать пригласившему ее кавалеру... Попробуй откажи какому-нибудь урке! И когда впоследствии до меня доносились очередные бедствия бедного Сахарова, я испытывал только сожаление пополам с досадой, словно какой-то пятерочник отправился в «Горняк» на танцы и там, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, вступил в конфликт с тамошней братвой.

Да и чем они таким владели, эти урки, за пределами своего сортира — весь блистающий мир простирался к твоим услугам: библиотечные полки ломились от великих книг, берега великих материков содрогались от океанского прибой, девичьи лица светились восторгом, не замечающим твоей униженности, — ее, стало быть, и не было! Когда Славка тоже начал самоуслаждаться диссидентством — остороженько, в моем присутствии, по

крайней мере (в нашей компании было не принято гореть трюизмами, звать в воду, не прошупав броду): но ведь, мол, в странах с частной собственностью живут лучше? «Кто-то лучше, а мы, может, будем хуже... Частная собственность не только в Швейцарии — она и в Африке, частная собственность...» — нудил я с неловкостью за то, что толкую о вопросах, в которых мы оба ничего не смыслим. Да и кто сказал, думалось мне, что материальный уровень — самое важное, может быть, психологические потребности всегда будут идти вразрез с экономическими...

— Тебя не удивляет, — вдруг дошло до меня, — что на семинарах мы, сравнительно понимающие люди, месяцами не можем найти решение. А то и никогда. А политические проблемы в тысячу раз более сложные, изучают их в тысячу раз менее тщательно — и за три минуты приходят к полной ясности. Не странно ли?

Славка задумался (это-то нас и сгубило), а у меня еще тогда забрезжило, что массовые модели социальной жизни создаются не для понимания, а для коллективного самоуслаждения — для совместного потрясения то восхитительным, то ужасным, но неизменно освобожденным от всего неопределенного и противоречивого, а следовательно — всего истинного. И вот — безумство храбрых — Сахаров обзавелся площадью близ университета, где профессора теперь получают по сто двадцать долларов в месяц, Славка обрел покой в Земле Обетованной, а я, скользкий от пота уж...

Слева отозвалась коротко и косо натянутая леса Биржевого переулка — смесь складских задворок со скромным классицизмом мимолетного просвета на Волховский тупичок, упирающийся в немедленно воскресший в спущенном с цепи воображении Тучков переулок, вливающийся в Средний проспект, впадающий аж... Но дальние сполохи матмеха, общежития, залива не затмили мигания сигнальных огоньков «Женька» — «доверчивость» — «благородство» — «юдофобство». Мы со Славкой на углу Среднего и Тучкова вопреки очевидности уверяем негодующе фыркающего слюной через сломанный передний зуб Женьку, что в обход по набережной Макарова короче, чем по Волховскому — Биржевому. Ударив по рукам, мы со Славкой немедленно ударяемся в галоп (от неведомо куда несущихся молодых людей сегодня мне сразу же хочется проситься в палату для тихих) и выскакиваем на мою теперешнюю позицию метров на пятьдесят впереди честно шагающего Женьки, и он долго дивится этому странному феномену. Он и врал-то прежде всего из-за своей доверчивости, ограждавшей от низких сомнений даже его же собственные выдумки. Из крупных фантомов у него вначале имелся только оставшийся их с матерью из-за каких-то мужественных причин отец, грузинский князь, во время войны являвшийся в немецкой генеральской шинели на захваченную фашистами станцию и без единого немецкого слова прикреплявший мину на стратегическом вагоне. Затем появился двоюродный брат-физик, лауреат Ленинской премии, вскоре сронивший со своего лаврового венка скучное уточнение «двоюродный»...

Вот из-за этой-то доверчивости к себе Женька с забытым в наш век достоинством (образец — Жерар Филип в «Красном и черном») отбрасывал как бы черные волосы как бы скрипача (завершить азы ремесла помещал абсолютный слух и стремление иметь дело только с музыкальными шедеврами) и единственный из моих знакомых употреблял слово «благородство». Поскольку себя он судил по чувствам, а других по делам, в благородстве он, кажется, не имел себе равных. Наше с Женькой знакомство началось с того, что незнакомый хмырь — весь обтянуто-черный, как злой волшебник из «Лебединого озера», невольно веришь, что он жгучий брюнет (мягкий нос и безвольный подбородок разглядишь далеко не сразу) — как ни в чем не бывало попросил у меня рубль до завтра. Я дал ему последнюю пятерку разменять в буфете — сдачу пришлось ждать примерно неделю. Он благодарил

меня с забытым ныне благородным жаром: «Ты страшно меня выручил!» Можно ли после этого сказать: «Ты страшно меня подвел?»

Может быть, еще и поэтому, в очередной раз выслушивая Катькины размягченные раздумья: «Все-таки Женька тебя по-настоящему любит», я однажды вдруг прозрел: «Если где-то столкнемся — продаст и еще будет считать себя правым». Без любви к истине, к тому, что есть на самом деле, не может быть никакой морали, а Женька не умел честно спорить — выкручивался до противного. Тем не менее я еще вполне благодушно позволял ему мять и оглаживать мою руку, с нежностью мурлыча при этом мою совсем не приспособленную для нежностей фамилию, пока Славка не принимался еще более умильно оглаживать другую мою руку. В зависимости от настроения Женька мог, сверкнув угольно-желтыми глазами, бешено хлопнуть дверью, но мог и прийти в удвоенное умиление от эстетической завершенности Славкиного ехидства: нет, ну какой Роич — это прямо Россини, послушайте, послушайте, это же такой Роич!.. Громким, несколько гундосым голосом (вечный насморк уроженца Крыма) он с абсолютной точностью выпевает проигрыш «Дона Базилио»: «...три-ри-рьям, ти-ри-рьям, ти-ри-рьям» — это же такой Роич! У вас нет Гяурова? — порывисто ставит мою любимую пластинку: послушайте, послушайте — блль! — поцарапал (мое сердце, но я терплю — гость!), — хорошо с вами, Люська вот никогда не слушает, Бах не Бах — сразу начинает шуршать, я взрываюсь — я вспыльчив (весьма почетное звание): тупая корова! — хорошо женщинам, от всего могут защититься слезами, может, я бы тоже так хотел — Люська в столовой всегда берет вилку только на себя, твой муж, Ковригина, никогда так не делает, я уж какими ее только словами... То, что она красавица, еще не дает ей права...

По нашим лицам прокатывается сдавленное негодование: Люська вовсе не красавица, а эстет («тет» произносить как в слове «тетерев»), Юра Разгуляев просто страдает: «Нос у нее уж-жасно нехороший», — но нас-то выводит из себя не нос турецкой туфлей, а бесцеремонность, с которой он навязывает нам свою личную иллюзию. А Женька тем временем вспоминает, что по прочтении какого-то куртуазного романа он решил изъясняться с неиссякаемой текучестью посредственного адвоката:

— Не премину заметить, что в современной нам Латвии весьма ощутимы следы буржуазного наследия, поскольку даже в невоспитанной России весьма немногие стали бы на жениха своей дочери пинаться ногами. Но такова моя участь у буржуа — я беден, — жерар-филиповский отброс головы и наша всегдашняя оторопь: беден... каким еще можно быть в наше время — нормальным! — Я предпочел бы, чтобы в моем лице этот лошешный хам встретил твоего, Ковригина, супруга, исключительно с целью преподать этому гаду маленький урок — задницей об ступеньки. Правда, это с твоей стороны было не слишком благородно, я же только хотел поугать — знаешь, как больно копчиком... Не люблю вишневый компот!

— А ты не мог бы выражать свою нелюбовь каким-нибудь другим способом? — сладчайшим голосом спрашивает Славка. — Ты в своей ненависти к компоту уничтожаешь уже третьи полстакана.

Мы с Катькой (особенно Катька) были люди широкие, еще полные голодранцы, мы уже держали открытый дом, но нас (особенно Катьку) раздражало, когда не слишком званный гость, не позволяя нам проявить нашу широту, с неудовольствием крутил головой: «Что-то совсем не хочется есть!» — и один за другим отправлял в свой безостановочно болтающий о чем-то совершенно постороннем рот считанные куски.

Господи, с некоторых пор он взял еще и моду поглядывать на Катьку с надколотой, как чашка, гусарски хулиганской блудливой улыбкой, этаким чертом подсаживаясь к столу то одним, то другим боком: «А ты, Ковригина, оказывается, ничего...» — И бедовый взгляд на меня: «Жалко, мы с тобой друзья!..» — «Ты попытайся, я разрешаю». — «Серьезно?.. Нет, все равно не

могу. Ты не понимаешь, что для женщины значит *внимание!*..» Неудобную реальность в него было не вбить и кувалдой.

Вся зона «Женька» засигналила лирическими аккордами, в каждый из которых вливалась зудящая стоматологическая частота, замигала сценками, уже не вызывающими любовно-снисходительной улыбки, ибо теперь мне был известен конечный итог, который и определяет все. Меня больше не забавляет, что Женька должен был безостановочно что-то вертеть — стул, пока не отберут, бритвочку, пока — бль!.. — не порежет палец, спичечный коробок, пока не усыплет весь пятнистый от сигаретных ожогов, вздутый от разлитого чая и пива фанерный выщербленный стол крошечными прямогольничками, которые уже не удастся переломить пополам, — теперь я стараюсь держаться от нервных личностей подальше: вечные внутренние кипения надежно защищают их от истины, от справедливости...

Вспыхнуло: радостно возбужденные («Земля, земля!»), мы готовимся к броску в гастроном «Колбасы» на углу Гаванской и Шкиперского протока (улица!): нас ждет роскошное пиршество с яйцами. «Женьке не давайте, он разобьет!» — радостно кричит Славка, и Женька оскорбленно откидывает шевелюру: нет, он понесет (снесет, хохочем мы) яйца самолично! Магазин еще увешан седыми пятирублевыми колбасами, но мы их даже не замечаем: предел наших мечтаний — корейка за два семьдесят (народ предпочитает бледную «отдельную» уж не знаю от чего колбасу за два двадцать, но я слишком много повидал ее в раковинах умывалки после каждого праздника — еще более бледную с перепоя). Женька с яйцами осторожно семенит по песчаному снегу, нежно укладывает авоську с гремучим кульком на стол — ну что, Роич, съел? Одержав победу, он гордо расхаживает по прокуренной, как пепельница, комнате, трогает скрипучие стулья, визгливые кровати, облупленные эмалированные кружки (все абсолютно естественное и родное для нас), берет со стола авоську с яйцами, начинает ею размахивать — и трахает о батарее.

Эхом отзываются другие яйца: Женька со Славкой сидят за чудовищной глазуньей, все миски круглятся яйцами — прямо чемпионат по настольному пенису, как выражается Славка. «Давай подсаживайся!» — радостно машет он мне, что совсем на него не похоже. Женька тоже сияет — редкий случай, когда и он имеет возможность размахнуться во всю ширь своей русско-грузинской души: мать поездом через проводника передала ему ведерко крымских яиц. Да, уже и Пузя там сидела, задорно поблескивая подзаплывшими глазками: подпытываясь нелепой, умственно сконструированной Славкиной влюбленностью, даже она на некоторое время принялась играть не всевидящую искусственную женщину, а добрую самовлюбленную девочку — чувствовалось, как она, кося на себя в оловянное платяное зеркало, мысленно произносит: «Ее задорно вздернутый носик» — выражение (лица), за которое она (заочно) сжила бы со света не только ту, кто на него покусилась, но и тех, кто ей попустительствовал. Странно даже вспомнить: в сильном поддатии мы с Пузиной сидим на полутемной предчердачной лестнице, занесенные туда сумбурной трехкомнатной вечеринкой, и мне ужасно хочется ее обнять в неосознанной мечте о какой-то сверхъестественной любви, но слишком уж она даже для пьяного самоудовлетворения коротенькая и толстенькая во все стороны, особенно в сторону живота, а Славка давно уже открыл мне, что самое неприемлемое в женщине — живот. У нее все время открывались какие-то новые оправдательные беды: за несчастной любовью к Юре Разгуляеву — два детских года в гипсовом корсете... Женька и сейчас усматривал у нее горб, утверждая, что жир не может нарасти такой горой. Мог вдруг брезгливо задуматься: «Интересно, какая Пузина голая — все висит, наверно...» «Нет, молодая все-таки — правда?» — с глубочайшей заинтересованностью искал у меня подтверждения Славка — исключительно в видах истины, ибо проблема ставилась еще до их дурацкого романа — в пору ее

романа безобразного с Юрой Разгуляевым, обожаемым Славкой в качестве арбитра изящного, что не мешало Славке частенько гонять Татьяну из их с Юрой общей комнаты... И вот, за дармовой яичницей, такая вдруг любовь...

Внезапно мне сделались противны их радостные лоснящиеся рожи... «Это мать тебе прислала, — едва сдерживаясь, сказал я — остальное Женька должен был прочесть в моих глазах: мать-проводница не сходит с рельс, чтобы тебе, обормоту, вечно сидящему без стипендии из-за своего раздолбайства, слать деньги на любую твою дурь — на внезапно нахлынувшее фехтованье, требующее немедленного обзаведения рапирами, сетчатыми масками и белоснежными стегаными нагрудниками, на беспрестанные поездки в Ригу к «красавице» Люське, отчисленной с биофака, из-за того что с тобой спуталась, на... Но Женька в миролюбивом порыве — сквозь землю провалиться! — обнял меня: «Матери же нравится доставлять мне удовольствие». — «Так тебе бы хоть раз понравилось в ответ...» — «Рахметов! Павка Корчагин! Твой успех у определенной категории женщин наводит меня на мысль, что прекрасный пол даже в наше циничное время иногда возвышается до способности ценить рыцарские доблести: я Верке Пташкиной подбивал клинья — это трудный случай». Он, откинувшись, смотрел на меня восхищенно-снихождительным взглядом грессмейстера, уступившего третьеразряднику, одновременно вытягивая у меня из-под мышки коричневый том Паустовского. «„Она встала на колени, сбросила плащ и расстегнула смутно белевшее платье. Поцелуйте ее, властно сказала она и коснулась груди концами пальцев”, — прочел Женька и жалобно возопил: — Почему со мной никогда такого не было? — и зашептал мне на ухо: — Пока стащишь что-нибудь... Люська в последний момент начала бедрами двигать, рывками — влево, вправо — невозможно попасть! Я когда простыню обменивал, бельевщице стоило больших усилий не подавиться со смеху, она, кстати, тоже ничего...»

Он бывал ужасно милым иногда, но я не умею прощать — не знать того, что знаю.

Маленькой Верке откликнулась цепочка: «лопнувшие штаны» — «швейная машинка» с побегом «апельсины» — «Томкин пояс» — «Томка».

Однажды, вернувшись из Риги, где ему пришлось коротать ночь в позе эмбриона на неласковом буржуазном вокзале, Женька отправился сшибить конспект в «рабочку» — большую комнату для занятий с утра до вечера и валъпургиевых плясок с вечера до упаду в кольце оттиснутых к стенам столов и стульев. У большого полукруглого окна до полу, сквозь которое виднелись цементные фасадные знамена, торжествовавшие над придвинувшимся к общежитию стадиончиком заветными буквами «Л», «Г», «У», Женька увидел Верку Пташкину и немедленно рассыпался каскадом поз одна изящнее другой. «Женя, у тебя, по-моему, что-то с брюками не в порядке», — сдерживая смех, вполголоса сказала Верка, и Женька, похолодев, схватился за ягодицы — точно, обе руки угодили в расплзшиеся пасти, чрез которые, ясное дело, зияли голубые кальсоны: южанин Женька постоянно разрывался между страстью обтягиваться и желанием утепляться. «Да? Скажи пожалуйста». Делая вид, будто ничего особенного не случилось, Женька вышел в вестибюльчик и долго оглядывал себя перед большим мутным зеркалом.

Лопнувшим Женькиным штанам мимолетно откликнулся другой звук, о котором мой русский дед так и говорил: штаны порвал.

Женька, как бы гарцуя под взглядом дежурной четверокурсницы, перебирает возле вахты письма в своей клеточке «М» (обтянутые ножки и короткое пальто со сбитыми назад могучими плечами — правильная трапеция основанием вверх); внезапно по неизвестной причине он выдает короткую очередь — и вихрем уносится прочь. «При незнакомой еще ничего, — размышляет он. — Хуже всего, когда убалтываешь. Когда все свои тоже лучше». — «Сомнительно...» — криво усмехается Мишка. «Ну что тебе лучше — при Ковригиной или...» — «Я бы не хотел, чтобы это случилось», — очень серьезно хмыкает Мишка.

Женька единственный среди нас с большим вкусом разглагольствовал о своих падениях — оттого, наверно, совсем их и не боялся: в М-глубине его образ оставался непоколебленным грубыми внешними фактами.

«Когда я уехал поступать в МИФИ, — Женькино прошлое исполнено драм: его отчислили из сверхсекретного Инженерно-физического института за то, что он скрыл таинственную судимость покинувшего их отца, — она познакомилась с молодым мужчиной тридцати лет. Я был, в сущности, мальчишка — вряд ли можно ее осудить за то, что она не сумела устоять. — Мы с понимающим видом киваем, хотя никто из нас не считает себя мальчишкой. — ...Как ты могла?! Ничего, кроме слез... Не выдержал — обнял... Повело... Но какое все-таки низкое существо человек: после первого раза я не стал ей ничего говорить: думаю, сейчас снова захочется... Еще вынуть не успел — сука ты, б... Смотрю на ее вздрагивающую голую спину... Ведь с моей стороны было бесчестно...

В краткую эпоху хозяйственной Томки Женька устроил целую вакханалию зауживаний — Томка денно и ночно стрекотала на прокатной машинке, а Женька без усталости обтягивался и красовался. Когда же беременная Томка отбыла к себе в Петрозаводск, прокат продолжал засыпать Женьку строгими открытками, пени росли, но вольнолюбивый Женька никак не желал уделить этой скуке два своих драгоценных часа. Наконец он зашел ко мне тщательно обтянутый, решительно перевешиваясь от чугунного изделия города Подольска. «Давай отвезем машинку в прокат?» — «Я-то за каким рожном?..» Продолжая меня уговаривать, он потащился за мной в буфет, на почту, в баню, в кино — я оказался в решительной фазе, — так что вечером стрекоталка была вновь водружена на прежнее место.

Он мог и просто так за тобой увязаться — в тот же буфет с багровыми сардельками и желтой манной кашей, в деканат с могущественной, но снисходительной секретаршей Вале́й, знавшей всех хвостиков по именам и прилежаниям, в темную факультетскую библиотеку, опоясанную средневековой деревянной галереей, в кинотеатр «Знание» с малонаселенным фильмом о какой-нибудь дальней стране, — и вдруг на пересадке из морозного трамвая в морозный троллейбус вспыхнуть небывалой страстью к апельсинам. Апельсины не водка, они при наших деньгах были фруктом уж вовсе нездешним, но Женька должен был не просто полакомиться, а еще и *упиться*. Вылезем из в муках выплясанного трамвая, съедаем по паре — Женька не упился. Снова выходим, мне совсем уже жалко денег на такую дурь, но он благородно делится, — однако съесть пять штук еще не означает *упиться*. От участия в третьем заезде я отказываюсь — человек не в себе: не разламывая плод на цивилизованные дольки, он въедается прямо в истекающее соком нутро. «Теперь ты понял, почему я не пью?» — гордо спрашивает Женька, и я понимаю: если относиться к себе, как к заслуживающему уважения постороннему, любая дурь будет властвовать над тобой.

Из романа с апельсинами Женька вынес сладкие пятна на новых брюках, которые почему-то хотелось назвать панталонами. В пору краткой любви с Томкой Женька отыскал приемлемый компромисс между обтяжкой и утеплением — Томкины чулки с атласным поясом и болтающимися резинками (колготки были еще редким земноводным), — остается восхищаться вышколенностью портного, перед которым рассеянный Женька однажды предстал в этой сбруе: в то чистое время нестандартной сексуальной ориентации придерживались лишь истинные аристократы.

У Женьки даже «индпошив» брюк превращался в громогласную, исполненную драматических событий операцию, а я первые заказные штаны — расклешенные, с горизонтальными карманами — тихо-мирно пошил исключительно под Славкиным влиянием (выйдя из-под которого я сквозь протесты Катки неуклонно пробиваюсь к заветам отца: 1. дешевле, 2. проще). Размеры у нас оказались один в один, но Славкины сильные кривоватые

ноги баскетболиста были чуточку короче, отчего и клещи мотались вокруг них с б ольшим историко-революционным шиком.

Когда Славка после Арзамаса-666 уже года три сидел в отказе и я разыскал его в придеповском бараке города Бендеры, он, по-прежнему радостно тараща глазищи под утроившимся лбом, поведал, как совсем недавно увидел с перрона Женьку в окне отходящего поезда — точно такого же, только еще более потасканного: «Поезд трогается, а я ему машу, машу». Славка азартно изобразил самозабвенное маханье и тут же показал, как Женька начал ему отвечать — сначала робко, потом все уверенней, уверенней, а когда Славка окончательно понял, что обознался, тот уже разошелся вовсю — так, сияя, и отбыл в неизвестные края.

Славка с Женькой беспрерывно ссорился, а я практически никогда. Но Славка вот размахался как бешеный, а я разве что изобразил бы приятное удивление — да и то исключительно из-за моей нелюбви к демонстративным жестам (М-жестам). Я никогда не мшу, но не умею прощать — не зная того, что знаю.

Чего ради, скажем, я стану умиляться Томкиным слезам по поводу недостаточного моего к ней внимания, если — для всех для них — я был не более чем М-устройством? Все они — включая добропорядочнейших тихонь — были наэлектризованы культом любви, за последние века пропитавшим стихи, романы, фильмы, романсы, а потому напряженно ждали сами не зная чего, но чего-то упоительного, кое должно было явиться не от собственных их усилий, как это было, есть и будет во всех других видах счастья (счастье ни от чего — это и есть формула наркотического опьянения), а всего лишь от какого-то молодого человека — умного, сильного, веселого, щедрого, — и они беспрерывно примеряли на эту роль каждого встречного, а я — точнее, мой мифологический образ — всего лишь лучше других годился для отправления этой функции. Однако, претерпев неудачу, они быстро утешались с каким-нибудь другим имитатором примерно того же, на их взгляд, калибра: жутко вспомнить, кто только не оказывался страшно на меня похожим.

У нас было принято дружить комнатами — тридцать вторая с пятнадцатой, сто двадцать третья с пятьдесят шестой, — я много их перебрал, прежде чем наконец запал на незабвенную Семьдесят четвертую. Первый курс вообще вспоминается мне чем-то вроде пьяного загула: вспыхивают и навеки пропадают какие-то лица, то ты хохочешь на неведомом крыльце, то уже рыдаешь в такси, то в незнакомой комнате с кем-то целуешься и клянешься в вечной любви, то уже в собственной квартире, чем-то смертельно оскорбленный, ищешь бритву, чтобы зарезаться или зарезать, — и всюду самоудовлетворяешься, самоудовлетворяешься... На втором курсе ты уже человек с репутацией и даже с некоторыми признаками вменяемости: случается, ты целую неделю не меняешь мнений, временами бываешь способен говорить не захлебываясь и не переходя на крик, а в отдельные месяцы проводишь вечера в одной-двух, а не в десяти — двадцати компаниях. Трезвели все, лихорадочные братства уже не вспыхивали с первой же минуты, чтобы назавтра навеки рассыпаться, и запомнились мне из этой вакханалии больше всего те, кто и тогда умел не пьянеть.

Да, Вика Рюмина — всегда приветливо-невозмутимая, статуэточно-чистая, статуэточно-правильная, и что-то живое ей придавала лишь некая туманность взора, которую только самый отъявленный циник решился бы квалифицировать как легчайшее косоглазие. В любое время заявившись в Горьковку, ты всегда видел за самым первым, дальним столом, лицом к стене, одну и ту же полненькую рюмочку в чистенькой наглаженной ковбойке. Иногда она приближалась ко мне с каким-нибудь вопросом, я залихватски отвечал, тут же забывая о ее существовании, пока однажды после выброшенного мною чего-то там из аналитической геометрии ее любезно-туманные глаза не подплыли слезами: «Ну почему я сама так не могу?..» Только тогда

в моей душе промелькнуло подозрение, что я имею дело все-таки с живой человеческой личностью. Даже подведенные черным Викины веки, что в моей школе считалось верхом развязности, не могли взбодрить ее нечеловеческую правильность — этот факт дискредитировал лишь самих дискредитаторов.

На втором курсе народ уже расселялся не по прихоти канцеляристки, а по интересам — друг к другу, к учебе, к бабам, к водке, к музыке, к бардаку, к чистоте, — последняя страсть и породила легендарную Семьдесят четвертую — с пикейными покрывалами, крахмальной скатертью, фаянсовыми чашками и новым белым чайником (в стандартную экипировку входили вечно воруемые друг у друга зеленые в яблоках: чертыхнешься, взлетишь на другой этаж и в тамошней кухне прихватишь другой, такой же кипящий). Однако я не подозревал, что Вика длит там регулярный сериал о моей гениальности, которую я каждый раз демонстрировал, появляясь на факультете, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Женька, шившийся вокруг Вики, охотно подтягивал и даже солировал.

Короче говоря, почва была так хорошо возделана, что к моему появлению лишь твердокаменная Ольга Уманская оставалась вполне закрытой для моего обаяния. Лучшим индикатором атмосферы, как всегда, была Лариска Кошванец, оказавшаяся вдруг до смерти в меня влюбленной, хотя мы с ней одно время даже перестали здороваться. Но при первом же явлении меня Семьдесят четвертой она просияла мне навстречу, словно закадычная подруга и даже слегка лукавая возлюбленная, как всегда нещадно эксплуатируя идущие ей повадки озорного лисенка. Ввел меня в Семьдесят четвертую Славка, дураковато приударявший за Томкой (внезапно поскользнувшись на льду, падал и не сразу поднимался и т. п. — буквально валял дурака), но Катю Ковригину он поминал чаще.

В Семьдесят четвертой гостя встречала изнанка шкафа, но, в тон всей комнате обклеенная голубенькими обоями вместо полагающихся блекложелтых (за собственные нищие копейки — этот род безумия я лишь с большим трудом научился уважать), она создавала некую тесную, но уютную прихожую, из которой ты попадал в совсем уже сказочное царство света и чистоты (сыпнотифозная мастика, идеально растертая, придавала паркету блеск и глубину граната). Дальше наши с Катькой воспоминания расходятся: я уверяю, что она, зябко кутаясь в платок, загадочно молчала, обращая ко мне свой, как ей думалось, ахматовский профиль; по ее же версии, они с девчонками хором принялись выпытывать у Славки пример замкнутого, но не ограниченного множества. «Эр-эн», — (то есть все п-мерное пространство R^n) радостно ответил Славка, а я из-за его плеча вполголоса будто бы укорил его: «Что ты со своим эр-эн. — R^n было одновременно замкнутым и открытым. — Есть куча примеров не парадоксальных — прямая, плоскость».

Из-за некоторого смущения (уже на пороге вменяемости) я выговаривал излишне твердо, словно принужден был говорить им в лицо неприятные вещи; это, однако, не помешало Лариске с Викой вскоре зазвать меня передвинуть книжный шкаф. У них считалось твердо установленным, что приподнять шкаф хотя бы за один конец значительно выше человеческих возможностей, и когда я, не дожидаясь засуетившейся Катьки, с легкостью оторвал шкаф от пола, откуда Вика с Лариской у своего конца по-бурлацки ухали: «Раз, два — взяли!», шкаф резко накренился в их сторону, и Вика от всей души завизжала. Я опустил шкаф на место, и Вика проникновенно попросила прощения: «Извини, я ненавижу женский визг». — «И я ненавижу», — тоже со значением сказал я, хотя до этой минуты не имел о женском визге никакого определенного мнения, считая его естественной принадлежностью мироздания.

Вознесение шкафа произвело на Катьку сильное впечатление: за это впоследствии и мать ее отпускала мне известную блаженность — растроган-

но подзывала Катюку к окну нашего Заозерского барака: «Гляди, гляди — как, бывало, ваш отец!..» — я в одиночку носил на плече шпалы, которые остальной двор таскал вдвоем. Во время битвы при книжном шкафе я заметил и у Катюки остро подведенные уголки глаз и окончательно уверился, что так теперь, стало быть, дозволено и у порядочных. Но это сближение с дешевками отнюдь не означало, что и в порядочных девушках можно видеть эротические объекты. «Ты думаешь, главное в мужчине сила? — снисходительно шербатился Женька. — Главное — потенция!» Но почему тогда скалка не считается наилучшим крупнокалиберным мужиком? Мы с Женькой спорили, что важнее — рука или двадцать первый палец. Рука мне была совершенно необходима для предстоящего кругосветного путешествия, а... Можно перебиться. «Ты еще пацан, — внушал мне Женька. — Рука только сейчас, а *это* нужно на всю жизнь!..»

В масштабах жизни *это* было тем более несерьезно — вроде томко-ларискиных любвей: ведь я им не открывал главного в себе — этого оказалась достойна лишь Катюка. Я дорожил только теми, с кем можно было совместно самоуслаждаться — токовать не о том, что есть, а о том, чего нет, об иллюзиях и мечтах. Однажды, бедово поигрывая надбитой снисходительной улыбкой, Женька рассказал мне, что Воронина со слезами жаловалась ему, что я не обращаю на нее внимания — только шучу, как со всеми. «Я в деликатных выражениях объяснил ей, что тебе все женщины сугубо однохуйственны: когда тыходишь в буфет, на тебя все смотрят, а ты ни на кого. Тем временем мои успокоительные поглаживания переходили все ближе к телу... Ты не понимаешь, как важна для женщины гладкая кожа... Бедрa у нее подрасплылись, но постель не конкурс красоты...» Я тоскливо морщился, чтобы меня оставили в покое с ихними слезами, и с ляжками.

Однажды они с Женькой затеяли при мне веселую беготню, до того фальшивую («веселились как дети»), что я не решился удалиться сразу, чтобы не впасть в демонстративность. «Я ей сказал: такой приятный человек, но так хорошо, когда наконец ушел», — через пару дней поведал мне Женька, с тонким видом приоткрывая осколок зуба. И я уже тогда почувствовал, что любовь начинается с предательства.

Дальше туманятся наплывающие друг на друга размытые эпизоды: Томкина беременность пополам с запущенной учебой; исполненные бесчисленных психологических нюансов их бесконечные разборки с Женькой, пересказываемые мне с такой пылкой обстоятельностью, что через щербину то и дело вылетали благородные брызги: «Я слежу, как Воронина режет колбасу, и чувствую, что меня раздражает в ней все — лоснящиеся руки, нож, к которому прилип кусочек жира... — Глубины собственной души служили для Женьки неиссякаемым источником аппетитных наблюдений (но это же позволяло ему сопровождать меня в М-оргазмах по поводу „Смерти Ивана Ильича“) — и никогда чем-то таким, за что он нес бы ответственность. — И я чувствую, что и ей во мне все так же ненавистно».

Любовь закладывала виражи один круче другого. Представленная к отчислению Томка отбыла в родимый областной центр, там вступила в плотскую связь с очень интеллигентным солдатом по фамилии Гренадер, забритым из музучилища в полковые трубачи, вернулась делать аборт и забирать документы... «Она воспользовалась тем, что ей не угрожала беременность», — вычерчивал Женька аналитические узоры. В конце концов посерьезневшая и оттого резко овульгарневшая Томка отбыла в родные палестины переводиться в тамошний пед и выходить замуж за скромного одноклассника Фиму, грустно поджидавшего в сторонке, пока его возлюбленная наконец уверится, что лишь терпение и труд по-настоящему блаженны, ибо они наследуют все обеды.

И вся любовь. Нет, это не любовь, негодует Катюка, Томка была (мгновенная гримаска брезгливости) грубятина. Лариска как-то пожалова-

лась девчонкам: «Голова болит, — и, глянув на спинку кровати, где, целомудренно прикрытые газетой, сушились ее байковые панталоны, без перерыва прибавила: — Третий день штаны не просыхают». Этот невольный намек на ежемесячные недомогания всем показался забавным, но лишь Томке — пришлось серьезно оборвать — взбрело в голову пересказать это нам, мальчишкам. Ну так и что? Только сквозь прозрачную вульгарность любовь и можно разглядеть в ее истинном облике: у добродетельных личностей она всегда окутана совершенно не свойственными ей лично добродетелями — верность, привязанность, уважение, сострадание, — чьи заслуги ей затем и присваивают.

Ларискина любовь перепархивала с поляны на поляну с еще большей непринужденностью. Сначала она не слезала с расхожей формулы самовлюбленной укоризны: «А еще на матмехе учатся!» Но вот в стройотряде Лариска оказалась среди юристов, и выяснилось, что именно юристы были, есть и будут самыми умными и веселыми людьми на свете — даже великий Ферма был не математик, а юрист. Потом в летнем лагере «Спутник» Лариска познакомилась с кубинцами, вследствие чего речь ее окрасилась горечью от неблагоприятных дел американского империализма и украсилась всевозможными «мучачос» и «барбудос» пополам с зажигательными испанскими песенками, задевающими слух явными неточностями. Страдать по мне она принялась ничуть не умнее: демонстративно укладывалась на кровать лицом к стене (и то сказать, других возможностей уединиться в общежитии не было, если не считать сортирных кабинок с фанерными переборками), невпопад фыркала, шагала по снеговому барьеру вдоль тротуара, когда мы отправлялись в мороженку, в последнюю минуту — «ну вас к черту!» — поворачивала обратно, а когда мы, сдвинув стулья, уже рассаживались, со смехом прослушивая в тридцатый раз из заевшего музыкального автомата «Давай никогда не ссориться», она вдруг снова появлялась, чуть не по колено искрающаяся инеем, как партизан-мститель: «Что, обрадовались?! Не дождетесь!» — и втискивалась за стол, чтобы ни с кем не разговаривать. И вдруг после какой-то вечеринки на стороне действительно «закатила» мне объяснение: я сидел на ее койке, проникновенно склонившись, а она держала меня за руку, повторяя с невыразимой нежностью: «Солнышко мое!» — и вдруг, привстав, словно прощаясь перед кончиной, припала к моим губам. Хорошо, за спиной у меня народ жил обычной жизнью, снисходительно отводя глаза.

Зато Илья Фридлянд, на Ларискин взгляд, был чуть ли не духовным моим двойняшкой. Хотя я тоже любил строить высокомерные гримасы по поводу естественнейших явлений реальности, — с той разницей, что Илья сквозь свои очки минут шесть поглядывал на них не со скорбным негодованием, а с юмористической выжидательностью: что еще это дурачье придумает? — утопая в непроходимо кучерявой каштановой бороде, как небольшой и снисходительный — что с вас взять — Бог Саваоф. Различие понятное: я презирал реальность во имя того, чего нет, он — с высоты того, что всегда под ногой: приятельско-родственная компашка — абсолютный определитель добра и зла, ума и глупости, коего так давно и безнадежно домогаются богоискатели (для меня уже и тогда признать кого-то своим означало лишь вдвое пристальнее вглядываться в его слабости).

Илья был «настоящий еврей», у кого, как внушает мне Катька, и все знакомые, и все родственники евреи. А меня родимый дом относительно еврейского вопроса снабдил единственным принципом: «Как ты с людьми, так и они с тобой», — надежно страхующим от мучительных обид на среду, сосредоточивая их на тебе самом. Поэтому, прослышав во время вступительных экзаменов, что физики режут евреев, я не испытал ни малейшего беспокойства: как ты к людям... И когда вопросы один убийнее другого, отбиваемые мною молниеносно, как в настольном теннисе — удачный выдался матч, — вызывали в экзаменаторе вместо нарастающего благодушия нарастающее раздражение: «Да? Вы уверены?» — я лишь заводился: «Да! Уверен!» —

и, кажется, даже начинал наезжать на этого тонкогубика через стол. Все же внаглую зарезать меня он не решился — повел к председателю комиссии. Начальник — могучий мрачный мужик, прямо Волк Ларсен — начал гвоздить меня крупнокалиберной артиллерией; я от обиды почти ничего уже не соображал (прямо бой с Черноусом), но на автоматике отбивал правильно, и в конце концов Волк Ларсен, отводя глаза от двух предшествующих пятерок, выставил мне «хор».

Сейчас-то я вполне автоматически делю людей на евреев и неевреев: я никому не подсуживаю, а в сфере духа, пожалуй, болею даже за неевреев (евреи уже достаточно набрали здесь очков, да и вообще всякое профессиональное разделение, совпадающее с разделением национальным, более всего опасно именно для меньшинств) — только с евреями мне проще: по крайней мере не услышишь антисемитской пакости (пакостью я называю исключительно ложь, стремление объявить недоказанное доказанным). Но в ту пору я квалифицировал лишь носы на интеллигентные и курносые. У Славки был даже чересчур интеллигентный, но слишком уж мясистый и скругленный. А из еврейских фамилий на «ич» известен мне был единственный легендарный Рабинович. Поэтому, когда Славка на промозглой трамвайной остановке у Двенадцатой линии вдруг почти сердито поделился: «Я считаю, нашему поколению не на что обижаться», — я сначала ничего не понял: разумеется, не на что... только какому это «нашему»? «Вот отец мой — он в пятьдесят третьем чуть не год просидел без работы... Спасибо еще, не посадили», — лишь тут для меня что-то забрезжило, хотя от всяких роковых еврейских дат дома меня всячески оберегали, дабы не ссорить со средой (тем самым обезоруживая меня перед нею).

И я почувствовал между нами некое единство — единство соучастников, хотя до этого наши отношения были скорее напряженными, — тем более что нас тянуло друг к другу как тайных почитателей невидимого, но общего божества, почему мы и не могли просто игнорировать друг друга (самая яркая вражда настаивается именно в замкнутых сектах). Неделю назад наш курс зачем-то бросили прочесывать ночное Смоленское кладбище — загонять каких-то бандитов не то маньяков. Когда нас выстроили у еще неизвестной мне черной Смоленки (окружающие трущобы были упительны), милицейский майор, светя себе фонариком, начал с усилием выкликать по неразборчивому списку: «Авдеев!» — «Я!» — шутовски взвизгнул какой-то весельчак. «Антипенко!» — «Я!» — тот же голос заводной куклы. «Хорошо, правда?» — совершенно по-детски обрадовался Славка. Но постепенно зубоскальство иссякло, и наш вундеркинд-однорукник Петров, — редчайший феномен — интеллигентная курносость, — тяжело вздохнул: «Я, пожалуй, начну все выводить из леммы Бореля...» — «Это как?» — заинтересовался Славка, а мне почему-то не верилось, что это дело стоящее. Славка серьезно вглядывался в Петровские царапины по бурой штукатурке, что-то переспрашивал, и я — от скуки и отверженности — поднял кривую палку и начал играть ею в лапту крошевом асфальта. Славка склонился ко мне, как к глухому, и только что не по складам растолковал: «Это у вас в деревне можно так делать. А в Ленинграде нельзя». Я подумал и сообщил ему: «Ты дурак». — «Я дурак? — Он как будто не поверил, но все-таки расстроился: — Ну ладно, ну хорошо, ну пускай...» Уважение к истине никому из нас не позволяло на слово ответить делом, на суждение ударом. Это нас и сгубило: мы уважали наших врагов. Но ведь стать взрослым и означает признать реальность и смириться с ее властью... Славка даже в диссидентскую пору восставал исключительно против неписаных, то есть реальных, прав партийных вождей: «Пусть *напишут*, что мы не имеем права!»

Может быть, именно поэтому с Синько Славка показал себя чуть ли не размазней — не чувствовал за собой четкого права. В тот год семейным парам предложили объединиться в пары, чтобы одна пара заняла комнату в

общаге, а другая, скинувшись с первой, сняла что-нибудь в городе: каждому семейству жилище обходилось в пятнадцать рублей (шестнадцать пятьдесят, неизменно уточнял Славка — единственный, кто учитывал и плату за общежитие). Поскольку у нас с Катькой в подержанной детской коляске с привязанными для устойчивости гантелями уже кряхтела трехмесячная дочурка, мы были невыгодной парой: нам комнату никто не сдал бы. В принципе, в Малковом переулке можно было вышустрить что-нибудь и получше общаги, но ведь Пузя должна была беспрерывно вращаться в обществе и невозбранно свинячить: набивать все щели окурками, сверкать засаленными халатами, отравлять воздух прокуренными всеношными с картами и стаканами, чтобы назавтра рассыпать по загаженному столу триста сортов всевозможных таблеток... «Почему у женщин всегда все болит?» — наивно округлял глаза Славка.

Я несправедлив к ней, любила же она когда-то Юру — за величие души, разумеется: изнемогающей от токсикоза, он, по ее словам, пускал ей дым в лицо. Но Славке она, похоже, мстила именно за его приземленность, за его постоянные измены то одному, то другому чужому божеству.

Боюсь, сегодня и я накрыл свою память слишком мелочным ситом — из лезущих на ум фактиков никак не видно, что в Славке рядом с чрезмерно внимательным к материальному миру и человеческим слабостям ядовитым евреем жил мальчишка-идеалист, которого хотя бы на несколько шагов мог увести за собой почти любой флейтист, истово служащий пускай самому нелепому божеству — личному фантому. А ведь даже у Пузи был какой-то собственный бог — грязный и стаскивающий в грязь других с «притворных» небес. И когда Славка выходил из-под влияния очередной личности, обладающей персональным фантомом, власть земли немедленно втягивала его в мелкие заботы, мелкие развлечения, мелкие знакомства, из которых его мог вытянуть только новый фантом — снова чужой. Именно фантом его последней и окончательной жены, которая лет пять процеплялась в пригородной вечерней школе за Ленинград с его изысканными знакомствами и романской литературой, чтобы в конце концов промозглыми осенними ночами вымечтать себе историческую родину, где нет ни хамства, ни одиночества, — только этот фантом и заслонил в его душе фантомный Ленинград, куда он так рвался из Арзамаса-16...

Мы с Катькой были люди с фантомами, и каждый раз, решаясь наконец высвободиться из-под нашего влияния, приводившего в холодную ярость Пузю, лишая ее последних рудиментов совести, Славка прежде всего впадал в невероятную обидчивость — только ею он и мог защитить свою притороченную любовь, — впрочем, всякая любовь начинается с предательства. В тот раз Славка соединился с более выгодным партнером — с Толиком Синько, белокурым горбоносим казаком, женатым на смазливой кемеровской молдаванке. Катька кипела — мы могли остаться без пары, я брезгливо игнорировал. В итоге нам достался миролюбивый Валерик Приставка, недолгое время (ключки у нас почти не приживались) носивший прозвище Суффикс. А Славка с Толиком так и не пришли к соглашению, кто должен брать на себя львиную долю хлопот, и в итоге, разделив брачные ложа платяным шкафом, поселились вместе. Отчего бы и нет — Славка давно не мог сдержать восхищения, пересказывая синьковские подвиги, совершаемые в очень мягкой, почти застенчивой манере а-ля сегодняшний Кирсан Илюмжинов. Синько, например, просидел целый месяц в доме отдыха по трехдневной путевке: грустно узнавал у благоволивших ему коридорных, кто собирается съехать на день-два раньше срока, и кочевал от стола к столу и — со своим бельем — из комнаты в комнату. А когда по комсомольской путевке Синько на каникулах был направлен кататься проводником, самые материые железнодорожные волки дивились, сколько зайцев ухитряется провезти («Да-а... Видно, что математик...») этот стройный застенчивый юноша. Он и

к Славке обращался очень тепло, когда тот пытался защитить свои права от внезапных ночных гостей или развешанного перед дверью белья: «Славик, ну брось ты свои еврейские штучки!»

«Дай ты ему по морде!» — возмущалась Катька, принимавшая всерьез разные книжные формулы: она однажды сама, тут же едва не потеряв сознание от страха, вlepила неожиданно для себя пощечину молодому человеку, подбивавшему ей клинья в зале ожидания Финляндского вокзала и неосторожно взявшему ее за колено. Но Славка не мог поступить столь примитивным образом: «Ну а если он скажет, — Славка с ненавистью прищурился и шипел: — Еврей!.. — Тут же юмористически округляя глаза: — Это что, ругательство?» Приходилось смеяться. Пузя отводила душу, живописуя звуковое сопровождение интимной жизни зашкафья: вот Синько приходит пьяный, вот затевает переливающуюся пружинами возню, вот его сибирская цыганка сострадательно шепчет: «Я же говорила, не надо...», вот она вскакивает и гремит тазом, куда немедленно ударяет тяжелозвонкий поток...

Славку это не утешало, он пожаловался в студсовет, где приятель общительного Синько Улыбышев сделал ему внушение: обвинение в антисемитизме столь серьезно, что если обвинитель не сумеет доказать его на все сто процентов, то сам навлечет на себя крупные неприятности. Зато Женька, отнюдь не благоговевший перед писаными законами, оказавшись свидетелем очередного объяснения с упоминанием еврейского фактора, мазнул Синько по щеке. Они сцепились, Синько опрокинул Женьку на кровать, Женька сучил ногами, пытаясь захватить коленом в живот или еще куда-нибудь, — я уже тогда убедился, что без дуэльного кодекса и смертельного исхода силовое противостояние способно лишь из одного безобразия сделать два. Вызревшее чувство собственного достоинства подсказало мне безошибочную для М-культуры тактику: игнорировать все низкое. Игнорировать низкие причины и расхлебывать их низкие следствия. Мне много раз нашептывали, что Орлов ни за что не оставит еврея в аспирантуре, но я презрительно отвечал (и себе, себе!), что мое дело — выбрать ту тематику, которая мне интересна. Величием более всего веяло действительно от Орлова, который, сидя сиднем, играючи жонглировал десятипудовыми глыбами, отражавшими в своих слюдяных блестях не только грандиозные абстракции, но и грандиозные реальности: космос, искусственные спутники, ядерные реакторы... Уже перед преддипломной практикой Соня Бирман пыталась меня вразумить, как умная ласковая старшая сестра: «На любой другой кафедре ты сможешь пойти в аспирантуру к кому захочешь», — но принять во внимание столь карьерные обстоятельства казалось мне таким позором... Я презирал слово «карьера», как будто знал иной способ самореализации.

Вслед за моим фантомом вся наша компания двинула к Орлову, перед лекциями которого мною уже за два дня овладевало сладостное томление: я готов был броситься под колесики его инвалидного трона, когда он мощно подкатывал к доске, чтобы величаво махнуть указкой в направлении нужной формулы, которую успел настучать торопливым осыпающимся мелком главная шестерка его свиты Ермольников, к тридцати годам уже скопчески увядший и вечно унылый, — меня поразило, с каким невероятным и уже заранее оскорбленным достоинством он принял меня после четырех безработных месяцев...

Встретить Орлова без Ермольникова было редкой удачей — но Женьке это удалось. В тупике знаменитого коридора Орлов под лысеющим Лениным чистил себя от папиросного пепла, видимо отправив Ермольникова что-то разносить в ректорате. Сурово-отечески, как умел обольщать только он, Орлов попросил Женьку откатить его к Горьковке. По дороге он отечески сурово поспрашивал, как воспринимаются его лекции, кто на курсе пользуется авторитетом, — Женька назвал мое имя со столь преувеличенными эпитетами, что это наверняка заранее настроило Орлова против меня. И про-

тив Женьки тоже. После четвертого курса нас послали под Сухуми торчать в раскаленных палатках и бегать в мокрых противогазах для получения освобождающего от армии лейтенантского звания, и этого испытания воинской дисциплиной (высшая мудрость и есть умение безболезненно покоряться могущественной бессмыслице) Женька не выдержал. Пока остальные изошрялись в острословии, взирая на жизнь как на спектакль, поставленный специально для нашего увеселения («Где бронепоезд не пройдет и где машина не промчится, угрюмый танк не проползет, туда наш взвод ходил мочиться»), — хрипло гремела наша строевая песня), Женька начал требовать права свободного выхода из-за обеденного стола до общей команды. «Духота, все шпионов пускают!» — негодовал он и был представлен к отчислению.

В решительную минуту деканат запросил характеристику с кафедры, и Орлов ответил, что Женька — пустое место (он ничего не мог о нем знать). Мне стало ужасно грустно; но Орлов — фантом Орлова — был выше моего суда. Я ходил с Женькой ходатайствовать от имени группы перед новой метлой — молодым заместителем декана Гурьяновым, и тот, поколебавшись, позвонил в ректорат, чтобы там изготовили сразу два приказа — об отчислении (его отменить было нельзя, поскольку дело шло о святом — о войне) и о немедленном восстановлении.

Вступился за Славку перед Синько, вступился за меня перед Орловым — благородно, что тут скажешь. Но в моем мире одно слово лжи весит больше, чем тысяча благородных дел.

О каких только материях мы не переговаривали в незабвенной Семьдесят четвертой бесчисленными часами за десятой производной краснодарского чая с раннего вечера до Ольгиного отбоя, но никогда не касались текущей политики (никто газет в руки не брал — советская власть была надежно защищена от нас своей тупостью и скукой) и всегда избегали слова «еврей». И правильно делали: из самых взаимооблизывающих обсуждений еврейского вопроса русские уйдут с чувством, что евреи слишком уж заикливаются на своих мелких неприятностях, а евреи — что даже самые милые люди никогда не согласятся испортить себе аппетит из-за чужих бед. Женька первым ввел в оборот это бестактное слово «еврей» — еще и, разумеется, с нажимом: а что тут такого — этот русский, другой англичанин, третий еврей.

Как-то вечером, пробираясь вместе со мной и Славкой сквозь толпу у филармонии, чтимой мною за достойное россиянство, особенно подчеркнутое соседством презренного эклектизма гостиницы «Европейская», Женька со смехом хлопнул себя по лбу: сегодня вечером Семьдесят четвертая собиралась на Ойстраха, а он унес Катькин билет (шесть часов в очереди) — сунул в карман в порядке зайгрывания и забыл. Славка остолбенел: «Но ты понимаешь, что ты сделал ужасную вещь?!» Женька начал отбредиваться, стараясь переместить внимание с объективного результата на субъективные намерения, — я каменно молчал, чтобы не начать трясти его за ухарски сбитые к плечам грудки: это другие могут говорить о тебе, но не ты сам!.. «Ты же согласен со мной, а не с ним?» — внезапно обратился ко мне Женька. «Нет», — глядя перед собой, с усилием выговорил я — мне и сейчас трудно обмануть чье-то доверие, если даже я и не давал для него... Нет, значит, какой-то повод давал. И Женька замолчал, замолчал...

В мрачном безмолвии постукали в Семьдесят четвертую. Катька выбежала большая, празднично наряженная (при неизменном табачно-зеленом костюме белый кружевной воротничок, обложенный подвитым пружинящим золотом, над соболиными бровями золотая челка, как у Тиля Уленшпигеля с иллюстрации Кибрика), хотела что-то сказать, но замахала руками и бросилась обратно (совсем неловко сделалось оттого, что махающие ее руки венчал яркий маникюр, а убегающие ноги — нестойкие кастаньеты шпилек). Даже Женька был смущен и — о мерзость! — начал оправдываться в том, в чем, разумеется, и не был виноват: да нужен, мол, ему этот жирный еврей — у Ойстраха, видите ли, сладкая манера игры...

Параллельная сценка вспыхнула через общий принцип утонченной недобросовестности: Женька, злой, оттого что *он* никак не может врубиться в какую-то тонкость метрического пространства, уверен, что *ему* никто не может ее растолковать. Уже и Юра отвернулся с надменной безнадежностью, уже и Славка махнул рукой, и Женька теперь наезжал на новенького — на меня, требуя, чтобы я говорил только о том, что ему неизвестно. Хотя все подходы приходилось начинать с известного. После того как он оборвал третью мою попытку — «Это и ежу понятно, переходи к делу!» — у меня потемнело в глазах (со мной такое бывало, пока я себе это позволял), и я, бешено выкрикнув: «Иди ты ...!» — без купюр, без купюр, постыдное наследие тяжелого детства, — изо всех сил грохнул дверью (застыла в памяти сострадательная снисходительность Юры и восторженный ужас на кругло-ястребиной Славкиной физиономии). Впоследствии Женька не раз юмористически-одобрительно, как гроссмейстер о юном чемпионе жэка, отзывался о моей выходке — дескать, может, может... Оттого-то меня так и ошарашило, когда Катька уже в Заозерье мимоходом упомянула, как Женька на выпускной пьянке после нестройного «Гаудеамуса», как всегда, до крайности искренно изливал ей обиду на меня по поводу того злосчастливого билета: он согласен, он был не прав — но это мое еврейское высокомерие!.. «Почему ты мне сразу об этом не сказала?!» — с ненавистью уставился я на Катьку. «Зачем?» Она действительно не понимала. «Я бы выкинул его за дверь!» Катька недоверчиво покосилась на меня, но, видя, что я не шучу, примолкла.

Повторяю, я ни на кого никогда не сержусь — сколько можно сердиться, что осенью идет дождь: вкрапления предательства, юдофобства — все это так по-человечески, источник моей сегодняшней снисходительности — презрение: было бы просто непоследовательно отвергнуть застенчивые объятия роскошных крыл бежевого плаща хотя бы того же раздобревшего Синько в моем любимом магазине «Старая книга» (ныне «Пленки KODAK») на улице моего любимого Герцена (ныне Большая Морская). Синько был уже весьма состоятельным южным доцентом в занюханном филиальчике запечатанного от посторонних глаз военного городка, в котором целый полк подполковников, располагающих немалыми матценностями, нуждался в экстренном (экстерном) верхнем, пускай и занюханном, образовании. Недавно, поведал Синько, в командировке он встретил Иванова — у того тоже все хорошо. А до того Петрова — и у Петрова все хорошо. Малинин, он слышал, в Болгарии, значит, и у Малинина все хорошо. В прошлом году ездил принимать экзамены в Молдавию, купил трех Андерсенов, и, представляешь, в книжном — вот как тебя — встретил Славика Роича — у него тоже все хорошо, пишет контрольные для наших заочников.

Славка в это время седьмой год сидел в отказе, кололся инсулином, был то увольняем, то вновь допускаем ко вшивой программистской работенке в одноэтажной конторе «Заготгвоно», продолжая ерепениться под строгой лупой КГБ... Судя по всему, они встретились как старые однополчане — Толлик, Славик... Что ж, я тоже не отказал бы в объятиях и Женьке, если бы он их возжаждал: стремление во что бы то ни стало избежать театральности оборачивается еще большей театральностью. Но уловок против истины — попыток обойти законы ее установления — я простить не имею права: она не моя собственность.

К эпохе Семьдесят четвертой, несмотря на слабо убывающую во внешнем мире склонность хохотать, горлопанить, пить, петь, петушиться, плясать и карабкаться на каждый неохраняемый подъемный кран, чтобы воротиться с роскошным трофеем — всесжигающей колбицей на восемьсот тысяч свечей, внутри, в М-глубине, я сделался ужасно серьезным — по отношению к фантомам, разумеется, ибо не подсвеченная ими реальность для истинного мастурбатора всегда скучна и ничтожна. Я сам не знал, чего искал, — я лишь вслепую нашупывал нужный мне фантом, как захворавший пес ищет еще не

виденную им целебную траву. То я благоговейно бродил по Эрмитажу, стараясь запечатлеть в душе *каждую* картину, то старался переслушать *всего* Шляпина и *всего* Бетховена, то вдруг принимался изучать историю Гражданской войны, отправляясь от Шолохова, чтобы затем засесть сразу за обоих «Борисов Годуновых» со всеми отвергнутыми нотными вариантами и биографиями всех действующих исторических лиц, — а потом вдруг прочитывал от корки до корки толстенный двухтомник «Нюрнбергский процесс», справляясь о событиях во все более и более презируемых советских энциклопедиях (зато по «Брокгаузу и Ефрону», случалось, без всякой цели плутал целыми сутками и — симптом! — здорово поднаторел в истории древней Иудеи — при полном равнодушии к современному Израиллю, беспрерывно меня компьютеровавшему).

«Войну и мир» еще даже в десятом классе я считал разновидностью «Матери», навязанной нам единственно с целью поглумиться, заставить хвалить что-то не просто посредственное, а прямо-таки наискучнеее из всего педагогического арсенала. Зато когда во мне незаметно пробудилась М-глубь, я готов был буквально протирать глаза — с такой мощью меня увлекала медлительная река, влачащая неисчерпаемые скопища твердокаменно высеченных и все же живых людей, лошадей вперемешку с пушками, гостинные пополам со стягами и осенней грязью — и груды мыслей, мыслей, мыслей, таянно ударяющих в одну и ту же стену...

Достоевского в моих рудничных родинах невозможно было откопать ни открытым, ни закрытым способом. В Ленинграде я долго приглядывался к нему через Славку, время от времени зачитывавшему из библиотечного «Идиота» что-нибудь вроде: «Дела неотлагательного я никакого не имею, цель моя была просто познакомиться с вами. — И радостно округлял глаза: — Представляешь, у генерала все минуты расписаны, а тут является с узелком!..» Но лишь когда Катька поведала мне, что после «Идиота» она ни с кем не могла говорить, а только ходила взад-вперед по берегу озера, я поверил: да, это то, что надо. И тогда уже каждая ошалело проглоченная страница приближала нас с Катькой еще и друг к другу. А «Преступлением и наказанием» я целую ночь самоистязался до изнеможения, уже когда заснул нашу с Катькой возвышенную дружбу любовью. Мой брат после удачной шашки снял в Шувалове какую-то подклеть с керогазом, где и состоялась наша с Катькой первая внебрачная ночь. Тем не менее Катька наотрез отказалась приходить туда одна, минуя хмурого хозяина, вечно охлопяющего лопатой навозную кучу, — так что однажды мне пришлось, дрожа у литого краснозубчатого и звонкокирпичного необарокко шуваловского сортира, встречать ее из Заозерья девятичасовой электричкой, бешено вылетающей из редееющего ледяного золота карельской осени. Не располагая будильником, я решил вовсе не смыкать глаз — так и провел всю ночь на тюремной койке в позе Некрасова периода «Последних песен», уже окончательно не отличая бред от яви: да водицы бы вам, голубчик, испить, ведь это припадок-с...

Так что я вполне самостоятельно додумался до того, что культура в наше время и есть религия: иными словами, человек выше всего на свете должен почитать собственные переживания, а не дела, которым они сопутствуют. По внезапному наитию, пренебрегая погодой, я отправлялся к унылому мясокомбинату, подсвеченному лишь могучими бычищами Демут-Малиновского, на попутках добирался до Новгорода, развлекая шоферов байками, будто мы, археологи, две недели назад откопали коньки, а они оказались вешалкой. В Новгороде я до сдавленного мычания ощущал свое родство с Россией — с Россией Александра Невского, с Россией Пушкина, с Россией, овеванной какими угодно сказками («Повесть временных лет» — это было о!..), но только не той, которая предстала моим собственным глазам. Помню, трясемся с Мишкой в трех промерзших трамваях, чтобы в четвертый раз посмотреть в ДК Карла Маркса литовский шедевр «Никто не хотел умирать». И такая

пронзительная нежность овладевает мною, нежность к этой нищей стране с ее черными избами и — на перекрестках дорог — потрескавшимися фигурками убогого Христа с чертами тысячекратно уменьшенного идола... А как трагически и жертвенно я был предан Польше после шестого просмотра «Пепла и алмаза» в ДК Дзержинского!.. Хотелось прямо тут же, сейчас нелепо и страшно погибнуть за безнадежно боготворимое отечество: в нашем собственном отечестве прильнуть душой было не к чему — все было захватано скукой советской власти. Что-то, правда, вспыхивало у Симонова, но «руководящая роль партии в Великой Отечественной войне» была способна остудить пыл самого неистового самоуслажденца. Другое дело — на той единственной Гражданской: там были *настоящие* коммунисты... Но несгибаемые отщепенцы Хемингуэя и Ремарка все равно забирали покруче, хотя, пожалуй, даже их перешибал диковато-красивый, порубанный сединой казачина, в дымной мгле суховея рывший шашкой могилу для любимой под ослепительным черным солнцем.

Неужели нас объединяли только экзотические отщепенцы? Забыл — у нас был родной объединяющий и, пожалуй, даже воодушевляющий фантом — Тридцать Седьмой Год. Тех, кто мог хоть как-то оправдывать это чудовищное преступление, просто невозможно было считать людьми.

Возведение собственных переживаний, особенно искусственных (вызванных искусством), в дело высочайшей важности в конце концов обескровило всю реальную жизнь. В университетские годы я все еще мог вдруг на неделю уйти в изучение какой-нибудь диковинной тракторки понятия силы или переселения математической физики в функциональный анализ, а это вкупе с эпизодическим переписыванием Славкиных лекций вполне обеспечивало мне круглые пятерки по математическим дисциплинам и даже репутацию эрудита. Однако уже и тогда главный вопрос наших нескончаемых споров был не «Что делать?», а «Как отнестись?» — что *правильно*, а что *неправильно*: мы стремились обустроить внутренний мир с неизмеримо большим рвением, нежели мир реальный.

Низкое мы в наших спорах возносили до высокого, зато в высоком мыслили как на подбор благородно — политики, повторяю, избегали, как подробностей пищеварения, — только Женька после каких-нибудь «Затворников *Альтаоны*» мог вдруг гневно прокомментировать призыв породистого немецкого реваншиста снова тряхнуть миром: «А Солженицын еще чего-то требует!..» Но стоило мне тонко улыбнуться: «Сартр удивился бы такой реакцией!..» — как Женька благодушно размякал (главное ведь выказать чувства!), а Катька блажила, что эстетизированное кишение русских баб в платках как у ее матери, да еще заверченное самим Гуттузо, сразу выдает в режиссере постороннего и т. д. Мы и самые случайные кинишки («Пошли в кино?» — «Пошли») обсуждали на таком же накале, как «Гамлета» или «Июльский дождь»: обалдеть — можно, оказывается, просто гнать на машине сквозь заурядный современный город под Баха — и выйдет до того прекрасно и многозначительно...

Больше того — любая чепуха, заключенная в раму, мгновенно преображалась в искусство. Когда душа так переполнена мифородящей лавой, ей почти уже все равно, вокруг соринки или бриллианта наращивать свою М-жемчужину. И все же в литературе мы не сговариваясь признавали только более или менее вечное — или уж хотя бы далекое: здешнее, сегоднешнее означало заведомую второсортность. Проглядывая от скуки подвернувшийся номер «Нового мира», я прямо-таки удивился: надо же, хорошо!.. Но постель еще не повод для знакомства: меня окликнули — я бросил недочитавши. Только имя запомнил — Фазиль Искандер. От любителей политических сплетен мы прослышали, что судят какого-то Бродского, — охота же заниматься ерундой! (И тем, кто судит, и тем, кого судят.) Некий немолодой заочник, подслушал Славка, пытался восстановиться на третий курс. «Но вы же шесть лет не учились», —

с сомнением листал его бумаги Солон Иванович Буревич, сирым голосом («Теорэма!») читавший нам высшую алгебру. «Зато я за это время написал повесть», — проникновенно ответил заочник, и мы покатались со смеху. Повесть — спятить можно!

Подобно историческому человечеству, мы все подряд обращали в искусство — средство расхохотаться или содрогнуться, а не вникнуть. Солон Иванович тоже был фигурой легендарной, своей ядерной полированной лысиной, хранящей какой-то треугольный отпечаток, длинным сверху вниз прямым носом и усищами а-ля Руцкой составив даже неофициальный значок матмеха, совершенно затмевающий казенный интеграл с ракетной траекторией:



Однажды, явившись с комиссией в общежитие, Солон Иванович растолкал какого-то студиязуса, мирно храпевшего в два часа дня, и тот, ошалело протерши глаза, пробормотал: «Во, бя — приснится же такое!» — и захрапел дальше.

Чудаки, пытавшиеся и в наше время что-то сочинять, были почти так же потешны (хотя и менее презренны), как жалкие личности, соглашавшиеся служить в обкоме. За стенкой Семьдесят четвертой обитал со своей чухонистой женой-уборщицей какой-то старый худой неудачник, вечно являвшийся нудить, что мы слишком громко кричим. «Я детский писатель!» — внушал нам несчастный, опуская этим себя до окончательного посмешища. И когда пронесся слух, что в Ленинграде арестован какой-то детский писатель Марамзин, мы единодушно решили, что это наверняка и есть наш сосед — так под этой кличкой он и существовал.

В профессии его жены-уборщицы, заметьте, не было ровно ничего зазорного. Она была совершенно в своем праве, когда, расхристанная и разгневанная, ворвалась в Семьдесят четвертую с пустой консервной банкой из-под кильки в томате, оставленной Женькой на подоконнике, — приступы необузданного и почти бессмысленного при его худосочности аппетита Женька готов был утолять в любом месте и притом способами самыми варварскими. Зачуханная чухонка швырнула банку на стол и сильно рассадилла Женьке палец. Как она перепугалась! И как он разорался! Мы с Катькой даже единодушно, хотя и заглазно, осудили его вполголоса: как можно сказать женщине «дать бы тебе в ухо!»? Правда, потом Женька мне признался, что как раз намыливался к Люське в Ригу, планируя и пообщаться с нею под душем («Шум струй, скользкое тело — это страшно возбуждает!»), а с раненым пальцем какой уж тут душ!.. Снимать номер при одинокой старенькой маме-проводнице — просто в голове не укладывалось! Он любую свою дурь обставлял с большой обстоятельностью: ударяло в голову, что джентльмен должен владеть английским языком — тут же нанималась учительница, начинались закидоны американочкам — тут же Эрмидаже — «май диэ гёл» и тому подобное, на что никогда не решился бы Мишка, просидевший на своей английской придури десять пар новых штанов. Женившись на черно-коричневой красавице болгарке по имени Зарница, он на улице познакомился с американской супружеской парой и даже отправился к ней с визитом в «Европейскую», откуда его попыталась наладить в шею какая-то горничная, — но не на того напала: «We are american architects, и тот факт, что мы с женой speak russian, еще не дает вам права...» — та просто в ногах валялась от ужаса. На Женьке стройно сидел уже чуточку, как все у него, подзамызганный, но все еще светлый coat, пошитый в лучшем ателье

на Апраксином — с невиданными лацканами и подводным китовым усом, — надменный рот вместо колотого зуба сверкал много раз обсуждавшейся Женькой перламутровой парой «на золотой фасетке», а дырявых носков (он не стрижет ногти на ногах, плакалась красавица Зарница), слава богу, было не видно. Да, он же еще к тому времени устроил для своих надменных губ некое испанско-чеховское обрамление!..

Когда Женька — со слов брата-лауреата, наблюдавшего эту отвратительную картину собственными глазами, — вдруг поведал, как немцы входили в какой-то там южный город и евреи вынесли им хлеб-соль, а немецкий офицер выбил хлеб-соль ногой, я сжался, будто Женька громко испортил воздух. Моя мысль заметалась, как заяц в силке. Усомниться — оскорбить брата. И что, среди евреев не может быть предателей? Спросить, зачем он это рассказывает? Переводить с прямого смысла на скрытую цель недобросовестно. Мне вдруг открылось, что в реальности могут быть доказаны лишь десятистепенные мелочи, а в самом главном каждый может утверждать, что пожелает его решалка. Поэтому-то и возникают предметы, о которых лучше не говорить, не колыхать, — как в живом организме нельзя допускать перемешивания крови и каловых масс.

А Женька все с тем же нажимом — мы, мол, люди интеллигентные, мы можем себе позволить обсуждать все, что угодно, — продолжал информировать нас, что и в консерватории евреев поголовно оставляют в Ленинграде, а его друга Успенского — или его фамилия была Акимов? — загоняют на три года в Петрозаводск. Правда, когда однажды Женька завел эту песню в присутствии моего брата, из-за своих габаритов больше напоминавшего медведя, чем фамильного барсука, тот не задумываясь с холодной усмешкой возразил, что, по-видимому, в Ленинграде оставляют самых одаренных, и выжидательно замолчал: ты, мол, смеешь настаивать на чем-то недоказанном — получи же в ответ то же самое. Женька помедлил и — улыбнулся, давая понять, что умеет ценить юмор.

Но такие дискуссии, в которых на ложь следует отвечать ложью, а там чья возьмет, уже тогда были мерзостны для меня. Политические, национальные споры в их обыденном исполнении и сегодня для меня невозможны, ибо в них вместо аргументов швыряются нечистотами — от оскорблений до пафоса. Тем не менее к матмеховским евреям, чтобы, не дай бог, не начать им подсуживать, я начал приглядываться поостроже. Еще на первом же собрании первого курса в глаза и уши бросалась рассеянная по огромному для меня амфитеатру Шестьдесят шестой аудитории компания зычных молодых людей, перекрикивавшихся через весь амфитеатр словно у себя дома и называвших еще неизвестных нам молодых преподавателей по именам: Толя Яковлев, Слава Виноградов. Когда за кафедрой с каким-то объявлением появился скромный человек в военной форме, они подняли такой гогот, что впоследствии этот полковник, нормальный неглупый мужик, еще долго обрывал и ставил по стойке «смирно» всех первокурсников подряд. Во время выборов в комсомольское бюро, от которого я бежал как от чесотки, они глумливо выкрикивали одним им ведомые имена своих корешей, ибо оказалось, все они окончили какую-то страшно престижную школу, годами поставившую матмеховские кадры. В итоге — гораздо менее разбитные, иной раз и симпатичные, но все-таки их люди оказывались всюду: в комсомоле, в стенгазете, в кураторах колхозной страды... Девчонки рылись в земле, а здоровые лбы, сверхчеловечески гогоча, швыряли полуобструганную немытую картошку в чан с бурдой, откуда они уже вытянули все мясные жилы себе на сковородку. Поскольку заговаривать о столь низких предметах, да еще не имея юридических доказательств, было ниже моего достоинства, я искал случая затеять с кем-нибудь из них драку, но при всей своей молодецкой наглости они как-то ухитрились не давать формальных поводов, без которых я, начинающий интеллигентный мозгляк, уже не мог обойтись.

У главных жеребцов и анекдоты изрыгались сверхчеловечески хамские — эталонным личностям да походить на заурядных культурных людишек! За такую крутость Москва ох бы поучил их своей «Правдой»... Но вместе с тем «гениальных» еврейских недоделков я начал брезгливо обходить взглядом: мы, багровые боксеры, разя пáoтом, вваливаемся из спортзала в раздевалку, а там умно-носатые Шапиро и Эльсберг, подернутые черным волосом по мертвенно-бледным вогнутым грудкам, меланхолично обсуждают абсолютную непрерывность меры Зальцмана...

Когда поближе к выпуску началась возня с аспирантурами, у меня сложилось впечатление, что русские распоряжаются реальными должностями, а евреи — репутациями. На Орловской кафедре было две звезды — Боб Новак и я. Боб тоже был из крепышей, с грубовато (приплюснуто) красивым, мощно-небритым лицом и холодными голубыми глазами при крупных черных кудрях (брезгливый Мишка отмечал у него еще и манеру остервенело ковырять в носу, по причине чего он однажды отказался дать Бобу свою авторучку). Боб был напорист (однажды пригнал точившую лясы на абонементе перевалисто-жирную, вечно плававшую какой-то радостной злобой черноглазую библиотекаршу из нашего монастырского читального зала, яростен (расшвыривал ногами столы в аудитории, когда вдруг некстати отменили экзамен), но с мрачной решимостью чтил власть социальных законов: не пропускал занятий, никогда не бахвалился, что в руки не брал какую-нибудь дурацкую электротехнику или лабораторные брошюрки по сопратаму — не говоря уж о марксизме-ленинизме. «Мне нужна повышенная стипендия», — у него, как и у Женьки, работала не бог знает кем одна мать. Эта мрачная прямота вызывала опасливое уважение и чуть ли не тревогу: уж не дурак ли я, при своих пятерках прогуливающий философию и английский? Правда, с мрачной усмешкой признаваться, что суетишься в комсомольском бюро исключительно ради аспирантуры, — на такое я не покусился бы даже мысленно. При этом Боб мог вдруг подойти и, к преувеличенному недоумению Мишки, покровительственно обнять за плечи: «Ну что носы повесили?»

С железной неукоснительностью получая свои повышенные, на третьем курсе Новак занялся динамическими конфликтами у перспективного Тер-Акопяна, через год опубликовал с ним совместную статью, на пятом курсе — вторую, уже самостоятельную. Я не завидовал, но было мучительно больно за бесцельные уходящие годы. Если бы кто-то дал мне настоящую задачу, я бы грыз ее с утра до утра, но никому-то я не был нужен...

Когда на первом курсе нам было объявлено, что желающие могут пойти в научный кружок гениального матлингвиста Цетлина, я устремился в его каморку ног под собой не чуя. Среди десятка других юных энтузиастов мы с Мишкой и Соней Бирман скромно стеснились перед кругленьким лысеньким Цетлиным, разглядывавшим нас свесив голову набок, с совершенно детским любопытством, поблескивая кроме лысины круглыми (лишь в самых уголках миндалевидными) черными глазками и не до конца продавленным сквозь тугое личико, но все-таки орлиным носиком и задумчиво округляя колечком надутые губки. «Кто-нибудь из вас умеет программировать?» — как-то мимо всех выпалил он. «В школе я получила диплом программиста», — в тонкой светской манере сообщила Соня — и Цетлин внезапно, как чертик из шкатулки, вскочил перед нею во фронт, отчего она заметно отшатнулась. Мы с Мишкой начали умирать от разрывавшего наши внутренности смеха. И пока Цетлин звонкой скороговоркой излагал какую-то скучнейшую систему бухгалтерского учета, которую мы должны были для разминки переложить на ЭВМ, нас так корчило, что он раз или два даже удивленно выкрикнул: «Что случилось, в чем дело?» Ответить мы были не в состоянии. Выбравшись на волю под недоумевающе-сострадательным взглядом Сони, мы сложились вдвое и, обливаясь слезами, без сил побрели от стены к стене. Соня еще долго что-то программировала для Цетлина, но он

запомнил и меня: в факультетских коридорах уже издали отрывался от изучения несуществующих фонарей и впивался в меня вопросительно-негодующим взглядом, свесив совершенно круглую голову к перекосившему его тугую округлую фигурку портфелищу. Уже зная, чем это кончится, я давал себе клятву на этот-то раз не здороваться первым. Но его изумленное негодование с каждым шагом росло, росло, и я в последнюю секунду не выдерживал — кивал. Он резко отворачивался и проходил мимо.

Зато у Боба все как-то складывалось сурово, но толково. Пока все бахвалились разгильдяйством, он мрачно бравировал усердием и всяких подробностей действительно знал намного больше меня; но там, где надо было начать с нуля, я соображал лучше — оригинальнее, быстрее. Тем не менее статьи и круглые пятёрки даже по марксистско-ленинской муре на прочном фундаменте общественной работы были у него. Однако Тер-Акопян на два года укатил в Алжир и на письма не отвечал, Орлов из-за нас с Новаком — слишком уж явно мы выпирали из остальных — отменил обычай докладывать лучшие работы на кафедральном семинаре, но перед распределением всех по очереди вызвал к себе в кабинет и спросил, у кого какие имеются пожелания. «Никаких», — сухо ответил я, хотя душа моя рвалась к нему: «Любови! Любови!» «Хочу и дальше заниматься математикой», — мрачно сказал Новак. Однако верный своему эпатазирующему обыкновению Орлов оставил в аспирантуре не просто лучших из русских — он выбрал одного способного, но дураковатого, а второй со средним баллом, равным «пи», вообще едва удерживал нос над водой, ни разу не сдав анализ с первого раза.

И что тут началось!.. Член бюро, кореш Новака, кругленький, энергичный Житомирский опубликовал в стенной газете негодующую статью, в которой назвал Боба «безусловно» самым способным среди механиков (он почти ни с кем не был даже знаком). Потом Орлова вызвали для объяснений в комсомольский комитет. Мудрый Орлов не стал заедаться, прикатил во вдавливающимся под его тушей паркетинам, пустил по кругу только что полученный им диплом лауреата Государственной премии, задушевно объясняя, что Новак не подходит по профилю кафедры, а вообще-то он хотел бы оставить очень многих, — и перечислил пять-шесть имен, в том числе и мое. После этого ему позвонил заведующий конкурирующей кафедрой Халупович с просьбой хотя бы дать Новаку рекомендацию, а уж место он, Халупович, выкроит у себя (с Бобом он лично не сказал двух слов), — но Орлов не прощал попыток говорить с ним языком силы. Тогда через знакомых знакомых Бобу подыскали хорошее место в теоротделе котлотурбинного института — звучало низменно, но открывало доступ к ученому совету, что для Новака было делом, в отличие от меня, очень серьезным, и вообще к работе довольно свободной и квалифицированной. Сразу оговорюсь: далеко не все, кто принимал в нем участие, были евреи — порядочные русские помогали Бобу с удвоенной готовностью. И он, повторяю, вполне этого заслуживал. Но — не он один. Скажем, меня эта благотворительная буря обошла стороной — Соня Бирман так и не сумела превратить меня в своего.

Я делал вид, что меня эта суета не касается, но Боба коснулось упоминание моего имени Орловым: до этого он держался со мной как с достойным уважения соучастником, но тут вдруг недобро усмехнулся: «А что, ты ему подходишь — толковый, смиренный...» Это он-то буйный, пять лет протолкавшийся по комсомольским посиделкам, не стеснявшийся признаться, что помнит объем производимой в СССР стали, из-за которого я в очередной раз лишился повышенной стипендии. После этого при встречах с ним я долго ощущал на лице невольную гримасу брезгливого сострадания... Теперь он где-то в Мичигане (боже, «У нас в Мичигане» — и Боб!..), говорят, одно время сидел без работы, был, при его социальном честолюбии, совершенно раздавлен, но теперь вроде бы снова получает свои восемьдесят тысяч в год. Он

их вполне заслуживает — он умен, эрудирован, упорен, неприхотлив — ставит реальность выше капризов. Это идеальный тип для прикладных сфер.

Не то что я, норовивший слизывать только сливки. И не Женька, все старавшийся ухватить нахрапом. А ведь и Женькин след затерялся где-то в Штатах. Перед выпуском он что-то зачастил с негодующими разговорами, почему, мол, советский научный работник не имеет возможности более или менее быстро купить квартиру, автомобиль, — обсуждать такие очевидности было так же скучно, как протестовать против внезапных Женькиных филиппик против Господа Бога, которого разумеется же нет, но примитивность аргументации все-таки побуждала к вялым возражениям: божественные цели и атрибуты лежат за пределами нашего разума, а советская наука не направлена на прибыль, и потому мы хотя и бедны, зато свободны... «Из Болгарии можно через Триест перебраться в Италию, а оттуда вообще открыт весь мир!» — гордо откидывал волосы Женька. И он действительно прорвался в Болгарию сквозь заслоны военкомата, хотя постоянно возмущался тем, что Зарничины болгары (все, как один, красавцы) не испытывают заметной благодарности за освобождение от турецкого ига и, более того, цинично относятся к подвигу русского народа во Второй мировой: русские-де такие пьяницы и обормоты, что им все равно, жить или помереть. Это при том, что сами союзничали с Гитлером! Вместе с тем, стоило Женьку поддержать — да они-то кто такие, эти болгары: у нас вот и Пушкин, и Толстой! — как Женька тут же оскорблялся за жену и объявлял, что некий международный конгресс признал лучшим поэтом всех времен и народов Христо Ботева — так ему растолковала Зарница (оспорить — задеть ее, то есть его, честь), личным другом семейства которой, кстати, является великий Гяуров.

Когда разнесся слух, что Женька действительно бросил в Софии беременную Зарницу (в России он был очень озабочен ее бесплодием — «ороговение матки» — и даже водил ее в Военно-медицинскую академию, где сразу, по его словам, заинтересовались чрезмерным оволосением ее щек) и через Триест перебрался в Италию, я даже подумал, что Женька невольно спровоцировал слух своей болтовней. Однако лет через пять — пятнадцать кто-то будто бы видел его в Штатах — в хотя и подержанном, но все же автомобиле. А еще через год — десять я услышал, что Женька погиб в Сальвадоре. Тогда меня эта новость сильно взволновала, хотя, казалось бы, с чего?

На преддипломной практике он попал к доценту Лаврову — жеманному Герингу, томно, едва ли не грацируя выговаривавшему в телефонную трубку: «Поверьте, Людмила Донатовна, это экстра, экстраважно». Лавров препоручил Женьке исследовать блуждающую особую точку какого-то электромагнитного уравнения из его докторской, но вскоре у них, естественно, разыгрался принципиальный конфликт, в результате чего Женька перед лицом усмехающегося Орлова обличил Лаврова в неумении дать точное определение блуждающей особой точки. В награду Лавров впаял ему совершенно убойную дипломную тему: Гималаи формул без проблеска идеи. Женька горел, иссыхал — разумеется, я не мог не прийти ему на помощь: я поделился с ним собственной темой и упросил своего Семенова сказаться Женькиным неформальным руководителем и будущим рецензентом. («Он заставлял себя уважать», — с гордостью сообщил Женька торжествующей Катьке, прослушав нашу дискуссию с Семеновым, почему-то не улавливавшим одной тонкости, связанной с интервалом продолжимости.)

В ту пору я сам пылал ликующим огнем, чуть не ежедневно выдавая новую плавку, так что на отрешенном лице слепца Семенова проступала нежность — не ко мне: что такое личность в сравнении с формулами, которые она творит! «Это будет покрасивáее, чем у Черепкова», — я до полуночи благоговейно вникал в черепковский метод, опубликованный в олимпийски недостижимом журнале «Прикладная математика и механика» (пэээм, как небрежно бросали посвященные), а часа в три вскопчил с колотящимся сердцем,

чтобы трясушейся авторучкой проверить внезапную идею, позволявшую упростить Черепкова раз в тысячу. Затем остороженько, с оглядкой я принялся за матричный метод самого Орлова и, решившись втупую развернуть основной характеристический многочлен, после многих кувырканий обнаружил, что он *линеен по управляющим параметрам!* Это как если бы у кенгуру вместо кишечника оказалась флейта: Орлов как танк прогрохотал над этим подземельем, стремясь захватить побольше территории, а между тем из линейности сразу выводилось, что задача Орлова в условиях неопределенности сводится к пересечению k -мерного (к \bar{a} мерного — по выражению Мишки) линейного многообразия с областью Гербовица. Радость вроде бы и невелика, ибо как выглядит область Гербовица, не знала ни единая душа, но я вырастил пучок кривых (каждый побег — это электрический подскок в три часа ночи), которые заведомо ей принадлежали... Достаточные условия пересечения оказались грубоватыми, зато первыми в истории человечества, а при $k = n - 1$ вообще исчерпывающими. «Это имеет смысл опубликовать», — надменно произнес Семенов, непроницаемый, как полинезийский идол.

В те месяцы меня при отменном здоровье беспрерывно мучила одышка от волнения: неужели это я такое ворочу?! Это и впрямь было недурно при моем тогдашнем невежестве: хваленая линейность легко вытекала из неизвестного мне метода передаточных функций, для построения характеристических коэффициентов я переоткрыл метод Фадеева, вечно осыпанного мелом членкора-скрипача, представлявшего совсем уж заоблачно интеллигентным оттого, что он не выговаривал согласных этак четырнадцать, центральная кривая воплощала лемму Кацева, вокруг которой Кацев возводил все свои монографии... Но Женька всего этого тем более не знал — и ошеломленно притих, когда характеристический многочлен, на который он попер, как на буфет, оказался линейным: это было посильней «Фауста» Гёте. (Как раз перед этим я узнал, что «шедёвром» когда-то называли испытательную работу подмастерья для перехода в мастера, и потому с полным правом вывел на своей разваливающейся на части папке надпись «*Chef-d'oeuvre*», побудившую Мишку с демонстративным недоумением приподнять левую бровь. Я скромно разворачивал перед Женькой одну карту (разведанной местности) за другой, и он сделался почти торжественен. И тут же ринулся... Я интуитивно отшатывался от направлений, не предвещавших никакой красоты, — Женьку не страшили самые безобразные нагромождения (за которые притом никто не мог бы поручиться, что там нет ошибок): на непроницаемом лице Семенова проступала брезгливость. В конце концов он выставил Женьке «хор». Я был доволен, что спас Женьку от Лаврова, — но Женька пришел в благородную ярость: как, почему четверка, он же сделал больше, чем я!.. От стыда (и за себя — кого я привел! — и за Женьку — ведь чем сильнее ты оскорблен чужой оценкой, тем более безразличный вид ты должен принимать!) я тем более не мог выговорить и без того невозможное: «Я разработал весь аппарат, а ты лишь топорно его использовал», — это недоказуемо, это каждый видит (или не видит) собственными глазами. Мои глаза видят, что я привел Женьку к системе тропок, проложенных мною через мною же открытую трясину, а он после этого где-то увяз, где-то накидал штакетников, дверей, матрацев, на которые неизвестно, можно ли ступить, — Женькины же видят... «Я прошу рекомендовать к публикации его работу, а не мою», — с усилием выговорил я. «Я рекомендую того, кто этого заслуживает», — отстраненно приговорил Семенов.

(Со статьей я еще хлебнул: мой творческий пик пришелся на пик конфликта между Орловым, поднявшим сепаратистский мятеж, и классическим матмахом — еврейским лобби, как его иногда именовали в Пашкином особняке, — а потому мою статью в «Вестнике университета» зафутболили на допрецензию аж к самому московскому Розенвассеру: ренегат должен был пасть от руки соплеменника. Статья где-то в дороге затерялась, и второй ее

экземпляр был вручен Розенвассеру лишь года через два, когда он по случайности заглянул в редакцию. Через полгода он прислал корректный лестный отзыв, так что шедевр мой был опубликован почти к кандидатской защите. Но я к тому времени уже вовсю печатался в священном «ПЭЭЭМ», утратившем ореол, как все, с чего мое прикосновение стирало мифологическую пыльцу. На английский и немецкий мою дипломную тоже перевели слишком поздно, когда уже все это направление стало представляться мне узким и кустарным.)

«Ты что, обиделся?» — начал тормозить меня Женька, когда мы оказались в вестибюле под плахой. Я только вздохнул: разъяснить можно лишь частности — о главном толковать бесполезно.

Вспоминал ли меня Женька, мстя американской бездуховности в джунглях Сальвадора?..

А что, интересно, подельывает в Калифорнии Лариска со своим Фридландом — «преподавателем милостью божией», как торжественно аттестовала его серебряная с чернью мамаша, когда перед Ларискиным отъездом я разыскал их необъятную квартиру на Потемкинской, но застал только вдовствующую мать. Мы с Ильей — да и с Лариской — никогда не были особенно близки, но ведь за граница почти тот свет! (Сегодня и настоящие похороны не наполняют меня подобной напыщенностью: смерть не такая уж заслуга.) Порфиросная вдова угостила меня оставшимся от проводов уже знакомым мне салатом оливье, изящно — верх аристократизма — помогая вилке указательным пальцем, со скорбным достоинством повествуя, что Илья, преподаватель милостью божией, не мог получить постоянного места в той самой престижной школе, которую прежде окончил. Я благоговейно кивал, в глубине души дивясь тому, что в университете Илья никак не оказывал своего дара, а еще больше тому, что подобные вещи можно говорить о себе: твой сын — это же еще больше ты, чем ты сам.

По распределению Илья попал в Пентагон — громадную, в пять «почтовых ящиков», гербовую серую махину за бодрым, на цыпочках Ильичом. Являясь на работу, Илья переобувался в домашние тапочки, что местным дамам показалось пренебрежительным; его попросили, он отказался — права человека были на его стороне. Обиженные дамы собрали профсоюзное собрание... Увольнение по собственному желанию Илья воспринял как увольнительную от постылой службы. Он занимался своей матфизикой, подрабатывал в родной престижной школе и мудро взирал юмористически лучающимися глазами на нелепости окружающей жизни. Но с защитой что-то не заладилось, постоянной ставки в школе не давали... Я бы даже счел самохарактеристики типа «милостью божией» чертою чисто еврейской, если бы не встретил в Катькином семействе не сходящий с уст оборот «мы, Ковригины» (самые крутые во всем) и если бы мой еврейский папа не запретил мне с младенчества самому оценивать себя выше чем на тройку. Лариска же прямо на своей грандиозной свадьбе в кафе «Буратино», сияя от гордости, демонстрировала мне новую еврейскую родню, среди которой не было ну ни одной заурядной личности. Отец, лысый еврей с дирижерски откинутым треугольным профилем, вывез из Китая на всю заработанную валюту одну лишь шкатулку с императорским чаем (он служил марксистско-ленинским профессором в военном училище). Монетно отчеканенная мать была французским доцентом в училище театральном и с большим разбором принимала приглашения на все театральные премьеры. Ее еще более царственная старшая сестра отчитала нахамившую ей в автобусе кондукторшу: до чего вы опустились, какая у вас для ваших лет фигура... Мы с Катькой после долгих дебатов сошлись-таки на том, что следить за фигурой и посещать Эрмитаж для простолюдинки вещи одного порядка, а потому попрекать этим нельзя.

Поскольку наша с Катькой свадьба протекла по реке портвейна с водкой, прыгавших через пороги буфетных сарделек при единственной бутылке

коньяка «ОС» — очень старый, — выставленной нищим Юрой («Он просто любит хороший коньяк», — не стыдилась открыто лгать Пузя), меня забавляло, что кавалькада столов в «Буратино» ломилась от розового и белого мрамора рыб, вскипала черными и красными икрами, сверкала медалями марочных вин и коньяков. Улучив минуту, я демонически спросил Лариску: «Ну что, ты счастлива?» — и она немедленно (о женщины, вам имя вероломство!) состроила печальный многозначительный взгляд. «Тут все в смокингах, а я в свитере...» — изобразил я смущение, и она так же значительно возразила: «Все равно ты лучше всех...» И вновь отправилась сиять под воланом фаты и целоваться с кучерявой шекочущей бородой Фридлянда. А я, весьма довольный собой, весело нарезался с каким-то огромным капитаном первого ранга, умевшим петь несколько сдавленным, но почти профессиональным басом, потом потащил с нами и Катю (опасавшуюся, впрочем, отпустить меня одного) куролесить на набережную ночной Невы, там мой друг, сверкая сквозь туман золотыми звездами на черной громаде шинели, добыл в безмолвном ресторане-поплавке две бутылки шампанского, которым я едва не захлебнулся, когда оно вскипело у меня во рту, потом, помню, сам удивился, с какой легкостью я взлетел на мокрую неземную ограду Летнего сада, потом уже не помню, как обнимался с капитаном, безнадежно сетуя, что никогда не буду петь как Шаляпин...

— Но к этому надо стремиться! — убеждал меня капитан.

Ощущение приближающегося свидетеля оборвало сеанс — я разом хлопнул рот, смахнул пот, подтянул живот: делами, которыми вообще не следует заниматься, следует заниматься только наедине. По дышавшей жаром пунктирной аллейке, все так же пронырливо вытягивая шею, руля портфелем будто в метро, торопился Полбин — при всей альпийской белоснежности, обретенной за эти годы его бородкой, по-прежнему купчик из бани. Или с той исторической кандидатской защиты, на которую дать отпор орловскому самодурству собрался весь цвет дискретной математики. При Орлове крутилось много непонятого народа, но со временем обычно у одного выяснялся брат в министерстве, у другого сват в ВАКе, — однако иной раз Орлов мог и просто ткнуть в кого-то пальцем: будешь доцентом! А потому! Полбин-то уже давно профессор — некогда грозный ВАК ныне чуть ли не зарплату получает с выданных дипломов... Но я в Полбинский диссертационный доклад когда-то вслушивался прямо-таки с тревогой: уж не из-за глупости ли моей мне все это кажется полной ахинеей? Слишком уж я был далек от того, чтобы видеть в новообразованном орловском совете Бюро по выдаче ученых степеней нужным людям (если им попутно удавалось еще и вывести что-нибудь новенькое — тем лучше). Мне даже казалось справедливым, что орловская лаборатория имеет право выделиться в независимое подразделение, раз она приносит факультету три четверти всех договорных денег (кои военноморским и военно-космическим воротилам все равно не разрешалось тратить ни на что, кроме «науки»). Поди додумайся в двадцать два года, что важно не то, кто сколько приносит, а то, кто какому богу поклоняется. Старый матемех поклонялся истине, и заставить его уважать кого-то, кто не умел бы «получать результаты», не удалось бы и Святой Инквизиции.

Полбин уже скрылся в сауне Волховского, оставив за собой дух жарких подмышек, а вызванный им призрак Орлова вновь расширил мою грудь восторгом: самоуслажденческую глущь моей души способна всколыхнуть только красота, только сила, — и не важно, на чьей стороне она окажется. Полуграмотный мальчишка-подпасок случайно задевает затаившуюся от вчерашнего фронта противопехотную мину, попадает в интернат для полуподвижных, там в три года с золотой медалью заканчивает десятилетку, затем в три года университет, причем завлечь его в аспирантуру помимо двух математических кафедр пытается еще одна философская. Через два года кандидатская,

еще через год — докторская. Но тут-то... возможно, тогдашние еврейские патриархи и впрямь сочли работу слишком уж нахрапистой — все напролом, ряды за рядами... Так или иначе, докторскую по своей монографии, переведенной впоследствии на все основные европейские языки, Орлов защитил лишь тридцатилетним старцем, и этот рубец...

Но не нужно все выводить из одного романтического эпизода — «он дико захохотал», — этот наголодавшийся и наголодавшийся хлопчик, обратившийся в сиднем сидящего Микулу Селяниновича, накрепко запомнил, как по одному манию полувоенного товарища из «виллиса» выволакивали из амбара хлеб, ради которого рвала пупы вся бабья деревня: по-настоящему, до дна он чтит только власть социальных законов, правила игры, по которым следовало выигрывать. Уж он-то понимал, сколько умных слов можно нагородить по любому поводу, — помню конфликт с заказчиком, которому Орлов спокойно говорил в глаза: «Я докажу любому совету, что мы полностью справились с техническим заданием», — заказчику нужно было наполнить водой цистерну на вершине горы, а мы написали, что надо взять ведро и таскать. Итог всему подводит реальный успех: есть у тебя диплом доктора, лауреата, академика — значит, ты и есть доктор, лауреат, академик, а все остальные аргументы — сотрясение воздуха. Быть может, именно из-за своего беспредельного презрения к пустословию Орлов не верил, что миром могут править краснословы, маменькины сынки, всего на свете добившиеся языком и связями, а не крутые мужики, горбом и грудью пробившиеся из подпасков в генералы, министры, академики. Говорили, что он приближает к себе публику попримитивнее, побездорнее, которой не с кем было бы его сравнивать, — но это лишь треть правды: Орлов считал выдвинутых из простонародья не только более надежными, но и более заслуживающими выдвижения, чем те, кому все досталось от папеньки с маменькой. Я думаю, если бы Новак доказал, что способен *сам* пробиться в большие воротилы, Орлов сотрудничал бы с ним («Мы с Борисом Ароновичем Новаком обсудили») с таким же вкусом, как с Алексеем Николаевичем Косыгиным: «В восемь утра мы были у него уже третьими. Сразу подали чай, две минуты на доклад». При этом нажечь Алексея Николаевича — ухватить собственный институт на волне «асучной» моды (АСУ — автоматизированные системы управления, помогающие править на пару с ЭВМ), а потом слинять, — это было святое дело, вполне по правилам. А потом урвать еще кусок на роботизации, на продовольственной программе. Не пускать в свой огород чужаков, хотя бы и асучников, — тоже дело святое: я пробил — я и хозяин. И мериться с исконным математическим гнездовьем не по сомнительным научным результатам, а по недвусмысленному количеству кандидатов и докторов, штампуя их в собственном совете, — а вы бы чего хотели? У вас в совете три академика? У нас для начала будет два.

Я оцепенел, когда под плахой лицом к лицу столкнулся сразу с двумя звездами первой величины (скромно сиявшими золотыми звездами Героев Социалистического Труда), согласившимися поддержать труженическую ветвь математики, готовую держаться поближе к земле. Академик Колосов, не расстававшийся с кислой миной озабоченного крючконосого прораба, в двадцать три года автор классических теорем по теории чисел, в двадцать четыре шагнул в ополчение, чтобы в сорок пятом вернуться из Кенигсберга майором артиллерии, обретшим в расчетах поправок на ветер вкус к математической статистике, где впоследствии и сделался соперником самого Колмогорова.

Второй классик, академик Невельский, был изящен, как юный князь, внезапно поседевший под действием злых чар. Рассказывали, что во время войны он чуть ли не в одиночку обсчитывал прочность всех советских подлодок, а его почитаемый во всем мире двухтомник «Теория упругих оболочек» принес ему не только все мыслимые премии и ордена, но еще и един-

ственное предназначенное для иностранца место в Лондонском Королевском обществе — место, прежде него занимаемое вовсе уж легендарным академиком Крыловым. Для принятия этого звания Невельский якобы даже успел шить фрак, но Первый отдел его не выпустил, так что фрак и по сей день где-то висит без употребления.

Теперь они оба, по-прежнему при звездах, висят в Петергофском остроге между Эйлером и Гауссом, снисходительно, должно быть, мурлычащими под нос: недурно, недурно, молодые люди... Но рекламная табличка «Академик А. Н. Невельский», должно быть, и по сию пору красуется в Пашкином особняке на дверях его фиктивного кабинета: Невельский, в отличие от Колосова, после полбинской защиты не разорвал с нашей конторой формально, а только почти перестал появляться. Полбин достался Орлову за совершенно несуразную цену, но на карте стоял вопрос вопросов: кто здесь хозяин?

В надышанном актовом зальчике под смазанной хамскими побелками разрушающейся лепниной и потрескавшейся лазурью победных небес поднимались личности одна благороднее другой и надменно разбирали ту грудку хлама, которую Полбин по невежеству и наглости, а Орлов по презрению к болтовне осмелились назвать диссертацией. Худенький Френкель из экономико-математического института, когда-то посещавший орловские семинары, буквально прижал руки к сердцу: Зосима Иванович, ведь диссертация *и в самом деле!*. Орлов, мрачно уставившийся в пол (лишенный обычного выражения усмешливого добродушия, он еще больше походил на оплывающего гранитного воина-освободителя), и бровью не шевельнул: важно не то, что «в самом деле», а то, на чьей ты стороне. Лет через семь-восемь в откровенную минуту Орлов поделился со мной, что все те немногие евреи, которым он решался довериться, рано или поздно его предавали. А русские предавали все-таки не все. Но уж я-то по крайней мере даже во имя истины не стал бы оглашать публично, как Френкель (в Штатах получил рекомендацию от самого Беллмана), что единственная солидная полбинская публикация — обзор по стохастическому программированию — полностью, вплоть до ошибок, содрана с американского оригинала.

Невельский брезгливо смотрел в темное окно, Колосов внимательно вслушивался в изничтожающие инвективы чужеземцев (увы, наполовину евреев...) и, тоже довольно неглупые, аполгии орловцев. Но когда прямо-таки проплясал на полбинских костях зеркально лысый «ученик» Колосова Клоков, Колосов предложил перенести защиту, чтобы еще раз спокойно изучить... Орлов не шелохнулся. И когда верный Совет проголосовал «за» всего с двумя предательскими «против», Орлов громогласно поздравил истекающего потом Полбина. Я-то уже за одни эти литры затравленного пота отпустил бы его душу на покаяние, но еврейская истина не знала жалости: ВАК засыпала письмами, Полбина раза три таскали в Москву, но в конце концов Орлов показал, кто здесь хозяин — через два года Полбин был утвержден, а вот Клоков немедленно уволен. Колосов был вынужден заявить, что при таких обстоятельствах он вынужден прекратить... Однако Орлов и здесь предпочел остаться не с гением, а с победой.

Правда, оставленную им сионистскую занозу терпели довольно долго. Поскольку в любом деле, требующем личной инициативы — будь то математика, поэзия или торговля, — неизбежно окажется повышенный процент евреев, если только не отсеивать их специально, этой участи не избегла и школа Колосова, причем одного его защитившегося аспиранта, носившего громкое имя Шамир, Орлов по просьбе Колосова успел взять на работу — с минимальным для кандидата окладом сто шестьдесят пять рублей (кандидаты приближенные обычно начинались с двухсот пятидесяти). Лично я, получая сто десять, был бы только рад лишней полсотне, но Шамир обиделся и перестал ходить на работу — вернее, не начал. Неугодных Орлов, как правило, не преследовал, оставлял без внимания, не более, но временами, усмешливо

подрагивая крупными губами, благотворительствовал каким-нибудь пузырям земли. Пара таких пузырей — богомерзкая чета Ваняевых — подняла вопрос о вызывающем поведении сотрудника Шамира и сделала мне профсоюзный запрос о его работе: как назло, он числился на моем договоре. Я к тому времени уже прошел хорошую костоломку, раскрошившую во мне русскую гордыню («Ах, вы меня не любите? Ну так и пошли вы на ...!») — увы, так и не сросшуся в гордыню еврейскую «Ви мне не любите? Так я вас таки использую»), — и потому сразу почувствовал вину перед несгибаемой фигурой бордатого мятежника, чей широкоячеистый свитер-реглан лишь подчеркивал могучую обвислость его плеч. Он и держался так, словно я, а не он попал в забавно-нелепое положение (и то сказать, ведь это мне предстояло сделаться пособником антисемитов). Поэтому, вместо того чтобы сказать снисходительно усмевавшемуся герою: «Я тебя ни о чем не просил, а потому ничем тебе не обязан», — я взялся задним числом вписать его в свое направление. Ты что, не лезь, откажись, переполошилась Юля, ибо шитая белыми нитками моя затея идеально укладывалась в чрезвычайно нежелательную для меня схему «еврей выгораживает еврея». Но деваться мне было некуда. Я договорился лишь, что Шамир покажет мне свои срочные наброски подальше от согладатайских глаз — на добром старом матмехе.

Он опоздал минут на сорок, но плюнуть и уйти — ускользнуть от помощи гонимому еврею — я не мог. Зато среди родимых утраченных стен я хорошоенько припомнил все раздравшие меня развилки с той минуты, как я был оторван судьбой от груди альма-матер. К моменту моего распределения Катька с ее матерью через Большой дом («Смотрите, бабуля, пожалее!») прописали меня в Заозерском бараке, а уж в Ленинграде, мы знали, мою специальность отрывают с руками (по баллам я шел первым в списке). Но тут на меня надела костлявая вербовщица из сверхсекретного Арзамаса-16 — подлинное имя ее мелькнуло в воспоминаниях Сахарова, но подчиненные, как впоследствии оказалось, звали ее просто Жандармская. Она мрачно сулила мне немедленную квартиру, двойной оклад, творческую работу — ее отдел разворачивал новое направление. «Но почему вам нужен именно я?!» — «Я советовалась с преподавателями — все называют ваше имя». Она уже в прошлом году закогтила пару-тройку крепких ребят — в том числе и Славку, считавшего, что жить можно если уж не в Ленинграде, то лучше в каком-то тайном каземате, чем в Свердловске или Куйбышеве, его осточертевшей малой родине.

Я не был так жесток к провинции, но Катька, из-за дочки и чахотки оставшая от меня на один курс, признавала только Ленинград, Ленинград и еще раз Ленинград. Но на распределении на меня с явной заботой обо мне навалилась вся комиссия с Солон Ивановичем во главе. И я подписал... Все сделались ласковы со мной, как с безнадежным больным, наконец-то согласившимся на операцию, но я тем не менее брел в общежитие, совершенно раздавленный этим арзамасским ужасом, — как-никак это было мое Первое серьезное предательство.

Однако Катька, увидев мое лицо, сразу все поняла и простила: ну и хорошо, сразу заживем, обставимся, она придет ко мне на преддипломную практику, жалко, конечно, прописочных хлопот, но, накопив денег, глядишь, и построим в Питере кооператив... Я впервые в жизни был ей благодарен, ибо впервые в жизни чувствовал себя несостоятельным.

А назавтра я уже почти мечтал об Арзамасе — о его таинственных верстах тройной колючей проволоки, о лязгающих пропускных шлюзах, о государственной важности проблемах, где я всем покажу, об опасных испытаниях неведомо чего среди пустынь и льдов, среди змей и белых медведей, усевшихся на краю дымящейся полыньи... Все тревоги и разочарования вышли наружу в виде первого и, надеюсь, последнего в моей жизни фурункула, вначале придавшего моему подбородку невероятную мужественность, но

вскоре потребовавшего для прикрытия его вулканической деятельности марлевой повязки через макушку. Со стиснутыми повязкой челюстями по солнечной июньской набережной я прискакал в Двенадцать коллегий получать — подъемные, что ли, и в собравшейся очереди молодых специалистов с удовлетворением разглядел у вожделенной двери в чем-то, казалось, спевшихся Славку с Мишкой. Я хотел пристроиться к ним как ни в чем не бывало, но подлец Мишка, криво усмехнувшись, произнес: «С острой болью без очереди». Жалко, рот мой был запечатан — но в кабинете я его пожалуй что и разинул, когда плюгавый красавчик за полированным столом объявил: «Вам отказано». Как, почему?.. «Не пропустил Первый отдел».

Славка, все получивший еще и на двоичницу Пузю, начал строить азартные догадки: наверно, всему причиной мой сидевший отец, ибо ему-то, Славке, даже стопроцентное еврейство сошло же как-то с рук... Правда, за последний год евреи опять чего-то натворили...

Мишкиной реакции не помню. Он постоянно ревновал к моему первенству, не вполне даже понятно на чем основанному, ибо сам я ощущал его как равного, только слишком... последовательного, что ли? — он мог делать лишь то, что ясно понимал, а ясность часто приходит только задним числом. Однако радоваться полученной мною плюхе он бы не стал, хотя к Орлову своим фантомом увлек его я. А вот тему дипломную Мишка не выцарапал сам, как я, а взял, что дали, — ну а что мог дать Антонюк, кроме второстепенного уточнения к собственному третьестепенному уточнению замечания два к лемме четыре штрих третьей главы восьмой монографии Орлова — в этой мутотени если чудом и блеснешь, Антонюк все равно по глупости и свинству не оценит. Мишка все-таки высосал что можно, попутно развлекая нас историями о глупостях Антонюка и, подобно многим бывшим пай-мальчишкам (Дмитрий, Дмитрий...), набираясь все большей и большей свободы от условностей — так, в ожидании Антонюка он однажды улегся спать на курительные стулья под задницей Геркулеса, подняв шалевый воротник дубового зеленого пальто и положив под голову свой железнодорожный портфель-саквояж.

Но к распределению он вдруг отнесся по-еврейски серьезно: самый солидный из мобилизованных его родителями дядьев, дядя Ефрем — катээн (канд. технаук), — растолковал ему, что через десять лет высшее образование окажется у «всех» и чего-то стоит будут только кандидаты: нужно искать контору закрытую и с ученым советом — сразу и зарплата, и высокая актуальность. Эти достоинства совмещал в себе НИИ командных приборов — НИИ КП, Кружка Пива, как расшифровывали в Пашкином особняке, состоявшем с этим запечатанным ящиком близ «Чернышевской» во взаимовыгодной дружбе: по оба конца бурого незрячего здания торчали пивные ларьки. И вот Мишка благополучно получил последние бумаги в Кружку Пива, а я остался под дверью с подвязанной челюстью. Я растерялся, скрывать не стану: меня, которого все так любят, и вдруг...

Когда стемнело, я отправился на прием к декану, ястребиноглазому штурману-орденоносцу, лауреату и членкору, — он принял меня минимум как родной отец и тут же предложил свободный диплом. Я не знал, что в противном случае университета обязан был меня не только трудоустроить, но и вплоть до трудоустройства выплачивать стипендию, — я принял свободный диплом как свободу поиска. Уж с моей-то дефицитной специальностью и бесконечными «отлично», «отлично», «отлично» по всем точным дисциплинам...

Я двинул на лесосплав подзаработать денжат и — на пороге настоящей жизни — еще раз почувствовать себя настоящим мужчиной (я долго практиковал эту иллюзию освобождения от власти вездесущих социальных законов, пока до меня не дошло, до чего мастурбационны мои побег). Осенью же по утопавшему в золоте Ленинграду (смесь «один кленовый лист на гектар

пыльного асфальта» представлялась мне золотом девяносто шестой пробы) я принялся расширять концентрические круги с центром в Финляндском вокзале, последовательно накрывая те конторы, что весной были обнесены нашими выпускниками. Я привыкал два — два с половиной часа в электричке считать частью рабочего дня и очень плодотворно их использовал — неплохо, в частности, подучил, чтобы потом совершенно забыть, английский язык. Но за пределами вагона мне ничего не удавалось: деньги таяли, а отказы множились. Меня-то хотели, но хотения эти доходили не выше престола кадровика. Особенно ухватились за меня в Горном институте (оторванный от альма-матер, погибающий в корчах Антей под воронихинской колоннадой, к которой мы с братом еще недавно хаживали проникаться дальними странами, мерещившимися за вереницами судов). Геологические раритеты всевозможных размеров, будничные разговоры о Кольском и Колыме разом заставили меня полюбить и флотационные процессы, разобраться в которых не мог даже их главный теоретик Златкис. Меня уже усадили читать его отчет, и я уже понял, что могу сочинить в десять раз лучше (так оно и было)... Заведующий кафедрой водил меня аж к самому проректору, но тот лишь укоризненно глядел мимо: ну зачем вы ставите меня в неловкое положение!

Осыпавшаяся позолота была смыта серой водой, зеленый, в бараньих лбах двор в Заозерье превратился в болото, в котором — среди таежной тьмы, куда я возвращался из своих блужданий, — уже не имело смысла разбираться, где глубже, а где мельче. Темнело рано, и, бредя среди горящих окон, я тупо дивился, как это может быть, что *ни у одного* из этих очагов не находится места всего-то для одного готового и вкалывать, и всех любить симпатичного, в сущности, человечка... На моем лице начала укореняться скорбно-проницательная усмешка, тоже, я думаю, не способствовавшая успеху моих исканий.

Кажется, впервые моя М-глубь отказалась поддерживать, то есть ослеплять, меня: прежде моя жизнь представлялась мне захватывающей драмой, в которой и поражение может быть столь же восхитительным, как победа, — теперь реальность убеждала меня, что поражение есть поражение, как его ни украшай.

И тут мне передали, что меня разыскивает Орлов. По-видимому, он счел, что не взята в аспирантуру еврея, который и так неплохо устроится, и оставить еврея на улице — не совсем одно и то же. «Почему ты сразу ко мне не обратился?» — был его первый суровый вопрос (с первым отеческим «ты»). И что бы впоследствии ни творил Орлов, эту протянутую руку я всегда буду помнить: если бы какой-то эсэсовец, готовясь расстрелять тысячу евреев, лично меня почему-то отпустил на волю, я и ему считал бы себя обязанным.

Под диктовку Орлова я написал заявление на самый крошечный чин — могущественный подслеповатый сморчок, кадровик Батькало, бережно отодвинул бумагу на край стола: с областной пропиской не берем (половина Заозерья трудилась в Ленинграде). Орлов на новеньком бланке надиктовал по-орловски щедрое ходатайство в паспортный стол: «выдающийся специалист», «государственной важности», — капитанша налагала положительную резолюцию не без почтения. Батькало же, по-прежнему меня не замечая, отодвинул бумагу теперь уже без мотивировок. Я бы проницательно усмехнулся ему в лицо, если бы не видел его, осыпанного медалями, как осенняя осина, на Доске ветеранов войны (впоследствии мне разъяснили, что стрелял он там по своим). Орлов при мне позвонил ему самолично, сопровождая уговоры простонародными прибаутками, ясно дающими понять, что унижается он смеха ради. Но Батькало, вероятно, зачем-то была нужна его прямая просьба.

Я настолько уже сросся с заранее безнадежной улыбочкой, что не сразу сумел с нею расстаться. И не совсем зря. Усмешливо подрагивая краешками могучих губ, Орлов передал меня в распоряжение своей шестерки, прикаты-

вавшей его на лекции и стучавшей мелком под его диктовку: теперь она сделалась главным менеджером становящегося подразделения. Я только здесь разглядел выражение мелкомасштабного фанатизма на его бесконечно скучной физиономии и по нескрываемому торжеству в его безрадостных глазах начал понимать, что маленькие серые люди вовсе не склонны считать себя всего лишь фоном, на котором разворачивается жизнь людей крупных и блистательных. Но это были только цветочки — интимнейшим моим начальником в деле совсем уж постыдном сделался Антонюк, еще в общежитии удручавший меня своей громогласной жирно-трепещущей дураковатостью: можно, значит, что-то соображать в математике и быть... Тем более Антонюк был уже аспирантом, хотя и орловского помета, — но до таких нюансов я еще не дорос. К слову, он соображал бы даже и терпимо, если бы не слободская дуракомность: увидел, рванул, сломал, свалил на соседа. Как-то, поддавший, на общежитской кухне он полез обниматься к Верке Пташкиной, а я — в чем был совершенно не прав, Верка и сама бы от него отбилась — остановил его семафорным жестом: «Руками не трогать!» Он залупился, я ему впалял справа, он влетел башкой в стекло, порезался... Фу!

Орлов придумал меня Антонюку в письмоводители с аттестацией: «Он парень умный, поворотливый», — создавать сепаратную систему учета, на какой теме сколько бабок, кто где числится и сколько получает, много ли проезжено в командировках, — делов на час в день, если взяться с умом. Но ума-то у меня и не было. Я не догадывался сказать себе: деваться некуда — надо сделать, я ощущал: деваться некуда — я погиб. Я никогда не был силен в мелочах, при первом изложении новой идеи и сейчас предупреждаю: слушайте, что я говорю, и не смотрите, что я пишу, — при правильном понимании сути я вполне могу написать азбучную формулу вверх ногами. Ну а там, где сути вовсе нет... Для меня и сейчас серьезная проблема, вперед или назад передвигать часы на летнее время. (Вот Славка в таких делах парил, как кондор.)

Антонюк, соединявший все взаимоисключающие речевые некорректности (он умудрялся одновременно «окать», «акать» и «укать» — «хараашо», «хурушо», «хОрОшо»), плотоядно ликовал: «Значить, ты вумная, а я хлупа́ой?» М-честь каждую минуту требовала отказаться от позорного поста — или по крайней мере оборвать аппетитные антонюковские покрикивания типа: «Ты тшем думау, кохда это корабал?!» — но ведь он сразу побежал бы к Орлову, а предстать перед Орловым на равных с Антонюком, услышать его бесхитростные и *совершенно справедливые* характеристики... Стыдно вспомнить, но я это регулярно делаю в целях самовоспитания: однажды я пал к орловским ногам и только что не со слезами умолял дать *любую* другую работу — с этой я не справляюсь! «Отставники справляются, а ты нет? — грубовато подбодрил меня Орлов, но, убедившись, что это я серьезно, каменно отрубил: — Вы свободны». «Свободны...» — горько передразнил я, ибо я совсем не был свободен от мечты снова наконец вернуться к продолжавшему неудержимо разрастаться во мне шедёвру, я не был свободен от обожания Орлова... И я не был свободен от страха. Я уже понял, что вполне могу застрять в сплавищах на чрезмерно долгий срок — на этих условиях даже море совершенно перестало манить меня.

Словом, по тактике я выставляю себе двойку с минусом, зато по стратегической выдержке — твердую пятерку. За все эти беспросветные месяцы я так ни разу и не позволил самоуслаждению восторжествовать над делом. И в конце концов мимо меня проплыл по реке труп моего врага, который к тому времени уже не был моим врагом, потому что давно ничем не мог мне повредить. А если бы мог, я бы порадовался его смерти. Тот факт, что Антонюк, разьевшийся до габаритов товарища Жданова, чуть ли не три дня простоял раком на дачной грядке, пока его не начала трепать за седалище соседская собака, — это, конечно, уже излишество, но в целом я сегодня смотрю

на эти вещи по-сталински: нэт человека — нэт проблемы. Смерть слишком просто достается каждому, чтобы считаться серьезной заслугой.

Вру, вернее, хвастаюсь — будь он даже опасен, я все равно ощутил бы брезгливое сострадание: ну что, много ты выгадал, избрав жизнь скота, а не человека?

Наверно, я перенес бы тогдашнее унижение, разочарование раз в миллион легче — я бы валял ваньку, сшил бы себе бухгалтерские нарукавники, — если бы пребывал среди друзей, как привык, — вернее, я привык считать друзьями всех, кто не демонстрировал особо сволочных наклонностей. Мало-знакомые люди казались мне более достойными, чем я: о себе я кое-что знал, — так что если кто-то не выражал мне симпатии, я всячески старался ее выслужить. Я и приходил-то раньше всех — канцелярские крысы всегда должны быть под рукой, — лишь в эти час-полтора меня удостаивала подробностей из жизни своего восьмилетнего сынишки вторая по аккуратности дама. Я всячески старался выказать, какой я общительный и отзывчивый (я такой и был), но она строго пресекала мои попытки поведать что-то и о себе. Ее сынуля, например, стирает пятнышки со штанишек следующим образом: трет испачканные части друг о дружку. «Угу, угу, — радостно стараюсь я раздуть хотя бы такое пятнышко общности между нами, — я тоже всегда так делаю!» — «Все так делают», — строго обрывает она.

Нет, активных антисемитов и на орловщине была обычная процентная норма — остальные просто составляли замкнутый клан, не нуждающийся в чужаках. К Орлову приходили самые обычные ребята и превращались в ксенофобов по вполне будничной причине: все они со временем начинали чувствовать, что занимают не свое место, что при свободной конкуренции в университетских доцентах и тем более профессорах из них удержалась бы, дай бог, четверть — следовательно, приходилось провозглашать главенство национально наследуемого над происками лично приобретаемого. Особо впечатлительные даже начинали просматривать газеты насквозь и обнаруживать, что реформе здравоохранения на обороте страницы соответствует отрубленная голова. Ну а те, кто чувствовал себя состоятельным по международным стандартам, как правило, и патриотами были умеренными.

Но до этих тривиальностей мне еще предстояло брести и брести — домашнее же воспитание говорило: если тебя не любят, значит, ты плохой. И я старался быть хорошим. Однако угодность еще никому...

Похоже, сослуживцы меня и уважать-то начали, когда я перестал в них нуждаться, а когда я наконец решился уйти в лакотряпочники, меня уже почти любили и я уже почти отвечал взаимностью. Но глубь оставалась холодной и настороженной, как в те месяцы, когда я непроницаемо здоровался, непроницаемо управлялся с полставками и командировками, на придирки *товарышиша ехрэйтора* отвечал вежливой издевкой, слишком тонкой для такой скотины, но распознаваемой им по невольным усмешкам зрителей, затем перемещался в библиотеку, просматривал журнальные новинки и просто обчитывал все вокруг своего шедёвра — все новые темы, требующие немедленного развития, перли ковром, как опята. Мои статьи уже печатались в самых престижных наших журналах — я почти не вздрагивал, обнаруживая в ржавом почтовом ящике солидные столичные конверты, — Антонюк уже говорил за моей спиной: «Мы укальвам, а ён статейти шлепаить». Но я все равно в душе завидовал тем, кто вкальвает вместе со всеми, на ком держится институт, кто получает указания от Орлова, в ком нуждается государство, кто катается в командировки на закрытые объекты, кто озабоченно произносит слова «допуск», «отчет», «заказчик», «протокол согласования»...

Вожденный труд со всеми сообща явился мне в облике опять-таки карикатурном — Орлов вместо спутников, реакторов, лазеров и квазеров повесил на меня ненавистный мне экономический договорчик: сетевое планирование, составление расписаний каких-то там подразделений уны-

лого п/я неподалеку от унылой, как Ахерон, Черной речки, где тогда не было даже метро. Правда, мне наконец выдали «допуск» (мысли не мелькнуло, что этим я закрываю себе отъезд, — мне *здесь* хотелось сделаться полноценной личностью), у проходной я ежедневно выписывал «пропуск»... И я сумел построить правильные отношения с самым главным их плановиком и, что не менее важно, с его молодящейся секретаршей, на договорные денежки прилично разобрался в теории графов, под видом изучения опыта скатался в Тбилиси и в Новосибирск и произвел на тамошних спецов впечатление своим алгоритмом...

В ту именно пору ко мне и прикрепили чистенькую заносчивую аспирантку Юлю, которую, по ее словам, я поразил не только умом, но необыкновенной доброжелательностью и независимостью среди общего холопства. М-да... Женское сердце пронизательно... Знала бы она, как я млею на еженедельных священнодействиях — семинарах, когда Орлов одним махом срывал покрывало частностей с самых хитросплетенных выступлений, обнажая восхитительно простенькую суть. (Правда, для нужного человечка, уже голенького и посиневшего, Орлов подводил итог совершенно неожиданный: работа очень интересная, представляет практический...) Но Юля отметила, что на первом своем докладе я ссылаясь на «теорему Орлова», а не на «теорему Зосимы Ивановича», как другие. И все же доклад мой Орлов аттестовал одним словом: «Здорово!» Правда, второй выглядел уже немного пахальным: слишком много новых результатов за слишком короткий срок. А когда, когда на ежегодных отчетах у меня стало обнаруживаться по пять — десять московских публикаций, тогда как средний орловец печатался что-нибудь раз в два года в совместном сборнике с Йошкар-Олой, предоставлявшей нам бумагу в обмен на имя ответственного редактора Орлова, Орлов окончательно окаменел — мое поведение выглядело уже формой нажима.

Орлов заваливал меня дурацкими договорами-однодневками, отправлял мне на рецензирование громоздкие сочинения осаждавших его прожекторов, а я на пару с Юлей, любившей именно подробности, все спихивал в срок, оболещал прожекторов, по каждой новой теме делал публикацию-другую — отчасти уже назло, отчасти и из азарта: я все могу. Но сквозь этот мусор работа «для себя» двигалась уверенной моторкой — диссертацию я сделал года за два: в автобусе на одной ноге думалось особенно плодотворно. А когда я еще через три года защищался, было уже очевидно, что Орлов меня слишком долго тормозил. Совет, однако, проголосовал единодушно — народ там был сам по себе не злой и, может быть, даже отвел душу, голосуя за умного и невредного еврея. Это, в сущности, был скелет докторской — оставалось лишь заложить проемы кирпичом да как следует оштукатурить. Но... Если власть безразлична к истине, значит, она способна на все. Мои статьи продолжали выходить в солидных журналах, меня — что гораздо важнее — признали московские коллеги, и, вполне достойно выступив на их семинарах, я заходил в ВАК (всякий раз поражаясь занюханности этой грозной конторы), по гамбургскому счету, как бы уже и свысока, но проходили месяцы, а мой «десерт» лежал без движения. Только к концу второго года некрасивая, но свойская, почему-то выделявшая меня среди прочих унылых ходателей секретарша сочувственно сообщила мне, что мою работу отправили «черному оппоненту».

Гордыня вчерашней звезды еще, может быть, и сумела бы возвыситься над этим мусором, но вот родительский долг мой признавал лишь осязаемые результаты. В сыром бараке наши крошки непрерывно хворали. Летом, среди сказочных елей, мхов и папоротников, активно участвуя в заготовке грибов и ягод, они еще держались, но при заготовке капусты и картошки (я самолично возделывал три сотки и, отчасти уподобляясь графу Монте-Кристо, вырыл и обшил краденными досками обширное подполье, вытаскав землю в мешках) они уже начинали, как выражалась моя мама, сопатиться или кук-

ситься, а уж зимой... Я, на свое несчастье, был уникальным отцом — все больницы и санатории в один голос заявляли, что второго такого не видели.

Болели, правда, мы идилично — у дочки прекращались конфликты в школе (Дмитрий-то до поры до времени был ангелом в облике барсучка): она уже тогда путала знание и бойкость речи, а посему считала себя умнее учителей: она и сегодня убеждена, что если промышленник или генерал не так речист, как кружащие вокруг нее (если не она вокруг них) брехуны, то им — уж конечно, не брехунам — заведомо нельзя доверить ни завод, ни дивизию. Митя же, наоборот, был кроток в общении, но нескромен в изучении всего на свете: в пятом классе сам, без моего одобрения, изучил тригонометрию, потом химию за всю среднюю школу. Химичка даже привела его в пример десятиклассникам, в результате чего эти олухи зажали его в угол и принялись долбить каверзными, по их, олухов, мнению, вопросами. Он на все отвечал, так что в конце концов они устроили ему овацию: «Великий химик, великий химик!» Великий химик... После химфака гниет в водоканале... Правда, хоть зарплату исправно платят — критерий, достойный настоящего ученого... Но болел он в былые времена исключительно плодотворно. Вот когда дети были относительно здоровы, мне помнится больше садик, чем школа: последний потный папа, я хватал в охапку их, дождавшихся уже в раздевалке, и сквозь морозную тьму волочил в нашу единственную комнату, в которой за день настаивалась вполне уличная стужа. Я их, как были в валеночках и шубках (все из чего-то выкраивалось, донашивалось), усаживал на диван и растапливал закованную в гофрированное железо цилиндрическую печь, которую в утренней тьме сам же зарядил на ошупь (почти уже не пачкаясь сажей) притараненной из тьмы сарая охапкой дров. Печь разводила свои завывания, а я постепенно снимал с детей шапочки, потом расстегивал шубки, потом развязывал косыночки. Валенки снимались только перед сном. О городской же квартире, не имея степени, не приходилось и мечтать. Не приходилось мечтать и о превышении достигнутых ста пятидесяти в месяц. Катька запретила мне репетиторство, но я, если подворачивался случай, нарушал. Хотя, раз десять подряд повторивши определение квадратного корня...

Зато в отпусках — удлинённых, у нас за этим не очень следили, — я всегда где-нибудь вкалывал, чтобы отправить дорогих крошек на печеночные воды; а попутно, ведя в реальности жизнь труса, я старался самоуспокоиться геройством в трудовых играх — горные экспедиции, подрывные работы... Как-то за пятьсот рублей подрядился красить — брать на абордаж — каторжно-полосатую фабричную трубу, у которой скобы-ступеньки, немного пошатав, можно было вынуть рукой...

В итоге наши детки имели «все», кроме телевизора. Я считал, что лишь чтение — воссоздание почти чувственных образов из бесчувственных символов — есть процесс истинно человеческий. Все было нормально: в любой момент быть оторванным от книги, сунуть ноги в ледяные резиновые сапоги и под луной или сквозь вьюгу семенить с помойным ведром по многокопытной тропе, таскать в полумраке из полного мрака дрова, нормально дождливыми ночами красть на станции доски-пропеллеры, а на стройках рваный толь, рысью волочить полусонных детей в полутемный садик, чтобы успеть на семичасовой поезд-подкидьш, нормально и в снег, и в гололед вскакивать на ходу, чтобы не остаться без места — без целого часа полутемного горьковского чтения...

В баню тоже приходилось греметь на электричке до Лениногорска: во тьме перебираться через бесконечные товарные составы, подсаживать, если подвернется тормозная площадка, сначала Катьку, потом детей, затем с другой стороны по очереди их снимать... Под вагонами Катька трусила ужасно, а я ничего: детей бы я успел выбросить, а сам лег лицом вниз. Математика — один из самых сильных наркотиков, и, как положено наркоману, я не был эмоционально озабочен и Катькиными тяготами: ну, стирает в корыте,

ну, спит по пять-шесть часов, ну, ездит ночными электричками — так она же там вяжет!.. Власть над моей душой имел только Долг: я был *обязан* обеспечить семью всем, чем *положено*. Меня-то даже и комната начала устраивать, когда от нас отселился Катькин брат, тоже не сумевший вписаться в настоящую жизнь из-за того, что слишком долго сиял в качестве звезды танцплощадки: теща была сильно глуховата, дети пока что спали сном ангелов, а то, что белобрысый сосед Васька харкает в общую эмалированную раковину под общим звонким рукомойником в нашей общей кухне, — так волно же Катьке обращать внимание на эти студенистые сталактиты!

Даже дети... где-то в глубине души мне казалось, что и они переболеют, выучатся, получат жилье не хуже моего... Пожалуй, все-таки именно из-за Долга я ощутил этот приступ медвежьей болезни, когда извлек из гремучего ящичка гремучий же конверт со штампом Высшей аттестационной комиссии, в результате чего черный отзыв мне пришлось читать в щелевом освещении четырехкабинного сортира, обращенного к четырем крыльцам нашей восьмикомнатной казармы (хорошо — летом, не на морозном аэродинамическом потоке, бьющем из дыры).

Как легко лгать и как трудно оправдываться! Подробный разбор каждой мимоходом брошенной клеветы разрастался до журнальной заметки, а клевет таких... Я с тоской понял, что всякий, кто самолично не работал на нашем пятачке, дочитывать это не станет — чума на оба ваших дома! Настоящий мужчина — мой брат — в подобной ситуации завербовался на Диксон, и мне тоже невыносимо захотелось гонять по тундре на вездеходе, дуть спирт под адский свист вьюги, стрелять из карабина нагулявших жир оленей... Но *навеки* расстаться с научным миром, со свободой умственных блужданий... Я уже не мог прожить без любимого наркотика.

Уединиться можно было только в лесу — я усаживался на пухлый от моха пенёк и, раскачиваясь, стонал от безысходности, стискивая виски (тогда-то пульсирующие головолмки в окрестности левого глаза и сделались регулярными). А потом отправлялся бродить по запретной зоне: опасность ослабляла душевную боль. Но снаряды рвались слишком далеко...

Однако в чертог врага я вступил с ледяной надменностью. Заурядный коридор с откидными стульями — среди более молодых бросались в глаза Средняя Азия и Кавказ, неудачники за сорок представляли все больше российскую провинцию. Москвичей не было вовсе, из Ленинграда кроме меня нервно прохаживался еще один бледный орловец, защищенный двумя чуть тепленькими заметками в йошкар-олинском и институтском тетрадочных сборниках. Год назад он консультировался со мной как с маститым — здесь мы встретились на равных.

Крошечный человечек любезно распахнул пухлую дерматиновую дверь: Колупанов, Колупанов, зашелестело среди знатоков. («Ты подавал на матки-бернетику?! — через полгода ушам не поверил один „настоящий“ еврей. — Там же Колупанов, через него еще *никто* не прошел!») Канцелярский стол, канцелярский диван, канцелярские стулья... У замурзанной доски я в три минуты изложил основные результаты — пришлось частить. Интеллигентный боксер в очках прицепился к угловым точкам — их я, и правда, не исследовал: без них было красивее. Старичок со старомодными седыми усиками, словно бы стыдясь, просматривал мой автореферат на пятнадцать элитных публикаций. «По-моему, здесь все ясно», — пробормотал он в сторону. «Но высказаны серьезные замечания, надо хорошенько разобраться», — торпливым любезным эхом откликнулся Колупанов.

Назавтра я позвонил симпатизировавшей мне секретарше. Экспертный совет утвердил всех — только меня и еще одного азиата послал на дополнительное рецензирование, позвонить можно что-нибудь через полгодика (каждый звонок был заметной брешью в бюджете).

В семь утра Юлия уже ждала меня у моего плацкартного вагона (купейные оплачивали только кандидатам) — она вела бдительный учет малейшим возможностям побыть со мной более или менее вдвоем. Мы чавкали и скользили по туберкулезной Лиговке в сторону Финляндского вокзала, она, в свете клубящихся фонарей, опасливо заглядывала мне в лицо, а я медленно и безнадежно выдыхал вместе с туманом, что не хочу больше жить. Дело не в этой паршивой диссертации, мне раз плюнуть таких еще хоть десять нашлепать, я только начинаю входить в настоящую силу, — но я не хочу жить в мире, в котором истина ничего не значит. «А ведь вздумайся мне уехать отсюда, ты бы посчитала меня предателем», — вымученная кривая усмешка намекала на когдатощнее ее заявление, что евреев надо выпускать свободно, но обратно уже не впускать. Она переменяла испуганно-жалостливое выражение на презрительное: «Я имела бы против только одно — что я не могу поехать с тобой». — «А как же Родина?» — «С тобой мне везде родина». — «А вот мне везде чужбина. Везде правит какая-то своя сила, какая-то своя выгода...»

Я и с Катькой разговаривал ровным негромким голосом, но сидевший у нее на коленях маленький каторжник Митька (из последней больничной отлежки он вернулся немного завшивевшим и был налысо, с уступами, острижен) вдруг растерянно заерзал: «Ты так говоришь, что мне плакать хочется». Да плевать мы на них хотели, запылала Катька, и я безнадежно усмехнулся: «Мы только хотели, а они реально на нас плюют». — «Ты, как назло, еще такой ответственный!..»

Она преувеличивала мою ответственность: хотя я впервые после трехночного воздержания не стал к ней «приставать», что-нибудь к половине второго сквозь свинцовую плиту унижительной безысходности ко мне постучалось формульное решение того самого неравенства, которое я уже твердо считал аналитически неразрешимым. И такова была моя самоудовлетворенческая закоренелость, что в этот миг я ощущал себя *победителем* — теперь-то все увидят, кто я и кто «они»!

Но на этом наркотики я продержался довольно долго: я сделался еще вдвое более корректным и организованным, а в собственной работе сделал такой рывок, что меня начали развивать аж в самом главном Московском НИИ кибернетических систем (после моего выхода из игры, кажется, только это направление и не засохло). В Пашкином особняке кое-кто пытался со мной сочувственно шушукаться о моих диссертационных делах, но я демонстрировал абсолютное безразличие. «А Орлоу не мох у ВАК стукануть?» — с алчной доверительностью присунулся ко мне Антониук, и я прокололся, растерянно пожал плечами: «Зачем бы ему это?..» Вообще-то мне уже почти хотелось, чтобы мою диссертацию зарубили — новая вырастала настолько более мощная, что «их» позор будет окончателен, когда они зарубят и ее. Я был не так уж и обрадован, получивши наконец открытку о присуждении мне ученой степени. Что-нибудь за год до того Орлов послал меня проконсультировать большой лакотряпочный институт, — и директор его, Угаров, впоследствии сыграл в моей жизни значительную роль. Быстрый, энергично лысый, похожий на сорокалетнего Хрущева, успевающего переругиваться сразу по трем телефонам, Угаров закидал меня вопросами об оптимальной расцеховке, о надежности коммуникаций, о разумном разбиении организационной структуры на блоки. На размышления у меня обычно уходила одна электричка и еще полдня на оформление. Угаров включил всю эту высокоумную для лакотряпочников дребедень в свою докторскую и предложил мне двести тридцать в месяц. После утверждения, самого по себе сомнительного, мне светили максимум двести десять, но лишиться свободы и любимого наркотика... Однако, не чувствуя себя вправе отказаться, я посоветовался с Катькой и, разумеется, услышал то, чего желал: ни в коем случае! Я скромно покорился, искупая свою отцовскую безответственность рытвем канав и сносом дере-

вянных домов. Попутно, чтобы хватить стакан-другой суррогатной свободы, я мог иногда вдруг махнуть на попутках в Астрахань или Архангельск, и такое меня охватывало блаженство, когда, намерзшийся и намокнувший, я отключался на солнышке, пока сохнут штаны и носки на плакучих ивах у неизвестной речки... Кажется, я и впрямь еще надеялся, исполнив долг перед семьей, таки пуститься в какое-нибудь кругосветное путешествие.

Мое противостояние «им», возможно, даже продлило агонию моего научного азарта. Увлечшись формированием своего презирующего все суетное (реальное) образа, я даже не обратил внимания, что меня перестали назначать ответственным исполнителем тех мусорных договорчиков, которые всегда болтались на мне — мороки меньше. Только когда мой перевод в сэнээсы все откладывался и откладывался (хотя всякая шушера переводилась на второй день после защиты), до меня стало доходить, что сэнээс должен «возглавлять» какое-то направление, а я теперь в лучшем случае всего лишь выполнял «самостоятельную, особо сложную работу». Мой завлаб-подводник, сразу почуявший эти подводные рифы, загрустил и перестал заговаривать о моем близком повышении.

Казалось, этот контраст — каков я и каковы они! — был мне только на руку. Но, увы, когда метод противостояния восстанавливал мои душевные силы, моя самоуслажденческая натура, не желающая помнить исключительно о пользе дела, начинала без разбора любить окружающих...

Однажды к нам в лабораторию прислали рыжеватого застенчивого паренька, похожего на недокормленного, преждевременно вытянувшегося подпаса. Верный своей манере опекать новичков, я старался почаще подбадривать его и просвещать: он закончил Институт связи, а потому математику даже и для прикладухи знал слабо. Но усидчив был необычайно. Особенно новенький растрогал меня тем, что проблевался на вселенской пьянке, приуроченной к Ленинскому субботнику.

Диссертацию он набарабанил для подпаса даже неплохую — без единой идеи, но с полуторастраничными формулами, которые все-таки не каждый может выписать без ошибок. Затем он благополучно защитился, утвердился, с чем я первый от души его и поздравил (в пору неудач я особенно тщательно следил за поползновениями моей зависти). Но когда я узнал, что он оформляет бумаги на сэнээса... Главное — мой кореш-подводник написал ему рекомендацию за моей спиной, зная, что это надолго лишает нашу лабораторию других повышений! Да если бы он сказал мне по-хорошему, что у нашего подпаса дядя начальник кафедры в Артиллерийской академии — разве бы я его не понял?.. И здесь я выставляю себе пятерку — я не написал немедленного заявления об уходе, а заперся в нашу кабинку под сиськами и стал думать с таким напряжением, с каким прежде думал только о предметах бесполезных. Если я уйду — сделаю я себе лучше или хуже? Получалось, что хуже.

Вечером я разыскал уединенный, но исправный телефон-автомат и с колющимся в левом виске сердцем набрал номер Орлова. «Слушаю вас», — отчеканил он задушенным железным басом, и я рубанул прямо, по-солдатски, что я не мыслю работать где-то в другом месте, но я уже разменял четвертый десяток, у меня семья, большие дети... Орлов тоже не стал вола вертеть: «Мне передали, что ты везде звонишь, будто я на тебя в ВАК наступал. — И прибавил с мужественной скорбью: — Мне так обидно стало...» Я задохнулся совершенно искренне: «Ах сволочи!..» — «Сволочи?» — усмехнулся он. «А кто же?! Но... — Я подавил нестерпимое желание заложить Антонюка. — Люди, близкие к вам, задавали мне этот провокационный вопрос». — «Близкий человек у меня один. — Он назвал имя той, кого считали его любовницей, хотя физические его возможности оставались проблематичными. — А остальные приползают, только когда кусок хотят ухватить. Схряпают урча где-нибудь в углу и за новым приползают. Ладно, забыли.

Мы собирались подать представление на двух старших научных сотрудников — подадим на трех».

Я и сейчас думаю, что человек этот мог бы войти в историю как один из тех легендарных атомных или космических боссов, которые помимо формул умели вникать и в литейное производство, и в прокладку дорог, и в верховные интриги. Но — при его презрении к истине, этой фантазии белоручек, — мог он и раскрутить грандиозную аферу вроде лысенковской. Он уважал законы социальной реальности: истина есть то, что поддерживается господствующей силой.

С квартирой в конце концов вышло примерно так же: в профбюро попала сохранившаяся от кратковременного союза с Невельским наивная личность, не знавшая, что плетью обуха не перешибешь. Наивная личность изучила все документы и пришла в ужас, что ее защитившийся коллега живет в столь кошмарных условиях. Она повезла в Заозерье комиссию — зимний сортир, помойка и в отсветах зимней зари моя фигура в ватнике, с колуном в руке (прошедшей ночью мы с неведомым шоферюгой перекидывали сквозь вьюгу краденые чурбаки) произвели впечатление, и менее чем через год в Пашкином особняке про меня уже говорили: ему советская власть квартиру дала, а он еще чем-то недоволен.

И вот я ждал Шамира среди родных матмеховских стен, чувствуя себя обязанным рисковать своим положением только из-за того, что он поставил на понт, а я на дело. На мятой бумажонке (как в ж... была) гордый бунтарь набросал пару кривобоких квадратиков: пускай один будет система А, другой система В... Мне пришлось самому сочинить версию этой наглой отписки и подготовиться отстаивать ее на партбюро, чувствуя себя почти таким же наглецом, как и сам Шамир. Но тут болотная чета, объявив себя комиссией, подстерегла его двухчасовое отсутствие на рабочем месте... Теперь он уже давно в Израиле и, по слухам, ненавидит эту страну куда более люто, чем когда-то СССР, где он как-никак мог ощущать себя аристократом. Жена его моет лестницы, а он сидит на материном пособии, страстно мечтая, чтобы арабы наконец обзавелись атомной бомбой.

(Окончание следует.)



ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ



МОРЕ, КОТОРОЕ НЕ ПЕРЕПЛЫВЕТ НИКТО

* *
*

Все никак не забуду: мама
мыла раму, а я пускал пузыри...
Не оставил нам Бог и грамма
той любви огромной, велел: умри.

Я умру, конечно.
Я бессмертным был лет примерно пять.
Так встречай нас нежно,
разучившихся пузыри пускать.

* *
*

Чтобы родить, надо ноги раздвинуть
в страстных объятьях муки.
Чтобы парить, надо крылья раскинуть —
как при распятые руки.

Слишком ли щедро раскрыты объятья? —
этот вопрос ревнивый
не уставал Тебе повторять я —
глупый, смешной, счастливый.

И отрицал все Твои укоризны
цепким умом уродца.
Жизнь отучает от ревности к жизни
и — другим достается.

* *
*

Вечно ездил по командировкам —
залетел на море только раз.
Десять лет соседкам и золовкам
айвазовский свой дарил рассказ.

Хлебников Олег Никитович родился в Ижевске в 1956 году. Кандидат физико-математических наук. Автор семи стихотворных книг. В настоящее время ведущий редактор и заведующий отделом культуры «Новой газеты».

Говорил мне: к морю выйти надо,
 чтоб увидеть небо наконец —
 без ограничения для взгляда...
 Десять лет прошли. Прости, отец, —

в сотый раз барахтаясь в пучине,
 созерцая новый край земли,
 я дозрел: вина всегда на сыне,
 если чашу мимо пронесли.

* *
 *

У тети Шуры тряслась голова,
 а у бабушки не тряслась.
 Но тетя Шура еще жива
 и трясет головою власть.

Уж коли так — хоть одна из двух...
 А потом останешься ты
 гулять под присмотром чужих старух —
 до самой темноты.

Старый Новый год

Один и тот же пропойца с носом Деда Мороза
 в одну и ту же полночь идет со своим мешком.
 В нем тара из-под святого народного средства наркоза.
 И я вручаю пропойце свой недопитый флакон.

Несет Дед Мороз подарки с затихшего праздника жизни
 себе и себе только, а больше никому,
 поскольку некому больше.

И к равнодушной отчизне
 я вопиять не стану —
 выпью и снова возьму.

Хургада

Жизнь в африканской пустыне
 обнажена до изнанки,
 до низведенной богини
 у бледных ног иностранки,

до «калаша» полиция,
 джипа — нагого до гайки.
 И не скрывают лица ни
 женщины, ни попрошайки.

И не скрывают мужчины
 ни ремесла, ни безделья,
 стонов своих — муэдзины,
 кальяны — высокомерья...

Видно, таить благостыни —
грех беззаконный
для бедуинов пустыни —
песчаной или бетонной.

* *
*

Твои ногти и ракушки из одного материала.
Перемалываются ракушки в мелкий песок.
Я на пляже следил, как ты молодость теряла,
и найти ее вместе с тобой не мог.

Ничего, ничего — невелика потеря.
Мы не то еще теряли — потеряем еще...
И не стоит по земле ползать, потея
в поисках утраченного, — нам и так хорошо.

Хорошо песок струится, протекая
сквозь пальцы и мгновений живое решето.
Хорошо, что рядом — радость такая! —
море, которое не переплывет никто.



МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



ЛОЖКА СУПА

Маленькая повесть

— Парень-то у меня запислся совсем. Пока не пьет, цены нет, а как заусáило — пропади все пропадом. Ой, Господи, та-а-а... Не знай, чё будет, — судорожно опираясь на черный костыль с резиновым набалдашником, говорила соседке тетя Граня, старуха с большим колыхающимся телом, из тех неуклюжих, беспомощных в своей полноте людей, на которых, даже когда они просто сидят, смотреть больно.

Зимой, прислонив костыль к поленнице, она колола листовяжные чурки, оставляя самые сучкастые Парню, долго устанавливала в снегу такую чурку, потом двумя руками поднимала колун за длинное мужицкое топорщице и даже не била, а пускала его вниз, и он, бывало, отскакивал от промерзшей древесины, а она снова била и все-таки откалывала в конце концов плоское густо-желтое полено с полукругом красной коры и с отдыхом набирала этих поленьев целую нарточку, которую потом, опираясь на костыль и кособоко припадая на большую ногу, тащила к дому, и по всему двору рядом со следами полозьев тянулся круглый след от костыля. Зять Василий, охотник, живущий с ее дочерью Татьяной на другом конце деревни, приезжал за ней на «Буране» в субботу, и она долго прилаживалась, усаживалась на мерзлом дерматиновом сиденье, причем не верхом, а боком, выставив костыль, охала и, вцепляясь в Василия, вздрагивала на каждом ухабе. У Василия с Татьяной она долго мылась в бане, потом сидела распаренная, малиновая, простоволосая, в рубашке, пока дочь накрывала на стол, а рядом с ней нетвердо топала и глядела заячьими глазенками годовалая внучка Светка.

Парня своего, Славку, родила она в самолете, даже уже не в самолете, а по дороге в больницу в Имбатске, когда сани на повороте обо что-то ударились. Жили они тогда в другой давно закрытой деревне — Лебеде. Рации не было, и в срочных случаях посылали нарочного за двадцать пять верст в Мирное пешком и оттуда вызывали самолет, садившийся прямо на Енисей. Когда родился Парень, пилотам дали премию по восемьсот рублей за участие и помощь, а про командира написали в газете, что он сам принимал роды и что тетя Граня в честь него-то и назвала сына Вячеславом. Потом ее с ребенком перевели в Туруханск, и ухаживавшая за ними сестра оказалась женой этого самого командира, и тетя Граня не стала ее разочаровывать (неудобно как-то), и та, проводив ее как родную, надавала гостинцев и посадила в самолет. Больше тетя Граня рожать не летала, Татьяну и Гальку родила дома.

...А цены Парню правда не было, делал он все без раскочки и с первого раза, будто цена междузапойное время. Надо двор перекрыть — гля-

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Окончил Педагогический институт по специальности география и биология, работал на Енисейской биостанции. С 1986 года охотник в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Рассказы и повести печатались в журналах «Юность», «Москва», «Согласие», «Наш современник». В «Новом мире» печатается впервые.

дишь, к обеду уже разобрал, а к вечеру заканчивает. Когда пил, из принципа ничего не делал по хозяйству, мол, гуляет и пусть все стоит.

Гулять он умел. Так ставил дело, что гудело оно гудком и будто на ветру билось, и от гула этого мурашки бежали по телу сидящих за столом. Жил Парень рядом с материным домом в брусовой баньке, из тех, что строятся для мытья, а потом становятся постоянным жильем. Питался у матери, помогал ей по дому, но берлога у него была своя. Помнится, когда обшивал фронтон и прибывал первую нижнюю доску, все хотел попросить с улицы кого-нибудь стрельнуть на предмет горизонтальности, но как назло никого не было, и тогда он отошел по потолку и, сам себе подмигнув, стрельнул по Енисею, по далекой и абсолютно ровной полоске песка того берега.

К гулянке Парень готовился сам, набирал водки, а когда собирались мужики, шел к матери и говорил официальным тоном и как бы мимо всех возможных возражений и переживаний: «Мама, мы там сидим с мужиками, дай нам чё-нибудь закусить», — и мать, качая головой, послушно переваливаясь на своем костыле, резала домашний хлеб, доставала черемшу, наваливала на тарелочку вареную картошку со стерлядкой и укропом, и он аккуратно нес тарелки, открывая ногой дверь, потом, выйдя, рванув луку с огорода, входил в басовито гудящую баню и, капитански оглядывая команду, решительно говорил: «Так. Ну-ка, Василий, что у нас там, в углу, дай-ка сюда!» И наливал, и все поднимали, раз, другой, третий, и будто мчались куда-то вместе, подставляя кирпично-красные лица ветру, и кипел, набирая силу, знакомый и любимый разговор про Косой порог, оборотную стерлядку и вихревское зажиганье. Вот с жаром рассказывает лохмато-темнобородый Генка, как зимой утопил и вморозил «Буран», как снимал двигатель и таскал его в высоченную гору в избушку оттаивать. Вот шуряк Василий, посмеиваясь, поведал, как наворочал щучар с полцентнера, а потом посадил их на кукан из телефонного провода и «сплавил» к избушке, и Парню нравится это словечко «сплавил» и то, что Васька назвал щук «кобылами». Потом Дмитрич, крепкий невысокий мужик с круглой бородой и серыми улыбающимися глазами, рассказал, как в прошлом году добыл росомаху. Кобель загнал ее под выворотень, там «не видать ни хрена», Дмитрич тогда «снежку туда лопаткой подкинул, чтоб видать хоть было», и добыл эту росомаху. Несмотря на то что каждый давно знал все это до мелочи, хорошо, дружно сиделось и слушалось — все здесь были достойны друг друга, и этот тяжеленный залитый льдом движок, и сплавленные кобылы, и черная пещера выворотня, освещенная снегом, — все эти примеры мужицкой находчивости круговой поручкой связывали вольные души. Да и собирались редко, успевая только кивнуть друг другу при встрече, каждый по горло в своих делах.

Пройдет первый порыв, и как-то притихнет, вглубь просядет гулянка, замрет на перепутье: или приканчивать, или уж заводиться крепко и серьезно. Семейные занятые мужики расходятся. Василий меж двух огней: ему и охота с зятем выпить, но он знает, чем это кончится, и в конце концов Парень остается с кем-нибудь втроем или вдвоем. А если не найдется напарников, если не завалит кто-нибудь такой же где-то разогретый, обезумевший, будто отставший от рейса, Парень сам его найдет. Его уже охватила непоседливость, ему срочно надо искать друга Женьку, и он придумывает дело.

Только что на вертолете привезли яйца, и он идет в магазин. С виду он и не пьян, но опытный взгляд сразу определит и внимательный блеск глаз, и чересчур бодрую походку. Он здоровается со всеми стариками по имени-отчеству, мол, я-то самый местный, всех знаю, помню, храню, не зря мать у меня тетя Граня Хаохлова. «Здравствуйте, — отчетливо говорит Парень, вежливо кивая головой, — Николай Никифорович! Здравствуйте, Агафья Даниловна!» А та: «Здравствуй, сына, здравствуй! — и так это гово-

рит ласково, жалостливо, мол, спасибо, что помнишь, но что же опять понесло-то тебя, худо это, мать пожалел бы. У магазина он, как и предполагалось, встречает Женьку на тракторе из-под этих самых яиц, вот они о чем-то с двух негромких полуслов договорились, и Женька уже невозмутимо едет ставить трактор, прикидывая, что сказать дома, а Парень возвращается с поддоном яиц. Навстречу идет Пашка Вершинин и, видя эти яйца, улыбаясь, тычет пальцем, прыскает: «Снесся!» — и оба хохочут, и Парень еще долго вспоминает Пашку: «Снесся... От-т чунгатор!»

Потом попался остяк Колька Лямич по кличке Страдиварий. Маленький, скуластый, с упругой копной черных с отливом волос. Парень спросил раз у его брата Петьки, почему Страдиварий-то, а тот своей остячкой скороговоркой выпалил: «Нарточки делат». Ну не черти ли! Страдиварий тащил что-то в мешке продавать, скорее всего ворованную сеть, и было рыпнулся к Парню, открыв рот, но тот с ходу осадил его: «Иди, бич, щас тебя быстро вычислю!»

Потом проходит Лешку-Бармалея, здоровенного широколицего мужика с нависающими плечами и мощным загривком, на котором легко лежит пятидесятикилограммовый «вихрюга». Бармалей так же стоит, как стоял, когда Парень шел к магазину. Стоит посреди деревни с этим «вихрюгой», придерживая его за копченый сапог, и что-то рассказывает Дмитричу, а тот торчит из огорода, облокотясь на штакетник. Леха говорит с эдаким прохладным шиком, продолжая какую-то старую зимнюю историю: «...и вэришь ли, Дмитрич, полдня елозили — и бесполэ-эзно. Я говорю — Сэша, пусть дорога пр-роколеет добр-ром...» Парень уже прошел их, и хоть затихает Лешкин говорок, он знает прекрасно, что было дальше: наутро дорога была — хоть боком катись, что подцепили этого сохатого прямо на шкуре и таском увезли. И слезал с покрытого синей пылью «Бурана» Леха, в завязанной на кадыке росомашьей шапке, и толстыми, как булки, броднями хрустел по промороженному укатанному снегу возле дома. Хорошо хрустел, аппетитно, так что чувствовались в туго набитых кожаных головках носки, портянки, пакулькаи, и тепло становилось за эти ноги и за всего Лешку, который сейчас стаскат с сыном мясо, не спеша стаскат, пока жена собирает на стол, а потом тятнет за этим столом водки и заведет, потирая широкие обмороженные щеки: «И вэришь, Люба, такой хиус!.. (Ну, давай, сына, поехали!) А второй, здэр-ровый бычара, так и ушел в хребёт. А дрова елка, по осени пр-ролило, в печку набили, не горят добр-ром — ш-ш-ают только, Саня соляры туда — и бесполэ-эзно»...

И улыбался Парень: от ить черт этот Бармалей! Ведь еще час так простоит — и хоть бы хрен ему! И хорошо, гордо ему было и за Бармалея, и за себя, чуял нутром он вековую правду дров, которые со злым упрямством не горят, а только, шипя, шают, и этой будто с одушевленной силой проколевающей на ночном морозе дороги, и всей этой грозно-белой дали, которая может измочалить, угробить, а может, если ты не дурень, также волшебным вынести за полста верст с горой пропахшего выхлопом мяса, чуял неистребимый запах выхлопа, пропитавший зимнюю енисейскую жизнь, и эти на века проколевшие слова, все и всех вокруг так накрепко перевязавшие.

С глубоко запрятанным лукавым восторгом смотрел Парень и на Пашку, и на Бармалея, наслаждаясь диковинной, заповедной неповторимостью каждого, качал головой: «Ну черти! Ну чунгаторы!»

Улица, как взлетная полоса, обрывалась над Енисеем, оловянным, будто расплавленным встречным солнцем, крупно и полого взбитым севером. «От его катат дак катат, — материнскими словами подумал Парень и добавил уже про самолет: — И хрен на него, пускай стоит». Все равно не поедешь — вал, и, значит, правильно загулял. Приставив к бровям козырек ладони, он долго глядел на медленно ползущие валы, на идущую снизу пустую самоходку с голой ватерлинией и задранным, как у казанки, носом, и в трону-

тых хмелем глазах все казалось необыкновенно выпуклым, осязаемым, родным и наконец-то имевшим то значение, какое заслуживало.

Яйца Парень положил в недавно им откопанную маленькую погребку во дворе, квадратную ямку в мерзлоте, где все, будь то масло ли, яйца, за минуту набирало мощный нутряной холод, легко, мимоходом отданный студенной землей. Заглянул к матери и тут же быстро, не расслабляясь и не вступая в переговоры, ушел к себе и в ожидании Женьки пропустил несколько стопок. Сам с собой разговаривая, налил, нацепил на вилку кусок холодной жареной стерлядки с прослойками желтого жира и положил на край тарелки. Поднял рюмку, кивнул себе и выпил, не уронив ни капли, чуть придержав во рту круглый, скрипучий, как моченое яблоко, глоток какого-то очень верного размера, тут же отправил дальше, прислушавшись, сжал губы, остеклил чуть покрасневшие глаза и потом, будто в который раз дивясь, мотнул головой, отрывисто разняв губы, сказал: «Хороша!» — и не спеша закусил сначала хлебцем, потом стерлядкой и медленно положил на край тарелки пустую вилку, а на газетку — стерляжью серую шкурку с костяным ромбиком плаща.

Едва он собрался закурить, как во дворе послышалось шевеленье, стук, и он сначала обрадовался — Женька, а потом по тяжести этого шевеления с досадой понял: старая прется. Как знает, что Женька на подходе. (Этого неотвратимого, словно атмосферный фронт, Женьку мать не выносила: «Парень только угомонился, а тут Женька... Ну а теперь — все, черт его удёрзят!» Женькины старики, правда, то же самое говорили про Парня. Бывало, Женька, прознав, что Парень загулял, вдруг решал «принести теще тугунков», напряженно высиживал с ней пять минут, деловито прощался и нырял в ходящую ходуном баню.) Мать, кряхтя, глухо стуча костылем, взобралась на крыльцо, открыла дверь. Парень хотел убрать бутылку, но махнул рукой и с раздражением спросил: «Мама, ну что еще?» — «На самоходке спagetья продают и сахар, пошел бы, может, на рыбу поменять». — «Ладно, ладно, схожу». Он закурил, отвернулся, устоялся в сторону. Мать еще постояла, повздыхала, поколыхалась и поползла назад.

«Чтоб этот Прокоша пропоролся...» — говорила она уже на улице. Пенсия вся ушла на муку, деньги за проданную рыбу Парень пропил. «Прокофьев» стоял на якоре метрах в трехстах от берега, у него под бортом качались несколько обшарпанных лодок. Парень, стоя за штурвалом, подлетел, швырнул матросу веревку. Держась за прыгающий привальный брус, поднял, еле дотянувшись, раскрашенной бабе с камбуза ведро соленой осетрины и литровую банку икры, крикнув: «Эй, бичевка! Крышку верни, старушка съест меня!» Вот он уже на палубе, пересчитывает деньги: «Ну чё у тебя есть? Бухало есть?» — «Фу, как от тебя водярой прет, прямо кошмар! — говорит, лыбясь, баба. — Все есть: и колбаса, и пиво, и водка!» Парень рванулся в буфет, пробормотав: «Падла, так крышку и не вернула». Навстречу с тяжелой котомкой бежали рваные, воняющие брагой Страдиварий с братом Петькой. «Чё, орлановцы, все пиво унесли?» — рыкнул Парень, а Страдиварий крикнул: «Его мор-рэ там!» Буфетчица куда-то отошла, пароход уже дал гудок, выбрал якорь и, набирая ход и дрожа, шелестел водой. Лодка, задрав нос, косо тащилась, натянув веревку, капитан который раз рывкал по радио: «Кому говорю, убирай лодку!» — а Парень, обдавая пассажиров бензином, носился в сапогах по ковровым коридорам, мимо зеркала, лака и дерева, и, найдя все-таки буфетчицу, взял почти на все деньги водки и пива, а для оправдания перед матерью колбасы и шоколадок.

«Что Женька-то не идет, небось баба скутала...» Любил Парень гудеть с Женькой, оба гудели трудно, каждый со своими особенностями, и эта тягучесть, трудность и объединяла их. У Парня после первого затравочного дня дальше обстояло так: терпимое утро с похмелькой и поиск напарника, попив с которым некоторое время он куда-нибудь бежал или ехал с

Женькой, потом довольно быстро набирался и засыпал. На другой день все продолжалось, но тяжелей. Тяжелей подъем, тяжелей опохмелка, и уже беготня тяжелей, и больше он сидел в бане у окошка, вылавливая напарников, пил с кем попало, потеряв себя, превратившись в капризную машину по перерабатыванию водки, пил, спал, вставал, пил, уже один, снова спал и пил, пока в нем что-то не клинило, как в перегретом моторе, и, хрипя и ворочаясь, лежал сутки. Однажды у него завалился язык, и его, посиневшего, едва откачали, перевернув на живот. Отходил он тяжело и трезво, день или два, неподвижно лежа на койке, прикладываясь к кружке с чагой. Буйную часть этих дней он старался провести с каким-нибудь одним верным товарищем, обычно со своим вторым зятем Женькой, сбитым, сутулым, загорелым до самого мяса мужиком со сломанным носом и полуседой кудрявой шевелюрой. Спарившись с Женькой, они развивали бешеную деятельность, вывозили с берега или увозили на берег балáок, лодки, бревна, пили в тракторе, в балкáе, в лодках и дома, причем подавалось это так, будто они «занимаются делами» и Женьке, как «трактористу», нельзя не налить. Мать понимала все лицемерие происходящего и переживала вдвойне от своего бессилия.

Женька время от времени, со словами: «Так! Цигиль!» — угрожающе поглядывал на часы, но сидел еще крепче, напористо плетя какую-нибудь эффектную небылицу, например, как весной доехал от Косого Порога до Фактории за семь с половиной минут, а Парень, как главный правдолюб, с таким же жаром придирался к каждому слову, выводил Женьку на чистую воду, и так они могли часами препираться, орать друг на друга, прерываясь для дружественного объятия, по очереди засыпая и будя друг друга и оставаясь друг другу верными до последнего, несмотря на однажды вспыхнувший и надолго обоих поразивший мордобой. Когда появлялся кто-то третий, наседали на него с двух сторон, требуя справедливости.

Праздники Парень не жаловал, так же как и дружные сборища охотников, на которые попадал как родственник Василия. Все это было для него любительской забавой, дурацким переводом водки. Чувствовал он себя неловко, фальшиво за большим столом, где крепкие мужики не торопясь, плотно закусывая и галдя, стараются как можно дольше высидеть, побыть вместе, и в питье их так же много здоровья, как в остальной жизни. Вот Дмитрич будет что-то долго городить, а налитые стопки послушно стоять, зато потом бородатая орава в порыве запустит две подряд, а у Парня каждая имеет свой железный срок, и любое отклонение смертеподобно. Не вписывался он в этот распорядок, начинал не вовремя клевать носом или вредничать, чувствуя, как не подчиняется его воле, его расписанью этот чужой праздник. Не выдерживал он этой устойчивой скорости, этого галдежа, этих общих разговоров. Знал, что еще пара часов — и его понесет на бузех, беготню, обиды, и надо заранее вести себя прилично, сдерживаться, а уже накопало в душе что-то неуправляемое, буйное, крученное. И сидел он с глупой улыбкой и изо всех сил переводил хмель в покладистое русло, уже не слушал никого, обреченно улыбался, мол, эх, мои дорогие, хорошо все, живем дружно и слава Богу, и больше обращался даже к хозяйке, и уже что-то зайскивающее, дурачковато-стариковское появлялось в нем. Курил на кухне в печку или говорил: посплю у вас, тетя Нюра, на диванчике, а если не удавалось, снова садился за стол, еще выпивал, а потом начинал говорить что-то свое, отрывистое, но всегда имеющее почву. Василием он гордился, любил его и ревновал к охотникам, имея вечную обиду за то, что тот избегал лишней раз пить с ним, ссылаясь на дела, а при первом зове товарищей-охотников бросал недостроганные лыжи, жестко говорил жене, что пошел к мужикам, и сидел с ними до утра. Все это он пытался высказать, приставал, придирался и, потеряв смысл, уже только кричал, спорил и потом чуть не лез в драку. Был даже охотник, с которым он обычно сцеплялся, потому что тот его не любил, в свою очередь пере-

живая за своего товарища Василия, у которого такой «гнилой родственник», и не скрывая этой неприязни.

Поэтому обычно и гудел Парень с Женькой, невзирая на праздники, и, отгудев по своему расписанью, к Новому году или Васильеву дню рождения выходил с бледной и изможденной строгостью в лице и с презрительной улыбкой сидел из вежливости, ковыряя вилкой и не притрагиваясь к водке, а потом шел к себе, ложился на койку и в полудреме смотрел телевизор.

Была у него доза, после которой он как-то терял облик, на лице цвета заветренной ветчины появлялась пустая беспричинная улыбка, взгляд выцветал, становясь бледно-синим, а сил только прибавлялось, ему хотелось кого-то ставить на уши, пароход ли, вертолет, и для него уже ничего не существовало, кроме этого горячего, мутного беспокойства. Умел он даже слегка управлять собой, на время усилием воли снимать эту выцветшесть взгляда, пытаясь обмануть собеседника, завлечь его в свои сети. Он мог ввалиться к Василию, достать бутылку, сказать сестре Татьяне: «Тьяна, дай стаканчики, мы хоть выпьем. Василий, ну ты как?» — «Чё?» — будто не понимая, говорил Василий. «Поддержишь меня огнем и маневром?» Тот громко, демонстративно отказывался. Парень: «Значит, под танки меня бросить хочешь». — «Не-не! Даже бесполезно», — решительно гнул Васька. Парень: «Ну поддержи меня. Ну ты чё, как бич со средней полосы?» Василий отказывался и шел пилить дрова, зная, что Парень не выдержит одиночества и убежит искать Женьку. Если тот упорствовал, выпивал, чтоб отвязался, наливал Парню побольше, чтоб свалить, чтоб тот сел, как подбитый крохаль, свесив голову, и его можно было уложить, но тот, чуя подвох, удовлетворенно и не спеша отставлял к досаде Василия налитую стопку, мол, ну вот так-то, сейчас, значит, мы с тобой наконец уселись, спешить некуда, разговор будет долгий, влип ты. Проявив твердость, удавалось от него избавиться, хотя иногда по обстоятельствам складывалось, что проще с ним загудеть. Для Василия такие пьянки при его занятости были как нож. Он заводился, гулял, как и все делал, основательно, до утра, а потом валялся боровом до обеда или ужина в простынях под охраной Татьяны, к вечеру выползая и пытаясь с топором или лопатой в руках наверстать упущенное. Как-то раз ловили его Парень с Женькой, надоели они друг другу хуже мошкái, и нужен им был третий, а тот как сквозь землю провалился. Потом, глядь, возле бревен опилки, «Дружба» стоит, давай щупать — теплая! «Тэк-тэк-тэк! — заорали они — и к Татьяне: — Нет, значит? А почему „Дружба“ горячая? Говори — где мужик?» Та невозмутимо: «Без понятия». Так и не раскололась, жучка, а Васька в бане прятался.

Иногда праздники Парня и деревенские пересекались. Больше всего по душе ему были официальные опохмелки, нравилась законность, старинный размах стола: холодец, пирожки и шаньги с рисом, нельмой, визигой, стерлядкой, соленые огурцы, котлетки. Тут Парень снова руководил, брал бразды, советовал, чем закусить, восхищался непредсказуемостью заходящих гостей, с каждым хотелось выпить, поговорить, каждый особенный, интересный и как самоловный крючок — со своим гибом.

Но чаще похмелялся Парень один у себя в бане, без закуски, мрачно, тяжело, с утробным глотком заталкивая сопротивляющуюся водку. Кусочек хлеба. Так, ну, вроде прижилась. Уже победа. Дальше пойдет. И действительно идет, да тут еще какой-нибудь страдалец заглянет, Парень нальет ему, но вскоре, не вынеся неподвижности, побежит искать Женьку...

Парень спит в одежде на простыне, смяв одеяло, подобрал колени, на боку. Работает телевизор. Часа через полтора просыпается, лежит не шевелится, слушает себя, чуть пошевелился — худо, все внутри тяжелое, твердое, как зимой, башку будто льдышкой придавило. Главное — не двигаться, и он, как глухарь в лунке, нащупывает в себе теплую неподвижность, будто сам в себе укладывается клубком и минут на пятнадцать провалива-

ется куда-то и снова просыпается, шевелится. Нет, ничего не произошло, поднимает голову — нет, не расколосась, не отвалилась. Что на столе? Все на месте — полбутылки где-то. Сел на койке, потом переход к столу — как дальний перелет, и вот налил стопочку, долго готовился, скрадывал ее, потом выпил. Потом еще. И тут степлило, отмякло, будто теплым мокрым ветром оплавил твердое нутро, и крепнет этот ветер и уже управляет им, говоря: видишь, помог, спас, теперь ты мой, и крепчает ветер, сохнет на глазах, и надо его размачивать... И он размачивает, потом вдруг вскакивает, притаскивает от матери кошку. Гладит ее: «Ах ты моя бичевочка». Все у него теперь «бичики» и «бичевочки». Кошки, дети, даже налим, что дядя Илья принес и он в сенях у матери лежит, извивается, и тот бичик. По телевизору сказали, что умер старый знаменитый артист, и Парень сидит, сначала неподвижно, глядя в одну точку, а потом подбородок начинает подпрыгивать и из красных глаз бегут слезы — гады, не уберегли! Парень сидит сутуло, по-бабьи сведя колени, ноги в валенках, хоть и лето. И кажется ему, что он всех понимает, жалеет — и Василия, и старушку, и сестру Татьяну. И умиляется он своей жалости, и плачет, и пьет снова. Жалеет он и мать, и племянника Ваньку, растущего без отца, но почему-то больше Василия, Татьяну и маленькую Светку, и именно потому, что у них все хорошо, семья дружная, Василий — лучший охотник, Татьяна — хозяйка, огород у нее отличный, две коровы, и Светка маленькая, долгожданный, окруженный вниманием ребенок — именно поэтому жалеет их за какую-то человечью долю вообще, и жалость от этого получается тоже общая, великая, невозможная, и Парень уже буквально трясется от рыданий. «Б...!» — пронзительно выкрикивает он, бьет кулаком по столу, так что подскакивает тарелка с заветрившейся стерлядкой, качает головой, вытирает рукавом глаза. Особенно жалко ему Светку, ей всего год, она ходит, но говорить не умеет, только что-то все, бедная, пытается сказать, «ма», «па», смотрит хорошими, умными глазами, личико совсем детское, припухлое, глаза по-заячьи раскосые, и пахнет-то вся молочком, не то что мы, жеребцы, и все что-то просит, ходит, мычит, ручкой показывает, личико измученное, а потом вдруг засмеется всем этим личиком, бичевочка моя маленькая... Да и сам Василий — вроде охотник, герой, а иногда бывает в нем что-то такое и детское, и одинокое, особенно когда бьется он со своим хозяйством, в которое так постепенно, шаг за шагом ввязался... А Татьяна? Васек на охоте, а у нее руки болят, попробуй воду эту потаскай да дрова. Парень представил, как она колет дрова, чурка стоит плохо, неустойчиво, отпилена косо, шину вело, видать, а Васька, бич, в тайгу торопился, цепь поленился выточить.

За пьяными этими слезами стояла, между прочим, искренняя жалость. По дороге на самолёв Парень упорно объезжал чужие ловушки, чтобы не пугать попавшуюся рыбу, чтобы она не билась, не мучилась. Скотину забивал быстро, не терпел, когда мучат животину, как сродный брат Колька, который целил поросенку в ухо, а попал куда-то ниже, в челюсть, и тот завизжал, побежал по двору и стоял у ограды, хрипя и истекая кровью, пока Парень сам не добил его. По осени почти все мужики были в тайге, и Парня часто приглашали бить скотину. «Так, топор... Таз с водой где?» Отдавая негромкие приказания взволнованной хозяйке, разделявал он бычка или телку, и пузырилась голубая пленка между шкурой и мясом, подстывал на морозе дальний бок шкуры, и испытывал он неосознанное облегчение, когда еще почти живое существо превращалось в безликие пласты разделанного мяса. Копаясь в ливере, запуская руку в теплое синеватое нутро и ища селезенку, он говорил: «Ну вот, сейчас селезенку глянем, посмотрим, какая зима будет». И баба осторожно спрашивала: «Ну и какая?» — а он отвечал, весело и хитро шурясь: «Нормальная!»

«...Да не-ет, Васек молоде-ец», — вслух говорил Парень. Хотя вообще он этих охотников не понимает, потому что сам другой. Он рыбак, рыба-

а-ак. Все в нем рыбацкое, потомственно-сельдучье, до мозга костей енисейское. Любит он рыбачить. И даже не самоловом, потому что это все-таки какое-то быстрое хапанье с оглядкой, а неводить. Парень уже успокоился, закурил, как-то окреп, поднял голову. Упрямая, бородастая, снова она крепко сидела на небритой шее, выгнутой, как боковой отстолок листовени. Парень представил, как идет не спеша бечевником, вместе с течением, вместе с Енисеем, с веревкой в руке, а Василий на быстрых и сильных гребях задранным мотором вперед уходит в реку, разметывая невод. Вот проворно соскальзывает наложенный грудой невод, с плавками, с кибасьями, похожими на берестяные шаньги с начинкой из камешка, вот, туго пружиня, натянулся бережник, и Василий, бросив весла, метнулся к неводу, отцепил ячею от поддона — старый поддон уже, отщепилась доска, новый надо делать, и вот снова сходит невод, и Василий, описав полукруг, подходит к берегу и, перехватив веревку, отпихивает лодку.

А Парень идет не спеша, пощупывая мокрый бережник, или бредет в сапогах по воде. Вода прозрачная, галечка просвечивает. Енисей тихо плещет, лежит его огромное тело — десять верст до мыса, и дышит, и человек рядом — ближе не бывает. Лежит Енисей, вздыхает, колыхается, тоже ему вроде как трудно. Трудно от длины своей, от дряни, которую в него кидают, от вчера потихшего трехдневного севера, от суетливой верховки, от ледоходов и ледоставов... Парень вздрагивает — задёв, нет, отпустило, а вот, похоже, косячок запоролся, тяжело идет. Вот они и с Василием начинают, сходясь, аккуратно подтягивать невод. Вот один тугун идет, вот другой, и вот бьется, мелко трепещет серебристая масса, спадая, сваливаясь к середине, вот сошлись, подняли в четыре руки бьющийся куль, вытащили на гальку. Парень не спеша несет из лодки ведро и покрытый чешуей таз с дырочками. (А раньше, мать рассказывала, рыбу не в тазы сваливали, а в берестяные чуманы...) Вот идут они, протрясая невод с двух концов особым коротким движением, чтобы вытрясся застрявший головой тугун, покатился дальше в гамаке невода к середине, а ерш-то, козел, хрен вытрясется, его потом все равно выпутывать. Вот вывалили рыбу в таз, вот Парень взял таз и погрузил его в Енисей, помыл рыбу от песка, чешуи, вот вынимает, и из дырочек, журча, обильными струями льется вода, таз легчает, и он вываливает его в ведро. Один тугунок выпал и лежит на гальке, прямой, стройный, неподвижный, будто хранящий какую-то тайну, задумчивую, как серебристое северное небо, как оловянная вода. А солнце уже за яром, и оттуда сеется розовато-рыжий туман и освещает неровный борт самоходки.

Это тугун. А осенью селедка. Холодно. Они переезжают на ту сторону, на песчаный бережок, где уже очередь неводить. Тоняя от сухой елки до Сарчихи. Ждут, пока стемнеет, курят с Василием, топчутся на песочке. Темнеет. Вот разметали, вот идут, и впереди, в темноте, еле видна фигура Василия. Рука в рукавице держит натянутый мокрый бережник, как парафином, взявшийся ледком. Невод уже побольше, потяжелей, чем тугуновый. В мотне серебряная рыбка, холодная, спокойная, пахнущая огуречной свежестью. Негусто что-то, но на сковородку есть. Уже совсем темно. На той стороне высокий, темный, круто обрывающийся берег, похожий на мчащийся состав. Мигают бакенáа и створы, над головой в небе звезды. Снова заметались и вытащили, уже побольше. Бродят с фонариками. Парень идет за мешком, в луче фонарика серебряно блеснет изморозь на деревянном сиденье лодки. Тихо, только вдруг громко затрепещет в ячее селедка.

Добытую рыбу, будь то селедка или осетер, Парень всегда отдавал матери, мол, старушке сдал — и дальше не касаюсь, и она сама порола, мыла, делила и солила, и это было не как у обычных мужиков, которые делали все сами, с ножом, с засученными рукавами управляясь у залитого кровавой слизью стола, а по-старинному, как во времена, когда мужик

был только добытчик до порога, а дальше всем заведовала мать. Какую она умела придать торжественность первому осетру! Уже ясно, что икряный, и по брюху и по тому, что не бьется — «икру растрясти боится», и она каким-то детским движением делает разрез, а там синеватая, матово блестящая, упакованная двумя парными пластами икра. «Давай тазик», — говорит мать и аккуратно, двумя руками вываливает в него длинный пласт икры. Руки ее все в черных шариках, рукавом отерев пот с сияющего, просветленного лица, она рассказывает историю про пойманного с ее отцом здорового осетра, с обязательной концовкой: «На нарточку завалили, а хвост до полу ташштыся».

Парень хорошо помнил, как с этим отцом, своим дедом, они на гребях смотрели самолеты, стоявшие в открытую напротив деревни на наплавах. Напротив же деревни в тихую погоду проступала по зеркальной воде синяя и извилистая полоса ряби, и старики говорили, что по ней и надо самолеты ложить. А рыбу в те времена на пароходы не продавали, сами ели, зато продавали сметану и молоко, заезжая на гребях вверх, едва завидя далекий дым. «Ой, Господи-та-а!» — говорила тетя Граня, вспоминая о прежней жизни и вытирая слезы — расстроилась, пока рассказывала. Вспоминала, как приходили мужики с охоты и приносили гостинцы — первым делом беличьи куринки, то есть тушки, которые она дома жарила и запекала. Вспоминала пироги из белых тундряных пуночек, по енисейски снегирей или, как она говорила, «сеньгирей», которых ловили в силки из конского волоса на протаявшем майском угоре, вспоминала дружные, отчаянные, трудовые предвоенные времена, полную жизни деревню, превратившуюся теперь в заросшую кипреем и крапивой пустошь. Вспоминала утонувшего мужа Валеру и как кормила ухой маленького Славку. Кормила с ложки, а он почему-то не любил рыбу (тоже — сельдюк!), сопротивлялся, вертел головой, отбивался ручонкой, а она все-таки, поймав момент, умудрялась отправить в измазанный рот ложку, сделав при этом невольное помогающее движение ртом.

Нравились Парню материны словечки, всегда кратко и точно выражающие то, на что незнающий бы потратил уйму неуклюжих слов. То, что оставалось от разделки рыбы — слизь, кишки, визиги, — что сливалось в ведро и варилось собакам, она называла «сыростью», мешок с дробью, порохом, гильзами, пыжами и прочим — «провьянтом», дождевую воду, стекавшую по желобу в бочку, — «поточной водой». Конечно, бывает, и раздражала своей бабьей паникой, приковыляет, ворвется: «Вы чё сидите! Люди сказывают, в Верещагине омуль засыпной идет!» — или: «Петька давеча осетра такого ташшыл, а ты сидишь!» — или: «Люди селедку продают, ягоду, а мы чё?» — а с другой стороны, если нас, чунгаторов, не толкать, то и правда так сидеть и будем. А то как-то осенью уже по снегу медведь откуда-то с востока повалил, дак она вся испереживалась, поковыляла, ковыль-нога, к Татьяне, заохала, как там Вася, да что передает, да сходи к тете Нюре, пореви его по рации. А потом успокоилась и говорит:

— Была у нас в Лебедеве женщина. Пошла она по ягоду и заблудилась. Блудила-блудила в лесу, а темнялось, она умаялась, да и уснула под кедрной, и снится ей сон, что вроде медведь как над ней стоит и харкат на нее. А он, между прочим, над ней и стоял. Она проснулась, встала и стоит. И он стоит: хрр-хрр. Она тогда говорит: «Мишка-Мишка! Если я фартовый человек, то ты меня не съешь, а если забитый... ну, несчастливый, тогда все, значит». А он: хрр да хрр, отошел и головой мотат из стороны в сторону, как корова. Пройдет, обернется и снова мотат. Она за ним и пошла, и вывел он ее на угор. Высокий такой высокий. А Анисея вроде как не видать. Она сяла на угор, ноги свесила. А он вниз и лапами роет так вот, она кубарем к нему и скатилась. И дальше через тальники на Анисей вывел. И идет берегом, головой мотат, и так и закрылся за коргой. Закрылся... ага... Она думат, что делать, за ним идти ли, чё ли-то. А там

ниже лодка — неводят. А на лодке невод загрузили, отгреблись и сплавляются вместе с ней — она берегом идет, машет, а они боятся, кто его знает, кто такая. А она кричит: «Это я, та блудница, ну, что блудила-то, вы уж меня похоронили!» А они ничего, так и сплавляются. А там сын ее. Она: «Евдоким! Сына! Это же я, мать твоя!» Ну, в общем, взяли ее в лодку... И еще много таких историй есть.

Василия провожали в конце сентября, обманчиво притихшим деньком, когда ответ холодного солнца на печи еще с утра говорит о ясном небе и галечный приплесок на многие версты облит ночным ледком. Хрустя этим ледком, Василий наливал из фляжки за отъезд всем подходящим, и Парень сдержанно выпивал с шуряком за удачу и за добрую дорогу по его каменистой боковой речке, закусывал черемуховыми шаньгами из цветастого дорожного мешочка и одобрительно посматривал на загруженную лодку-деревяшку, в которой среди ящиков, мешков и бочек топырился рогатым рулем обшарпанный «Буран» со снятым стеклом, а когда Василий собранным словечком «л-ладно» объявлял о начале прощания, крепко пожимал ему руку, и было в этом пожатии и стальное товарищески-ободряющее, и другое, тайное: давайте, мол, молодцы-охотнички, езжайте-промышляйте, а мы уж со старушкой доживем тут по-своему, по-старому. Проводив Василия, Парень долго сидел на табуреточке у печки.

К вечеру заволокет даль меж мысов, как туманом, и близится, близится этот туман не туман, и вот уже бело впереди, и наносит ветром отдельные сухие снежинки, а вот и все вокруг в белой роящейся завесе, а когда совсем стемнеет и Парень с Татьяной, оставив Светку бабушке, едут неводить и, ткнувшись в пологий берег, на ощупь перебирают невод, с треском отрывая смерзшиеся складки, — уходит во тьму белый берег с чернеющим над горой слева лесом и справа водой, а над этой снежной, уходящей вдаль полосой белым столбом-отражением светится темнота. А снег идет да идет, и, бывало, так накидает его людям в душу, кому побольше, кому поменьше, что в них, как под Кузьмичевым выворотнем, на всю жизнь светло, легко сделается... На другой день солнце, а вдали от высокого яра каменного берега над размытой ниткой левого висит меловой завесой снежный заряд, сияя ярко и странно, будто где-то там у горизонта пронесся ангел и, осветив сиянием бусую даль, скрылся, взмыл ввысь, а след так и остался в небе, напоминая замороженным истрепанным людям, что не совсем забыл их еще Бог.

Подсыпет снежку, и установится погода, понесет по Енисею у берега круглые, друг о друга отертые льдины, похожие на бляшки плесени из старого чая. Парень на «Буране» вывезет лодку, хорошо, легко пойдет она по заледенелому берегу, свалится в избу, остучав снег о крыльцо, мать, сидит головой качает: «Желна, сука, опять дождя накличет, и голова чё-то болит». А не хочется тепла никакого, только вроде снег лег, свежие дороги подстыли, зимняя жизнь началась, куда хочешь катись, все теперь под боком — и вода, и дрова. А тут повиснут сизые полосы на юге, задует верховка (южный ветер), сначала еле слышно, а к обеду так, что свистит, гудит все, и тетя Граня железную печку «токо подтуриват» — так все выдувает, в углы, в пол несет, свистит кругом, стекла дрожат, постукивают, а к вечеру даже провод где-то перехлестнет, фазу одну вырубит. Согнувшись в три погибели, держась за шапку, идет по угору человек, хотел назавтра по сено ехать, а не получится, лицо напряженное, озабоченное, будто эта оттепель, как болезнь, и ему передается. Темно, воеет верховка, с угора мощно светит фонарь, и в его луче несется, изгибаясь, из-под угора бесконечный снег. Тетя Граня, измученная давлением, ворочается на койке и все никак не уляжется.

Парень одевается — надо наколотые кучей дрова прибрать, чтоб не задуло, «Буран» загнуть или развернуть против ветра, накрыв брезентом. Ночью выйдет — брезент сорвало и унесло, на забор кинуло, хоть и поленом

его приваливал к сиденью, а на Енисее темень, вой ветра, грохот сбитого к берегу льда. Пластает сутки или двое верховка, потом отдует, успокоится, и нависнет сырая мгла, черная тень свинцово-мокрых туч. Нехорошо, влажно, снег мокрый, севший, где чурка проступает, где бугор земли, где навоз. На бочках изморозь показывает уровень бензина, потом тот прогревается, и изморозь, уползая вниз, исчезает. Все вокруг черное: избы, заборы, а даль в сырую синеву, до белого хребта со штрихом леса будто рукой подать. Охотники матерятся: рыба на лабазе оттаяла, капканы мокрые стоят, все расквасило, никуда не выйдешь (да и корка будет — собаки лапы издерут), сидят по избышкам и на небо косятся, развернет или нет. И вот после обеда было развернуло, облака с запада понеслись, а к вечеру опять — юг, и снова заволокло все сыростью. На другой день постепенно начинает разворачивать. Снова вроде верховка дует, а облака, оторвавшись от земли, уже несутся с запада, косо, с наклоном зачесанные изменившимся ветром, а вот уже и северо-запад пыхнул холодом, и солнце в облаках показалось. Пока мутно, размазанно, но облака все несутся, клубясь и открывая розовато-желтоватый, цвета топленого молока просвет, на фоне которого темные крупные снежинки летят, выются куда-то вбок и вверх. В темноте вечером в густых, но высоких облаках открывается странной формы окно, и в нем глядит ясная ночная синь, и все шире и шире это окно, и уже твердо и грубо хрустит окаменевший снег под ногами, и облегчение у всех на лице, как после общего и тяжкого недуга, а над головой отъезжает на юг рваный край облака, и за ним драгоценно и свежо горят первые звезды.

Иногда тетя Граня не выдерживала, ругалась на чем свет стоит на Парня, а тот, малиново наливаясь, топал, орал. Однажды Татьяна прибежала к Василию от матери: «Вася! Славка маму бьет!» Тот вскочил на мотоцикл, приехал. Парень с мутным взглядом, пошатываясь, стоял посреди двора злой, обреченный и на слова: «Ты чё, совсем охренел уже?» — ответил какой-то издевкой и пошел на Василия. Тот с размаху толкнул его в плечо. Парень, отлетев, упал. Вставая, он еще что-то бурчал, но уже так, для виду. А Василий, бледный как полотно, вышел на угор, сел на лавочку и закурил, еле сдерживая дрожь в руках.

Появились как-то в деревне две бичевки из Енисейска. Одна Райка, побочная дочь местного мужика и старухи националки, похожая на лису сероглазая, русая, с сучьим мягким взглядом молодая девка. Другая совсем конченная, истасканная, испитая, все говорила хриплым голосом про какого-то своего несуществующего Вовку, который в «Норыльске». Жили они там, где пили, то есть где попало. Однажды пили в избенке через улицу, у мужика по кличке Дед. Вдруг раздались какие-то возбужденные крики, топот, хруст травы. Через брошенный, заросший крапивой и репюхами Дедов огород Парень опрометью волок Райку. Все ее платье было звездобразно стянуто репюхами, а Парень уже пересекал улицу, таща ее в баню, лыбясь на зрителей и заливая ей что-то безобразное, вроде «шчас экземпляра покажу». Во дворе стояли тетя Граня, Татьяна, отовсюду торчали любопытные головы, и кто-то уже посмеивается — «невеста». К вечеру у Парня оказались обе бичевки со своими чемоданами — они собирались уезжать, и их предстояло сажать на теплоход. Сажались они как-то вяло и Парню, хоть и пьяному, надоели хуже горькой редьки. Кончилось тем, что он напустил на них тетю Граню, и они убрались со своими чемоданами в поисках жилья и вскоре уехали. Тут поползла сплетня: якобы медсестре пришла из Енисейска телеграмма усилить бдительность, потому что бичевки эти были больны сифилисом. Деревня долго зубоскалила, а протрезвевший Парень сохранял полное спокойствие, и было ясно, что, кроме временно-го позора, никаких потерь он не понес.

Однажды Василий зашел к тете Гране узнать, как Парень, — назавтра нужна была его помощь. На веранде неподвижно сидели двое: Па-

рень в валенках, со сведенными коленками, с опущенной головой и толстая, кособокая, колыхающаяся тетя Граня с костылем и странной полуулыбкой. Парень поднял голову. На губах его белела накипь, как на обсохших речных камнях в жестокую жару. Парень уставился на шурину мертвыми, цвета застиранной майки глазами и сказал: «Мама, кто это?» — «Э-э-э-э, — пропела мать, будто уплывающая далеко-далеко, — сына мой не видит ничего». Пол в сенях был из толстых барочных досок с круглыми сверленными дырками, и в дырках этих светился, клубился рыжий костер — в открытое подполье веранды заглянул напоследок ослепительный енисейский закат.

Василий ушел, а они так и сидели рядом в будто остановившемся времени, и глядело круглыми вещими глазами рыжее пламя из набитого закатом подполья, и тети Гранина жалеющая, горчайшая и одновременно сладостная полуулыбка будто говорила: да, вот мы и вернулись, откуда пришли, и вспоминался матери маленький, пахнущий молочком Славик и еще другие чужие ребяташки, давно превратившиеся в бородатых, проворнявших водкой и куревом мужиков... А потом Парень сказал: «Мама, покорми меня», — и она налила ему горячей ухи, торопливо и радостно говоря: «Садись, садись... горяченького». Он сел на табуретку к столу, где в толстой тарелке со сколышком дымилась стерляжья уха, заправленная максой, протертой с луком, взял ложку и зачерпнул. Только что желудок сводило от голода, а теперь страшно было подумать, как в сжавшееся, сухое нутро запустить что-то горячее, жидкое, кускастое. Он подержал ложку, вылил уху в тарелку, положил ложку на стол и, покачивая головой, тяжело вытер пот. «Ну, давай, надо поись», — сказала, не спуская с него глаз, тетя Граня. «Мама, у нас выпить есть чё-нибудь?» Она вздохнула, сползала в избу, притащила бутылку и стопку. Он долго, отворачиваясь, проливая, держал стопку, потом не глядя, давясь всосал ее и, схватившись за горло, закашлял водочной пылью и, медленно открыв глаза, облегченно вздохнул. А после осторожно зачерпнул ложку ухи и отправил ее в кислый от водки рот, и материн старческий рот послушно и судорожно повторил это движение.

Сутки Парень лежал пластом, наутро зашевелился, в обед сходил к Василию, договорился понеvodить.

Быстро густели ясные осенние сумерки. Парень с резким, будто обтрепанным долгим ненастьем лицом сидел в бане у печи на табуреточке. Над столом горела самодельная лампа с абажуром из жестяной банки. Занозистая брусовая стена напротив была завешена картой Красноярского края (когда-то Парень работал в школьной мастерской). На карте четко, увеличенно и чуть перекошено отпечатывались силуэты печи, сутуло замершего Парня, его бородатой головы, кочережки в крупной руке. Парень открыл печку, там на россыпи переливающихся углей лежала прозрачно-красная плитка, чуть рассеченная трещинами, — бывший обрезок доски, полчаса назад выкинутый им в печку. Парень разбил его на огненные кубики, разровнял кочережкой, глядя, как ветром из поддувала взмывает золотые искры, и не вставая задвинул вьюшку кочергой. На стене четко вырисовывался силуэт печи с ручкой-грибком от дверцы и текущие из-под этой дверцы струи тепла, густые, плотные, как вода.

Парень докурил, бросил окурок в банку, прибитую к стене, встал, взял с печи белое кедровое полено и начал шипать лучину. Шипалось отлично, будто сама отпадала под лезвием полоса сухой, как порох, древесины. На печке у Парня всегда лежали два-три таких прямослойных полена, которые он специально и долго выбирал. Через день-два полено еще не просыхало как следует, и первые слои отходили хорошо, а дальше от непросохшей сердцевины остро наносило скипидаром. Еще любил он заранее заложить в теплую печку чуть сыроватых дров, к примеру полу- или даже на четверть сырого листовячка, про который мать говорила: «Сахарные дро-

ва. Жар дак жар». Полежат они, прогреются от кирпича, и, если открыть дверцу, обдаст оттуда банным духом просыхающего дерева. Парень поднялся, сдернул с вешалаов портянки: потарахтел и заглох мотоцикл.

Колонув в дверь, ввалился в куртке, шапке, сапогах Василий: «Ну чё!» — «Прем!» — бодро откликнулся Парень. «Давай, я пока до тещи». — «Ну как он?» — «Вроде обáыгался». — «Ну дай Бог, дай Бог, поезжайте».

Парень не спеша шел вдоль берега, время от времени потягивая веревку и ощущая пружинистое натяжение невода. Задумчиво перемигивались бакена, тихо плескался Енисей у ног. Плескался, как близкое существо, как старший брат, с которого берут пример, по которому ровняют свою жизнь, как фронтовую доску, у которого учатся — кто одолевает хандру и хворь, а кто переносить, терпеть свои запои, как непогодь, и оживать, дышать, наполнять жилы студеным воздухом, плеском волн, звездным светом и идти дальше, дальше, дальше... И Парень шел, потрагивая Енисей веревкой и зная, что связан с ним этой веревкой навсегда.



АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ



МИРАЖ У ГЕММЕРЛИНГА

Рассказ

Светочерпий устал поливать море и землю из огромной солнечной бочки, завалился спать, и кто-то другой принялся наполнять пространство тьмой, густой и холодной, словно из болота. На пирсе включили гроздь мощных люстр на высокой металлической мачте, и люди под крохотным ртутносветным лунным осколком стали похожи на свинцовых, так что не сразу узнавали друг друга.

На пирс пришел капитан МРС-8 — маленького рыболовного сейнера, теснотой своей похожего на «хрущевскую» квартирку с квадратными желтыми окошками. Капитана звали Денисом Матвеевичем Каляным, он был грузен и неповоротлив, он неспешно шествовал по пирсу и подогнутой левой рукой машинально придерживал тугое пузо в белом свитере, выпирающее из расстегнутого пиджака. Капитану нужно было объясняться с командой, и оттого собственная тяжесть казалась ему особенно угнетающей. Он остановился на краю пирса над палубой сейнера, сердито посиפל глоткой, обозревая нескольких притихших рыбаков, и сказал не своим, будто неживым голосом:

— Завтра уходим к Танькиным камням топить пароход.

— Кого топить?.. — озадаченно спросил один из рыбаков.

— Пароход! Наш пароход! — злобно посмотрел на него капитан.

Денис Матвеевич тонко чувствовал людей, но он нарочито отделял себя от рыбаков строгостью. Он всегда старался вообразить себе их как одну массу: если говорил кто-то, он заставлял себя думать, что говорит одно общее недовольное лицо с обветренной шкурой. Если же капитан говорил, то сразу всем. Так было проще ужиться с подчиненной массой в тесном кубрике, иначе бы масса давно задавила его своими неподконтрольными прихотями. К тому же капитан провалил путину, из последнего рейса его сейнер привез в трюме всего полторы тонны иваси. Но рыбаки еще не осознали, что всю зиму они будут приживалами в собственных семьях, а жены до следующей весны успеют скандалами истерзать их ранимые морские души, и они покорно терпели диктат стареющего насупленного человека.

Капитан твердо стоял над палубой маленького судна, и рыбаки, задрав отяжелевшие от многомесячного безрезультатного труда головы, вынужденно смотрели снизу вверх на его выбритые толстые фиолетовые щеки и разверстые ноздри с темными пучками щетины. Рядом с этим крупнотелым человеком, помещенным к тому же выше их, они чувствовали себя тонкими и тщедушными. Море дышало под сейнером, и он тоже вздыхал посаженным на цепь безродным псом. На одном особенно глубоком вздохе корпус болезненно дрогнул, ткнувшись железом в торчащее из пирса

Кузнецов Александр Владимирович родился в 1963 году. В течение ряда лет жил и работал на Курильских островах, занимался рыбодобычей. Публиковался в журнале «Октябрь», альманахе «Ока». В «Новом мире» печатается впервые. Живет в Туле.

бревно. Нужно было поправить автомобильные покрышки на цепях, служившие кранцами, чтобы судно перестало биться в твердое, но никто не тронулся с места.

Матрос Заремба с распахнутой тощей грудью, по которой из-под растянутого ворота до самого горла поднималась синяя тюремная летопись, скривил ехидные губы:

— Ты, Денис Матвейч, не говори загадками. Как это — топить пароход?

— Топить — это топить, — жестко и нетерпеливо изрек капитан. — Мы выйдем завтра к Танькиным камням и сами потопим свой пароход.

— Зачем? — озадаченно спросил кто-то из-за спины Зарембы. — Он же из капремонта...

— Затем... — Большие волосатые ноздри Дениса Матвеевича трепетали. Он как мог вытянул толстую шею, вглядываясь в непонятливого. — Затем, что так надо. — И он кивнул в сторону берега, машинально желая показать на контору, где полчаса назад получил приказ утопить свое судно.

По сопке, подобно ночным скалолазам с фонарями, лезли дома большого поселка. Конторы разглядеть отсюда никто не мог, зато капитан понял, что скрывать от команды ничего не стоит, а, напротив, нужно сейчас же рассказать правду, тогда вина за все неудачи и, главное, провал путины ляжет на чужие — важные и недосыгаемые — плечи.

— Им нужно взять страховку за наш пароход. Они, может быть, себе еще по одному дому построить хотят... — Он изловчился и тяжело шагнул с пирса на борт. Рыбаки расступились перед массивным человеком.

Денис Матвеевич умолчал, что ему самому была обещана из страховки небольшая доля и что в награду он будет переведен на конторскую работу, о чем он сам давно мечтал, считая, что стареющим ноющим костям пора успокоиться от морской жизни.

В мореходной памяти капитана, катившей свои волны почти сорок лет, хранилось несколько случаев, когда в большом рыболовном хозяйстве тайно пускались на дно старые ржавые посудины, чтобы, как за новые, выручить страховку. Такие приработки ни для кого не были секретом. Однако никто не мог вспомнить, чтобы нарочно утопили МРС через три месяца после капитального ремонта.

Капитан направился в рубку, но растерянный голос Зарембы сказал ему в спину:

— Пурга какая-то... Ты, часом, брешешь, Денис Матвейч. Мы хотим с хозяином поговорить.

— Поговори. — Денис Матвеевич полуобернулся в тесном дверном проеме. — Он поговорит тебе... Улетишь с работы к такой-то матери, и никуда больше не возьмут. — Он скрылся в судне, а рыбаки, так ничего толком не поняв, остались на палубе.

— Пурга... — пожал плечами Заремба. И кто-то добавил близкое к его невыраженному настроению:

— У них там совсем от жадности брюхо расперло.

В ночном воздухе скоро стало тесно и душно, словно мир сдавился до маленького клочка пространства, освещенного лампами, и взволнованные люди издышали здесь весь кислород. Все теперь молчали, чувствуя, что в ночном небе, в недоступной тьме пыжились тучи, готовые задождить. И спустя полчаса холодный пробирающий дождь и правда застучал по железной палубе — сначала редко, потом плотнее, сливаясь в неопределенный сонный звук. Чье-то бельишко, развешанное на леере у короткой грязной трубы, уныло вбирало в себя небесную воду, и подсохшие черные спортивные штаны, вновь намокая, тяжелели и вытягивались, пробуя большие размеры. За бортом поплыли пузатые блестящие пузыри, похожие на выпученные глаза глубоководных рыб.

Шестеро рыбаков вслед за капитаном спустились в кубрик. А на палубе, сидя на низком борту и упершись локтями в колени, остался только один человек — боцман Насонов, не принимавший участия в разговоре. Для боцмана все земные заботы были в этот день мелкими и ненужными. Нынешним ранним утром с этим крупным, сильным человеком произошла странность, поразившая его своим глубинным страшным смыслом. Что именно случилось с ним в тот рассветный час, он и не знал, но твердо понял одно: что заглянул по ту сторону жизни, о чем не сказал пока никому.

Было так, что много часов назад, когда МРС возвращался домой, боцман стоял вахту у штурвала. Сейнер шел сквозь последний утренний сон, сквозь белые клубы тумана, словно он парил во сне, не касаясь железным брюхом моря. Но в сыром белом колыпании Насонову вдруг увиделось встречное огромное судно, и боцман мертво вцепился своими большими озябшими от страха руками в штурвал, напрягся и промычал матросу Зарембе, который мирно дремал на винтовом стульчике вместо того, чтобы поглядывать в таком плотном тумане за локатором:

— Заремба, тварюга!..

Больше Насонов ничего не успел сказать, потому что черная громада, наверно учебного, океанского парусника, стремительно и тихо выпираясь из рваного тумана, лоб в лоб надвигалась на крохотный сейнер. Ошалев от ужаса, он не догадался, что это не огромный деревянный барк надвигается на него, а мрак внезапного обморока открылся перед ним странным видением чудного корабля с черными парусами.

...Боцман очнулся в углу на винтовом стульчике, к нему близко было придвинуто сухое морщинистое лицо улыбающегося Зарембы.

— Ну ты чего, Миш, чего? — ласково говорило лицо. — Заснул за штурвалом, а... бывает... Бывает, Миш, а... Заснул... Во даешь.

Насонов приходил в себя от этого голоса и с минуту осмысливал пространство рубки и человека рядом. Большое обмякшее тело боцмана словно просыпалось от долгой ночи. Ослабевшей рукой он отстранил от себя рыбака, который просто не понял, что Насонов только что был какое-то мгновение мертвым.

— Нет, показалось чего-то... — неопределенно ответил Насонов. — Встань на курс, а я покурить пойду.

Боцман равнодушно мок под дождем, только надвинул глубже на голову шапочку, которую связала из распущенного побитого молью зеленого свитера его молодая супруга. Он всегда с нежностью вспоминал о жене, бывшей на двадцать лет его моложе. Первая его супруга с дочерью ушла много лет назад к пограничному прапорщику. Обновленная свежим мужчиной семья давно уехала на материк, и Насонов заколотил в своей памяти обиталище этих людей, как заколачивают горбатыми досками старый деревенский дом. Только иногда сквозь щели из покинутого дома все-таки веяло болезненной скорбью и обидой. Но в прошлом году на приемке рыбокомбината боцман встретил свою маленькую хохотушку Ирину. И он, такой огромный перед ней мужчина, сумел весь целиком, вместе с памятью и разумом, утонуть в ее малости, в ее худобе, в ее белокурости.

Наверху постепенно выдавили из тучи все, что могли; дождь, оскудевая, измельчился в водяную пудру, которая уже и падать не желала, а витала в воздухе тяжелым туманом.

На улице из рубки выбрался кандей Корнилович, похожий на стареющего спившегося поэта с кудлатой цыганской головой, одутловатый и раздраженный. Такой поэт приезжал однажды с материка и при малом народе в РДК читал составленные из красивых слов неразборчивые стихи; он, словно цыган в чужих кур, пристально всматривался в сидящих людей и злился на их скуку. У кандея Корниловича глаза были тоже хитры и внимательны, но слова у него получались не красивые, а грубые, как поленья.

— Слышь, Мишка, домой пойдешь?

— Нет, — ответил Насонов. — Моя не знает, что мы сегодня пришли. Раньше утра не пойду. — Он выше поднял воротник бушлата, будто хотел спрятать от посторонних глаз свое крупное бледное лицо, на котором еще жила сентиментальная грусть.

— Что, застать ее боишься?

— Мало ли... — с сомнением признался боцман.

— А я бы свою застал, курву. Одно удовольствие, — с мстительностью помечтал Корнилович. — Я бы ребра ох покрушил бы... Но только к моей уже не ходит никто.

Рыбаки выбирались на палубу и размещались кто где мог в тесноте суденышка. Последним вышел капитан. Он вынес морской чемоданчик с личными вещами, а в другой руке держал холщовый мешок, наполовину чем-то нагруженный. Поднялся на пирс, густым голосом предупредил:

— Вахта, себя не забывай. — И зашагал на твердых толстых ногах в мокрый поселок к желтым островкам сухого уютного тепла.

— Гляди, мужики, — сказал кто-то, — барахло свое спасает.

— А крысы пусть уходят с корабля, — нараспев добавил еще один рыбак.

Все закурили и задумчиво примолкли, словно пытаясь осмыслить бездонную ночь. Насонов тоже закурил, с удивлением чувствуя, как дым терпко и шекотно пошел в грудь, очистившуюся во время дождя сырым воздухом.

— Надо же, па-лы, — с прищептом, слюнявя языком мундштук папироски, сказал Заремба. — Наш пароход топить. А нас кто спросил?

— А чего им ты!.. — зло отозвался Корнилович. — Им карман набить... А ты им чего?! — Он захлебнулся негодованием. Но хозяйственный мужик Жевентьев разумно заметил:

— Не знаю, что там с ихними карманами, а мое-то барахло тоже не казенное, тоже домой снесу — на хрена ему тонуть.

Вслед за ним и остальные подались собирать вещи. Через несколько минут чемоданы, сумки и рюкзаки стояли рядом вдоль края пирса. Насонов тоже спустился в кубрик за своим рюкзаком, а теперь вновь сидел на прежнем месте, курил и смотрел на выставленные вещи — каждая хранила в себе немного своего хозяина. Вещи, как и люди, были разные: чемодан с отбитым углом, перевязанный капроновым концом, модная импортная сумка с английскими надписями, тугий толстый рюкзак... Кандей Корнилович освобождал тесную, похожую на карцер кандейку. Рыбаки, одетые в темное, помогали ему, передавая из рук в руки сохраняющуюся от путины провизию, и казалось, что белые кульки и коробки без опоры переплывают по воздуху из кандейки на пирс.

Но, поделив провизию, команда не сразу понесла домой добычу, а разбрелась по маленькому судну в поисках мелочей, уже ненужных для оставшейся плавучей жизни обреченному сейнеру, но которые еще можно было унести с собой, чтобы немного утешить супруг. Боцман тоже присмотрел себе вещицу — рынду, медный корабельный колокол, висевший в тени под козырьком рубки. Рында была для сейнера что подкова на двери для крестьянского дома. Но, видимо, эта рында назвенела не очень много счастья их суденышку. Насонов все-таки решил забрать ее — наверное, из жалости, которая жила теперь рядом с его болью.

Он отвинчивал крепивший рынду болт, когда увидел Корниловича, уже шагающего по пирсу. На спине у кандея был внушительный вещмешок, а в руке он нес чемодан с отбитым углом. Из кубрика послышался шум, что-то упало и стеклянно покатилося по крутой лесенке. На палубу вырвался растрепанный Заремба.

— Стой, па-ла! — завопил он, прыгнул на пирс, нагнал Корниловича и, маленький перед высоким, крепкими руками развернул его и, вцепив-

шись в куртку кандея, начал мотать из стороны в сторону, как большую соломенную куклу.

— Братва! — кричал верткий Заремба. — Он видак упер. А мы же видак на обшак купили.

— Ну ты чего, ты чего, — ошеломленно приговаривал Корнилович. — Имущество теперь ничейное, все равно утонет...

Он все же послушно вернулся, открыл чемодан, и видеомагнитофон был выставлен на осудительный обзор команды. Все собрались вокруг.

— На бочку видак, — хрипло посоветовал чумазый механик Фетисов. — И телик на бочку.

В основании пирса тем временем затарахтел мотор, и желтый свет от мотоцикла осветил столпившихся. Капитан на своем «Урале» проехал между расступившимися людьми. В коляске помещалась его широкая супруга. На голову ее был напялен тесный шлем, и насупившееся женское лицо вылезало из него, как перестоявшее тесто из синей кастрюли.

— Бабу привез... — вполголоса обронил кто-то с издевочкой.

Капитан грозно посмотрел на рыбаков, но не увидел сказавшего, зато заметил черный видеомагнитофон. Не глуша мотор, тяжело оторвал себя от мотоцикла, проворчал:

— Накинулись... Свора. — И, обойдя тарахтящий мотоцикл, вдруг ловко подцепил видеомагнитофон, сунул его в коляску на колени супруги. — Вер, стережи, а я сейчас...

— Денис Матвеич, какого хрена! — возмутился Заремба.

Но капитан двинулся животом на рыбака.

— Заремба! Много болтаешь, Заремба! — грозно сказал он. — Много, говорю, болтаешь!

Рыбак по привычке отступил, а капитан, недовольно хекая, спустился на МРС, но скоро вернулся, осторожно неся перед собой массивную корабельную рацию.

Заремба выборматывал негромкий мат. Но капитан больше не хотел замечать рыбака. Он втиснул супруге в коляску еще и рацию, а сам взгромоздился в седло, плавно газанул, намереваясь отъехать, но на пути его встал Насонов. Боцман хмурился и, казалось, что-то пережевывал: широкая челюсть его двигалась, круглые желваки напрягались под грубой кожей.

— Денис Матвеич. — Насонов смотрел на капитана глубокими темными глазами. — Так не пойдет... Видак придется на бочку.

Капитану стало неуютно от тяжести его темного взгляда, он скованно ухмыльнулся и заглушил мотор. Сняв фуражку с вспотевшей плечи, повесил ее на зеркальце заднего вида.

Видеомагнитофон поставили на мотоциклетную коляску. Супруга капитана удрученно вздохнула и крепче обняла уцелевшую рацию. Заремба принес листок из школьной тетради и авторучку, оторвал от листка девять одинаковых кусочков, на одном накалякал жирный крестик, скомкал бумажки и бросил в капитанскую фуражку.

— Тяни, Денис Матвеич, — улыбаясь, предложил Заремба.

— Я не буду, — с непроницаемым лицом отстранился капитан.

— Как знаешь, — хихикнул рыбак и протянул фуражку дальше.

Боцман забыл к этой минуте о сегодняшней своей мудрости и вернулся в свое прежнее жизнелюбие. Когда подошла его очередь, он с трепетом запустил руку в фуражку, катнул пальцами несколько оставшихся комочков, поймал один. И уже он не видел других людей, они отодвинулись за окраины его зрения, а пальцы поспешно сами разворачивали бумажку, и на ней мелькал, проявлялся жирный крестик, нарисованный Зарембой.

— Моя!.. — выдохнул свою возбужденность в лица рыбаков Насонов и протянул им подрагивающий мятый листочек с меткой.

Все с болезненным разочарованием посмотрели в его руку. И для них в свою очередь перестал существовать боцман с его удачей и новым имуществом. Один из них уже побежал в кубрик за телевизором. А Заремба зло готовил второй жребий, теперь на восьмерых. Капитан, молчавший все это время, через общий говор и суету сказал вкрадчивым голосом, который слышал только Насонов рядом:

— Ну что, Миша, взял? — Внимательные глаза исподлобья смотрели на боцмана, как два надзирателя.

— Взял, — с тихим вызовом ответил Насонов.

— Ну-ну, ты свое не упустишь...

— А ты думал, Денис Матвейч, я расстелюсь перед тобой?

— Ну-ну...

Сердитый на капитана, Насонов с видеоманитофоном под мышкой и рюкзаком на плече устало брел в темный поселок, в котором только лампы на столбах в нескольких местах портили ночь световыми дырами. Боцман в темноте поднимался на сопку по самой крутой и длинной из четырех деревянных лестниц, налепленных на склоны, — она была ближе к пирсу. И ступеней, он знал, в лестнице насчитывалось двести тридцать две. Иногда боцман останавливался передохнуть и, держась за перила, видел в широком уходящем в ночь заливе на рейде несколько плавучих городов в огнях. И боцману тогда чудилось, что он поднялся над миром и переступает по шаткому воздушному мосту в тьму неба и что земли нет под ним.

Наверху деревянный тротуарчик повернул в глубь поселка. За несколько минут боцман дошагал до своего дома — большого островерхого строения. Две комнаты в левом углу дома принадлежали боцману и его молодой жене.

Насонов беспечно хотел сразу постучать в дверь, но занесенную руку кто-то придержал за широкое запястье. Рука затвердела, и холодная спина тоже стала деревянной, а тот, кто придержал руку, расчетливо обитал где-то за спиной самого Насонова. То существо было тяжелым и гнетущим, нельзя было освободиться от его хватки. И Насонов вспомнил, что ночью не следовало приходить домой. По своему прошлому опыту и опыту своих товарищей он хорошо усвоил к сорока пяти годам, что любовь и доверие, эти до воздушности нежные субстанции, часто в морских семьях обретают расчетливую материальность и становятся похожими на банковские кредиты: они извлекаются из кассы в нужное время и щедро тратятся, но, увы, время их истощает и они способны совсем истаивать к следующему рейсу. И все же боцман боялся не столько этих единых морских законов — с ними можно и нужно было мириться, если пребывать в неведении; он боялся как раз ведения, боялся узнать, что его новая семья, быть может, тоже начала жить в кредит.

Он растерянно опустил на крыльцо свою ношу и, ведомый настойчивым поводырем, пробрался сбоку дома в палисадник, в заросли сочных лопухов, замер под раскрытой форточкой, стыдливо чувствуя себя вороватым мальчишкой.

Внутри дома парила тишина; на широкой диван-кровати раскинула руки теплая, легко и неслышно дышащая сном женщина. Боцман воображением увидел ее в сумраке комнаты и почувствовал запах своего дома. И постепенно Насонов успокаивался — теперь еле дышал и не шевелился, чтобы не испугать шорохом спящую. Он уже хотел выбраться из палисадника, но в тишину вдруг вплелись шелестящие звуки, будто кто-то шептал летучие влажные слова. Боцман вновь оцепенел, вслушиваясь в звуки, которые, кажется, стихли, но потом опять возникли из смутного жуткого пространства. И в ночь из открытой форточки полилась тихая песенка диванных пружин. Это была радостная песенка, исполняемая шепотом, тай-

ком от соседей, безрассудная шансонетка на двоих, но вторым голосом этой ночью в ней участвовал вместо боцмана кто-то другой. Насонов с ужасом слушал все переливы мелодии, и ему казалось, что его опустошенная раздувшаяся голова и большое тело перестали вмещаться в ночь. Нужно было вытащить себя из этой тесноты и куда-то деться. Маленький ослик топал вразвалку, как хромым медведь. А ночь лилась, и лилась песенка до той самой минуты, пока в ночь не выскользнул хорошо знакомый боцману тихий счастливый хохоток.

Ночь пошатывалась. Насонов вышел из палисадника, достал из кармана складной нож, раскрыл лезвие. «Зайти — и обоих, кто бы он ни был...» — подумал боцман, но вместо того, чтобы постучать ногой в дверь, он только царапнул ее ногтями и, странно задрожав всем телом от чего-то, подступившего к горлу, отошел и сел на порожек, чтобы не разрыдаться. Так сидел он неподвижно неизвестно сколько времени и смотрел на свою большую ладонь, отливающую фиолетовым в ночном сиянии дальнего огонька, и голову его распирало бессмысленными какими-то видениями, фразами и звуками. Ночь, как гуляющая грузная баба, легла на землю: стекляшка в угольной куче напротив поблескивала дальним неясным светом, словно поблескивал шаловливый глаз пьяной бабы. В памяти Насонова всплывали разные чудные образы: то он видел чье-то окровавленное тело, то вдруг вспомнил, как недавно ел маринованные маслята из магазинной банки. Маслята эти долго вертелись в голове, так что он уже с досадой думал: что ж они дались ему... А то целиком вынесло на поверхность одно далекое маленькое событие — из тайников ранней юности, когда его родители еще не получили вербовку на Дальний Восток.

Маленький Насонов увидел почти голую молодую женщину на берегу одной среднерусской речки, за деревней, тесно сбившейся в кучу от вековой общинной привычки. Городская отпускница, постелив на траву покрывало, нежилась на нем в узких красных трусиках. И тринадцатилетний плавающий мальчик, снесенный течением от общей деревенской купальни, высунул ошеломленную лопухую голову из воды и, медленно дрейфуя мимо женщины, онемело смотрел на подкрашенную солнцем спину без обязательной белой полоски от лифчика, на шаровидно натянутые трусики и глянцевые ноги. Женщина на берегу зашевелилась, приподнялась на локтях, отчего стала видна свободно повисшая полная грудь с розовато-коричневым бутонем внизу; улыбаясь, посмотрела на невольного своего созерцателя большими глазами и тихо засмеялась.

Насонов только теперь, погруженный в ночь седеющий мужчина, мог оценить тот ее нечаянный смех, обильно выплескиваемый через край. А тогда перепуганный мальчик, почувствовав на себе ее взгляд, захлебнулся собственным стыдом. Он заполошно нырнул в речку и, рыдая в мутную зелень, начал ошалело грести, цепляясь за илистое мертвое дно. И он не мог вынырнуть за воздухом, потому что наверху его ждал бесстыдный взгляд женщины. Тогда мальчик едва не умер в речной мути. Он наглотался воды, и какой-то взрослый рыбак намного ниже по течению, за речной излучиной, помог выбраться ему на крутой скользкий берег. Мальчик долго потом сидел, укрытый чужой телогрейкой, и щуплое тело зябко сотрясалось — то ли от холода, то ли от страха перед той страшной откровенностью, которую в тот миг впервые разглядела его душа в женщине.

Насонову и теперь хотелось нырнуть в мутную глубину и зарыться в ил на дне. Но он уже не мог бежать от своего обнаженного стыда.

В доме царили беспечный утомленный сон, и никто больше не смел шелохнуться там. Ночь редела, расступались тучи, и кривой яркий серп обнаженно высунулся из тьмы: угольная куча возле массивного сарая теперь вся заблестала, окропленная лунным соком. И Насонов увидел себя в лунном сиянии, одинокого и глупого посреди ночи.

Чужая собака, бродившая по ночному поселку, зашла во двор и, заметив человека, который поднялся на пороге, остановилась, села в удалении, не зная, чего ожидать от бодрствующего хозяина ночи. Насонов напряженно следил за животным, желая, чтобы лохматая собака с торчащими лисьими ушками убежала со двора, но та продолжала сидеть, очевидно надеясь на подачку от человека. Насонов тихонько позвал ее: «Фьють, фьють», — чтобы погладить. Так захотелось ему вдруг погладить собаку. Но она появилась, и тогда Насонов рассердился, бросил в собаку нож. Но тот пролетел мимо, ударился куда-то в пыль. Пес обиженно затрусил в свою голодную ночь. Насонов тяжело зашагал к морю.

На пирсе тархтел подогнанный к сейнеру колесный трактор с прицепом. Топтались несколько береговых рабочих. Среди бушлатов и телогреек выделялся длиннополый светлый плащ и в тон ему — шляпа. В плаще и шляпе помещался малорослый конторский человек, подручный хозяина Быков. Он при разговоре задирает костяной подбородочек, и речь у него получалась волевая и командная, несоразмерная малорослости говорившего. Рыбаки тушевались от такого напора.

— Мы возьмем на учет ваше противодействие, Заремба, — говорил Быков, приподнимаясь на носочках. — Вы не первый раз позволяете себе безответственность. И это касается всей команды.

— Миша, — слабо сказал Заремба приблизившемуся Насонову, — они пароход грабить пришли... А пароход — наш, мы сами знаем, чего с ним делать...

— А где Матвеич? — безразлично спросил тот.

— Нету... Он опять приехал с бабой, коляску погрузил и опять уехал.

— Вы боцман с этого мэрээса? — повернулся маленький громогласный человек. — Попрошу навести порядок в команде.

Насонов лениво взглянул на него и прошел мимо на палубу. Безразличие боцмана вдруг сделало безразличной и всю команду. Заремба отступил от борта. Быков, напротив, еще больше напыжился от смелости и власти, спустился на палубу, приказал рабочим грузить корабельный невод и кинул рыбакам:

— Команду попрошу помочь.

Кто-то вяло повинился. А боцман в стороне привалился со спокойным видом к борту. Люди, грузившие кошельковый невод в тракторный прицеп, уже забыли о нем. Быков, сцепив руки за спиной, следил за работой, он нервничал, еще не уверенный в своей победе. Когда он проговорил сухопутным работягам: «Быстрее!.. Быстрее!..» — никто не ожидал от боцмана, и он сам не ожидал от себя, что пойдет на хозяйскую «шестерку».

Насонов подошел молча к юркому человеку, обернувшему к нему свое стремительное испуганное лицо.

— Сникни, Вася, — сказал Насонов, взял затвердевшее от страха тело поперек и перебросил на пирс.

Быков проелозил локтями по грязи, вскочил и, схватив шляпу, поспешно устремился к выезду с пирса, где стоял черный японский джип. Отбежал и стал выкрикивать угрозы Насонову. Но его не слушали, пирсовые рабочие сами засмеялись и полезли с судна — им совсем не хотелось трудиться ночью. Быков скоро уехал с пирса. А ярость в Насонове распалась на какую-то мелочь, на осколки, он разочарованно, с красным лицом ушел на корму и уже не видел, как рабочие тоже уехали на тракторе.

— Зря ты, Миш, — сказал Заремба. — Он дело пришьет.

— Не пришьет, — возразил боцман. — Им деньги дороже стыда, они воры, им наш пароход на страховку разменять надо, они ради этого все забудут...

Насонов закурил, а Заремба между тем пошел выволакивать с сейнера круглый белый пластиковый контейнер со спасательным плотиком и потащил его с пирса, наверное надеясь сбить кому-нибудь за водку. Двое дру-

гих рыбаков взобрались на рубку и принялись зубилом срубить закисшие крепежные болты антенны локатора. Боцман, глядя на жадность команды, плюнул в сердцах и спустился в кубрик, где только один матрос, по фамилии Свеженцев, лежал на своей койке. Свеженцев поднял навстречу ему любопытное бородатое лицо.

— А ты чего же не тащишь, как все? — равнодушно спросил Насонов.

— А мне на что? — пожал неширокими и покатыми, будто стертymi за многолетние мытарства плечами Свеженцев. Он только первую путину как прибил к сейнеру. До этого он промышлял прибрежным ловом лосося на юге острова, а еще раньше судьба его терялась в долгих странствиях по огромной стране, в которые он пустился когда-то, без сожаления бросив размеренную жизнь в центре России. Тяга путешественника гнала его из Подмоскoвья в Мурманск, на Северный Урал, в Петропавловск-Камчатский, под Благовещенск, в Игарку, в горы Алтая, на Курилы... И, как всякий путешественник, он беззаветно верил, что в следующий раз найдет тот уголок на земле, где сможет успокоенно сказать себе: «Я счастлив». Но каждый раз он находил на новых местах только временный приют в просяннoх, прокуренных общагах, где обитали такие же, как он, беззаботные истовые горемыки.

— Мне лишний груз ни к чему, — сказал Свеженцев. — Я скоро уеду куда-нибудь — здесь не хочу больше жить.

— Ты, наверно, должен быть счастливым человеком, Эдик, что едешь куда хочешь и когда хочешь? — грустно спросил Насонов. Он хотел улечься на свою койку, но вдруг побледнел лицом, положил правую руку на грудь, а другой вцепился в выступ соседней койки, замер посреди кубрика и будто посмотрел сквозь борт в холодную глубину моря.

— Миша, ты чего? — приподнялся на локте Свеженцев.

Боцман промолвил остывшими губами:

— Чичас...

— Тебе, может, надо чего?

— Надо... Водки если принесешь, хорошо будет.

— И принесу, — решительно поднялся сочувствующий Свеженцев. — На «Ерше», кажись, зашибают. стакан выпрошу.

Боцман остался один, сел на краешек койки. Наверху опять загудел мотор, и боцман безразлично подумал, что трактор вернулся и все равно увезет и невод, и все остальное уцелевшее добро, которое можно снять в одну ночь с обреченного сейнера. Боцман сидел и слушал биение волн в корпус и настойчивый гул тракторного мотора наверху. И казалось ему, что гул стоит у него в голове, а волна бьет в ослабевшую грудь. Но он этой боли не пугался, а только удивлялся ей, как неожиданной шумной неприятной гостье.

Свеженцев через некоторое время принес водку, но не целый стакан, а только половину, и боцман догадался, что водку рыбак неудержно отпил по дороге. Насонов все равно сказал «спасибо» и медленно залил оставшейся жидкостью болезненную жгучесть в груди. Отдышался и, все еще слушая себя, рассеянно обратился к сострадающему товарищу:

— А куда ты все едешь и едешь? Что ты на свете видел? — И, бросив на койку бушлат, не раздеваясь, стал осторожно укладываться.

— Я много чего видел. — Свеженцев задумался, почесывая запущенную мятую бороду. — А по-другому если, то ничего не видел... Я все искал хорошего, а радости не видел, только один пьяный угар.

— Ну и дурак, что искал, — пробормотал Насонов. — Радости только дураки и дети ищут. А по большому счету надо упереться в одно место и жить не дергаясь, пока можешь...

— В одном месте не могу, — возразил рыбак. — Душа ныть начинает. Меня будто зовет кто-то и ждет. Кому-то вроде как надо, чтобы я все время ехал к нему. А я его никак не найду...

Насонов долго лежал, пяля глаза в потолок, а потом промолвил:

— Это ты хорошо сказал, что тебя кто-то ждет... А может, мне тоже поехать куда-нибудь? А здесь, верно, правды нет.

— А что, поехали... — обрадовался Свеженцев.

— Поехали...

И тихий боцман стал медленно засыпать. Свеженцев видел его потемневшее лицо: глубокие глаза провалились еще глубже — под веки, а рот устало приоткрылся и скоро стал издавать натужный болезненный храп, будто в глотке боцмана, как в тесной норе, застрял хрипящий задыхающийся зверь.

Боцман и Свеженцев проснулись раньше остальных рыбаков, всю ночь разбиравших годное добро с судна. Рыбаки теперь спали, словно измотанные тайфуном вахтенные. Из сумрачной духоты кубрика, где бродили закисшие запахи немывтых две недели людей, боцман выбрался наружу — в воздушный неугомонный поток. На пирсе всегда пахло голубой свежестью моря, испорченной рыбой, водорослями, соляжкой и бензином от техники. Ни один запах не мешал другому, и каждый имел свой смысл и свою историю.

Судно потрепало ураганом человеческой жадности: люди разобрали даже брашпиль — якорную лебедку, срезали мачту, все антенны и прожектор, сняли двери от кандейки и гальюна. Боцман и не предполагал, что кому-то может понадобиться весь этот металлолом.

На пирсе он неожиданно увидел множество спящих людей. Человек двадцать незнакомого ему народа в пестрой городской одежде вповалку лежали прямо на грязном деревянном пирсовом настиле. Лишь некоторые, низко опустив очугувшие головы, некрепко сидели на толстом бревне. Многоголосые звуки беспмятного сна летели в сырой воздушный поток, перемешиваясь с морским шелестом. И если кто-то приходил на пирс, то равнодушно переступал через спящих. Боцман расспросил пирсового рабочего, который кайлал толстый трос в головке пирса, и тот объяснил, что спящий народ был из увольнительной с огромной плавбазы, где начальство объявило на всю путину сухой закон. Толпа рабочих, пущенная на берег в восемь утра, к десяти уже мертвецки напилась. Теперь этой толпе нужно было к обеду проспаться — до прихода катера с новой партией получивших увольнительную.

— Разве это мореманы? — Рядом появился Свеженцев. — Это — плавбаза. Они море только в иллюминатор смотрят, как в телевизор.

Два человека, пришедшие на пирс, принялись оттаскивать спящие мычащие тела в сторону, чтобы дать проезд бортовому «ЗИЛу». Но один перенесенный к бревну плавбазовец поднял лохматую голову, слепо посмотрел на рабочих, встал на четвереньки и начал шаткое движение к прежнему месту, наступая ладонями и коленями на лица и тела товарищей. Достигнув середины пирса, он изверг контуженые слова и, засыпая, ткнулся лицом в настил. Пирсовые работники, матерясь, вновь потащили его в сторону.

Насонов, глядя на беспмятных людей, произнес задумчивым голосом, в котором звучала тоска по чему-то неведомому Свеженцеву:

— Я сегодня тоже забудусь. Я целый год не пил, а сегодня забудусь. Да, Эдик?.. И ехать никуда не надо. Можно в дальнее путешествие отправиться не отходя от магазина.

— Можно, — согласился рыбак. — Но когда очнешься, совсем неинтересно будет...

— А я транзитом сразу на следующий рейс. — И Насонов безрассудно, истово засмеялся.

Команда сейнера постепенно пробуждалась, выбиралась из кубрика, закуривала и осоловело смотрела вокруг. В запахи моря и пирса втекал грубоватый дух дешевого курева.

Из конторы шагом утомленного адмирала пришел капитан. Он вместе со всеми на палубе, не желая спускаться в разоренный кубрик, выпил крепкого чая, разогретого Корниловичем, и съел краюху хлеба с обильно намазанной свиной тушенкой. Оставшуюся корку бросил за борт. Голодная белая птица, кругами бороздившая воздух, с громким всплеском упала на корку.

— Отходим, — сухо приказал капитан. — До двенадцати успеть к Танькиным камням. Там нас будет ждать кунгас прибрежников. Сами в кунгас полезем, а пароход на камни бросим.

Море дышало розовой летучей дымкой, и люди, чувствуя теплое дыхание на своих лицах, не верили, что вся эта легкость и солнечная летучесть могут прерваться, что в ближайшие день-два взбалмошное морское чудовище способно пробудиться и переломать всю эту теплую гармонию, дунув холодным тайфуном.

Уходящее в море ободранное суденышко выдавило последний звук, похожий на стон больного нищего. Но люди на сейнере молчали и старались не замечать друг друга.

Насонов от растерянности и безделья взял щетку на длинной ручке и начал тщательно сметать ночной мусор с палубы в шпигаты. Он хотел со всеми своими мыслями и чувствами раствориться в бесхитростном труде. Команда молча взирала на его занятие, и никто не сказал ему о напрасности его усердия. Каждый понимал, что Насонов делает сейчас то же, что обычно люди делают с покойниками.

Каждый рыбак из команды, конечно, ненавидел свое судно. Так они по крайней мере постоянно думали и говорили на протяжении всей путины — сейнер съедал их здоровье и жизнь. Но на деле сейнер был каждому больше чем дом, чем просто жилище или место работы. Земной дом бывает вверен человеку, в море же все наоборот: рыбак со всей своей жизнью вверен судну. Скоро к работе боцмана присоединился Заремба. Он сходил за тряпками и водой, чтобы отмыть от жирного налета иллюминаторы рубки. А сонливый Свеженцев стал черпать старым ведром забортную воду и поливать для большей чистоты выметенную палубу. Еще кто-то уже драил галюн, выметал кандейку, а кто-то соляжкой очищал от копоти широкий кожух чадающей выхлопной трубы. Каждый добровольно делал ту необязательную нудную работу, на которую никогда не сыскать охотников.

Насонова работающие люди скоро вытеснили на бак, в самый нос корабля, и он остановился у борта, стал смотреть, как суденышко подминает под себя зеленатоватую толщу. Сейнер скоро вошел в большое стадо сивучей, плывущих в неведомые рыбные края. Вожак высунул из волн блестящую лысую, как у капитана, голову и злобно фыркнул на корабль. Звери не уходили в глубину, а подобно бестолковым, собранным в толпу людям глупо толкались, освобождая путь железному киту. Насонов понял, что звери, как и люди, собранные в толпу, забывают о себе и становятся одним ороговевшим тупым существом. И отчего-то Насонов подумал теперь, что есть посреди бездонного свободного моря гигантская воронка, и все в мире — и эти сивучи, сейнер, птицы, и сам Насонов — слепо стремятся к центру водоворота. Мир улетал, проваливался в темень.

Насонов пошел, придерживаясь за борт, — спрятаться куда-нибудь от своего предчувствия, от неясного страха, парящего вместе с ветром. Он спустился в пропахшее горячей соляжкой и маслом машинное отделение. Шумный громоздкий дизель сотрясался в тесном объеме.

— Дотянем до места, Гриша? — просто так спросил Насонов в самое ухо механика Фетисова.

— Дотянем, — кивнул тот большой мрачной головой.

У каждого на судне, помимо его койки, было и еще какое-нибудь место, где душа впадала в тишину, независимо от внешнего шума и бури. Боц-

ман давно замечал за собой и другими, что человек может часами просиживать в одном углу и при этом не читать, не разговаривать и особенно ни о чем не думать. Он сам часто спускался к машине и садился в сторонке на инструментальный ящик. Механик Фетисов знал такую слабость за боцманом и всегда держал деревянную крышку ящика чисто протертой.

Фетисов всю ночь трудился над двигателем, снимая и заменяя все доступные для разборки детали на старые, почти негодные. Теперь сбитые с регулировки, выработанные клапанные коромыслица прыгали, как молоточки пьяных гномов. Старый экономайзер на каждом ходу одного из поршней выпрыскивал тончайшую тугую струйку солярки наружу — в железный корпус корабля.

Фетисов, насупившись, оседлал винтовой железный стульчик и с тоскливым раздражением слушал неровную работу дизеля. Но слух Насонова не смог распознать нарушений в железном рокоте машины. Убаюканный, он скоро погрузился в тягучую полудрему. И лишь спустя час его вывел из оцепенения Заремба, спустившийся в отделение, чтобы позвать всех наверх — пить в рубке спирт из компаса.

Когда вся команда собралась в тесной рубке, капитан застопорил ход судна — камни в двух кабельтовых баламутили поверхность. Пенные буруны облизывали лысые каменные шишки на огромной подводной голове. Капитан что-то записывал в судовой журнал аккуратной в чистописании неспешной рукой.

— Денис Матвейч, чего строчишь? — спросил Заремба, подобревший от предстоящей выпивки компасного спирта.

— Алиби пишу, — серьезно ответил капитан.

Заремба посмотрел сбоку в записи.

— «Одиннадцать пятьдесят: на траверзе мыса Геммерлинг вошли в плотный туман», — прочитал он и добавил: — Здоров врать. Где же туман?

— А вон туман, — спокойно возразил капитан и показал авторучкой вдаль, левее пузатых зеленовато-бурых сопков острова, выпертых на поверхность вулканической силой. На горизонте жидкая белая полоска тянулась над морем. — Главное, что синоптики объявили и все, значит, сходится... — Денис Матвеевич строго посмотрел на рыбаков: — Чтобы всё дословно изучили. Чтобы ответить, если комиссия спросит... И остальное там. — Взгляд его переместился в собственные внутренние страхи: — А то не дай бог...

Один из рыбаков тем временем разбирал магнитный компас, в механизме которого плескалось семьсот двадцать граммов спирта, — такое добро не имело возможности пропасть даром. В рубку принесли котелок и три уцелевшие покоренные кружки. Рыбак слил спирт из компаса в котелок, а потом, краснея от усердия, стал наполнять кружки, стараясь не ошибиться даже на грамм, чтобы никто не почувствовал обиду.

Каждый пил тихо, не произнося бесполезных слов, не кивая, не мыча и не улыбаясь. А сначала устремлял остановившийся взгляд внутрь кружки, будто в пропасть, и, зажмурившись, нырял в ее глубину.

Насонов тоже выпил и спустя минуту, чувствуя от спирта колющее тепло в животе и груди, сказал в пустоту отодвинувшихся куда-то, ставших чужими людей:

— Пароход на камни отведу я.

— Отведи, — подумав, согласился Денис Матвеевич. — Наденешь спасжилет и за борт сиганешь чуть раньше, чтобы тебя самого не ударило.

— Отведу, — подтвердил боцман.

Через полчаса от острова два рыбака-прибрежника привели широкий просмоленный кунгас. Команда перебралась в лодку, а боцман разделся до трусов, натянул на голое тело неудобный спасательный жилет и одежду передал товарищам, которые подспудно хранили в своем молчании радость, что не им предстоит выполнять опасную работу.

Насонов перевел судно на «малый ход», провожая взглядом кунгас, который уходил к камням первым, чтобы подобрать боцмана из воды, когда он прыгнет за борт. И на носу лодки был виден массивно стоявший у высокого битинга Денис Матвеевич в глубоко натиснутой на толстую лысину фуражке. Боцман крутнул штурвал, медленно поворачивая вокруг маленького урчащего дизелем судна весь мировой объем — вместе с океаном, туманами, сопками, небом. Выровнял ход судна так, чтобы кипящая рана бурунов, портившая морскую поверхность, оказалась на курсе, помедлил минуту, прислушиваясь всем телом к холодным ветренным струям, затекающим в отдраенные двери рубки, и перевел сейнер на «полный вперед». МРС задрожал, выметывая из трубы черные натужные клубы, враскачку пошел к бурунам.

Сейнер покачивался на вялых морских пригорках, быстро нагоняя осторожный кунгас, умеривший перед камнями прыть. Насонов посмотрел влево за борт, примеряя свой скорый прыжок в воду, и увидел лица рыбаков в кунгасе — лица будто затвердели и стали желтыми высушенными масками. А еще дальше возвышался застывший неживой берег и помертвевшее до синевы небо. Насонов повернул голову вперед, и будто сквознячки выстудили из его одрябшего поникшего большого тела остатки тепла.

Он опять увидел огромный деревянный барк, шедший прямым курсом на МРС. Боцман выпустил штурвал, отступил на несколько шагов назад, к лесенке, круто уходящей в кубрик, и спиной стал падать в подводную океанскую пропасть. Он успел увидеть, как мощный киль барка, изготовленный из цельного трехсотлетнего дубового ствола, врезался в сейнер, с хрустом подломил жестяной нос маленького суденышка, размозжил рубку, и боцмана захлестнула стылая водяная тьма. Одна полоска света какое-то время еще сочилась сквозь зеленоватую толстую муть — но скоро иссякла, кто-то жадным ртом допил мелкие световые капли.

А рыбаки в кунгасе видели, как судно левой скулой протаранило буруны. Массивные железные внутренности оборвались с гулом и что-то сокрушили в трюме. Белая кубастая рубка деформировалась, словно надвинутая на глаза кепка. И механическое сердце в сейнере умерло. Разбитый корабельный труп с развороченным левым бортом отвалился от камней и уже на глубине клюнул носом, так что куцая корма приподнялась в воздух и стало видно перо руля и зеленый медный ходовой винт. Волны, хлопая, побежали по палубе, заливаясь в покореженную рубку. Наверное, дизель внутри сорвался со станины и, круша переборку, вошел в кубрик, нарушая балансировку корпуса.

— Прыгай, — сказал Денис Матвеевич. Он несколько секунд назад, как и все вскочившие на ноги в кунгасе люди, орал это слово, но теперь повторил его еле слышно и повернул толстое растерянное лицо за помощью к напряженным рыбакам.

Но от занемевших людей помощи быть не могло. Капитан ошеломленно уселся прямо на дно кунгаса, на мокрую пайолу, снял с головы фуражку, размазал пухлой ладонью влагу по красному судорожному лицу и проговорил, озираясь на людей:

— Чего ж теперь будет?..

И рыбаки в эту минуту увидели, что капитан их — и не капитан вовсе, а трясущийся, насмерть перепуганный толстый дядька. И каждый отложил это мимолетное неуместное пока наблюдение в глубину взбудораженной памяти, чтобы извлечь его значительно позже, когда для этого придет нужное время. Рыбаки загалдели рулевому кунгаса, чтобы он подошел к тонущему судну, но двигатель кунгаса заглох, и длинный черноусый рыбац-прибрежник, вцепившийся в ручку «Вихря», стал выкрикивать:

— Нельзя туда! Нельзя, расшибемся!

Его оттеснили, Заремба стал дергать ручку мотора, чтобы завести, кандей Корнилович схватился за весла... И тогда опомнился Денис Матвее-

вич, проворно вскочил на ноги и, распихивая мешавшихся, полез на корму к Зарембе:

— Куда, мать твою, сволочь! — рычал он. — На камни хочешь?!

Из высоко задранной кормы судна, из щелей и разбитого иллюминатора над машинным отделением с шумом вырывался воздух. Споры были уже бессмысленны — спустя минуту МРС весь ушел, подобно медлительному киту, в море, и еще какое-то время воздушные пузыри и гейзеры выбрасывали на поверхность жирное машинное масло с соляркой и корабельный мусор. Гейзеры быстро стихли, и течение стало относить мусор от камней.

Кунгас полтора часа бороздил вокруг бурунов напрасные волны. Но море надежно заглотило жертву, и кунгас вынужденно повернул к берегу.

Поздно вечером команда пила на пирсе поминальную водку. Первый полный стакан рыбак Свеженцев в общем согласном молчании вылил в набегающие из бурого заката волны. И всем на миг показалось, что водка эта достигла некой живой сущности, грозный океан распахнулся и потеплел от почтения людей.

Через час было выпито несколько бутылок водки. Когда день окончательно скукожился из всего своего великолепного сияния в грязно-красное пятно на западе, к рыбакам приблизился растрепанный поникший капитан. Он замер в нескольких шагах от людей, сидевших на краю пирса на толстых досках настила. Руки его миротворно были скрещены под брюхом.

— Директор всем выписал премию, — повинно сказал он.

Рыбаки молчали и не смотрели на него. Тогда Денис Матвеевич осторожно добавил:

— Надо решить, что будем говорить следствию... — Он опять примолк, но так как никто и на этот раз не отреагировал на его слова, он продолжил смелее: — Говорить надо, что все посягали в воду иплыли, пока нас прибрежники не подобрали... А Миша был без спасжилета и не доплыл...

Все так же угрюмо молчали, глядя на почерневшее море. И тогда Заремба натянутым непонятым голосом произнес:

— А что, это мысль — что Миша спасжилет не захотел надеть: сам и виноват.

— Так всем легче будет, — подтвердил капитан.

— А следователя купили? — также непонятно поинтересовался Заремба.

— Следователь свой человек, — оживился Денис Матвеевич. — Но говорить все равно надо согласно. Он копать не станет...

Заремба поднялся на колени, порываясь встать в рост, но кто-то потрезвее придержал его за рукав и сказал:

— Ты, Денис Матвейч, зря к нам пришел. Не омрачай нашего застолья, нам и так нехорошо.

— Да я... разве моя вина... — промямлил капитан, и все услышали в его голосе испуг и покорность. Он в эту секунду наконец-то и сам понял, что теперь он никто собравшимся здесь людям.

И его неожиданный испуг взбесил Зарембу. Маленький пружинистый рыбак вскочил и сбоку сильно пихнул капитана в круг сидевших товарищей. Денис Матвеевич, громко икнув, споткнулся о чью-то ногу и рухнул в центр круга. Звякнуло стеклом, и только что откупоренная полная бутылка опрокинулась, катнулась к чьим-то ногам. Никто не шелохнулся и не протянул руку, чтобы поднять забулькавший водкой сосуд. Рыбаки, зверея, молча смотрели, как бутылка стремительно опорожняется — изливающаяся водка струйками исчезала в щелях пирса.

— Ах ты па-ла... — сказал остервенелый голос. — За борт его!

Десяток яростных рук схватили Дениса Матвеевича, повернули ничком, ткнули толстым лицом в грязь. Бурно дыша выпитым, рыбаки в минуту скрутили ослабевшее тучное тело обрывком капронового конца, ноги

обмотали брошенным пудовым куском старой якорной цепи. Капитана перекатили через край пирса и, удерживая за плечи и воротник куртки, окунули ногами в темные волны, уже приготовившиеся принять ненужного земле человека.

Капитан из-за полной расслабленности не мог говорить или кричать, и напоследок он только вымыкивал непослушным сведенным ртом свою смертную тоску. Руки рыбаков, державшие его, слабели, им нужно было только одно какое-нибудь психованное слово, чтобы разжаться, и капитан ушел бы на пятиметровую глубину. Но они почему-то тянули долгую минуту. И тут в воздух ворвалась резкая тошнотворная вонь человеческого кала. Державшие тяжелого обгадившегося капитана люди опомнились, содрогнулись, выволокли его назад и бросили бесчувственное тело на пирсе.

Забрав оставшуюся водку, рыбаки молча пошли на берег, чтобы продлить свое поминальное горе под скалистым склоном на краю поселка. Но, прошагав три десятка метров, они уже забыли о капитане, и кто-то громко безрассудно затынул:

— Что ты вье-ошься, че-орный во-орон... — И еще несколько пьяных глоток хрипло и отрешенно подхватили тяжкую песню...

Ночь больше не хотела смотреть на них, она медленно сомкнула над темным островом свои огромные ослепшие глаза. А где-то далеко в немом океане «Летучий голландец» принял на борт еще одного матроса.



АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ



РАЗДОРЫ БЫТОПОРЯДКА

* *
*

...Там кот любил любоваться мышкой.
Там уж вылакивал молоко.
И было грустно с хорошей книжкой
проститься враз, а с плохой — легко.
Там говорили, что жизнь — «что дышло»,
а вместо «срам» говорили «страм»,
и в каждом доме был коврик вышит:
над речкой храм, да и в речке храм.
Там пели мало, грустили множно,
случались смерти, гудела пьянь.
Там на окошках сидели кошки
и голубая цвела герань.
А девки там ну не то чтоб крали,
но все в них было — и там, и тут;
мы их хотели — с собою звали,
сперва откажут, потом придут...
Там я в учительницу влюбился
и написал ей: «Ай лав Вас эм».
Зачем я жил там? А так — родился.
Зачем уехал? А ни за чем.

Очерк

Алексею Комарову.

Я бы, конечно, писал о другом,
но день случился таков,
что в одночасье да через дом
хоронят двух мужиков.

Мертвые: выше травы — лежат,
тише воды — не глядят
в серое небо, где солнца шмат
тучи с утра когтят.

Живые: им до лежанья пять,
может быть, три часа,
а до того, как лежмя лежать,
еще языком чесать.

Кобенков Анатолий Иванович родился в 1948 году в Хабаровске. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор нескольких стихотворных сборников, выходящих в Сибири. Живет в Иркутске. В нашем журнале публикуется впервые.

Бабы: к этому подошли,
к другому — не разберешь,
какой был вытащен из петли,
какой налетел на нож.

Парни: над этим стакан бабах,
над тем по стакану тож.
Поди разберись, от кого на губах
горечь — не отдерешь.

Дети: постарше крутят любовь,
помладше — при леденцах.
Племя младое меж двух гробов,
как меж колен отца:

«Ехали-ехали, в ямку — бух!»
Весело детворе,
проще простого считать до двух:
ямки сегодня две...

Там, где ямки, там тишина,
глина, слезливый снег,
те же граждане, та же страна,
небо — одно на всех:

справа леса да слева леса —
тем, кто останется там,
птичьи да заячьи голоса
будут слышней, чем нам;

слева, где Саша лежит, — светло,
справа, где спит старик,
землю бедную повело,
разодрало на крик;

там, где просекой лес прошит,
окошки — один к одному.
То ли кладбище к ним спешит,
то ли они — к нему...

Жизнь обозрима предельно, а смерть —
как она ни близка,
сказала нам: «На меня смотреть
лучше издалека».

* *
*

Старый джазмен,
чьи остатки волос
разноцветны, как гул дискотеки
(польская хна, ассирийская басма, российская сивость),

старый джазмен,
чей слух переперчен Армстронгом,
а пересолен: где — Каунтом Бейси, где — Диззи Гиллеспи
(черные блюзы, белая ночь диксиленда),

старый джазмен,
прикупивший и домик, и шлюпку,
чтобы глядеть на Байкал и бродить по Байкалу
(зубы корявы, а пузо — огромно и лаей,
руки лохматы, а щеки — что колкий шиповник), —

старый джазмен
уверяет меня, что оставил
гам ресторана и грохот эстрады за-ради
древней старухи, чей дом «через дом», чьи напевы
ежевечерне он слушает, сладко рыдая.

— Ах, как поет! — говорит он, — ах, как она плачет!
Это не голос, — твердит он, — а Божье стенанье:
Фицджеральд Элла
байкальской старухе не пара.

Я восседаю со старым джазменом при грядке —
влажные сумерки нас накрывают попоной,
белые звезды над домом джазмена пылают,
а через дом нарождается странная песня.

Голос старушечий в диком узоре из ритмов,
в странном пасьянсе из звуков и слов и мелодий
ходит на цыпочках, тянет мосластые руки
к скалам Байкала, к старому сердцу джазмена.

Если по правде, то мне этот голос не в радость —
слишком криклив он, слишком плаксив он: старуха
явно из правнучек тех маляров, что угодны
Моцарту были и столь неуютны Сальери...

Странно мне видеть тяжелые слезы джазмена,
стыдно глядеть в его очи глазами сухими,
горько мне думать, что старый джазмен — это Моцарт,
страшно поверить, что я — это бедный Сальери...

РУССКИЙ РОМАН

Все уже было, а слово найдешь — и жарко,
все уже знаешь, а пишется как во сне
русский роман: снег, рукавички, шарфик,
черные лестницы, белые скверы, снег...
— Не позвонила... — Ты не ответил... — Как ты?
— Вся обревелась... — Ты как снежинка... — Ах!..
— Может быть, в гости?.. — Рюмочки, люди, карты...
— Мы заночуем? — Узкий диванчик, страх:
вдруг нас услышат? — Где же ты? — Сладко, больно,
влажная простынь. Жар... — Принеси попить!.. —
Русский роман: в доме подружки школьной,
стены сшибая, спящих перебудить;
с мужем подружки — в кухоньке, под варенье —
рюмкой об рюмку, пьяной башкой в рассвет...
Русский роман: шепот и осуждение,
ропот и слезы... — Ты уже выпил? — Нет. —
Русский роман: стражи ночных общежитий...

— Мы заночуем... — Вот полотенце... — Вот розовый венчик из разноцветных нитей плюшевых ковриков и воробьиных нот. Вот тебе венчик: крыша — на самой кромке голубь с голубкой... — Не уходи, стой... — Русский роман: тьма, полутьма, потемки, больше Крестовский, нежели Лев Толстой. Низкое небо, ветер, сигнальный прочерк... Память-тетрадка: захочется — перечту. Вот тебе венчик из разноцветных строчек острых снежинок, круглых окошек «Ту», вот тебе венчик: связанный из тумана узел сюжета, петелька, узелок из твоего обмана — рычаг романа, что при желании складывается в венок.

* *
*

Все восстановлено из праха...

Михаил Кузмин.

Все, что я слышу или же недослышу,
было Бетховеном... Мнится, давным-давно
тяжеловыйный желудь дырявит крышу,
тяжелорукая глина дробит зерно.

Эти пробежки — к свету или обратно,
эти рожденья: звука, тоски, ростка —
вышли из смерти сына, из кельи брата,
из воркованья кладбищенского молотка;

эти раздоры бытопорядка с миро-
сопротивленьем столь тяжелы сейчас
приговоренным к кисточкам и клавирам,
так напрягают крылышки наших глаз,
что разрыдаешься: ликам мешают лица,
веку — секунда, миг заслоняет год,
и для того, чтоб высмотреть ангелицу,
взмахом ресницы смахиваешь народ...

* *
*

«Из одра и сна воздвигл мя еси»,
убей мое тело, а душу спаси,

прикрой меня светом, раскрой мне тетрадь,
и душу укради, и сердце растрать...

А я свое тело — на скользкий полук
из досок тоски на гвоздочках тревог,

а я свои очи — в пустой потолок,
а свои ночи — в тугой узелок... —

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН



БАБЕ АНЕ — СТО ЛЕТ

Рассказ

Милый, чё, милый, чё?
Милый, сердисься за чё?
Чё ли люди чё сказали,
Чё ли сам заметил чё?

Павел Васильев.

Эти стишки-песенку баба Аня всю жизнь помнила, лишь недавно стала их забывать. Ну а кто их когда написал, она понятия не имела. Поэт, поэзия — с этими словами она никогда не соприкасалась. Может быть, они ей когда-то и слышались, но с какой стороны и когда — не помнилось. Сколько-нибудь самостоятельного смысла они для нее не приобрели.

Бывает среди людей, право, бывает — и по сто лет люди живут.

Баба Аня свои дни рождения не вспоминала, надобности не было, но ей внучка Груня, тоже славная старушка, эти дни аккуратно каждый год напоминала. Они вместе с Груней жили, в Аниной избе. Избу еще Тимоша ставил — давно покойный бабы Ани муж.

Ане сто нынче стукнуло, Груне, той шестьдесят три, но кто из них бабка, а кто внучка, им все равно было: на равных жили.

Разговоры они вели между собой редко, больше о том, кто у кого чего украл. Если человек украл не в своей деревне, а в соседней, а то и в райцентре, так это и вовсе воровством не называлось: дескать, человек «исхитрился» добыть... Обе за свою жизнь сделали мало, совсем мало такого, за что перед Богом каяться бы. С Богом у них были вполне нормальные отношения.

В деревне Сидневе, где они жили, дворов двадцать — двадцать пять. А когда-то было и все сто пятьдесят. В голод разбежался народишко в город, еще куда. После кое-кто вернулся в Сиднево. Когда-то сидневские брали хорошие урожаи. Теперь жили огородами. Злаковых и зернышка не сеяли. Разве что овес для скотины и птицы на том же огороде. Земли под огород сколько хочешь, столько бери.

Пашня же заросла: полынь, лебеда, лопухи, крапива, дикий хрен, ползучий пырей; одним словом — бурьян. Ох и трудно будет восстановить плодородие этой земли! У нынешних жителей Сиднева и окрестных деревень и мысли-то такой не было, быть не могло. Они уже и крестьянами себя не признавали — считали, что они неизвестно кто. Вот и свадеб у них давным-давно не справлялось, было только желание как-то, тоже неизвестно как, дожить до дня своей смерти. И что там Бог нынче думает в одну ночь о их судьбе — нет, не догадаешься.

С Тимошиной рукою на плечах баба Аня, когда ей было семнадцать полных, почти восемнадцать лет, прогуляла однажды до рассвета. Поспать сколько-то Ане было уже недосуг, она только и успела, что забежать до-

мой, пожевать кусочек, подоить корову. Другую корову доила мать. Родители Ани были люди покладистые: когда бы ни возвращалась домой, слова в упрек не молвили. Ключей-замков в избе не водилось, приходи когда хочешь, уходи, если уходится, но только со своими обязанностями справляйся.

А вообще-то Аня была девкой бойкой, голосистой, ни сибирской жары, ни сибирской холодищи будто бы и не чуяла, только рассветы да закаты замечала, да еще — как из девчонки быстро-быстро выросла в девуку. Были у нее две косички русенькие и к ним две ленточки розовенькие. На случай праздников.

Когда Тимоша впервые положил ей руку на плечи, она вздрогнула, задрожала будто осиновый лист. Казалось, что под эту руку она родилась и свои полные семнадцать лет под ней прожила. И теперь не прильнуть к своей изначальности уже не могла.

Ну а еще она семнадцать лет соловьев слушала. Нынче соловьев в Сибири нет, уже быть не может той человеческой улады. Человек же птичку и вывел вконец, он мастер дарованные ему улады выводить. Больше никто так не умеет.

Соловей... Что за птичка-то? Только тем и приметна, что крохотуся. Из себя серенькая, другой краски и оттенка нет, а какая певунья! Вряд ли такие еще есть на свете. Видать было, птичка это понимала, вот и старалась от души чуть ли не всю-то ночь.

Кто из людей стишки пишет, тому грех соловья не слышать, не понимать. Без соловья Земле остаться — это, поди-ка, все равно, что оглохнуть на одно, а то и на оба уха, и ни один доктор, ни один знахарь-знахарка не вылечат.

Ой, чего только не пережила баба Аня за свои-то сто лет — раскулачивание, ссылки в неведомые до той поры края! Сибирь велика, из Сибири в Сибирь же человека сослать — это запросто, но все тяжкое, все гадкое и в прошлом, и в настоящем пряталось в такой глубине бабы Ани, что не достать. Такая планида у тяжкого и гадкого — прятаться-скрывать от человеческого взгляда.

Тимоша вернулся живым (не много их, фронтовых-то, вернулось — горстка). Баба Аня знала, почему, хотя и поврежденный, он все-таки вернулся: потому что каждое утро, каждый вечер, а бывало, и ночью она за него молилась, уговаривала его: вернись, Тимоша, вернись, я тебя жду! Батюшка в церквушке-развалюшке так не умел призывать, как она умела. Батюшка только ходил у нее в помощниках. Хотя и так сказать: без помощников тоже худо. Ну а церквушка в Сидневе чудом сохранилась, далеко вокруг все храмы Божии были до основания порушены.

Тимоша вернулся с двумя прострелами: один в левом бедре, другой опять же в левой стороне, под сердцем.

Умер Тимоша (может, от войны и прочих бед) тридцать шесть годков тому назад. Бывало, она в день его смерти обязательно шла в церковь, нынче ходить не могла. Ну а Тимоша все равно был с нею и наяву, и во сне. Добрый человек, большой души. И своего собственного лада. Называл себя народом. Так и говорил: «Я — народ! Ты, Аня, то же самое!» Впрочем, он о себе мало рассказывал, не любил...

Один раз баба Аня была в городской, можно сказать, в шикарной квартире. Ну и что? А то, что в этой квартире от пола до потолка и на подоконниках были книги. Так человек жил: не пахал, не сеял, молотом не стучал, у станка не стоял, только читал, читал — ровно горький пьяница пьет. И как же все это называется? А все тем же словом «жизнь». На взгляд бабы Ани — это подделка под настоящую-то жизнь. Сплошная бу-

мага. И чтобы она, баба Аня, на это когда-нибудь пошла? Да никогда и ни за что. Ни за какие деньги!

Прошрое она прошлым не называла, говорила вместо того: «при царе», «при Колчаке», «при Сталине», «при Горбачеве», а вот уже и «при Ельцине». Не потому так говорила, что признавала или не признавала эти имена, но так удобнее было. К тому же надо хоть на что-то эти имена употребить.

Ну а если люди все-таки чувствовали в себе что-то божественное, так именно потому, что помнили: у них есть прошлое. Никто, кроме человека, своего прошлого не знает — ни собака, ни кошка, ни лев. Все знают только настоящее. Никто из них ни Бога не знает, ни молитв, к Богу обращенных. Будущее тоже для всех этих тварей не существует.

Впрочем, Бога не было и для власти. От века так. Цари, что и говорить, молились исправно, без Божьего имени — никуда ни шагу. А на самом-то деле все знали, что царица Екатерина мужа своего убила. И что? Это ей нисколько не помешало царствовать, прослыть Великой, быть и днем и ночью окруженной великими же льстецами, подхалимами, да и учеными людьми.

В избе у старух радио говорило день и ночь, под этот говор-разговор и спалось лучше. Не то чтобы они внимательно свое радио слушали, но иной раз что-то до них доходило. Песенки разные, политики разные, разные театры.

Старушки ни слову из услышанного не верили. Да и трудно было поверить, будто Россия как была, так и будет. Дескать, Россия и не такое переживала, значит, и это переживет! Спрашивается: как переживет без собственного-то народа? От кого власть будет кормиться? От самой себя, что ли? Города кормиться от кого будут? Служащие — от кого? Друг от друга, что ли? Это невысказано...

Какие песенки ни пой, какие танцы и пляски ни устраивай, без народа — куда? В какое такое будущее?

Да, живут в избушке две старушки. Одной стукнуло сто, другой хоть и поменьше, однако тоже немало: шестьдесят три — разве мало? Конечно, известных имен у них нет и не было, но они, безымянные, горы зерна хлебного и крупяного наворочали, множество цистерн молока надоили, стада коров, овец, свиней и птицы на мясо произвели, штабеля льняного волокна вырастили (и голодное брюхо должно чем-то быть прикрыто), яиц куриных, утиных, гусиных короба уложили, короба лесных грибов и ягод насобирали. А сколько баба Аня на лесоповале свалила лесин? Сосен? Пихт? Да кто бы это все сотворил, когда бы не они? Никто бы не сотворил. Власти, что ли, постарались бы своими воровскими ручками-пальчиками? Нет, без народа страны нет. И настоящего, дельного дела нет.

Власти если что и могли — так это мужиков из народа посылать на войну: на одну, на другую, на третью, как им заблагорассудится.

Утром баба Аня проснулась, а внучка, баба Груня, и говорит:

— А знаешь, бабка Аня, какой нонче день-то? Какой особенный?

— А хоть бы и какой... Мне все одно. Праздник, чё ли?

— Когда хочешь знать, так и праздник. Твой. Тебе нонешним днем сто годов стукнуло — во как...

— Чтой-то шибко много. Шибко! Мне годов много лишку — это я знаю. Но что годов уже мне сто, то правда ли? Тебе-то я верю, а боле не поверю никому. Хотя бы и самой себе.

— Какая нашлась! Какая молодуха! Будто в прошлом годе я не говорила, что тебе — девяносто девять?!

— Все одно — не верится как-то...

— Не верится ей! Так ведь это зверям да еще домашней скотине тоже неизвестно — сколько каждой из них годов, а человек издавна приучен этаким счет вести.

— Да-а-а... — задумчиво вздохнув, согласилась баба Аня. — Да... Бывает, бывает, что и сто. Случается. Хотя сказать — сильно редко случается-то...

— Слава Богу, что редко! — заключила баба Груня.

Конечно, она, что ни говори, была помоложе Ани, потому и печь топила, и щи варила, а летом от темна до темна огородом занималась. (Аня сколько могла ей на огороде помогала.) Мало того, Груня и дровишки колола топором-колуном. За мужика срабатывала — куда денешься, раз надо? Раз без этого нельзя? У них и пенсии были одинаковые, и не получали они свои пенсии по полгода тоже одинаково. Но считались они на деревне чуть ли не самыми богатыми: им чей-то внук, то ли Грунин, то ли Анин, каждый месяц присылал из города пятьсот рублей нынешними. Он дело свое вел в городе, говорили люди — дело огромное. Он эти пятьсот нынешними даже и в руках не держал, а распорядился своему бухгалтеру, бухгалтер и считал, и водителя отправлял с конвертом. На конверте написано: «От Андрюши!» Конверт из рук передавался — если бы не из рук в руки, а через кого-то еще, сперли бы денежки. Факт сперли бы.

Тем же столетним бабы Аниным днем к бабкам пожаловали гости: Яшка Огородников, руководитель сельской администрации, с ним какой-то из райцентра. Пришли, поздравили бабу Аню со знаменательной датой, шапки сняли, за стол сели.

Яшка говорит:

— А теперь — самое время выпить. Поставьте нам ну хотя бы две поллитры!

— Еще чего! — сильно возмутилась баба Груня. — У нас нету. И не бывает сроду!

— Кто вам поверит? Нашли дураков! Вот кто-никто привезет вам дровишек либо камня угольного — вы чем расплачиваетесь-то? Наличными? — спрашивает товарищ из райцентра. — Вы с такими — как сказать-то? — с такими буржуазными, а еще с антинародными замашками далеко пойдете!

— Они богатые, — подтвердил Яшка. — У их наличность поболее, чем у нас с тобой. Им внук каждый месяц знаешь сколько присылает?

— Сколько?

— А пятьсот рублей, вот сколько. Нам с тобой такие деньги, такая безналоговая наличность и не снилась!

Товарищ из райцентра согласился: не снилась.

— Доведись мне, я бы с такими деньгами какое-никакое, но собственное дело открыл бы. Вот те крест — открыл бы!

— И я тоже открыл бы! — подхватил Яшка. — А вы почему знаете, может, у этих у двух старушонок собственное дело тоже имеется? Хотя и незарегистрированное. Без лицензии. Вы там в районе проследите. Вопрос интересный! — отметил Яшка.

— Сделаю! — согласился тот, из райцентра. — А пока вот как: ладно уж, ставьте не две, а всего-навсего одну поллитру. На закусочку — сами знаете: огурчики малосольные, помидорчики соленые же, картошечка поджаренная. Ладно и так, когда вы этакое скряги. Вот народ нынче пошел, а? За поллитру удавится! И вот еще: поживее надо. Мы люди занятые.

— Народ нынче такой — сильно испорченный, — согласился Яшка. — Уж кто-кто, а я-то свой народ знаю. Я сам-то кто, как не народ?

— Сказано вам русским языком: нету у нас. Нету и не водится, — повторяет баба Груня.

— Ну, глядите сами. Глядите, не маленькие. Должны понимать, что к чему. — Шапки надели и не попрощавшись молча ушли.

Старушки за стол сели, друг на друга глядят. Тоже молча.

Какое-то время прошло, баба Груня говорит бабе Ане:

— Гляди-ка, баба Аня, они ведь пришлют нам бумагу. Пришлют — тогда что? Ну а поставить им поллитру — тогда что? Тогда они завтра же еще придут. Послезавтра — еще. И конец тем деньгам, которые наш внучек Андрюшенька нам присылает.

— А все Яшка, зверь. Все он!

— Сами же за его и голосовали. «За» голосовали.

— А ты подумай, что они с нами сделали бы, когда мы голосовали бы «против»?

— Бог-то нонче куда глядит?

— У Бога и без нас с тобой делов выше головы. Потому Он и Яшку допустил к власти. Потому Яшку каким-никаким человеком сделал. Или Он не видел, что Яшка и посереде зверей — зверь? Проходимец отчаянный! Не мы одни так думаем, всяя деревня так же... Всяя как есть.

— Какая нонче «всяя деревня»? Десять годов назад было более ста дворов, колхоз был — «Знамя революции», царство ему небесное. Тоже воровали почем здря, но все ж таки не то, что нонче. Нонешних Яшек и вовсе не бывало, обходились без их. Это нонешняя власть без их — ни шагу. А до нас, до народу, власти и дела мало. Вовсе ей нет для народа времени. У их там, наверху, первое дело — выборные кампании, вот как. Ну и еще воровство.

Помолчав, начали снова старухи почем зря костерить Яшку.

Взять хотя бы огороды. Ни одного огорода не было в деревне, чтобы на нем не побывал ночью Яшка. На то он и зовется Огородниковым. Был случай, когда старик Кирюхин выстрелил в него из охотничьего ружья. Ну и что? Тем же днем пришел к нему Яшка. «Еще, — предупредил, — стрелишь — пеняй на себя, я тоже стрелю. Хоть бы и в твое окошко. После ходи доказывай. Может, и вообще ходить тебе уже не придется!»

Но и так сказать — один-два огорода все-таки были, куда Яшка не захаживал. Через два дома от Ани с Груней жили Кирюхины, старик со старухой, а при них кобель по кличке Серый. Он был серым как волк, а злым как собака и всегда голодный. День на цепи, ночь — в своей ограде вольный.

Кирюхины договорились с хозяевами двух огородов с правой стороны и двух с левой (наши старушки тоже в ту четверку угадали) сделать в оградах проходы для Серого, а на ночь ставить какую-никакую, а плошку со шами либо с хлебной коркой, чтобы Серый чуть, а подкормился бы.

Яшка эту кооперацию быстро разгадал. При встрече с хозяином Серого Яшка сказал:

— Теперь уже не Серый будет тебя охранять — ты будешь охранять Серого.

— Ничего! — ответил хозяин. — На кого, на кого, а на Серого я сильно надеюсь: он сам за себя постоит как надо. Ты, Яшенька, как-нибудь днем ко мне заходи, а я тебя Серому представлю: вот этого, мол, при случае потрепи как следует, не забудь! Впрочем сказать, так мой Серый и без представления тебя уже знает.

С тех пор Яшка — веселый и кудреватый — избу Кирюхиных обходил стороной, притом очень серьезным делался.

Баба Аня насчет Яшки говорила с бабой Груней так бойко, как давно-давно уже не говаривала, будто проснулась ото сна, хотя как раз в тот день, с утра раннего, на Груню она была вроде как сердита: зачем Груня за ней ходит столь старательно — пищу готовит, чайник греет, самовар лучиной заправляет? Ну зачем? Из-за этой Груниной старательности баба Аня и прожила на свете цельный век, а нынче не знает, что это такое — век. То ли его в спичечный коробок можно уложить, то ли сквозь игольное ушко пропустить, то ли в большущий и холодный сарай свалить. А лучше бы Груне успокоиться, оставить Аню на день-другой одну, а то и на не-

дельку, баба Аня успела бы за эти дни помереть. Как хорошо! И на себя баба Аня нынче тоже сердилась — зачем долго живет?

Но Бог миловал — Аня об этих мыслях Груне слова не сказала, не пожалилась — хватило ума. Надолго ли после ста лет и еще хватит?

Ближе к вечеру того долгого-долгого столетнего дня вот что случилось: Яшка и парень из райцентра снова к старухам явились. И не одни, а еще двух мужиков с собой прихватили — самых что ни на есть горьких на деревне пьяниц.

Яшка сказал:

— Мы ваше имущество будем описывать. Доходы скрываете от налогообложения. Скрываете, факт. Пятьсот рублей в месяц — это сколько же минимальных зарплат получается, а?

Ни баба Груня, ни баба Аня не знали — сколько.

— Придуривайтесь! — сказал им товарищ из райцентра. — Напрасно придуривайтесь, мы тоже не лопухи какие-нибудь, свое государственное дело знаем: вы обе свои истинные доходы скрываете вовсе злоумышленно.

— Ага, ага! — подтвердили двое пьяниц. — Как это вас на одну доску с нами ставить? Да у нас у двоих ни копейки за душой, а вы в то же самое время шикуете! Мы и есть народ, а вы кто? Злоумышленники? Супротив народу?

— Нет такого закона! — взвилась баба Груня. — Вот ей, бабе Ане, нынешний день сто лет исполнилось, а вы к ей с таким безобразием!

— Ну а какой такой закон существует, будто столетние граждане от налогов освобождаются? — ответствовал представитель райцентра. — Ты меня законам не учи. Выноси, ребята, ихнее имущество в наш «газик», и чтобы кузов был полон доверху. Ладно уж, мы и пешком до места дойдем, зато послужим родному государству!

Те двое пьяниц стали имущество выносить, Яшка тоже стал, а товарищ из райцентра сел за стол, вытащил из кармана авторучку, из другого — бумажный листок, записывает, что из избы выносятся: стол, табуретки, коврики, какие-никакие, а кровати.

Обе бабки, конечно, в рев, хоть и понимали, что это зря. Все описав, начальство оставило старушкам один-единственный матрас: спите на здоровье! А пьяницы:

— Слишком жирно для их — у нас на всю семью и одного матраса нету. Ничего, живем. Не сказать, чтобы сладко, но все же живем, который раз, можно сказать, и процветаем. А кто помер либо помрет не сядни-завтра — туда им и дорога. Бог с ними.

Конин, тоже сидневский житель, такой был человек — работник хоть куда, непрерывный ударник, так можно сказать, но уж очень правду любил... Еще в колхозе «Заря социализма» самого председателя критиковал почем зря; начальство из района то и дело наезжало, но и начальству он правду в глаза выкладывал. Как его в то время не арестовали, даже непонятно.

Был он фронтовиком, имел на правой щеке большой шрам — может, этот шрам его и спасал. Он и нынче о начальстве говорил:

— Воры и взяточники! Я-то не знаю, где это такие острова — Канарские, а они-то знают, у их там дворцы понастроены.

А еще Конин имел небольшой ящикек — одно название, что телевизор. Тот телевизор иногда показывал чуть ли не все каналы, а то — ни одного, но все-таки Конин что-то знал, что-то видел, а другие в деревне ничего не знали и ничего не видели. Так было до недавнего времени, потом ящикек замолк и ослеп, будто мертвый. То есть навсегда. А без него Конину с правдой стало потруднее, впору тоже замолкнуть, тоже — навсегда.

Нашим старушкам был он человек близкий: когда умер муж бабы Груни, он к ней сватался. Чем не мужик? И комбайнер, и кузнец, и мало ли

еще кто. Выпить — выпивал бывало, но куда там до других деревенских мужиков!

Груня Кониному тогда отказала: не пойду я про политику день и ночь слушать! К тому же — баба Аня. С ней идти к Кониному несподручно, а бросить ее на произвол судьбы совесть не позволяет. Почему? Она сама не знала. Вроде бы она бабу Аню не так уж и любила, а вот поди ж ты!

Конин все понял и до сих пор к старухам забегал: то дровишек поколет, то поросюшку зарежет, то забор починит — одним словом, какое-никакое мужицкое дело сделает. Хотя и мужиком-то он тоже давно не был: старик. А сидневскую жительницу Елизавету он взамен Груни за себя взял...

Вот и нынче, в столетие бабы Ани, он старухам одеяльце принес. Из того имущества, которое Яшка с товарищем из района описал. Конин это одеяльце, которому, припомнить, так лет двадцать было, но оно все еще грело, потому что на гусином пере, принес в мешке и вывалил:

— Вот! У Яшки у Огородникова за поллитры выменял.

Баба Груня мигом на чердак слазила, поллитру принесла, отдала Кониному:

— Спасибо! Пока живые будем — век не забудем!

— Так у вас тут еще и матрас? Ну и не тужите. Есть матрас, вот и одеяльце есть — проживете. Что стены голые — не столь страшно. И не так люди живут, беженцы вон чеченские! Тем же президентом произведенные... Вы старости не поддавайтесь, она шибко вредная.

Конечно, не только бабе Ане, но и бабе Груне тоже надо было бы что-то противопоставить старости, но что они могли? Разве что призывать смерть.

И вот теперь, когда старушки улеглись на ночь посереде голых стен на одном матрасике, под одним одеялом, Ане вдруг захотелось что-нибудь повспоминать. Давно уже с ней этого не случилось...

Перво-наперво ей вспомнилось, что она — живая. Сто лет, а живая! Надо же Господу Богу придумать такое! Кроме Него, никто бы не придумал.

— Что поделаешь? Могло быть хуже, — сказала Аня.

Баба Груня промолчала. Аня не унималась:

— Могли избу описать. С их, с иродов, хватит, — тихо, но вполне разумно продолжила баба Аня.

Баба Груня опять промолчала. Аня поплотнее прижалась к Груне: та была чуть потеплее — все ж таки помоложе.

Аня думала: может, теперь-то Груня и оставит ее в избе одну? Может, догадается? Так она думала, но чувствовала по-другому: нет, не догадается, куда ей...

Вдруг вспомнился бабе Ане лесоповал, на который она когда-то была сослана. На лесоповале такой был случай: женщина, с ребеночком на руках, решила бежать. А через два дня ее из лесу привезли в фургоне, в котором питание доставляли, и баба Аня ее увидела, стоя у котла с баландой: она при том котле была на раздаче. Увидела — и обмерла: таких мертвенно-бледных она еще не видела, совсем прозрачных, даже кости и у бегляночки, и у ребеночка словно бы прозрачные. Вот баба Аня и не сдержалась, закричала на весь лес:

— Сволочи проклятые! Нешто мы тут все для вас не люди, а хуже скотины? Сволочи и есть! Ничего человеческого! Ни капельки!

А конвой был на лесоповале знаменитый, вологодский, вологодские конвоиры своей жестокостью на весь Советский Союз славились. Начальник конвоя и крикнул своему солдатику:

— Булыгин! А ну воспитай эту антисоветскую агитаторшу, воспитай как надо!

Солдатик Булыгин отвел бабу Аню в сторону, повернул к себе спиной и принялся молотить по спине прикладом. Но среди вологодских конвоиров были, оказывается, ребята добрые: он ее молотил больше для вида, ничего не сломал. Больно, конечно, но не покалечил.

Когда баба Аня вспомнила этот случай, у нее спина сильно болеть стала.

Конечно, бабу Аню больше к котлу не допускали. Ее поставили в женскую четверку лесины валить. Мужиков ставили по трое, а женщин — четверками, и те кое-как управлялись. Но и умирали тоже многие.

А еще вспомнился бабе Ане, когда она засыпала, не то стишок, не то частушка-песенка, которую она пела в девках, да и позже, когда у незабвенного мужа Тимоши делалось хотя бы мало-мало, а все-таки сердитое лицо:

Милый, чё, милый, чё,
Милый, сердисься за чё?

И дальше были слова, но баба Аня нынче их забыла. Помнила только, что у Тимоши от того стишка-песенки лицо сразу же согревалось.

Они и нынче как бы продолжали жить вместе, хотя и тридцать шесть годов прошло с тех пор, как Тимоша помер. От фронтовых ран. Он ведь Берлин брал. Своими собственными руками. И одно ранение у него было берлинское.

Баба Аня очень верила, что скоро, вот-вот, они там с Тимошей встретятся, тогда и поговорят. Она не знала, где это *там* находится, но не все ли равно — где?

Она вступила во второй век своего существования — значит, вот-вот эта встреча и случится. А пока что они, две старушки, еще от своего огорода прокормятся. Два раза в день, утром и вечером, поклюют овощинки какой-нибудь, когда так, когда с хлебушком, главной же в этом питании была, само собой, картошка.

Себя сегодняшнюю, столетнюю, баба Аня не очень-то знала, не очень-то хотела и знать: какой всю жизнь была, такая и есть. Тимоша однажды сказал ей, что она — народ. Она, конечно, Тимоше поверила. Но что такое народ, так и не знала — деревня Сиднево, что ли? Так в Сидневе никто ни в жизнь не называл себя народом, разве что Яшка Огородников. Возможно, народ — это те люди, которые в первую очередь должны подчиняться властям, не задумываясь о том, какая она нынче, власть-то. Какая и откуда взялась. Баба Аня тоже подчинялась самым разным властям, хотя никогда власти не любила. Настоящей-то властью, если подумать, была для нее баба Груня, которая удивилась бы, если бы Аня сказала: «Груня! Ты моя власть!» Баба Аня и сама бы удивилась, если бы эти слова произнесла вслух.

Тем временем началось окончательное умирание осени, дни становились короче, будто хотели кончиться совсем, хотя им это и не удастся: селение Сиднево — это не Заполярье. В дневных туманах, чувствовалось, прячется снег — настоящий, зимний, не тот, что выпадет, да тут же и растает. Солнышко если и показывалось, так только в виде скромного подарка для человеческого утешения. Для таких дней не стоило бы и просыпаться, но что поделаешь, просыпаться приходилось, приходилось каждый раз признавать за собою обязанность жить. Эта несвобода была противной, гораздо свободнее были сны — они какими хотели быть, такими и были. Баба Аня сны принимала полностью, даже если они были очень горькими. Ну вот, к примеру... Тимоша, уже в возрасте, неожиданно стал бегать через четыре подворья к одинокой и нехорошей вдове Евдокии. Баба Аня от ревности только-только в петлю не полезла. Дети не позволили, веревочка была уже готовая. Если бы не детишки, она ту веревочку пустила бы в дело, но оставить детишек сиротами?.. На эту веревочку с петлей показала Тимоше: гляди, чё у меня приготовлено!

Тимоша поглядел и всхлипнул.

— Больше вовек не буду, мать! — по-детски пролепетал он.

Однажды, когда сидневские бабы шли с подойниками на приречный луг, на дневную дойку своих буренок, баба Аня спросила Евдокию, не стыдно ли ей.

Вопрос оказался даже приятен Евдокии, она весело и громко ответила:

— А чё ли я выбираю?! Тимоша выбирает, ему виднее. Значит, моя слаще...

Не так давно бабе Ане приснился этот разговор, разбитной взгляд Евдокии приснился и собственное ее тогдашнее замешательство.

Виделись ей и страшные какие-то морды, то ли из того времени, когда была коллективизация-раскулачивание, то ли из лесоповала. Однажды Яшка Огородников приснился — будто копается он на их с бабой Груней огороде, — так ведь он и в действительности копался.

Снилась она самой себе и девчонкой, бойкой и голосистой девкой, бабой певучей... Однако старость не кончалась, а продолжалась и продолжалась. Наступила и старость глубокая, в которой баба Аня себя, вместе со своим прошлым, забывала; только и помнила, что она живая.

Она все чаще и чаще плакала: слезы накапливались, их надо было выплакать. Ну разве она умела еще помолиться за того Андрюшу, который присылал каждый месяц пятьсот рублей в конверте с надписью: «От Андрюши». Иногда она вспоминала что-нибудь о деревне Сидневе, тогда за эту деревню тоже молилась.

Сколько зла пережила на своем полном веку баба Аня, но сама злой не стала, что бы ни случилось, говорила: «Бывает, бывает». Тимошино лицо — глазки голубые, кое-какая рыженькая бородка — ей помогали...

Не могу не сделать примечания к эпиграфу.

Павел Васильев происходил из семиреченского казачества, это в самом далеком углу нынешнего Казахстана, на границе с Китаем. Был он плоть от плоти своей родины, не отступал ни от дикой ее природы, ни от казачьих станиц. Когда бы ему еще прибавилось годочков, он, может быть, и в другой какой-то мир успел бы заглянуть. Но он не успел. Был обвинен, не без участия Горького (см. «Лексикон русской литературы XX века» В. Казака, М., 1996), в пьянстве, хулиганстве, главное же — защите кулачества. Погиб в лагере в 1937 году.



ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

*

С ВЫХОДОМ НА ВОЛХОНКУ

* *
*

Отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон. Жизнь замерла. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий.

Из последнего письма отца Павла Флоренского с Соловков (4.VI.1937).

Волны падают — стена за стеной
под полярной раскаленной луной.

За вскипающую зыбью вдали
близок край не ставшей отчей земли:

соловецкий островной карантин,
где Флоренский добывал желатин

в сальном ватнике на рыбьем меху
в продуваемом ветрами цеху.

Там на визг срывать чайкам легко,
ибо, каркая, берут высоко

из-за пайки по-над массой морской,
искушающие крестной тоской.

Все ничтожество усилий и дел
человеческих, включая расстрел

и отчаянные холод и мрак,
пронизавшие завод и барак,

хоть окрест, кажись, эон и иной,
остаются посегодня со мной.

Грех роптать, когда вдвойне повезло:
ни застенка, ни войны. Только зло,

причиненное в избытке *отцу*,
больно хлещет и теперь по лицу.

Кублановский Юрий Михайлович родился в Рыбинске в 1947 году. Окончил искусствоведческое отделение МГУ. С 1982 по 1990 год — в эмиграции. Автор десяти лирических сборников. Живет в Переделкине.

Преклонение, смятение, боль
продолжая перемалывать в соль,

в неуступчивой груди колотьба
гонит в рай на дармовые хлеба.

Распахну окно, за рамы держась,
крикну: «Отче!» — и замру, торопясь

сосчитать, как много минет в ответ
световых непродолжительных лет.

Кишмиш

За соснами в алых лианах
осенняя волглая тишь.
Туда с пустотою в карманах
приедешь, верней, прилетишь.

В присутствии бунинской тени
его героине опять
начнешь, задыхаясь, колени
сквозь толстую ткань целовать.

И шепчешь, попреков не слыша,
одними губами: «Прости,
подвяленной кистью кишмиша
потом в темноте угости.

Пусть таинство нашего брака
с моей неизбывной виной
счастливицу поможет, однако,
в окопах войны мировой.

И в смуту, когда изменили
нам хляби родимой земли,
прости, что в поту отступили,
живыми за море ушли.

В сивашском предательском иле,
в степи под сожженной травой
и в сент-жневьевской могиле
я больше, чем кажется, — твой».

17.X.1999.

Памяти Роми Шнайдер

Мне, презиравшему осторожность,
подозреваемому в измене,
не просто было пройти таможду.
Прыжок — и я в добронравной Вене.

Иду по ней, будто Лазарь в коме,
еще ни в чем не поднаторевший,
и вижу всюду портреты Роми,
незадолго перед тем умершей.

То темно-русая молодая
с неугасающими зрачками,
то подурневшая испитая
с глазами, скрытыми под очками.

С тех пор на прежние дивиденды
живя и чувствуя, что тупею,
я в синема небогатых ленты
всегда отслеживал — если с нею.

Узнал изгибы ее, изъяны.
Но два часа проходило, час ли,
и небольшие киноэкраны
с дождем помех неизменно гасли.

...Но будет, будет болтать об этом.
Потом за столиком ли, за стойкой —
тут сообщение под секретом —
кончалось все под шумок попойкой.

Мы с Роми были единоверцы —
с чем соглашалась ее улыбка.
И хоть в груди еще ходит сердце,
ему там зябко вдвойне и зыбко.

Декабрь 89

Вот говорят, что менты — злодеи,
что избивают в своих застенках
всех честных мучеников идеи
до дрожи в голосе и коленках.

Не знаю, я разменял полтинник,
был поддавальщиком и скитальцем,
давал понять, что остряк и циник, —
никто не тронул меня и пальцем.

Наоборот, по указке стремной
я фараоновой рукавицы
легко нашел переулок темный.
А до того мы с тобой, как птицы,

общались только по телефону.
Из эмиграции-заграницы
я видел родину как икону
нерукотворную из темницы.

Разлука делает фетишистом,
блзнит заданием сдвинуть горы.
Открыла мне в кимоно пятнистом
ты заедающие запоры.

...В ту зиму происходило с нами
со всеми что-то, о чем не знали.
Под слишком тусклыми фонарями
летел снежок по диагонали.

Стараюсь вспомнить, что дальше было,
как уживались блокада с нэпом.
Должно быть, ты меня не любила,
впотьмах шептавшего о нелепом.

Поезд дальнего следования

На древних на рельсовых стыках
потряхивает наш Ноев...
В повадках, одежде, ликах
заметны следы запоев.

Помятые непоседы,
ограбленные на старте,
горячечные беседы
заводят, теснясь в плацкарте.

Хорошие логопеды
должны языки нам вправить,
чтоб стало, зашив торпеды,
чем русского Бога славить.

Родная земля не ра́одит,
как ветвь, не дает побегов.
По новой на ней проходит
ротация человекoв.

Застиранные тряпицы
раздвинутых занавесок,
и сажи жирны крупицы.

А дальше — один подлесок
да ворон
в темнеющей сини
над дюнами вьюжной пустыни
и держат удар непогоды
все долгие, долгие годы.

27.III.2000.

Спутница

Где над коммерческим мельтешеньем
высотка высвечена закатом,
я принял правильное решенье
и мельком сверился с циферблатом,

предпочитая трястись в вагоне.
В халупах ближнего Подмосковья,
неуязвимый, как вор в законе,
имею хазу, верней, зимовье.

Ну а напротив — не просто лица:
а по рабочей, видать, привычке
светловолосая ангелица
уснула запросто в электричке.

Оставь входящий сюда надежду,
но вновь и вновь мы глазами ищем
колени в черном капроне между
полой дубленки и голенищем.

Что снится загнанной топ-модели,
по совести представляю слабо,
как, впрочем, под простыней метели
и всей России времен разграба.

...Непримиримы в своем азарте,
уж год тупеем с подругой розно.
Отзимовал я в своей мансарде
смирненно разом и монструозно.

Когда же в фортку в свету неярком
повеет ветром живоначальным,
вернутся птицы с югов с подарком
на лапке тоненьким обручальным?

С выходом на Волхонку

В дни баснословных семестров, сессий,
перемежающихся гульбой,
когда в диковину было вместе
мне просыпаться еще с тобой,

щенок с запутанной родословной,
кичился, помню, копной до плеч
и освоением жизни, словно
того, что следует жечь и сжечь,

нося ремесленные опорки.
А у тебя-то тогда как раз
чего-то было из нерпы, норки
и голубиные тени глаз.

Покрытой свежим снежком Волхонки
вдруг заблестевшие огоньки
в стране нетленки и оборонки
недосягаемо далеки.

Нас развело по своим окопам.
Грозя грядущему кулаком,
я стал не то чтобы мизантропом,
но маргиналом и бирюком.

Хотя, как в консульство Парадиза,
порой наведываюсь в музей:
гляжу на красных мальков Матисса
и вспоминаю былых друзей.



БОРИС ЕКИМОВ



ПАМЯТЬ ЛЕТА

Короткие рассказы

СТЕПНАЯ БАЛКА

Иачну с читательского письма: «В свое время, в очень давние уже годы, пришлось мне ехать машиной в ваших краях, от Калача к Суровикину. Решили отдохнуть, отъехали от дороги к небольшой балочке. Из машины вышли — и словно иной мир. Описать не могу, но помню и через тридцать лет. Это было в мае или июне...»

Немножечко странновато, не правда ли? Обычная степная балка. Что в ней? «Пальмы юга» там не растут. Лишь — трава, кустарник, деревья. А вот помнится и через тридцать лет. Наверное, не зря.

Балка — это обычная ложбина меж степными курганами ли, увалами. Обрывистая, глубокая или просторная, с пологими склонами. Их много, балок и балочек, в донской степи. В балках вода ближе, там — родники. Там трава зеленой и гуще, и не только цепучие терн да шиповник растут, но и осокорь, осина, липа. Липологовская балка, Осинологовская. От летнего моего жилья, дома в поселке, до ближайшей балки в Задонье — час пешего хода, на велосипеде — вдвое быстрее, на машине вовсе рукой подать. Березовая балка да Ореховая — эти на виду, возле моста через Дон. Но я больше Грушевую люблю: она — просторная и от людских набитых дорог поодаль.

Мост минуешь, оставляя позади донские воды; поднимаешься в гору по шумной асфальтовой трассе; свернешь налево, узкой, тоже асфальтовой дорогой три километра пробежишь и — прочь с нее. Теперь глинистой, не больно еженной колеи вниз и вниз. Это уже Грушевая балка.

Ранняя весна. Апрель. Только-только стало теплеть. Лишь другой день солнышко греет.

И сразу потянуло в Задонье. Поехал. А там еще по-зимнему скучно и пусто: черная степь, стылый ветер.

Свернул с дороги, в Грушевую балку спустился в полгоры, вышел из машины и понял, что рано приехал, поторопился: все голо, черно, лишь кое-где на дубах сухие листья порой шелестят. Но уж коли приехал, не уезжать же разом. отошел от машины, на бугорке присел.

Ясный день. Солнышко греет. Потревоженная моим прибытием полуденная тишь снова сомкнулась, словно тихая вода: поплескались волнeshки и успокоились. Простенькая бабочка лимонница, сверкающе-желтая, чертила воздух.

Обостренным слухом, в безветрии, в полуденной тиши, я почуял какой-то слитный шорох, огляделся и увидел проснувшийся, живой муравейник. Довольно великий для наших мест — в колено — холмик кипел весенней муравьиной жизнью. Я подошел к нему, наклонился: в лицо мне

пахнул острый муравьиный дух. Вспомнив детство, положил я на муравейник сухую былку, а потом облизал ее, сладко морщась от муравьиной кислоты. Нарядная кофейно-пятнистая бабочка-крапивница неторопливым, порхающим летом кружила передо мной, то вспыхивая под солнцем радужными переливами крыльев, то притухая.

Потекло время иное — медленное, тягучее; все вместе: и жизнь, и сладкое забытьё. Гудливые земляные пчелы не торопясь ищут сияющие цветы калужницы или звездочки гусяного лука — первый цвет. Красные клопы-солдатики, сбившись гурьбою, греются на старом пеньке. Рядом алая капелька божьей коровки спешит вверх по высохшему стеблю, хочет взлететь.

Солнце — над головой; теплая земля; острый дух листовой прели и молодых горьких почек. Тихий мир жизни. Это ранняя весна, Задонье, Грушевая балка. Сюда нетрудно добраться, но нет сил уйти. А молодым летом и вовсе. Жарким полуднем проедешь поселковыми улицами, потом Дон минуешь. Везде — лето, зелень. Но в Грушевую балку спустились, встали, вышли из машины — и словно ударило, ослепило. Жмуришься, не веришь глазам: это иная земля или волшебный сон?

Цветущие поляны — будто цветные озера в зеленых берегах дубков да вязов. Сочевник цветет розовым — розовое озеро. Фиолетовый разлив чины да мышиного горошка. Солнечно-желтые копы коровьяка, розовые — дикой мальвы. Милые ромашки, шпорник. Все сияет, все полыхает под солнцем, источая пьянящий дух.

Бредем. Зелень и цвет — выше колен, по пояс. На губах — сладость и горечь. Белое, розовое, сиреневое, фиолетовое, золотое — по светлой, по темной зелени. Нет, это не моя донская скупая земля — песок да глина, выгорающая до рыжины, это сказочный сон золотой.

Зелень малых балочек рассекает ланами цветущую землю. И это — спасенье. От яркого, длепящего многоцветья отдыхает глаз на зелени дубков, чернокленов. Дикая вишня стелется по земле, по лаковой зелени — россыпь розовеющих ягод. Миновали балочку, прохлада ее остудила лицо и тело. И снова — желтое, алое, лиловое, голубое. Качаются, плывут на тонких упругих стеблях, колышутся, млеют под солнцем созвездия зверобоя, облачка белых и розовых кашек, пахучие заросли донника. Медовая сладость и сладкая, терпкая горечь. Все здесь: полынь, чабер, тысячелистник, железняк, бессмертник, душица, еще не раскрывшая цвета, но знак подающая. Вот она — у опушки.

Жара, зной, но дышится легко. Идешь трогаешь, обнимаешь цветущее, которое осыпает и дарит тебя золотистой пылью, лепестками, горьким соком и сладкой медвяной сытью. И вот уже ты весь пропах этой сладостью, терпкостью, горечью...

Падаешь, закрываешь глаза, проваливаясь не в забытьё, а в такой же праздничный сон: плывет перед глазами голубое и алое. Пьешь густой и пахучий воздух, тягучий настой, пьешь и чуешь, как в жилах твоих кровь клокочет. Это июнь: молодое лето в цветенье, Грушевая балка, что огромным распахом спускается от вершин задонских курганов до самой воды. Грушевая, Красная балка, Голубая — вся донская земля теперь словно женщина в самой спелой, знойной своей поре: ослепительно красива, горяча, сладка, пьяняще пахуча и так желанна.

Вспоминают, что раньше, когда в ручной сенокос неделями жили в шалахах, на покосе, то самые красивые дети рождались в марте, через девять месяцев после косьбы.

Время к осени. Погожим августовским днем пробирались мы от хутора Осиновского к Большому Набатову. Как всегда, хотели путь сократить и маленько заплутались. И лишь наткнувшись на заброшенный полевой стан, поняли, куда угодили.

Из машины вышли и не сговариваясь побрели от дороги вниз — к зелени, к тени, к прохладе, туда, где с угора стекала в дол лесистая балка. Подошли, сели, а потом и прилегли на траву, под сень дубков, уже набравших гроздь молодых желудей. После гудящей машины, тряской дороги хорошо дышалось, гляделось и уже не хотелось никуда спешить.

Кончалось сухое жаркое лето. Земля выгорела, пожелтели, высохнув, степные травы. А рядом, в лесистой балке, сочно зеленела листва деревьев, журчала вода родничка где-то внизу, в глубине балки. Синие цветы цикория-полуденника, желтая пахучая пижма, живокость пестрели на опушке. Дух зелени, близкой воды, влажной земли, прокатываясь волнами, растворялся в горячей степи. Стрекотали кузнечики, и какая-то птаха — кажется, славочка — негромко журчала рядом, в кустах.

Нынче — опять зима. За окнами — поздний декабрь, мерклый, с короткими днями. Попалось среди бумаг письмо читательницы, и сразу вспомнилась иная пора — весна да лето. Это память долгая, на всю жизнь. А всего лишь — степная балка, где-нибудь в Задонье, на полпути от Калача-на-Дону к Суровикину. Надо лишь остановиться, выйти из машины.

КАЙМАК

Спросите у русского человека, любит ли он каймак. В ответ чаще всего недоуменно: «Что это за штука?» Наверное, и вправду донской наш, казачий край — не Россия. Потому что свой народ, коренной ли, завзятый казачура или просто в наших местах поживший, тут же заулыбается, замасляется глазки, а губы сами собой причмокнут: «Каймачок...» И весь тут ответ.

Обычные словари русского языка каймак обходят. Как говорится, пусть им будет хуже. Премудрый Даль сообщает, что каймак — это «сливки с топленого молока, пенка... уварные сливки»...

Спасибо, что не забыто. Но что такое «топленое» да «уварное»... И главное, словарь не лизнешь. А чтобы по-настоящему понять, что такое каймак, надо его откусать. А значит, словарь — в сторону, отправимся на воскресный базар куда-нибудь в Калач-на-Дону, в станицу ли Усть-Медведицкую.

Приехали. Народу... словно в Китае. Гудит базар. Кто продавать, кто покупать, а больше — поглядеть, на люди показаться.

Минуем нынче мясные ряды и даже рыбные, где судачок да сазан, лопатистый лещ с Цимлы, провесной сомовый балык да горы вяленой чехони. И овощная солка нам нынче не нужна: алые щекастые помидоры, пупырчатые пахучие огурцы в укропе, ядреная капуста с болгарским перцем и даже царственный моченый арбуз. Все это — мимо, мимо... Наш путь — к молочному ряду, где бабы-казачки Камышевского хутора, Ильевского, кумовские, пятиизбянские привезли на торг молоко пресное, кислое, откидное, творог да сметану... И конечно же знаменитый донской каймак! Вот он, на тарелках, на блюдах — молочные ли, сливочные, пышные пенки, в палец ли, в два толщиной, вчетверо — блином — свернутые. Вот каймак розовый, нежно поджаренный, а вот — протомленный в жару, коричневый с корочкой; этот — масляно желтеет. А кто-то любит вовсе белый, тонущий в каймачной жижке. Базарные каймаки — на всякий вкус. Выбирай. И даже можешь «покушать», то есть отпробовать ложкою, с испода. Так положено. Главное, найти каймак свежеснятый, со «слезой». И чтобы дышал он неповторимым каймачным духом, в котором чудится — и должно быть! — все хуторское, как говорят, «невладанное», то есть первозданное: душистое степное июньское сено («У нас пуд сена что пуд меду», — скажут и теперь), чистая вода, донской ветер, а значит, «слади-

мое» молоко, именно из него настоящий каймак, который и красуется теперь на прилавках воскресного базара.

Но конечно же за каймаком лучше пойти ли, поехать утром во двор, где держат коров и делают каймаки. На тот же хутор Камыши, он рядом. Надбежишь ко времени, хозяйка улыбается: «Сейчас буду снимать». Именно «снимать», каймаки снимаются. «Каймачный съем» называется. Один съем, два съема...

Вот приносится с холода тяжелый казан или просторная кастрюля с молоком, и на твоих глазах деревянной лопаткой ли, ложкой снимается вершок — пышный, ноздреватый блин застывших топлёных сливок, огромная пенка в густых подтеках, сочная и душистая. Одним словом, каймак. Благодарю хозяйку, расплачивайся и правься к своему базу утренний чай пить со свежим каймаком. Желательно с горячими пышками. Отламываешь горячей пышки кусок, наверх — холодный каймак, который тут же начинает плавиться, подтекать. Скорее в рот... Пахучая горячая хлебная плоть и холодок тающего на языке душистого каймака. Ешь — не уешься. Не баловство, не лакомство, лишь каймак. Он в наших краях с детства до старости. Даже на поминках, после горячего хлеба, обязательно подают со взваром щедро намазанные каймаком пышки.

А начинается каймак с детства. Он во всяком дворе, где держат коров. В моем детстве у нас во дворе была одна корова (все же не хутор, а поселок), с одной много не накаймачишь, тем более что в ту послевоенную пору большая часть молока уходила государству на коровий налог.

Мальчонкой таскал и таскал я бидончики с молоком «на сдачу», получая взамен бумажные квитанции. Так что каймак в нашем дворе появлялся очень редко. И потому лучше вспомнить теперь рассказ нашей старинной соседки, давно покойной Прасковьи Ивановны Иваньковой, которая росла сиротой на хуторе Песковатка, у родной своей тетки. Коров на базу было много. А каймак Прасковья Ивановна любила до конца дней своих, повторяя:

— Я каймашная. Но ныне разве каймаки? Вот, бывало, на хуторе, у тетки...

Бывало, подоят коров вечером, процедят молоко, сольют в разлатьи, то есть просторный поверху, глиняный горшок: жаровка ли, саган или макитра — и выносят во двор на постав, «на колесо» — обычное тележное колесо, поднятое над землей на колу. Кошки, собаки не достанут. Там и стоит молоко, ожидая своего часа.

Рано утром хозяйка затопит русскую печь, отстряпается, а потом ставит молоко. Там, в русской печи, на легком жару молоко томится до самого вечера. Такое молоко называют топлёным. Оно густое, по цвету — красноватое. Вечером молоко снова возвращается на волю, «на колесо», а может, на погребницу. Рано утром снимают каймак — толстые, сверху затвердевшие пенки. Если каймаки готовят к продаже, то их сворачивают блином, а если для себя, то в миску ли, в черепушку.

— Сбираешь каймаки, — вспоминала Прасковья Ивановна, — и не удержишься. Под исподом у каймака коричневая томленая густь. Не могу стерпеть. Ложкой ее, ложкой и в рот. Такая сладкая... Пока снимаю каймаки, наемся и завтракать уже не хочу. Тетка меня корит: «Нахвталась... Утка»... Я ей в ответ: «А ты меня не заставляй каймаки сымать. Они сами в рот лезут».

Такая вот память.

Позднее, когда стало меньше коров и русские печи ушли, молоко для каймаков томили прямо на базу. Ладили глинобитную или из дикого камня надворную печурку, на нее — калмыцкий казан с круглым дном. Собирают «утрешник» да «вечерошник», протомят его, а вечером ставят ли, вешают казан где-нибудь на воле до утра.

В молодые годы, озоруя по ночам, ходили мы «каймаки сымать», обижая хозяев. Каймачные казаны висели обычно под застрехами сараев, под

навесом у летних кухонь. На дальних хуторах, откуда к базарам долгий путь, из каймаков сбивали каймачное масло, чуть с кислинкой, в прожилках коричневых пенек. Пахучее, вкусное. Теперь его давно нет. И не будет.

Сами же каймаки пока, слава богу, остались. Пусть не такие, как в прежние времена. Ведь нет теперь ни русских печей, ни горшков-жаровок, ни каймачных казанов, а значит, нет и по-настоящему топленого молока. Но каймаки все же остались. Когда в городском зимнем быте придешь на рынок, невольно ноги несут к ряду молочному. Там встречаются тебя, уговаривают: «Молочка настоящего берите... Сметанка, домашний творожок...» Порою услышишь: «Каймачок...» Услышишь, глянешь — что-то белеет в стеклянных баночках, и лишь вздохнешь про себя: «Нет, мои хорошие. Вы каймака и на погляд не видали». Не может быть настоящего каймака ни в Волгограде, ни в Москве. Чтобы его отпробовать, а вернее, откусать, надо отправиться в Калач-на-Дону, в Усть-Медведицкую станицу, на воскресный базар. А лучше — напрямик на хутор, с утра, когда каймаки снимают.

С холода принесли пусть не глиняную корчажку, не калмыцкий казан, а просто широкую кастрюлю, не крышкой закрытую, а обвязанную чистым платком. Открыли. Провели по краям, обрезая. И вот он — пышный, нежно-подрумяненный, пенистый каймак, с густой сладкой каймачной жижей. Как говорится, ешь не уешься, на доброе здоровье.

ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТ

Двор мой последние годы все более полонит пустая трава. То ли сил стало меньше от нее отбиваться, а скорее — охоты: растет... и пускай растет. Места много. И огород затравел. Да и какой это теперь огород! Лишь название. Грядка лука, грядка чеснока, полсотни помидорных кустов да кое-какая зелень. Земли пустует много и много. Уже не с мотыгой, с косой выхожу поутру на покос.

Но вот цветы остались. Сейчас август, конец его. По утрам — зябко. Роса. Днем — тепло, но палящего зноя нет.

Полыхают, горят, нежно светят простые мои цветы — душе и глазам отрада.

Конечно, главная краса и гордость — это циннии; по-нашенски, по-донскому, — «солдатики», наверное, потому, что прямо стоит цветок, не колыхнется на твердом стебле, будто гренадер.

А все вместе они — словно высокий костер, багровый, алый, красный. Тихое пламя его не палит, но греет. Кто не войдет во двор, сразу хвалит: «Какие у вас циннии хорошие!» Даже фотографироваться приходили возле цветов. Честное слово! А почему бы и нет?.. Циннии и впрямь хороши.

Длинная гряда вдоль дорожки. Высокие стебли, почти в рост. А цветут мощно и щедро, от земли до маковок. Багряные, алые, розовые. Цветут и цветут. Так будет долго. До первого утренника где-нибудь в октябре. Они и замерзнут во цвете. Поднимешься, выйдешь во двор — холод, трава в белом инее. «Солдатики»-циннии, их яркие цветы и зеленые листья, заледевели. Хрустят под рукой. Ломаются. Солнце взойдет, они обтают и почернеют. Конец.

Но теперь — август. До грустного еще далеко. Полыхают, горят костром алые, красные, розовые цветы. Любо на них глядеть.

А чуть подальше, глубже во двор, клумба не клумба, грядка не грядка, а словно базар восточный, его просторный разлив. От летней кухни до погреба, до сарая и дома. Здесь астры: белые, сиреневые, палевые; с желтой корзинкой посередине и — нежные, хрупкие, стрелчатые шары. Здесь могучие бархотки ли, «чахранки» с резными ажурными листьями. А цве-

ты — кремовые, шафрановые, карминовые. Каждый лепесток оторочен золотистой желтизной и потому мягко светит; на взгляд и на ощупь — бархат. Оттого и зовутся бархотками. Мощные кусты очитков: заячья капуста, молодило... В августе они лишь начинают цвести. Лазурные, светло-сиреневые, малиновые корзинки-соцветия с медовым духом в окружении мясистой, сочной, словно восковой листвы. По краям клумбы скромно проглядывают граммофончики пахучих петуний — белые, фиолетовые, розовые.

Какая тут клумба... Восточный базар. Радужное многоцветье на зеленом подбое листьев. Звенят и гудят пчелы, шмели, радуясь и кормясь; золотистые стрекозы шуршат слюдяными крылами, вспыхивают и гаснут.

Цветы... Пусть простые, нашенские, но сажаем, пропалываем, поливаем, бережем. Без цветов нельзя.

В соседнем дворе доживает век старая Миколавна. По дому еле ползает, во двор не выходит, лишь на крыльчке сидит порой. Во двор выйти не может, но каждый год молодым своим помогальщикам наказывает: «Возле порошков посадите мне георгину». Ее слушаются, сажают. Цветет георгина куст. Миколавна глядит на него, на ступеньках сидючи вечерами.

Через улицу, напротив, живет старая же Гордеевна. У нее одышка, большое сердце. Ей нагибаться никак нельзя. Но каждое лето цветут у нее в палисаднике «зорьки». «Это наш цветок, хуторской... — объясняет она. — Я его люблю...»

Сосед Юрий. Человек нездоровый, больной. Какой с него спрос! Но в летнюю пору расцветает посреди вконец запущенного двора могучий куст розовых пионов. «Мама посадила... — объясняет он. — Я поливаю». Мама его давным-давно умерла. А этот цветочный куст — словно привет далекий.

У тетки Лиды земли возле дома не много. «В ладонку... — жалуется она. — А надо и картошку, и свеклу, и помидоры, того и другого посадить. А земли — в ладонку». Но анютины глазки цветут возле дома, золотятся «царские кудри». Без этого нельзя.

У Ивана Александровича с супругой тоже земли не хватает. У них на подворье с математической точностью рассчитан каждый миллиметр. Приходится исхитряться. После картошки успевают еще и капуста созреть до морозов. Убрали лук, поздние помидоры растут. Но и у них — пара кустов «зорьки», несколько георгинов, «солнышко» стелется и цветет.

Там, где хозяйева молодые, в силах, там — розы, там — лилии, там много всего во дворах, в палисадах.

А ведь с цветами — столько забот. Сами собой, от Бога, они не вырастут. Посади, гляди за ними, рыхли, пропалывай, коровяком подкорми. А попробуй не полей хотя бы день при нашей жаре! Тут же засохнут. Не то что цвѣта, листьев не увидишь. Цветы вырастить — труд немалый. Но радости больше.

Августовское раннее утро. Завтрак на воле. Солнце за спиной. Перед глазами — цветы. Сколько их... Десятки, сотни... Алые, синие, лазоревые, золотисто-медовые... Все на меня глядят. А если вернее, через плечо мое, на утреннее встающее солнце. Светит перед глазами желтизна и бѣль, нежная васильковая голубизна, зелень, алость, небесная синь. Смотрят и дышат в лицо мне простые наши цветы.

Летнее утро. Впереди — долгий день...

Порою, когда начинают о людях худое говорить: мол, народ пошел никудышный, извадилса, изленился... — при таких разговорах я всегда вспоминаю о цветах. Они есть в каждом дворе. Значит, не так уж все плохо. Потому что цветок — это ведь не просто поглядел да понюхал... Скажите, шепните женщине ли, девушке: «Цвет ты мой лазоревый...» — и вы увидите, какое счастье плеснется в ее глазах.

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

Летняя наша жизнь в старом доме, в поселке, кроме прочего, еще и тем счастливо отличается от городского быта, что вокруг — живая жизнь. С городской квартирой не сравнить. Там — пустыня.

У себя во дворе пытался я перечислить растения да травы, какие зеленеют, цветут, хотя бы самые заметные: ползучий спорыш да легкий вейник, аржанец, козелок, пахучие ландыши, синий касатик, милые одуванчики, ландыши да бедовая крапива, простодушный лопух, высокие мальвы, степной алый мак, чистотел, молочай, морковник, горькая полынь, подорожник, вьюнки с белыми да розоватыми цветами, куст татарника, подзаборная конопля... Добравшись до сотни названий, оставил я это пустое занятие. Пусть их Бог считает да стережет.

А про живность, какая летает, порхает да ползает, и говорить нечего. Нечаянный таракан в городскую квартиру забредет, с ним — война: дави да трави! Крохотная моль перепорхнет — вовсе смятенье. В старом доме, в просторном дворе его, — порядки иные: здесь жильцов — не счесть. И всем приюта хватает.

Правда, ласточки на веранде теперь уже не живут. Корову не держим, а ласточка любит скотий дух. Ласточки не гнездятся, хотя прилетают, шепечут; зато уж воробьев — полный двор, по застрехам птенцов выводят. На колючей терновке — ненадежное гнездо горлицы. Его и гнездом не назовешь, какое-то решето. Рядом — скворцы, синицы, славки. Желтокрылая иволга — в густой кроне вяза. Дятел порой стучит, врачуя старые яблони. Птиц немало. А тварей помельче, их вовсе не счесть. Тяжелые шмели, земляные да древесные пчелы, янтарные осы, легкокрылые бабочки — от величественных махаонов, ярких крапивниц до всякой мелочи, кузнечики да сверчки, богомолы-«кобылки», солдатики, божьи коровки, муравьи, пауки, прочие букашки, которых не перечести. Это лишь взгляду стороннему может показаться, что зеленый наш двор дремлет в безжизненном забыты. Приглядись да прислушайся — всюду жизнь.

Те же муравьи... Конечно, больших муравейников во дворе быть не может, но там и здесь суетится, бегают муравьиный народ. Мыкаются туда да сюда, что-то волокут. Порой муравьи объявляются в местах неожиданных.

Понемногу засыхает старая абрикосина. Обрезаю ветки. Толстый сук торчал в подножии дерева. Ударил его обухом топора, он отвалился и обнажил затейливую вязь муравьиных ходов, пробитых в трухлявом, но дереве. Проходы, галереи, укромные кладовые с харчами да раскладом — белыми яичками. Сучок отвалился, открыв потаенную жизнь. Рыжие муравьи засуетились, забегали... Как же — беда! Приставить назад сучок, конечно, не мог я. Но дальше зорить гнездо не стал. Пусть живут. Они и живут. Порою я прихожу к старой абрикосине, к ее подножью. Присяду, гляжу на муравьиную жизнь в изъеденном стволе дерева. Иной раз гостинец несу — какие-нибудь семена, крошки, спелый абрикос, сливу, огрызок помидора. Малое подаянье они тут же уносят, в иное не враз, но вгрызаются и несколько дней пируют, пока не останется лишь косточка да иссохшая кожица.

Но есть в нашем дворе место, мимо которого прохожу я пусть не с опаской, но с какой-то смутной тревогой. Место не укромное, а на самом что ни на есть виду — на дорожке, что ведет от дома к летней кухне и мимо нее в огород. Дорожка из бетонных плит, с обеих сторон трава растет. Дорожка и дорожка... Но когда прохожу по ней, то как раз на стыке двух плит невольно замедляю шаг, иной раз останавливаюсь и даже присяду на корточки, вперяя взгляд в бетон плиты, в затравевшую землю. Гляжу, чутко слушаю. Серая плита, заплывающая землей и окаймленная ползучей травой гусынкой да высоким вейником. Ни норы, ни щелки. И ни-

каких звуков нет. Качнется под ветром вейник. И — все. Малый кузнечик прострекочет. Но это здесь, наверху. А вот оттуда, из-под земли, нет никакого знака. Хотя я знаю, что где-то здесь, совсем рядом, — могучая жизнь кипит, для меня неведомая.

Единожды в год, обычно июньским теплым днем, эта жизнь вдруг выходит наружу. Отворяются какие-то потайные щели, ходы и выплескивается на белый свет живое кишенье тысяч и тысяч крохотных муравьев. Их так много, что они затопляют дорожку и обочины черным живым потоком. Почти весь день длится суета, кипенье. Все новые и новые муравьиные орды прибывают из-под земли, суетясь и спеша. Просто оторопь берет: где они там помещались? Такая страсть...

А к вечеру глядишь — пусто. И назавтра ни шелки, ни норки, даже намека нет на недавнее буйство. Словно приснилось. Молчит земля, и молчит трава. Объявилось на день и снова ушло под землю на целый год.

Я будто все умом понимаю. Читывал Фабра, еще кое-что. Это был обычный выход и вылет молодых муравьиных маток. Таким путем распространяются муравьиные семьи. Разумом я будто все понимаю, но почему-то всегда замедляю шаг, проходя по этому месту. Иногда остановлюсь, присяду на корточки, вглядываюсь. Пустое место: ни шелки, ни норки. Но ведь знаю: где-то там, от меня скрытая, — жизнь. Невидимая и неведомая. Словно иной свет.

Странно все это. А когда раздумаешься, даже и страшновато. Спешим, скачем, летим. Далекie страны манят, далекie миры. А он — вот здесь, иной мир. Стою над ним, он — возле, неведомый. Да и один ли? Может, рядом — другой, который вовсе знаку о себе не дает. Другой и третий... Сколько их, этих жизней, миров потаенных, от нашего взгляда скрытых?.. Или просто не увиденных во тьме ночной, в ясном ли дне, когда скользит человеческий взор по необъятному окоему: зеленая трава как трава, цветок да цветок, вечный камень да вечный ветер в кроне высокого дерева. И все.

Сижу на крыльчке летним покойным полуднем. Птицы стихли. Улица безлюдна. Но глядит на меня со всех сторон, в лицо мне дышит, поет, и звенит, и гремит набатом, сливаясь в тишину, и течет нескончаемо многоликая живая жизнь. Рядом с моей, человечесьей. Одной из всех.

РЫБА НА СЕНЕ

Уверен, что большинство читателей воззрится на мой заголовок с недоуменьем. «Собака на сене» — это понятно: себе не дам и другим не дам. А вот как и зачем рыба на сено попала?

Это наше, донское. На Дону всякое бывает. Например, в станице Нижне-чирской знаменитая донская рыба чехонь «сено поела». Было так: с заливного луга в свою пору не свезли казаки сено, отложив эту заботу на потом. Как на грех, случился разлив Дона, и стога ушли вниз по течению. «У чирян чехонь сено поела», — разнеслось по округе. Помнят об этом и теперь.

Но нынче речь об ином — о запеченной рыбе. На Дону любят побаловать себя ухой из судака да леща, жареным, в золотистой хрупкой корочке сазанчиком да линем. И конечно, запеченной рыбой.

Хутор Малолюбинский, что на самом Дону. Былые времена, совсем недавние. Вышел на баз старый казачура для каких-то стариковских неспешных дел. И вдруг встал столбиком, словно суслик возле норы. Постоял, повертел головой, принюхался и тут же, бабку наскоро упредив: «Я к своим», — по-молодому заспешил на край уличного хуторского порядка, где жила его дочь с зятем. Там его встретили с пониманием:

— Либо учуял, батяня?

— А как же... Рыбка на сене. На весь хутор слышать, — причмокнул старик. — Слюнки враз потекли.

Запеченная рыба... Поварские книги грешат: «...рыбу для запекания разделяют на филе...» Считай, загубили. Не то что разделявать, трогать нельзя. Запекается рыба целиком, в чешуе, словно в надежном затворе. Томится в своем соку и жире на легком печном духу.

Запекать лучше всего, конечно, леща. Но можно рыбца, синца, зобана. Словом, жирную рыбу.

Свежая целенькая рыба сначала кладется в соль и держится там — естественно, на холоде — сутки ли, двое, трое, в зависимости от величины. Передерживать тоже нельзя — рыба должна быть малосолой. Невеликой синьге ли, подлещику и восьми часов хватит.

Отлежавшую свой срок в соли рыбу нужно обтереть и даже повесить на ветерок, чтобы она «обвенулась», как говорят, то есть сверху обсохла.

Тем временем хорошо протопленную русскую печь проверяют как для печения хлебов: на горячий под кидают щепоть муки. Если не горит мука, значит, самое время.

Заранее уже приготовлена добрая охапка сена, да не абы какого, а зеленого, духовитого, с цветами. Сено раскладывается на поду, на него, словно на пуховик, — рыба. Заслонка печи закрывается. Теперь жди.

Через время — сорок минут ли, час — такой дух поплывет из печи, что его почуют не только в доме, но и по всей округе. Недаром старый батяня за версту унюхал и, сразу оживев, поспешил к дочке: «Я чую... У тебя рыбка на сене...»

И вот открывается печь. Рыба — на стол. На легком печном жару лещ зарумянился, в меру доспел под нетронутым панцирем чешуи, словно в глухом запоре.

Для начала надо обломить зажаренный плавничок, похрустеть им, словно оттягивая самое сладкое. А потом разом от переднего плавника заворачивай запекающуюся чешую и шкуру плащом. Обнажил желтое мясо, насквозь пропитанное и протомленное нежным жиром и острым внутренним соком, травным, цветочным духом, солью и чуть-чуть горчиной; отвернул — и ударил в лицо пахучий пар. На мгновение голова кругом пошла.

Но ждать время не указывает. Кто-то, ловкий, уже тянет из горячего недра грудку икры, целиком, в нежной плене ястыка; кто-то хрумтит оплывшим от жира пузырем. Но это все баловство. Лучше сразу отвалить у леща увесистый кус боковины на кривых ребрах, словно на вилах. Вот это всерьез: в меру солоноватое, пахучее, нежное... Не еда и даже не кушанье, а высокое яство — запеченная на сене рыба.

Поверив мне, кто-то со вздохом заметит: «Русских печей давно нет... и сена попробуй добудь...» Таких людей успокою: запечь рыбу можно в обыкновенной духовке, но чтобы легла рыба чешуей не на противень, а на лучинки, нигде не касаясь железа. Если коснется, то прогорит чешуя и шкура, весь жир и сок из рыбы вытечет, останется сухарь. А взамен сена расстарайтесь не просто лучинками обойтись, но положите под рыбу в прогретую духовку веточки вишни с листьями, веточки смородины, а сверху — укроп, тоже целый, веточками.

Закройте духовку — и через недолгое время почувете не только поспевающей запаренной рыбы дух, с солонцой, но тонкий аромат вишневой коры, смородинного листа, укропа. А потом все это смешается в горячий и терпкий дух донской запаренной рыбы.

ОТ ОГНЯ К ОГНЮ

Мой старый приятель, художник по профессии, недавно подарил мне свою картину с названием «Верба». И сразу так ясно вспомнилось, как давным-давно ненастным весенним днем у себя на родине бродил я в Березовом логу — просторной лощине, заросшей топодем да вербой.

День выдался неласковым. Наверху, на песчаных буграх, пронзительно дул ветер. Раскосмаченные серые тучи неслись по небу стремительно, низко, задевая маковки тополей. Пустая земля, голые деревья, зябкость и сырость — словом, ненастье. Я брел и брел, уже ругая себя за то, что выбрался из тепла, из дома.

И вдруг возле ручья, в низине, скорее не увидел я, а почувал что-то необычное — словно солнечный свет, золотистое его сияние. Я подошел ближе: это цвел невеликий вербовый куст.

В белых сережках его, через серебряный ворс, пробилась желтые пыльники цвета. И сережки стали золотистыми. Вербовый куст в ненастном пасмурном дне кротко сиял теплым лампадным светом. Он светил, согревая вокруг себя землю, и воздух, и зябкий день. Согрел и меня.

Прошло много лет. Но я и теперь, через время, вижу тот пасмурный день и сияние золотого вербового куста.

Огромный просторный мир: пустая земля, низкое небо, тополевые, ольховые голые ветки, песчаные бугры, меж них — неезженная дорога, — все это зябко и сиро. А рядом — малый куст золотой, словно лампада в красном углу. Символ весны и жизни в ненастном дне.

Все это было давно. Но так хорошо помнится! А теперь еще и картина висит, тоже светит.

Когда-то я рассказывал о цветущей вербе своему приятелю-художнику. Он, видно, запомнил. Через столько лет, но написал картину. Значит, и ему легко на душу. Хотя что тут особенного? Просто пасмурный день и золотистая верба. Но помнит сердце...

Сколько в жизни нашей таких вот теплых минут, которые уйдут, но помнятся. У каждого — свое.

Память детства, один из обычных дней. Какое-нибудь утро ли, поздний вечер, когда склоняется к тебе мать ли, бабушка. Теплые руки, доброе лицо. Волна любви. Она проходит, но остается.

Лето. Полдень. Женщина выходит из воды. Сияют радугой капли. Медовое тело...

А вот — малое дитя в колыбели. Еще несмышленное, что-то лепечет. Тянет руки к тебе, а глаза — такие счастливые... Когда это было, господи... Как давно.

Или — желтые листья у тополя, их мягкий ковер. Это — осень. Цветущий вербовый куст по весне. Чей-то светлый лик...

Есть рассказ ли, притча о ночном далеком огне, который впереди. Он зовет, он скрашивает, сокращает путь, особенно во тьме.

Для меня и, думаю, для всех нас одного лишь огонька впереди, конечно, мало. Их много на нашем пути, добрых знаков, теплых дней и минут, которые помогают жить, раздвигая порой сумеречные, ненастные дни.

Так и живем, так и плывем: от огня к огню.

ГОЛОС НЕБА

Долгие дни и ночи стояла изнуряющая летняя жара; и вот наконец августовской ночью пришла гроза с ветром, молнией, громом, спасительным ливнем. В ночи отгремело, отсверкало, пролилось; и в новом дне встало над землей чистое, глубокой синевы небо. Глядеть на него — отрада.

Лето теперь быстро пойдет на убыль. Дело к осени.

Ночью я вышел во двор: августовская тьма, яркие звезды. Над головой — светлый дым Млечного Пути; по его обочинам, словно цветы придорожные, крупные звезды. Но виден лишь клочок ночного неба. Мешают дома, деревья. А хочется все небо увидеть, от края до края.

Тогда же ночью я решил: надо ехать куда-нибудь на простор, с ночевкой.

Назавтра уехали на Голубинские пески — место славное и безлюдное. Разбили палатку на берегу Дона и несколько дней прожили. У меня была одна лишь забота — небо глядеть.

Здесь, в степи, небо просторное. А если взберешься на песчаный холм, то и вовсе — немереное: с далеким поднебесьем, пологими небосклонами, конца и края которым нет. Уже не небо, а небеса.

Над головой — густая сочная синь, бездонная глубь. Чуть далее, стекая по небосклону, синева светлеет, переходя в нежную голубизну, в бирюзу, а потом и вовсе в лазурь. Сияющая белизна облаков — кучевых, плывущих нескончаемым караваном, или далеких, перистых, их морозный узор оттеняет небесную синь.

Ранним утром, перед восходом солнца, облака недолго полыхают, горят, переливаясь алым и розовым. Зрелище сказочное. Его не описать.

Заря вечерняя величавей, царственной. В ней больше красок тяжелых: баgreц, золото, пурпур. Но есть в закатном полыхании какая-то печаль, тревога. Это — свет уходящий, он гаснет не скоро. Сторона закатная плавится желтизной и зеленью, долго не угасая. На западе сгустилась темная синь ночи ли, ненастья; тонкие нити молнии беззвучно ниспадают далекою тьму. В северной стороне — просторная полынья светлой, промытой дождем лазури, в сизых, с багровостью берегах. Над головой — высоко и далеко — сказочные золотые плесы, золотистые же гряды летучих облаков и фиолетовые громады тучевых утесов с сияющими вершинами.

Ночью небесный купол вовсе огромен. Он прекрасен, порой жутковат, а иной раз и страшен.

Стоишь, вокруг тебя — звездный океан в огнях, полыханье. В ночном покое, в тиши небесные огни множатся, сияют ярче и ярче. Сужается земная твердь. Звездный прибой плещет возле ног твоих. Шатнулась земля — ковчег ненадежный, — и вот уже плывешь ты путями небесными.

Так бывает, когда ты не в тесном городе, а где-нибудь на просторе.

Но порой даже в обыденной жизни — в городской толчее, домашних заботах — случайно поднимешь глаза и замрешь, обо всем забывая. Виною тому — далекое небо, облако или вечерняя звезда: глазам — отдых, сердцу — покой, душе — великое утешенье. Это — высокий голос, который порою зовет нас, поднимая от хлябей земных, чтобы помнили: на белом свете живем под белым небом.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ КОСТОМАРОВ



В РЯДУ ПОКОЛЕНИЙ

Бабушкин альбом

Ко мне как к старшему сыну перешел по наследству семейный архив. Он включает старинный альбом с металлическими застежками, принадлежавший некогда моей бабушке. В нем — фотографии предков, сделанные в конце XIX — начале XX века. В те годы фотографироваться ходили в ателье, и фотограф тщательно, не спеша готовил каждый снимок. Снизу на фотографиях обычно указывались имя фотографа и адрес фотоателье, а на обороте делалась приписка: «Негативы хранятся». Жаль только, что не было принято фиксировать дату съемки, как это делают сегодня автоматически многие фотоаппараты.

Я уже немолодой человек, и мне все чаще хочется оглянуться назад, вспомнить прошлое... Время от времени я достаю из книжного шкафа старый бабушкин альбом и начинаю не спеша переворачивать его толстые картонные страницы.

Альбом открывается двумя портретами моего дедушки. На одном — он в форме полковника с орденом Святого Владимира в петлице, на другом — в полевом генеральском френче. За этими снимками следуют портрет бабушки и ее фотография в саду. Сделанная «на природе», она имеет любительский вид и существенно проигрывает в качестве студийным портретам.

Дедушка Дмитрий Коронатович Костомаров (1857 — 1920) и бабушка Юлия Павловна, урожденная Шатилова (1867 — 1936), происходили из семей, где все мужчины из поколения в поколение были военными, а дамы — женами военных. Их предки сражались «за веру, царя и отечество» практически во всех войнах, которые пришлось вести России. В этих заметках я расскажу историю трех поколений Костомаровых и Шатиловых, которые породнились благодаря браку Дмитрия Коронатовича и Юлии Павловны. Первым является поколение моих прадедушек и прабабушек. Их жизнь началась и закончилась в XIX веке. Поколение дедушки и бабушки появилось на свет в середине XIX века и на склоне лет попало в водоворот трагических событий 1917 года. Моему отцу, его братьям и сестрам выпало родиться на рубеже XIX и XX веков. Октябрьский переворот коренным образом изменил их прежнюю жизнь. Одни участвовали в белом движении и были вынуждены эмигрировать за границу, другие остались на родине и всю последующую жизнь расплачивались за свое дворянское происхождение и прочие семейные «грехи». Теперь, к концу XX века, старшим стало уже мое поколение. Мы родились в двадцатые — тридцатые годы, и нам изначально пришлось жить в новых условиях. О прежней жизни мы знали только по книжкам, кинофильмам и по рассказам старших. Сейчас в семье существует еще два поколения: наши дети и внуки. Од-

Костомаров Дмитрий Павлович родился 23 марта 1929 года в Москве. Доктор физико-математических наук, профессор МГУ, член-корреспондент РАН. Область научных интересов — вычислительная математика и математическое моделирование в задачах управляемого термоядерного синтеза. Автор многих научных работ, двух монографий и двух учебных пособий. Публикуемая семейная хроника — первое крупное литературное выступление автора.

нако мои заметки обращены в прошлое. Я хочу рассказать о судьбах тех, кто ушел из жизни и сам о себе рассказать уже не может.

Каждая фотография в бабушкином альбоме связана с каким-нибудь событием в жизни нашей семьи. Бабушка Юлия Павловна Костомарова, ее сестра Клавдия Павловна Шатилова, отец Павел Дмитриевич Костомаров, тетя Варвара Дмитриевна Скворцова, урожденная Костомарова, рассказывали мне об этих событиях. Много лет спустя я вспоминал их рассказы и по кусочкам восстанавливал историю. Большую помощь оказали мне ныне здравствующие родственники: они поделились со мной своими воспоминаниями и архивами. Однако самое интересное и в значительной степени неожиданное началось тогда, когда мы решили выйти за рамки «семейных преданий» и поискать информацию о предках во «внешних источниках». Здесь наш успех превзошел самые смелые ожидания.

Поскольку большинство мужчин в нашем роду с юношеских лет служили в армии, мы прежде всего обратились в Российский государственный военно-исторический архив. Оттуда нам любезно прислали подробные выписки из послужных списков, по которым можно проследить весь жизненный путь человека, посвятившего себя служению Отечеству. Много информации удалось найти в других источниках: энциклопедиях, справочниках, мемуарах, журнальных и газетных публикациях. А вот сведения о женских представителях нашего рода оказались скудными. Женщины в России не занимали государственных должностей, а были матерями, женами, дочерьми. Не всегда даже можно было установить даты рождения и смерти. Я сожалею об этом, ведь среди них были личности не менее интересные, чем их отцы, мужья, сыновья. После этого несколько затянувшегося введения я перехожу к своему рассказу.

Костомаровы

Костомаровы — дворянский род, история которого насчитывает более четырех веков. В Русском биографическом словаре, в статье, посвященной историку Николаю Ивановичу Костомарову, упоминается боярский сын Самсон Мартынович Костомаров, служивший у царя Ивана Грозного в опричниках. В документе со сложным названием «Боярские списки последней четверти XVI — начала XVII века и роспись русского войска 1604 года. Указатель состава Государева двора по фондам разрядного приказа» значился боярин Яков Филатович Костомаров, который должен был являться на государеву службу в сопровождении четырехсот воинов. В «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона нашему роду посвящена следующая статья:

Костомаровы — русский дворянский род, восходящий к половине XVI в. Федор К. был послан в 1592 г. в Лондон Годуновым учиться и там окончательно поселился. Степан Матвеевич К. пожалован вотчиной в 1634 г. Род К. разделился на несколько ветвей, внесенных в VI и II части родословной книги Орловской, Тверской и Харьковской губ.

Вотчина предков «Костомаровский крутояр» располагалась на берегу Яузы, напротив Спасо-Андрониева монастыря. Этот факт оставил след в топонимике Москвы: Костомаровский переулок, Крутоярский переулок, Костомаровская набережная, Костомаровский мост. В энциклопедии «Москва» приведена следующая справка:

Костомаровский мост через р. Яуза соединяет Костомаровский пер. с пл. Прямикова. Построен в 1941 году (инж. Ю. Ф. Вернер). Сохранил название ранее находившегося здесь моста.

Я невольно задаю себе вопрос, почему мост инженера Вернера сохранил в 1941 году старое название, а не получил новое, в духе времени? Ведь кругом было так много «прекрасных» примеров: Большая и Малая Коммунистические улицы, Ульяновская улица, площадь Ильича, площадь Прямикова...

Родителями дедушки были генерал-лейтенант Коронат Филиппович Костомаров (Коронад по старому написанию) и Варвара Ивановна, урожденная Горскина. Коронат Филиппович родился в 1803 году, брак с Варварой Ивановной был для него вторым. О его первой супруге я ничего не знаю. Прадедушка был военным инженером, получившим образование в Николаевском инженерном училище. Он оставил заметный след в отечественной истории и культуре. Будущий писатель Д. В. Григорович четырнадцатилетним подростком был определен в 1836 году к капитану К. Ф. Костомарову для подготовки к поступлению в Главное инженерное училище. Приведу три коротких фрагмента из воспоминаний писателя:

Первый мой визит, вместе с матушкой, к Костомарову произвел на меня, сколько помню, удручающее впечатление. Я увидел перед собою пожилого, высокого офицера с большими черными усами, с серьезным, даже, сколько мне тогда показалось, суровым лицом. Мы вошли, вероятно, в то время, когда он давал урок своим воспитанникам; за столом, покрытым тетрадами и книгами, сидело человек пять — не детей, а зрелых юношей. Они испугали меня более даже, чем сам капитан...

Первое впечатление, сделанное на меня Костомаровым, было ошибочно: он оказался добрейшим, мягким человеком. Жена его отличалась теми же качествами. Те из нас, которые еще живы, узнав ее, вероятно, и теперь добром ее поминают. Насчет новых моих товарищей я также ошибся: они были добрые, смиренные ребята, исключительно почти занятые мыслью учиться и с успехом выдержать экзамен... Их в училище так и звали костомаровцами; каждый лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь и поддержать репутацию уважаемого наставника...

Раз в воскресенье отправился я из училища, желая навестить бывшего моего наставника К. Ф. Костомарова. Я пришел утром, в то время, когда его питомцы (их был новый комплект и, по-прежнему, человек пять) не занимались. Меня тотчас же все радостно обступили; я был для них предметом живейшего любопытства, мог сообщить о житье-бытье училища, в которое они должны были вступить будущей весной.

В числе этих молодых людей находился юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненной бледностью. Юноша этот был Федор Михайлович Достоевский. Он приехал из Москвы вместе со старшим братом Мих. Мих.

Оказывается, первая встреча двух будущих писателей, Д. В. Григоровича и Ф. М. Достоевского, произошла в юном возрасте в доме моего прадеда!

Имя Короната Филипповича встречается во многих письмах братьев Достоевских того времени, однако я ограничусь двумя короткими выдержками из их письма от 3 июля 1837 года к отцу:

...Дела у нас идут своим порядком хорошо. То занимаемся геометрией и алгеброй, чертим планы полевых укреплений: редутов, бастионов и т. д., то рисуем пером горы. Коронад Филиппович нами очень доволен и к нам особенно ласков. Он купил нам отличные инструменты за 30 рублей монетою и еще краски за 12 рублей. Без них обойтись никак не было возможно: потому что планы всегда рисуют красками...

Еще не было ни одного примера, чтобы от К. Ф. кто-нибудь не поступил в училище. Коронад Филиппович свидетельствует Вам свое почтение. Уж одиннадцать часов! Пора спать! Добрая ночь! Прощайте.

С истинным почтением и сыновнею преданностью честь имеем быть дети
Ваши

Михаил и Федор Достоевские.

Как опытный инженер-строитель, Коронат Филиппович привлекался к сооружению Исаакиевского собора, и среди его многочисленных наград имеется орден Святой Анны второй степени, которого он удостоен 30 мая

1858 года «в награду трудов и усердия, оказанных при сооружении Исаакиевского собора». В 1861 году Коронат Филиппович получил чин генерал-майора, в 1863 году стал членом Инженерного комитета Главного инженерного управления военного министерства, в 1869 году был произведен в генерал-лейтенанты. В 1872 году в связи с 50-летним юбилеем службы в офицерских чинах ему был пожалован весьма редкий орден Святой Анны первой степени с императорской короной. Умер Коронат Филиппович в 1873 году.

Мои сведения о прабабушке Варваре Ивановне очень скудные, мне не известны даже даты ее рождения и смерти. Я знаю лишь, что она вышла замуж в 1846 году и была лет на двадцать моложе мужа. Ее отец Иван Николаевич Горскин (1798 — 1876) был декабристом, во время следствия четыре месяца провел в Петропавловской крепости, был сослан в Вятку «под бдительный надзор», потом долго жил в Пензе и в 1848 году получил разрешение поселиться в Москве («Декабристы». Биографический справочник. М., 1988, стр. 57). В семье Короната Филипповича и Варвары Ивановны было шестеро детей: Ольга (1848 г.), Владимир (1849 г.), мой дедушка Дмитрий (1857 г.), Константин (1860 г.), Анна (1865 г.) и Александра (1868 г.). После смерти мужа Варвара Ивановна продолжала жить в Санкт-Петербурге. Там же жили ее дочери. Собственных семей у них не было. После 1917 года они оказались в тяжелом положении и были вынуждены распродавать свои вещи. Умерли они в тридцатые годы в Ленинграде. О сыновьях Владимире и Константине я практически ничего не знаю.

Мой дедушка, Дмитрий Коронатович, пошел по стопам отца и также стал военным инженером. Окончив Николаевское инженерное училище, а потом и Николаевскую инженерную академию, он всю жизнь занимался укреплением границ Российской империи. После окончания академии (1886 г.) он был направлен на Кавказ в инженерное управление крепости Карс. Оттуда был переведен в Варшавский военный округ в Новогеоргиевское крепостное инженерное управление (1895 г.). Затем он служил в военно-морской крепости Свеаборг на берегу Финского залива (1899 г.), возводил укрепления в окрестности Пскова (1903 г.). В 1909 году вернулся в Карс начальником инженеров крепости с производством в генерал-майоры. С 1913 года совмещал эту должность с должностью коменданта крепости. Фортиции, которые возводил дедушка для России, сыграли заметную роль в Первой мировой войне, однако после октябрьского переворота все они, кроме псковских укреплений, оказались утерянными.

Шатиловы

Свой рассказ о семье Шатиловых я начну со статьи из того же «Энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона:

Шатиловы — старинный русский дворянский род, восходящий к концу XVI в. и записанный в VI ч. род. кн. губ. Московской, Орловской и Тульской. Герб внесен в III ч. Общего Гербовника. Есть еще два дворянских рода Ш., восходящих к половине XVII в. и записанных в VI ч. род. кн. губ. Тверской и Курской, и несколько родов более позднего происхождения.

Родителями моей бабушки Юлии Павловны были генерал от инфантерии Павел Николаевич Шатилов и его жена Анна Францевна, дочь тайного советника Франца Ивановича Герарди. Их семья была многодетной: супруги имели троих сыновей и семерых дочерей. Свой рассказ об этой семье я опять начну с самого старшего поколения, с прадедушки и прабабушки.

Мой прадедушка Павел Николаевич Шатилов (1822 г.) был боевым офицером, его служба проходила на Кавказе. С 1844 года он принимал активное участие в заключительном этапе Кавказской войны, имел ранение «пулей в голову, выше левого уха, навывлет», полученное в деле против горцев в укреплении Закаталах 29 мая 1845 года. В последующие годы он был комендантом го-

рода Эривань (1859 г.), командующим войсками в Абхазии (1861 г.), командиром 40-й пехотной дивизии (1865 г.). Принимал участие в русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов, а после ее окончания командовал 15-м армейским корпусом. При назначении в Абхазию в возрасте 39 лет был произведен в генерал-майоры, в 1869 году стал генерал-лейтенантом, в 1883 году — генералом от инфантерии. Список полученных им орденов и иных наград занимает целую страницу. Перечислю некоторые из них: орден Святого Станислава 3-й степени (самый скромный первый орден, 1845 г.), золотая сабля с надписью «За храбрость» (1858 г.), орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (1864 г.), орден Белого Орла (1875 г.), орден Святого Александра Невского (1881 г.), бриллиантовый знак к этому ордену (1884 г.). Выделю особо три награды за участие в русско-турецкой войне: орден Святого Георгия 3-й степени (1877 г.), золотая шпага с надписью «За храбрость» (1878 г.), Черногорская медаль, принятая с разрешения императора Александра II (1878 г.).

Имя Павла Николаевича Шатилова как кавалера ордена Святого Георгия по существовавшей в то время традиции было занесено на стену Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Катаклизмы XX века пощадил эту своеобразную книгу героев России. Она сохранилась, и я смог ее увидеть 6 ноября 1990 года, когда был приглашен в Кремль на церемонию вручения государственных наград. После окончания официальной церемонии Михаил Сергеевич Горбачев и награжденные перешли из Владимирского зала в Георгиевский, чтобы сфотографироваться на память. За то время, которое нам дали на осмотр зала, я нашел на одной из его стен фамилию прадеда. Возможность прикоснуться к прошлому семьи сделала для меня этот день праздничным вдвойне.

Павел Николаевич Шатилов погиб самым нелепым образом в 1887 году. С возрастом дало о себе знать тяжелое ранение в голову, полученное в 1845 году: появились головокружения и головные боли. Однажды такой приступ случился во время смотра. В результате генерал упал с лошади и получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Император Александр III установил пенсии его незамужним дочерям до их вступления в брак.

К сожалению, сведения о моей прабабушке Анне Францевне, как и о Варваре Ивановне, весьма ограничены. И в этом случае я не знаю дат рождения и смерти, однако в послужном списке Павла Николаевича указано, что к моменту своей трагической гибели он был вдовцом.

Рассказ о детях Павла Николаевича и Анны Францевны я начну с бабушки. Ее я очень хорошо помню: мне посчастливилось прожить с ней свои первые семь лет, и я благодарю судьбу за то, что она послала мне такую бабушку. Однако до времени, когда я появлюсь на свет и наши жизненные пути пересекутся, еще далеко: пока мы находимся в XIX веке.

Бабушка родилась в 1867 году и была восьмым ребенком в семье Павла Николаевича и Анны Францевны. Как и ее сестры, она получила хорошее образование: окончила Одесский институт благородных девиц, в совершенстве владела французским и немецким языками, знала английский и итальянский, который был родным языком ее предков по линии матери, прекрасно играла на рояле. В 1895 году она вышла замуж за Дмитрия Коронатовича. В течение следующих лет в семье появились трое детей: сын Виктор (1897 г.), дочь Варвара (в семье ее звали Вава, 1899 г.) и мой отец Павел (1902 г.). Дочь получила имя в честь своей бабушки Варвары Ивановны Костомаровой, младший сын — в честь дедушки Павла Николаевича Шатилова. Надо сказать, что дочери генерала Шатилова охотно давали это имя своим сыновьям: его получили кроме моего отца еще четыре внука Павла Николаевича. С некоторыми из них нам предстоит познакомиться в дальнейшем.

Места рождения детей отражали послужной список дедушки: Виктор и Варвара родились в Новогеоргиевске в Польше, отец — в Свеаборге в Финляндии. Ах, бабушка, бабушка! Какую недалёковидность проявила ты с Польшей и Финляндией. Сколько дополнительных трудностей возникло у

твоих детей в советское время при заполнении анкет из-за «неправильного» места рождения. Впоследствии, когда мы с братом также доросли до «анкетного» возраста, проблема Свеаборга перешла к нам, ибо все анкеты, которые мне пришлось заполнять за пятьдесят лет взрослой жизни, требовали указать место рождения родителей.

В бабушкином альбоме сохранилось несколько детских фотографий. Расскажу о двух наиболее интересных и о событиях, с ними связанных.

В 1905 году, когда семья жила в Пскове, тамошний генерал-губернатор граф Адлерберг устроил по традиции в своем доме на второй день Рождества детский костюмированный праздник. На праздник был приглашен фотограф, для которого в одной из комнат оборудовали фотостудию. На память об этом празднике осталась чудесная фотография: эlegantный Виктор в костюме маркиза преподносит розу своей красавице сестре. Отец тогда был еще слишком маленьким, и его на праздник не взяли.

Второй снимок сделан в Карсе фотографом-греком Грамматикопуло. На нем сфотографированы Виктор, Вава и отец со своей тетей Александрой Коронатовой Костомаровой, приехавшей погостить к брату. Для меня этот снимок особенно дорог: во-первых, у нас нет других фотографий Александры Коронатовны, во-вторых, только на этом снимке можно видеть всех троих детей одновременно. Думаю, что снимок следует датировать 1909 — 1910 годами, когда моему отцу было семь — восемь лет.

Бабушкины братья по семейной традиции служили в армии. Виктор Павлович (1850 г.) был полковником Генерального штаба, Владимир Павлович (1855 г.) — подполковником 158-го пехотного Кутаисского полка. Однако наиболее известен самый старший брат бабушки генерал от инфантерии Николай Павлович Шатилов (1849 г.). Служба его в основном протекала на Кавказе. Он принимал участие в русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов, был начальником Тифлисского пехотного юнкерского училища, командовал 4-й, а затем 10-й пехотной дивизией. 16 января 1906 года рабочий литейного цеха железнодорожных мастерских Арсен Джорджиашвили по поручению боевой дружины убил среди бела дня в центре Тифлиса начальника штаба Кавказского военного округа генерал-майора Ф. Ф. Грязнова. 29 января 1906 года, через тринадцать дней после теракта, на должность убитого был назначен Николай Павлович Шатилов, а спустя год, 15 января 1907 года, он стал помощником по военной части заместителя на Кавказе графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова. Помощником заместителя по гражданской части был в те годы сенатор, гофмейстер двора его императорского величества, тайный советник Эммануил Александрович Ватаци. Много интересных сведений о заместителе и двух его помощниках я нашел в книге «Кавказский календарь на 1913 год», изданной в Тифлисе в конце 1912 года.

У Николая Павловича был в Тифлисе огромный дом по адресу Бярятинская улица, дом 8. Он располагался на спуске от Головинского проспекта (теперь проспект Руставели) к Куре. Раньше дом принадлежал князю Андрею Ивановичу Бярятинскому, главнокомандующему войсками и заместителю на Кавказе на последнем этапе Кавказской войны, взявшему в плен имама Шамиля. В советское время князя были не в почете, и Бярятинскую улицу переименовали в улицу того самого Арсена Джорджиашвили, который убил генерала Грязнова.

Тифлис был культурным центром всего Кавказа, и жизнь в нем существенно отличалась от однообразной жизни военного гарнизона в Карсе. Поэтому бабушка охотно ездила время от времени в гости к брату, как правило, на Рождество. В Тифлисе был прекрасный оперный театр. В самом центре бельэтажа зрительного зала находилась ложа заместителя наподобие «царской» ложи в Мариинском или в Большом театре. Возраст Воронцова-Дашкова в то время перевалил за семьдесят, он вел замкнутый образ жизни и в оперу, за исключением официальных мероприятий, не ходил. В результате ложа фактически была в распоряжении двух его помощников. Ложа была большой, и в ней

вполне могли разместиться обе семьи. Однако недаром французы говорят: «*Cherchez la femme*» — ищите женщину. Дело в том, что Ватаци был назначен на должность помощника наместника раньше генерала Шатилова, но в России статус военного помощника считался выше статуса гражданского помощника. К тому же звание генерала от инфантерии, которое Николай Павлович получил в 1908 году после года службы в новой должности, было выше звания тайного советника, и генерал Шатилов обошел по иерархической лестнице сенатора Ватаци. Не знаю, как это отражалось на отношениях между помощниками, однако жена сенатора Мария Петровна Ватаци воспринимала его очень болезненно. Она никак не могла примириться с тем, что жена Николая Павловича, которую по удивительному совпадению тоже звали Марией Петровной, стала «ее высокопревосходительством», в то время как она сама осталась «ее превосходительством». В результате между дамами сложились отношения, при которых их одновременное появление в центральной ложе могло закончиться нежелательным конфликтом. Чтобы его избежать, мужа приняли соломоново решение: одна семья имела право пользоваться ложей по четным дням, другая — по нечетным.

Однако самое яркое впечатление на отца произвели не оперные спектакли, которые ему довелось слушать из ложи наместника, а его первая поездка в Тифлис. Бабушка и ее дети ехали туда из России вместе с Николаем Павловичем. В то время еще не было железной дороги по берегу Черного моря через Сочи. Ездить в Тифлис приходилось кружным путем через Владикавказ, Грозный, Петровск-порт (с 1922 года Махачкала) и Баку, огибая Кавказский хребет с востока по берегу Каспийского моря. Однако высшее начальство и просто состоятельные люди предпочитали иной путь: во Владикавказе они оставляли поезд, пересаживались в конный экипаж или автомобиль и отправлялись в Тифлис по Военно-Грузинской дороге. Преодолев двухсоткилометровый путь через Крестовый перевал, они въезжали в столицу Кавказа по берегу реки Куры через пригородное село Дигоми, где сейчас находится конечная станция одной из линий тбилисского метро.

Николай Павлович был вторым лицом в иерархии царских сановников на Кавказе. Прибытие столь высокой персоны обставлялось строгим ритуалом. Генерал прибывал во Владикавказ в собственном вагоне-салоне. Там его встречало местное начальство. В поездке по Военно-Грузинской дороге генерала и его свиту сопровождал конный конвой терских казаков. После Крестового перевала в Пассанаури высокого гостя встречала тифлисская делегация с местным конвоем. Терцы возвращались во Владикавказ, а кавалькада гостей и встречающих в сопровождении нового конвоя катила дальше по живописной долине Арагвы к конечной цели своего путешествия.

В 1913 году Николай II отозвал Николая Павловича с Кавказа и назначил членом Государственного совета. После Февральской революции Государственный совет был распущен. Старый генерал вышел в отставку, вернулся в Тифлис, где и умер весной 1919 года.

...Мне приходилось бывать в Тбилиси много раз. Однажды я прилетел туда на защиту диссертации в качестве оппонента. Научный руководитель диссертанта, прекрасный знаток старого Тифлиса и его обитателей, пригласил меня на прогулку. Вскоре мы оказались на улице Джорджиашвили около дома генерала. Мой гид рассказал мне историю дома начиная со времен князя Барятинского. Я внимательно слушал, а когда он кончил, поведал о том, что генерал Шатилов, которого он представил как последнего хозяина дома до установления в Грузии советской власти, — мой двоюродный дедушка, что детство моего отца прошло на Кавказе и что он часто бывал в этом доме в гостях у своего дяди. Коллега качал головой, цокал языком и приговаривал: «Кто бы мог подумать, вы внук генерала Шатилова». Мои замечания о том, что я не «настоящий» внук, а только двоюродный, что моим прямым дедушкой был совсем другой генерал, не произвели на него никакого впечатления.

К сожалению, фотографий Николая Павловича и его братьев не осталось, однако в альбоме есть фотография сына Николая Павловича, которого, как и его дедушку, звали Павлом Николаевичем. Павел Николаевич-младший был личностью незаурядной. Он родился в 1881 году, в десятилетнем возрасте поступил в 1-й Московский кадетский корпус. Затем генеральские погоны деда и отца открыли ему двери в самое привилегированное военное учебное заведение России — Пажеский его императорского величества корпус. В 1899 году, после перехода в старший специальный класс, Павел Николаевич был произведен в старшие камер-пажи высочайшего двора с исполнением обязанностей камер-пажа императрицы Александры Федоровны. Здесь была допущена явная несправедливость: как лучший ученик выпускного класса, он должен был стать камер-пажом Николая II, однако это почетное место было отдано отпрыску княжеского рода. В сословном обществе титул князя перевесил успехи в учебе Павла Николаевича и боевые заслуги его отца и деда. Императрица относилась к своему камер-пажу благосклонно. Накануне выпуска из корпуса она подарила ему на память свою фотографию с лаконичной надписью по-французски: «À Paul Chatiloff».

Летом 1900 года П. Н. Шатилов окончил Пажеский корпус первым в выпуске. По постановлению педагогического коллектива его имя было занесено на мраморную доску. Он был произведен в хорунжии Лейб-гвардии казачьего его величества полка, прослужил там три года, в совершенстве овладев всеми видами личного оружия. В его послужном списке значатся победы в состязаниях по фехтованию, по стрельбе из винтовки, из револьвера и на скачках.

Осенью 1903 года П. Н. Шатилов поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, однако его учеба на этот раз продолжалась недолго: начавшаяся русско-японская война побудила Павла Николаевича ходатайствовать о переводе в действующую армию. Просьба была удовлетворена. П. Н. Шатилов служил в отдельном дивизионе разведчиков полковника Дроздовского, состоявшем при командующем Маньчжурской армией генерале А. Н. Куропаткине. В одном из боев 1 июля 1904 года он был ранен в правую ногу, но эвакуироваться в тыл отказался. За участие в этой военной кампании был удостоен шести боевых орденов и произведен в чин подьесаула.

Совместное участие в боевых действиях сблизило двух молодых офицеров разведки с библейскими именами Петр и Павел — Петра Николаевича Врангеля и Павла Николаевича Шатилова. В штабе Маньчжурской армии, на который работали разведчики, в это время служил офицером для особых поручений подполковник Антон Иванович Деникин. Через четырнадцать лет всех троих снова соберет вместе Гражданская война.

После заключения Портсмутского мира П. Н. Шатилов вернулся в академию, окончил по первому разряду два основных класса (1907 г.) и дополнительный класс (1908 г.), затем шесть лет служил на Кавказе. Летом 1914 года с объявлением мобилизации он был «командирован в распоряжение начальника штаба Киевского военного округа для назначения на должность военного времени». Всю войну провел на фронте, проявив сочетание таланта командира с личной храбростью, был дважды ранен. Среди многочисленных наград Павла Николаевича за боевые заслуги во время Первой мировой войны были Георгиевское оружие и ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степеней. Приведу в качестве примера выписку из его послужного списка о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени за действия на Юго-западном фронте в самом начале Первой мировой войны:

Награжден орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. за то, что во время исполнения должности начальника штаба 8-й кавалерийской дивизии, когда на слабую знаменную сотню (30 казаков) и штаб дивизии, находившийся 28 октября 1914 г. в деревне Моравин, была направлена с тыла атака 2-х германских эскадронов, во главе собранной им конной части неустраслимым и смелым ударом холодного оружия, а также последующими действиями, вполне отвечающими выгодно сложившейся обстановке, выручил

сотню и штаб дивизии от чрезвычайно тяжелого положения и даже уничтожения. ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 9 июня 1915 г.

На снимке в бабушкином альбоме Павел Николаевич сфотографирован в генеральском мундире, с двумя Георгиевскими крестами — одним в петлице, другим на шее.

Теперь несколько слов о сестрах Юлии Павловны. В альбоме сохранились их фотографии. Сделаны они были еще в XIX веке, так что теперь этим снимкам более ста лет. Начну с Ольги, шестого ребенка в семье Шатиловых. Старше ее были три брата, о которых я уже рассказывал, и две сестры: Анна и Надежда. Ольга Павловна вышла замуж за генерала от инфантерии Семена Андреевича Фадеева. Семен Андреевич принимал участие в заключительном этапе Кавказской войны и в русско-турецкой войне 1877 — 1878 годов. Во время штурма крепости Карс отряд под командованием Семена Андреевича взял укрепление Карадаг, что в конечном счете определило успех всей операции. За личное мужество, проявленное в этом бою, он был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Его имя, как и имя Павла Николаевича Шатилова, выбито на стене Георгиевского зала Кремля. Спустя десять лет Семен Андреевич был назначен комендантом Карса. Именно при нем начинал свою службу в инженерном управлении крепости дедушка. Затем генерал Фадеев командовал 14-й пехотной дивизией, 2-м Кавказским армейским корпусом, был генерал-губернатором Баку. Ему было высочайше пожаловано звание почетного гражданина этого города. Умер он в 1909 году, похоронен в Тифлисе. Ольга Павловна пережила своего мужа на тридцать один год, после революции осталась на родине и умерла в Ленинграде в 1940 году.

Я начал рассказ о бабушкиных сестрах с Ольги Павловны потому, что ей принадлежит очень важная роль в истории семьи. В 1894 году она познакомилась с военным инженером Дмитрием Коронатовича Костомарова, служившего в Карсе под началом ее мужа, со своей младшей сестрой Юлией Павловной. Через год дедушка и бабушка поженились. Семьи сестер поддерживали между собой близкие отношения. Так, когда у бабушки с бабушкой родилась дочь Варвара, Семен Андреевич стал ее крестным отцом. В дальнейшем жизнь распорядилась так, что из десяти детей Павла Николаевича и Анны Францевны Шатиловых только у бабушки и Ольги Павловны сохранились прямые потомки в России. Мы поддерживаем между собой контакты вплоть до настоящего времени.

После Ольги в семье Шатиловых родились еще четыре дочери: Клавдия, моя бабушка Юлия, Наталья и Софья. Наталья Павловна вышла замуж за военного врача — доктора медицины Александра Семеновича Шишкова, служившего в батумском гарнизоне. В 1887 году у них родился сын Павел. В 1897 — 1899 годах семья Шишковых вместе с двумя незамужними сестрами Натальи Павловны Клавдией Павловной и Софьей Павловной отдыхала летом в селе Васькино недалеко от Мелихова. Там они познакомились с А. П. Чеховым. Чехов бывал у Шишковых в Васькине, подолгу беседовал с сестрами, особенно с Натальей Павловной, интересовался ее рассказами о среде военных, о быте военных гарнизонов, о положении молодой образованной женщины, которой приходится жить в провинции и иметь весьма ограниченный круг общения. Ее десятилетний сын часто бывал компаньоном Антона Павловича по рыбной ловле.

Встречи и беседы Чехова с Клавдией Павловной, Натальей Павловной и Софьей Павловной отразились в пьесе «Три сестры». Не берусь сравнивать характеры сестер Шатиловых и Прозоровых, однако внешних совпадений слишком много, чтобы это было чистой случайностью. По рассказам Клавдии Павловны, которая провела последние годы жизни в нашей семье, соседи по Васькину, привыкшие постоянно видеть моих двоюродных бабушек вместе, часто называли их «тремя сестрами». Антон Павлович знал об этом и сам неоднократно пользовался таким выражением. Далее, реальные сестры, как и

героини пьесы, — дочери генерала, которого уже нет в живых. В обоих случаях средние по возрасту сестры (Наталья Шишкова и Маша Прозорова) вышли замуж очень молодыми за мужчин значительно старше себя, а две другие сестры остались незамужними. Даже такая деталь, как разница в возрасте между старшей и младшей сестрой (Клавдией и Софьей в жизни, Ольгой и Ириной в пьесе), одинаковая — восемь лет. Наконец, муж Натальи Павловны был военным доктором, много лет прослужившим на Кавказе, как и персонаж пьесы Чебутыкин. Отец рассказывал, что у тети Наты (так он называл Наталью Павловну) была фотография Чехова с его автографом, содержащим слова благодарности. К сожалению, текста автографа он не помнил.

В дальнейшем сын Натальи Павловны Павел Александрович Шишков стал морским офицером. Октябрьский переворот застал его в командировке в Англии. Назад в Россию он не вернулся и остался в эмиграции. 3 ноября 1938 года он опубликовал в лондонской газете «The Listener» воспоминания «Я знал Чехова». В них он описывал свои детские впечатления о встречах членов его семьи с Антоном Павловичем в Мелихове и Васькине и отметил роль, которую сыграли эти встречи в создании пьесы «Три сестры». Ни мой отец, ни тем более я ничего не знали об этой публикации. Ее обнаружил уже в наше время литературовед В. А. Александров. Опираясь на воспоминания П. А. Шишкова, он провел исследование истории создания пьесы и опубликовал их результаты под заголовком «Тайна трех сестер» в журнале «Soviet life» за март 1991 года и в еженедельнике «Неделя» № 13 за 1992 год, где привел дополнительные аргументы в пользу изложенной выше версии. Не буду их пересказывать: я пишу не литературное исследование, а историю семьи. Ограничусь короткой цитатой из воспоминаний П. А. Шишкова:

Было интересно наблюдать за его беседами с моей матерью. Она всегда говорила о трудностях и заботах молодой образованной женщины, вынужденной жить в глуши, — а когда Чехов слабо сопротивлялся ей, то еще больше вызывал ее на откровенность. Я понимаю, что чувствовала мать, вернувшись с премьеры пьесы в Москве. Роль Маши, замужней сестры, конечно, напомнила ей ее собственную жизнь, а также беседы и споры с Чеховым. Остальные действующие лица также были узнаваемы. Прототипами их были офицеры гарнизона, которые часто посещали нас в Батуми. Просто удивительно, как много Чехов смог подметить в нашей жизни, когда мы вместе ловили рыбу или он прогуливался с моей матерью по лесу.

В бабушкином альбоме сохранились фотографии действующих лиц этой истории: Клавдии Павловны и Софьи Павловны Шатиловых, Натальи Павловны Шишковой, ее сына Павла Александровича. Чудом сохранился также сувенир — маленькая шкатулка тонкой работы с изображением сакуры на фоне священной горы Фудзиямы, которую Павел Александрович привез в подарок своей тете, а моей бабушке из Нагасаки. Он плавал туда в качестве морского офицера накануне Первой мировой войны.

Герарды

Моя прабабушка Анна Францевна, жена Павла Николаевича Шатилова-старшего, происходила из семьи обрусевших итальянцев. Ее предок — инженер Gheardini — прибыл в Россию при Петре I. Со временем длинная итальянская фамилия приобрела более короткую форму Герард. По правилам правописания того времени для мужчин она писалась с твердым знаком на конце. В отличие от Костомаровых и Шатиловых, многие Герарды служили в гражданских ведомствах. Так, мой прапрадедушка Франц Иванович, отец Анны Францевны, в момент вступления дочери в брак был статским советником, позднее дослужился до тайного. Однако наиболее известными представителями семейства Герардов являются два брата-юриста Владимир Николаевич и Николай Николаевич. Приведу посвященные им статьи из все того же «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона:

Герард Владимир Николаевич — один из самых известных русских адвокатов (1839 — 1903). Окончив курс наук в Императорском училище правоведения и прослужив несколько лет в Сенате и в Царстве Польском (в юридической комиссии, подготавливавшей введение там Судебных Уставов), был назначен в 1866 г. членом только что открытого с.-петербургского окружного суда. В 1868 г. поступил в присяжные поверенные округа с.-петербургской судебной палаты; в 1869 г. избран в члены совета присяжных поверенных, в котором с тех пор и заседал почти бессменно; был его товарищем председателя и председателем. Много работал в обществе защиты детей. Отличительная черта дарования Г., с особенною яркостью проявившегося в защите по делам уголовным, — задушевность и горячность, никогда не переходившая в фразерство. Его речь к присяжным часто имела характер живой, непринужденной и именно потому убедительной беседы.

Герард Николай Николаевич — русский государственный деятель, брат Владимира Николаевича Г. Род. в 1838 г. При введении в действие судебных уставов 1864 г. был избран мировым судьей в Петербурге и после О. И. Квиста был председателем петербургского мирового съезда, позднее — обер-прокурором 4 департамента Сената, старшим председателем варшавской судебной палаты, сенатором, в 1884 — 1886 гг. главноуправляющим учреждениями Императрицы Марии. В 1905 г. назначен генерал-губернатором Финляндии; управлял ею в примирительном духе; при нем введен в действие новый сеймовый устав 1906 г. Когда обострилась реакция, он должен был оставить этот пост (1908); ныне не присутствующий член Государственного совета.

Портрет Н. Н. Герарда можно видеть на знаменитой картине И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетия со дня его учреждения». Репродукцию с этой картины, как и репродукцию с этюда к ней, на котором изображены Николай Николаевич Герард и Иван Логгинович Горемыкин, я храню в своем архиве.

Последняя встреча

Перелистывая альбом, я подхожу наконец к месту, которое считаю кульминацией нашей семейной истории, — к фотографиям Виктора Дмитриевича, Варвары Дмитриевны и отца, сделанным летом 1917 года. Три фотоаппарата в руках трех разных фотографов запечатлели братьев и сестру в момент, когда каждый из них, закончив определенный этап жизненного пути, подводил итоги и строил планы на будущее. Они еще не знали, что их жизнь волею истории не будет иметь с этими планами ничего общего.

1 августа 1917 года Виктор Дмитриевич закончил Николаевское инженерное училище, в котором ранее учились его отец и дед. Ему присвоили офицерское звание и дали направление на Кавказский фронт, предоставив перед отъездом трехнедельный отпуск. Провожая сына на войну, бабушка попросила его сфотографироваться на память. Сын выполнил просьбу матери. Фотография в новой офицерской форме оказалась последним его снимком, сделанным в России.

Восемнадцатилетняя Варвара Дмитриевна в 1917 году закончила гимназию. Перед выпускным балом Юлия Павловна поехала с ней в фотоателье. Вчерашняя гимназистка, как и современные школьницы, не любила казенную форму. Она хотела сфотографироваться в новом платье, чтобы выглядеть взрослой. Однако бабушка оказалась мудрее: она знала, что платья в жизни ее дочери еще будут, а форма гимназистки не вернется никогда, и уговорила дочь надеть нелюбимую форму. Фотография получилась великолепной, фотограф сумел прекрасно передать обаяние молодости. На склоне лет тетя как-то призналась, что это ее любимая фотография. Сейчас я понимаю, что дело было не только в качестве снимка. В ней говорила ностальгия по самой счастливой поре жизни.

В 1916 году моему отцу исполнилось четырнадцать лет, наступил его черед начинать военную службу. Первоначально Дмитрий Коронатович предполагал, что младший сын начнет свое военное образование, как и его двоюродный брат, Павел Николаевич Шатилов, в 1-м Московском кадетском корпусе. Однако отец с ранних лет бредил морем и мечтал стать военным моряком по примеру другого двоюродного брата — Павла Александровича Шишкова.

Дмитрий Коронатович был постоянно занят делами службы, и на собственных детей у него оставалось мало времени. Их воспитанием и образованием занималась в основном Юлия Павловна. Поэтому просьба младшего сына отправить его на море, а не в Москву явилась для бабушки в известной степени неожиданной. Между ними состоялся серьезный мужской разговор. Дедушку поразило, как целеустремленно готовился его сын к военно-морской службе. Он прочитал массу книг, прекрасно знал историю морских сражений, достаточно грамотно для своего возраста разбирался во многих технических вопросах, связанных с устройством и вооружением военных кораблей. «Будь по-твоему, — сказал в конце разговора дедушка своему сыну, — поедешь к Колчаку». Так осенью 1916 года отец оказался в Севастополе в Морском кадетском корпусе. Командующим Черноморским флотом в то время был вице-адмирал Александр Васильевич Колчак.

К лету 1917 года мой отец успешно закончил первый год обучения и перед отъездом на каникулы сфотографировался в своей военно-морской форме, которой очень гордился. Его брюки отглажены, ботинки начищены, в правой руке белые перчатки, на ленточке бескозырки надпись «Кадетский корпус». Он хочет казаться взрослым, однако пухлые детские губы и щеки, которых еще не касалась бритва, выдают истинный возраст «морского волка». По нижнему полю фотографии сделана надпись красивой вязью: «Придворный фотограф М. Мазурь, Севастополь». Сейчас эта фотография лежит передо мной. Мы смотрим друг другу в глаза, пятнадцатилетний подросток и пожилой мужчина, и я невольно шепчу: «Держись, отец, впереди тебя ждет нелегкая жизнь». Но отец не слышит меня. Он горд своей принадлежностью к особой касте людей — к военным морякам.

В начале августа 1917 года благодаря счастливому стечению обстоятельств вся семья собралась в Петрограде. Бабушка и тетя Вава приехали проводить дядю Виктора на фронт. К ним, воспользовавшись каникулами в кадетском корпусе, присоединился мой отец. Незапланированным было лишь появление в Петрограде главы семьи Дмитрия Коронатовича. Временное правительство отозвало его с Кавказского фронта, чтобы отправить в Англию в качестве председателя комиссии по закупке оружия.

К сожалению, никому не пришло в голову пригласить всех в фотоателье и сделать общий семейный снимок. Какое важное место занимал бы он в альбоме!

Время общей встречи, которую судьба подарила семье Костомаровых, быстро подошло к концу: дедушка со своей комиссией уехал через Швецию в Англию. После этого Виктор Дмитриевич пригласил сестру и брата провести несколько оставшихся дней его отпуска в Финляндии на реке Вуоксе у водопада Иматра, выделив на эту экскурсию часть своего первого офицерского жалованья. Поездка прошла великолепно. Впоследствии отец и тетя Вава часто вспоминали счастливые дни, которые они провели вместе по инициативе старшего брата. Вернувшись из Финляндии в Петроград, Виктор Дмитриевич и отец попрощались с бабушкой, тетей Вавой и разъехались: один отправился на Кавказский фронт, другой — в Севастополь для продолжения учебы. Расставаясь, они не знали, что в это время недалеко от Петрограда в Разливе «вождь мирового пролетариата» пишет программную работу «Государство и революция» и что на переход от теории к практике ему потребуется всего два месяца.

«КТО ЖЕ МОГ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ?..»

Октябрьский переворот застал семью в «разобранном состоянии». Бабушка с тетей Вавой остались в Петрограде, а мужчины разъехались по разным адресам. В результате семья не имела возможности выработать общую стратегию поведения в изменившихся условиях. Каждый был вынужден принимать решения и действовать в одиночку.

Наиболее благосклонной судьба оказалась к моему отцу. Все произошло помимо его воли. В начале 1918 года Морской кадетский корпус был расформирован, а часть кадетов, включая отца, переведена в Петроград. Учение на новом месте также продолжалось недолго: вскоре расформировали и кадетский корпус в Петрограде. Дальше переводить кадетов было некуда, и их просто распустили по домам. Так отец, которому еще не исполнилось шестнадцати лет, получил возможность присоединиться к бабушке и тете Ваве. Думаю, что это спасло ему жизнь: он успел уехать из Севастополя до того, как на юге страны начались сложные процессы, связанные с оккупацией Украины и Крыма немцами, а потом с Гражданской войной. Правда, на карьере военного моряка, к которой он так стремился, был поставлен крест.

Дедушка в октябре 1917 года был в Лондоне. Советское правительство прекратило деятельность его комиссии и предложило ее членам вернуться домой. Однако в страну большевиков дедушка не поехал, а перебрался в Америку. Американский период его жизни продолжался недолго. Вырванный из привычной социальной среды, брошенный на чужбину, он умер от рака 10 февраля 1920 года в городе Бриджпорт штата Коннектикут в возрасте шестидесяти двух лет. Приведу короткую заметку, опубликованную по этому поводу в местной газете «The Bridgeport Evening Post» за 13 февраля 1920 года:

Русскому генералу отданы последние почести

Сегодня утром в присутствии большого числа представителей гражданской администрации и военных к месту упокоения на кладбище Lakeview было доставлено тело генерала Дмитрия Коронатовича Костомарова — начальника военной инспекции на заводе Ремингтона. Церемония похорон была совершена со всеми почестями, которые были приняты в России до революции. Процессия, сопровождаемая оркестром Уиллера и Вильсона, начала следование в девять пятнадцать от похоронной конторы Майкла Дж. Ганнона, расположенной в доме 315 на Джон-стрит. За катафалком следовали солдаты британской армии, которые несли на подушечках малинового цвета ордена, пожалованные покойному генералу русскими Монархами. Почетный эскорт состоял из солдат второй и четвертой рот Национальной гвардии под командованием капитана Ровэ. Среди присутствующих было много русских военных, приехавших из Нью-Йорка во главе с генералом Болдиным. Отпевание совершил отец А. Вениаминов — священник русской православной церкви.

В самом сложном положении оказался дядя Виктор Дмитриевич. В августе 1917 года он прибыл из Петрограда в Тифлис в штаб-квартиру Кавказского фронта и получил назначение в 1-й саперный батальон. Пока оформлялись документы, он провел несколько дней в знакомом доме на Борятинской улице в гостях у своего дяди Николая Павловича Шатилова. В Тифлисе в это время находился также его кузен Павел Николаевич Шатилов-младший. Он служил в штабе фронта.

Русские войска на Кавказском фронте к осени 1917 года в результате активных боевых действий захватили значительную часть турецкой территории. 1-й саперный батальон занимал позиции в окрестности города Эрзджан (Эрзинджан), расположенного в верховьях Евфрата, в ста пятидесяти километрах к югу от черноморского порта Трапезунд (ныне Трабзон). Воевал против турок дядя недолго. После октябрьского переворота боеспособная Кавказская армия оказалась брошенной на произвол судьбы. В этих условиях ее командование было вынуждено вступить в переговоры с противником и заключить соглашение о перемирии, согласно которому русская армия обязалась уйти с оккупи-

рованных турецких территорий, а турецкая армия — не вести боевых действий и не препятствовать ее отходу.

Стояла холодная зима с пронизывающими ветрами. Транспортных средств для эвакуации было мало. Каждая часть, каждая группа солдат и офицеров действовала на свой страх и риск. Дядя через Эрзерум добрался до Саракамыша. На следующий день наступило Рождество, и впервые за несколько месяцев он услышал звон церковных колоколов, а не призывный крик муэдзина с минарета мечети. Из Саракамыша через так хорошо знакомый Карс дядя добрался до Тифлиса, чтобы там в штабе фронта определить свою дальнейшую судьбу.

Между тем события развивались самым непредвиденным образом: Грузия провозгласила независимость, и в мае 1918 года Кавказская армия была объявлена демобилизованной. В результате дядя оказался в чужой стране с сомнительным статусом демобилизованного офицера несуществующей армии, без работы и без денег. В таком же положении был и его двоюродный брат Павел Николаевич Шатилов. За отказ перейти под командование грузинского начальства он даже был арестован, но вскоре отпущен. Чтобы обеспечить себя средствами на жизнь, Шатиловы были вынуждены продавать ковры из своего дома.

В сложившихся условиях единственным желанием дяди было вернуться в Петроград и найти там мать и сестру. Он узнал, что в Поти стоит пароход, который должен уйти в Севастополь. Дядя полагал, что добраться до дома из Севастополя будет легче, чем из Тифлиса. Кроме того, он надеялся найти там младшего брата — моего отца, о судьбе которого ничего не знал. Прибыв по железной дороге в Поти, он сел на пароход и оказался в Севастополе. Там дядя быстро убедился, что «хрен редьки не слаще». После подписания Брестского мира Украина и Крым были оккупированы немецкими войсками, Украина также была объявлена независимой. Брата в Севастополе дядя не застал, зато встретил двух знакомых офицеров, бежавших с севера. Они ему рассказали про ВЧК, про расстрелы офицеров и про другие «прелести» нового режима. Перед дядей встала проблема выбора: либо несмотря ни на что пробираться через оккупированную Украину на север, либо плыть по Азовскому морю туда, где собирались противники большевистского режима. Дядя выбрал второй путь. Все последующее от него уже не зависело. Из Севастополя он добрался до Екатеринодара и 1 августа 1918 года был зачислен в Добровольческую армию. Его направили в одно из саперных подразделений. Осенью 1918 года он был ранен. Прибыв с фронта на излечение в Екатеринодар, он встретил там своего двоюродного брата Павла Николаевича Шатилова, с которым расстался несколько месяцев назад в Тифлисе. В дальнейшем они старались не терять друг друга из вида.

Генерал Шатилов был одним из руководителей Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), поэтому сохранились достаточно подробные сведения о его участии в Гражданской войне (см., например: Рутыч Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. М., «Regnum» и «Российский архив», 1997, стр. 269, 270). Из Тифлиса через Владикавказ он добрался до Екатеринодара и 9 сентября 1918 года вступил в Добровольческую армию. Командовал 1-й конной дивизией, 4-м конным корпусом, 15 марта 1919 года был тяжело ранен, но через месяц снова вернулся в строй. В мае 1919 года главнокомандующий Вооруженными силами Юга России генерал Деникин присвоил ему за боевые отличия в боях под Манычем чин генерал-лейтенанта, а в июне назначил его начальником штаба Кавказской армии, действовавшей на Царицынском направлении. Командующим этой армией был генерал Врангель, хорошо знавший Шатилова со времени русско-японской войны. Свой дальнейший путь генералы прошли вместе вплоть до смерти Врангеля в 1928 году.

Поздней осенью 1919 года положение армии Деникина стало критическим. От былых успехов не осталось и следа. Среди офицеров росло недоволь-

ство. Врангель считал причиной многих неудач ошибочные, по его мнению, решения Деникина. Шатилов поддерживал в этом споре своего непосредственного командира. Возник острый конфликт, который привел в конце концов к полному разрыву Деникина с Врангелем и Шатиловым. События развивались следующим образом. 26 ноября 1919 года Деникин снял с должности командующего Добровольческой армией проявившего полную несостоятельность генерала Май-Маевского. Новым командующим армией был назначен Врангель, начальником штаба — Шатилов. Однако уже 20 декабря Добровольческая армия была реорганизована в Отдельный Добровольческий корпус. Корпус возглавил генерал Кутепов, Кутеп-Паша, как его звали подчиненные. При этом Врангель и Шатилов были освобождены от своих должностей в связи с их упразднением и переведены в резерв. В течение полутора месяцев они были не у дел, а 8 февраля 1920 года Деникин уволил обоих в отставку и предложил им покинуть Россию. Врангель и Шатилов были вынуждены уехать в Константинополь. Однако положение Белой армии не изменилось к лучшему, и через полтора месяца Деникин под давлением офицерского корпуса был вынужден поставить вопрос о своей отставке с поста главнокомандующего. 22 марта 1920 года в Севастополе под председательством генерала Драгомирова состоялось заседание Военного совета, для участия в котором из Константинополя в Крым были срочно вызваны опальные генералы Врангель и Шатилов. Совет принял отставку Деникина и единогласно избрал его преемником генерала Врангеля. Последний назначил Шатилова своим помощником.

Новому главнокомандующему относительно повезло: война Советской России с Польшей привела к тому, что основные силы Красной Армии были переброшены с южного фронта на западный. Врангель получил передышку, во время которой собрал в Крыму разрозненные остатки деникинских частей и сформировал из них достаточно боеспособную армию, получившую название Русской. Генерал Шатилов занял в ней должность начальника штаба. Русская армия вышла за пределы Крыма на север и провела ряд успешных наступательных операций. Однако после того, как 29 сентября (12 октября) 1920 года в советско-польской войне было заключено перемирие, ситуация резко изменилась. Части Красной Армии, освободившиеся на западе, вернулись на южный фронт и создали трехкратное превосходство сил. Понимая, что исход борьбы предрешен, Врангель отдал Шатилову секретный приказ начать подготовку к эвакуации. За короткий срок удалось собрать более ста судов, загрузить их продовольствием и доставленным из Константинополя углем, разработать подробный план погрузки людей.

...Последние транспорты с людьми, прикрывавшими отход, покинули Севастополь 2 (15) ноября, Керчь — 3 (16) ноября. Всего за время «великого исхода» из Крыма было вывезено 145 тысяч человек. Среди них находились Виктор Дмитриевич Костомаров, Павел Николаевич Шатилов, его мать Мария Петровна и жена Софья Федоровна.

Разделенная семья

После эвакуации из Севастополя Виктор Дмитриевич попал в лагерь врангелевцев сначала в Турции, против которой еще недавно воевал, потом в Югославии. Здесь он узнал о смерти в Америке своего отца. Эту печальную новость ему сообщил из Лондона двоюродный брат Павел Александрович Шишков, сын Натальи Павловны Шишковой, о которой я рассказывал в связи с историей создания пьесы «Три сестры». Жизнь в лагере позволяла как-то существовать, но не имела будущего. Дядя понял это и решил уехать в Париж. Он прибыл в столицу Франции в ноябре 1921 года без гражданской специальности и практически без денег. Хорошо было уже то, что он свободно владел французским языком. В 24 года жизнь приходилось начинать заново. Соглашаясь на любую работу, дядя настойчиво учился. Диплом инженера изменил его социальный статус: он смог получить интересную и хо-

рошо оплачиваемую работу. В 1923 году в Париж из Югославии перебрался также Павел Николаевич Шатилов со своими матерью и женой.

Однако вернемся назад в Россию. В первые годы после окончания Гражданской войны, пока еще за границу выпускали, у бабушки с детьми была возможность уехать. Однако они перебрались в Москву и остались на родине. Вскоре тетя Вава вышла замуж. Ее мужем стал Борис Николаевич Скворцов, потомственный дворянин, офицер царской армии, участник Первой мировой войны. Во время Гражданской войны он сражался на стороне красных. (Меня всегда поражала мысль, что муж и старший брат тети Вавы воевали друг против друга по разные стороны баррикад.) После окончания войны Борис Николаевич остался служить в Красной Армии, стал полковником. В 1924 году в их семье родилась дочь Нина.

Между тем бабушка настойчиво искала сведения о своем муже и старшем сыне. В конце концов через знакомых она узнала, что сын живет в Париже, достала его адрес и вступила с ним в переписку. Виктор Дмитриевич сообщил ей обстоятельства смерти Дмитрия Коронатовича и прислал фотографию его могилы на кладбище Lakeview в американском городе Бриджпорт. Это любительский снимок низкого качества, выцветший от времени. Сверху на могильном камне можно разглядеть православный крест. Под ним какая-то надпись, прочесть которую невозможно. Нашел и сфотографировал могилу дедушки Павел Александрович Шишков во время служебной поездки из Англии в Америку.

1927 год ознаменовался двумя важными событиями в жизни семьи. В июле в Париже состоялась свадьба: дядя Виктор Дмитриевич женился на молодой французской девушке с красивым именем Дениза. Их брак вызвал определенное неудовольствие русской общины, в которой было много потенциальных невест. В семье Денизы брак с русским эмигрантом также был встречен настроенно. Однако все это не смутило молодоженов и не помешало их семейному счастью. Через пять месяцев после парижской свадьбы в Москве состоялась свадьба моих родителей.

В 1928 и 1930 годах в семье дяди родились две дочери — Жизель и Элен. Не знаю, как было выбрано имя старшей дочери, но имя Элен — Елена — предложила бабушка, поскольку оно является одновременно католическим и православным. В 1929 и 1931 годах в семье моих родителей появились два сына. Меня назвали в честь дедушки Дмитрием, брата — Вячеславом. Бабушка и мама без лишнего шума крестили нас в известной церкви Покрова в Филях, которая находилась в пяти минутах ходьбы от нашего дома. В бабушкином фотоальбоме появились фотографии ее французских внуков, которые прислал ей из Парижа Виктор Дмитриевич. В ответ бабушка отправила в Париж специально сделанные по этому случаю фотографии своих московских внуков.

Отец в то время работал инженером на большом авиационном заводе, построенном в излучине Москвы-реки в Филях. Позднее этот завод стали называть — по фамилии директора, погибшего в авиакатастрофе, — заводом имени Горбунова. Впоследствии завод был переименован в завод имени Хруничева, но имя Горбунова все же не кануло в Лету, сохранившись в названии Дома культуры, которое позднее превратилось в известный московский топоним «Горбушка».

Родители после свадьбы жили там же, в Филях, снимая комнату в деревенском доме. В нем прошли первые месяцы моей жизни. Сейчас ни дома, ни деревни давно уже нет. Нет и речушки Фильки, на которой стояла деревня: Фильку убрали в трубу и по этому месту прошла трасса метро.

В конце 1929 года отец получил в одном из домов, построенных заводом для своих сотрудников, двухкомнатную квартиру. В ней вместе с нами поселились бабушка и ее сестра Клавдия Павловна, послужившая, как я уже рассказывал, А. П. Чехову прообразом Ольги Прозоровой. Работали папа и мама, бабушка получала небольшую пенсию. Кроме того, она получала денежные пе-

реводы от сына из Парижа, которые давали ей возможность покупать продукты в магазинах Торгсина. Я до сих пор помню конфеты, которые она привозила оттуда брату и мне...

В 1932 году в газете «Правда» появился фельетон Михаила Кольцова «В норе у зверя», посвященный генералу П. Н. Шатилову и его деятельности в Русском Обще-Воинском Союзе, созданном в 1924 году генералом Врангелем. Шатилов возглавлял в нем большой отдел, курировавший работу с эмигрантами во многих странах Европы, а также в Египте, Сирии и Палестине. Кольцов описывает, как он с коллегой-французом, выдавая себя за французского журналиста, посетил РОВС и взял интервью у генерала Шатилова. Это вызывает большие сомнения: сотрудники РОВС прекрасно знали про огромный интерес к ним со стороны агентов НКВД и были предельно внимательны к незнакомым визитерам с улицы, особенно тем, которые выдавали себя за французов, но говорили с русским акцентом. Поэтому оставим сказочку про интервью на совести Кольцова, просто посмотрим на моего двоюродного дядю глазами враждебно настроенного по отношению к нему корреспондента газеты «Правда»:

Из боковой двери выходит еще не старый мужчина с длинной кавалерийской талией. Он оправляет на ходу пиджак. И предупредительно улыбается двум приподнявшимся со стульев французским журналистам:

— Месье... Ву дезире?..

Он проводит в свой кабинет: небольшая комната с грязноватыми обоями. Он усаживает у стола. И слушает наши вступительные французские любезности, и отвечает, пылливо смотрит, и я тоже смотрю полуприкрытыми глазами — так вот какой вы, ваше превосходительство Павел Николаевич Шатилов! Вот куда вас занесло!

Тетя Вава и отец очень опасались, что фельетон в «Правде» про их двоюродного брата может ударить по ним, однако все обошлось.

Относительно размеренная и спокойная в моих детских воспоминаниях жизнь подошла к печальным событиям 1935 — 1936 годов. Началось все с попытки дяди Виктора пригласить бабушку к себе в гости в Париж. Приглашение пришло весной 1935 года. Бабушка обратилась за разрешением на выезд. Разрешение было дано, однако без права вернуться. Пожилую женщину поставили перед необходимостью выбирать между своими детьми. Бабушка отказалась от поездки на таких условиях, однако с этого времени ушла в себя, потеряла всякий интерес к жизни, вскоре заболела туберкулезом в открытой форме, слегла и больше уже не встала.

Незадолго до смерти, наступившей 23 февраля 1936 года, она написала Виктору Дмитриевичу последнее письмо:

Бесценный мой Виктор, хочу написать тебе, пока я еще не окончательно ослабела, последнее письмо. Я лежу пластом, а если встаю по разным делам, качаюсь во все стороны. Прощай, мой ненаглядный, желаю тебе, дорогой Денизе и деткам счастья на долгие годы. Вы такие хорошие родители, детки у вас такие чудесные, что счастье должно сопровождать вашу жизнь.

О моей смерти тебя уведомят. Целую тебя, мой бесценный, бессчетное число раз, дорогую Денизу, которую я оценила и полюбила, и моих родных прелестных внушек.

Мама.

Я так страдаю физически и морально, что с нетерпением жду смерти как избавления.

Бабушка была внучкой, дочкой, женой, невесткой, племянницей, сестрой и тетей семи российских генералов. Их лампасы, аксельбанты, позументы, эполеты остались в далеком прошлом. Теперь ее прах увозили на кладбище скорбные дроги. За ними следовала траурная процессия, состоявшая из трех человек: тети Вавы, отца и матери. Им предстоял долгий путь через всю Москву от Филей до Донского кладбища. Бабушкина сестра Клавдия Павловна

была слишком стара, а мы с братом слишком малы, чтобы его осилить, и нас оставили дома.

После смерти бабушки Клавдия Павловна отправила Виктору Дмитриевичу в Париж письмо, в котором сообщила ему о смерти матери и попросила без объяснения причин прекратить переписку. Она также уничтожила оставшийся после бабушки архив, включая письма Виктора Дмитриевича. Кто в те годы не боялся репрессий, пусть первым бросит камень. Отец сохранил лишь фотоальбом, с которого я начал рассказ. Как благодарить его сегодня за то, что в годы сталинского террора он пошел на смертельный риск и оставил в своем доме фотографии предков во всем великолепии их генеральских мундиров...

Я не знаю, какие выводы сделал дядя после того, как бабушка не смогла приехать к нему в гости, и не берусь судить о том, какой информацией он обладал о положении дел в Советском Союзе, о ситуации в семьях отца и тети. Но я понимаю, что известие о смерти матери и прекращение связи с братом и сестрой было для него тяжелым ударом. Последняя ниточка, связывающая его с родиной, оборвалась.

Чтобы закончить описание событий 1936 года, приведу письмо к моим родителям Александры Коронатовны Костомаровой, последней оставшейся в живых к тому времени сестры дедушки Дмитрия Коронатовича:

Дорогие Павлик и Людмила Ивановна,

Очень благодарю Вас за посылку, которую я только что получила, и опять повторяю просьбу и прошу Вас или Вавочку с Борисом Николаевичем взять меня в качестве домработницы. Это мое скрытое *emploi*. Я не хотела разбалтывать об этом направо и налево. Моя сестра Анна Коронатовна была за хозяйку, сестра Ольга Коронатовна — истопник, а мать готовила кушанье и ходила за провизией на рынок, каждый день сама. Только последнее время при сестре у нас жила прислуга. Во время «голода» это все исчезло, готовить было нечего, и прислуги не было. Сейчас я живу на остаток денег, полученных за рояль, а потом за неплатеж квартплаты меня выставят со всем скарбом на лестницу. Перспектива незаманчивая, деться мне некуда, в убежище же берут только тех, у кого нет родни; если же берут родные к себе на жительство, то тогда, как я слышала, ей дают пенсию.

Буду ждать вашего ответа.

А. Костомарова.

27 мая 1936 г.

г. Ленинград, 28.

Ул. Войнова, 32, кв. 12.

Так доживала свои дни в Ленинграде дочь генерала Короната Филипповича Костомарова, строившего для этого города Исаакиевский собор. Александру Коронатовну не выгнали за неплатежи квартплаты со всем скарбом на лестницу. Ей «повезло» — она умерла. Вскоре после этого весной 1937 года умерла проживавшая с нами в Филях Клавдия Павловна Шатилова.

На этом, собственно говоря, закончилась история семьи дедушки и бабушки. Старшее поколение ушло из жизни, следующее поколение создало свои семьи, разделенные той непреодолимой преградой, которую через десять лет Черчилль в своей известной речи в Фултоне назовет «железным занавесом».

Эпилог

Наступил 1937 год. Были арестованы несколько хороших знакомых отца, которые часто бывали у нас в доме. С ними отец иногда проводил досуг: играл в теннис, ездил на охоту, отмечал праздники. Помню как-то, когда я пришел из школы, взволнованная мама мне сказала: «Дима, что бы ни случилось с папой, что бы тебе о нем ни говорили, запомни одно: он самый честный и самый прекрасный человек на свете». Я очень любил отца, я был согласен с тем, что он лучший человек на свете, но я не понимал, что ему может угрожать.

Однажды ночью на лестнице послышались тяжелые шаги кованых сапог и громкие голоса. Отец стал судорожно одеваться, мать накинула халат и зажгла свет, который разбудил меня. Брат продолжал спокойно спать. Родители обменивались короткими фразами. Одну реплику отца я запомнил на всю жизнь: «Можешь делать все, что считаешь нужным, только спаси детей». Шум за дверью усилился, но в дверь никто не стучал. Скоро я уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что родители так и не ложились спать. Они сидели в другой комнате на диване и тихо разговаривали. Утром мы узнали, что той ночью арестовали нашего соседа, милейшего человека, немца по национальности, из которого позднее выбили признание, что он — «немецкий шпион».

Весной 1940 года, после войны с Финляндией, у отца возникли новые осложнения на работе: после очередного заполнения анкеты его лишили допуска к секретным документам. Отец ожидал ареста, однако и на этот раз судьба была к нему благосклонна: его просто уволили с завода, поскольку вся техническая документация там была секретной. Недоверие к нему, как и недоверие к соседу-немцу, вполне соответствовало духу времени. Удивляет другое. Соседа арестовали и объявили «немецким шпионом», отца же «только» лишили допуска, уволили с завода, но «белофинским шпионом» не объявили. Сегодня я не знаю, какой ангел-хранитель уберег от репрессий в то страшное время отца — потомственного дворянина, сына генерала, брата белого офицера, человека, имевшего «неосторожность» родиться в Финляндии.

Увольнение отца с завода при всей своей «гуманности» по сравнению с другими возможными решениями создало для нашей семьи большие трудности. Дело в том, что квартира, в которой мы прожили более десяти лет, была ведомственной, и теперь ее следовало освободить. После напряженных полугодовых поисков отцу удалось устроиться главным инженером на фабрику с громким названием «Производственный комбинат», на котором шили постельное белье для спальных вагонов и делали дешевую железную посуду для рабочих столовых. Располагался он на станции Левобережная Октябрьской железной дороги, в шести километрах от границы города того времени. Производственный комбинат имел три небольших жилых дома, в одном из которых отец и получил квартиру, состоявшую из двух комнат и кухни. В доме не было никаких удобств, кроме электричества, туалет находился во дворе, за водой нужно было ходить с ведрами на колонку, обогревалась квартира печкой, которую топили дровами.

1 июня 1941 года в воскресенье, за три недели до начала войны, родители решили устроить нечто вроде новоселья. Они пригласили на Левобережную тетю Ваву и ее дочь Нину. Вечером, когда мы всей семьей пошли провожать гостей на станцию, отец и тетя Вава вспоминали Виктора Дмитриевича, о котором вот уже пять лет не имели никаких сведений. Тогда они не могли знать, что тремя днями раньше в его семье в оккупированном немцами Париже родилась третья дочь, которую называли Женеьевой. Именно ей, самой младшей из нас, выпала особая миссия в истории семьи — восстановить контакты между Москвой и Парижем. Произошло это почти через сорок лет после того, как из Москвы в Париж ушло последнее письмо, извещавшее Виктора Дмитриевича о смерти матери: в конце 1975 года Женеьеву, хорошо знающую русский язык, ее фирма послала в Москву на выставку «Нефтегазэкспо». Женеьева нашла самый простой путь поиска родственников: она обратилась в уличное справочное бюро и за двадцать копеек получила наши домашние адреса. К сожалению, самого Виктора Дмитриевича в это время уже не было в живых: он умер в Париже в 1971 году.

Встреча с Женеьевой имела для отца и тети Вавы очень важное значение. В конце жизни они узнали о судьбе брата, о событиях, которые произошли в Париже после 1936 года. Самым сложным временем, естественно, оказалось время немецкой оккупации. Генерал П. Н. Шатилов был арестован второй раз в жизни за то же «преступление», что и в 1918 году в Тифлисе, — за отказ со-

трудничать с «новыми» властями. В этот раз он отказался помогать немцам в их войне против своей родины. Немцы продержали его несколько месяцев в тюрьме в городе Компьен под Парижем, но потом выпустили. Умер Павел Николаевич в 1962 году, похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Газета «Русская мысль» опубликовала в номере за 10 мая 1962 года некролог и большую статью, посвященную памяти генерала.

Виктор Дмитриевич всю войну жил и работал в Париже. Дениза с детьми в самый критический момент военных действий и последовавшей за тем капитуляции Франции находилась у родственников в Нормандии. Там обстановка была более спокойной. Время от времени она навещала мужа в Париже, а затем решила окончательно вернуться домой вместе с детьми. Здесь в Париже она родила третью дочь — Женевьеву. После войны жизнь довольно быстро вошла в нормальное русло. Дениза пережила мужа на двадцать пять лет. Она умерла в 1996 году в возрасте девяноста лет.

Всю вторую половину жизни Виктор Дмитриевич не имел никаких сведений о нашей судьбе. Потрясения Второй мировой войны, критические публикации во французской печати о положении в Советском Союзе не внушали оптимизма. Неизвестность угнетала его так же, как она угнетала отца и тетю Ваву. Перед смертью, не очень надеясь на успех, он все же просил дочерей предпринять шаги для поиска родственников в Советском Союзе. Женевьеве удалось выполнить просьбу отца.

Теперь несколько слов о последнем периоде жизни старшего поколения в нашей стране. Он пришелся на годы, которые мы сегодня называем «застойными». Думаю, что для людей, на долю которых выпало столько потрясений (1917 год, Гражданская война, сталинский террор, Великая Отечественная война), этот период жизни был не худшим. У них была «стол и дом». Они выполнили свой долг перед следующими поколениями: вырастили детей и дождалась внуков. После стольких лет стресса они ложились спать спокойно, не опасаясь «ночных визитеров». Умер отец в 1976 году, через полгода после визита в Москву Женевьевы.

В девяностые годы, когда рухнул «железный занавес», у нас появилась возможность встречаться. Кузины дважды побывали в Москве, съездили в Санкт-Петербург, где прошли юношеские годы их отца. Мы посетили Париж. То, что не удалось бабушке и ее детям, осуществили внуки. Сейчас кроме бабушкиного альбома существует новый альбом с современными цветными фотографиями. Там можно найти фотографии кузин на Красной площади, на Арбате, на Костомаровском мосту и наши фотографии у подножья Эйфелевой башни, на Монмартре, на Елисейских полях.

Кузины оказали мне большую помощь в работе над этими заметками. Житель перевела с французского языка воспоминания своего отца, охватывающие самый драматический период его жизни с 1913 по 1921 год, и написала продолжение. Женевьева выполнила технически сложную работу по ксерокопированию писем бабушки к Виктору Дмитриевичу (за прошедшие десятилетия они очень сильно выцвели, и их стало трудно читать). Наконец, я получил от кузин газету «The Bridgeport Evening Post» со статьей о похоронах дедушки, газету «Русская мысль» с некрологом и статьей, посвященной памяти генерала П. Н. Шатилова, ряд других материалов. Все это я использовал в своей работе.

...В 1996 году во время визита кузин в Москву с ними приехал Оливье, сын средней сестры Элен. Оливье живет в Канаде. Я попросил его съездить в Бриджпорт и поискать сведения о дедушке. Оливье выполнил мою просьбу. Он нашел старый коттедж, в котором жил дедушка, и его могилу на городском кладбище. Ему также удалось получить копию свидетельства о смерти дедушки. После Оливье на могиле дедушки побывали сначала кузины, а потом и я. Мне удалось попасть в Бриджпорт в 1998 году. Старое кладбище и дедушкина могила на нем оказались в прекрасном состоянии. Я сделал несколько

фотографий, запечатлев надпись на памятнике, которую было невозможно прочесть на фотографии Павла Александровича Шишкова из бабушкиного альбома. Она гласит:

ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ДМИТРИЙ КОРОНАТОВИЧ
КОСТОМАРОВ
1858 — 1920

Год рождения дедушки указан неверно: он родился 15 октября 1857 года. Но разве можно в чем-то упрекнуть тех неизвестных мне людей, которые проводили дедушку в последний путь и воздали подобающие ему военные почести? Я благодарен всем, кто в течение семидесяти восьми лет содержал в идеальном порядке городское кладбище и ухаживал за дорогой всем нам могилой.

Мир праху твоему, дедушка.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ



ИЗ КНИГИ «МЕГАБИТОВАЯ БОМБА»

Польский писатель Станислав Лем не нуждается в специальном представлении. И хорошо — потому что краткая биографическая справка записана на второй фразе. Родился в 1921 году, живет в Кракове... А дальше? Известный фантаст? Но Лем — и автор вполне реалистических произведений, автобиографической прозы, детективов. А главное даже не это. Многие из его фантастических вещей — прежде всего, конечно, знаменитый «Солярис» — по значимости своей и объему смыслов уже не умещаются в достаточно узкие жанровые рамки science fiction. Они стали явлением «большой» литературы XX века.

Уже с середины пятидесятых годов Станислав Лем выступает и как философ, культуролог, футуролог, литературовед (в «Новом мире», 1970, № 6 печаталась его статья «Мифотворчество Томаса Манна»). После 1985 года он не создает заметных прозаических произведений: отдельные рассказы появляются в самых разнообразных изданиях (вплоть до «Плейбоя»), однако скорее всего это тексты «из запасников», написанные, возможно, достаточно давно. Зато Лем весьма активно работает в жанре газетно-журнальной публицистики культурологически-цивилизационного характера, и сборники его эссе выходят в Польше регулярно: «Милые времена» (1995), «Тайна китайской комнаты» (1996), «Пятна на солнце» (1997).

Последняя книга Станислава Лема — «Мегабитовая бомба» (1999) — объединила эссе писателя, посвященные проблемам информатики и компьютерных технологий и печатавшиеся в польском варианте журнала «РС» («Персональный компьютер»).

Отметим от себя, что, при общем критическом взгляде на «окомпьютеривание» жизни, Лем пишет здесь в манере «размышления по ходу письма», своего рода «безоглядную» эссеистику, — а подобный стиль процветает сегодня прежде всего именно в Интернете.

На перепутьях информатики

1

То, что я собираюсь сжато изложить, — это заметки критического характера, сделанные мной по поводу статьи французского исследователя Филиппа Бретона, сотрудника Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)¹. Статья появилась в одном из последних номеров научно-популярного ежемесячника «Science et Vie» за 1996 год и озаглавлена «Коммуникация между Добром и Злом». Ученый сначала перечисляет чисто технологические направления, наметившиеся ныне в развитии сетевой и компьютерной информатики, а именно (как и я в уже далеком прошлом, он ссылается на выступление 1948 года доминиканца Дюбарле «Винеровская машина для управления страной» в газете «Le Mond») — представляет, с одной стороны, машины для обработки данных, «электронным отцом» которых полвека назад был ENIAC²

¹ Национального центра научных исследований (франц.).

² Electronic Numerical Integrator and Computer — электронно-цифровой интегратор и вычислитель (англ.). Последнее слово этого названия и дало общее имя всем будущим поколениям электронных устройств — компьютеров. ENIAC был построен по заказу Министерства обороны США для расчета баллистических таблиц. Постройка его обошлась в 450 000 долларов. Он весил 30 тонн и занимал комнату размером 9 на 15 метров. Его 17 468 электрон-

(и более скоростные компьютеры, «пережевывающие терабайтовые объемы данных»), а с другой — микрокомпьютеры, частично ведущие свое начало от «лаптопов», ныне столь ограниченных в «своем локализованном присутствии», что пользователю, собственно говоря, мало что остается помимо клавиатуры, собственно же работа обеспечивается межкомпьютерной сетью через ее «электронейроновые» узлы (серверы, процессоры, оперативные программы вызова и т. д.). Таковы «информационные крайности»: либо машины, приватизирующие централизованные данные и занятые их обработкой, либо дисперсные («рассеивающие») устройства, каналами для которых становятся сети.

2

Из этого развернутого им несколько шире чисто технического описания Бретон делает вывод о «распутье» БУДУЩИХ возможностей, которые носят не только идеологический, экономический, но даже ПОЛИТИЧЕСКИЙ характер, как направленные (в его понимании) к радикальному изменению всего окружающего человека мира. Намереваясь представить такое его видение, я уже заранее хочу отметить, что ни одна из крайностей, им прогнозируемых, по-моему, не реализуется, ибо (хотя и не только поэтому) «вооружение» или, вернее, «техническое оснащение», необходимое для исключения другого экстремального варианта (альтернативы), не способно стать собственностью всех существ, населяющих землю (или проще — человечества). Ведь цивилизационный «процесс», как принято было его называть, все больше замедлялся по мере ускорения технокоммуникационных достижений, и думать, что китайцы, индусы, бедуины и остальная часть третьего мира вообще смогут физически войти в раскрывающееся (если следовать Бретону) информационное пространство, — это утопия или антиутопия, что одно и то же. Ни крайнее «Зло» Бретона, ни его «Добро» не осуществляются по тривиальной причине: каких-нибудь три четверти всего человечества не пойдет на то, чтобы остановиться на названном инфраспутье и последовать дальше по одному из путей, которые, как представляется, друг друга взаимоисключают.

3

Зачарованность Бретона этим «распутьем» — следствие того, что сам он, находясь в гуще компьютерно-сетевой проблематики, наблюдая стремительную экспансию Интернета и других сетей, их с самого начала спонтанную «самоорганизацию» или расширение, направляемые при этом весьма заинтересованным Капиталом, попадает в издавна известный грех узкого утопического мышления. Подобно тем, кто более столетия, при каждой очередной технической революции, верил то в «авиационное», то в «паровое» будущее всей Земли, вплоть до «космонавтического». Тем самым в одной разновидности деяний вспомогательного характера видели грядущее всего мира, определенным образом «все свои надежды и опасения» связывая с неким единым полем глобальной футурологической рулетки, и раз за разом ошибались, ибо не существует и не может существовать ни «единого поля», ни «единого пути» для всего человечества. Тем не менее стоит поговорить о предсказанной социополитической «идеологизации» потенциалов информатики.

ных ламп потребляли мощность 174 киловатта. Впервые возможности ENIAC были продемонстрированы на пресс-конференции 1 февраля 1946 года: 5000 сложений в секунду, 50 умножений в секунду, вычисление квадратных и кубических корней, синусов и косинусов. Оперативная память ENIAC могла вместить 320 чисел. (Примеч. ред.)

4

Итак, с одной стороны, у нас своего рода АНАРХИЯ: тотальное распространение потенциальной связи «всех со всеми», вбирающее в себя образование, экономику, медицину, вместе с «ценностными противоречиями» (которые могли бы носить характер «межцивилизационных столкновений», прогнозируемых в книге Сэмьюэла Хантингтона, директора Института стратегических исследований США). Или уравнивание «всех равных» благодаря интеркоммуникации, вплоть до устранения всякого рода центральных властей, правительств, эрозии моно- или олигополий, «размазывание» концентрации государственного или индустриального могущества, пока наконец планета не предстанет полностью «осетвленной», компьютеризированной, а индивиды — пребывающими в «узлах» и «ячейках» сети как в коконах, живущими одновременно совместно и порознь. Это потому, что любой может ощущать присутствие КАЖДОГО или КАЖДОЙ — и так повсюду. В итоге подобной версии развития наступает отмирание «подлинной действительности» как оппозиции к «виртуальной реальности», поскольку одна тем самым становится как бы другой. Короче говоря, исчезает различие между Реальным и Виртуальным, Натуральным и Искусственным — и это должен быть один-единственный выход на распутье.

5

В то время как такой выход представляется «суперлиберальным», граничащим с анархизмом, альтернативный выглядит совершенно иначе. В общих чертах — снова вместо уравнивания мы стремимся к иерархической централизации, вместо погружения в глобальную анархию устремляемся к «ИНФОМОЛОХУ», который, в результате того что с его помощью можно контролировать связь всех со всеми, начинает господствовать уже не только в информационном плане — как ультрапочтальон-посыльный и датчик всех чувств, но в конечном итоге становится властелином, демиургом, так как способен контролировать даже геномы, решать, какие именно люди еще только должны родиться.

В результате этот путь ведет к тому, что делает возможным пришествие оруэлловского «Big Brother»³ — Хозяина Планеты, вездесущего и всепроникающего Соглядата, Слушача, Диспетчера, Надзирателя, хотя он не обязательно явится воплощением «самого ЗЛА» — скорее уж французский исследователь для некой упрощающей наглядности так его раскрасил, словно дьявола на стене.

Итак, пред нами следующая картина: либо «общество всеобщей коммуникации», где (поскольку все потенциально получают к ней доступ, все равны) удивительным образом реализуются мечты Норберта Винера из его книги «Human Use of Human Beings»⁴, напоминающие анархические теории Бакунина, — мечты о «саморегулирующемся» обществе, избавленном от государственности, раздробленном на мелкие, более «социокомпатибельные» группы, связанные сетью глобальной коммуникации. Либо наоборот: централизованная власть в качестве «всеведущей» все и обо всех. Это в общих чертах.

6

В обеих противоположных версиях суть дела кажется мне одинаково неправдоподобной не только по причине замечания (о «неготовности» всех ныне живущих обитателей Земли), которым я предварил эту двусоставную гипотезу. Истина в том, что история современных сетевых технологий — это результат конфликтов и союзов, возникающих между названными направлениями (дис-

³ Большого Брата (англ.).

⁴ На русском языке издавалась под названием «Кибернетика и общество» (М., Издательство иностранной литературы, 1958).

персия против концентрации). Большие «пракомпьютеры» рождались на протяжении полувека, подгоняемые антагонизмом «холодной войны»; тенденции к односторонней гегемонии были одинаково желанными и для центров милитаристских давлений, и для Крупного Частного Капитала (которому как производителю вооружения не требовалось оставаться частным). Это была эпоха Пентагона, сотрудничавшего с «International Business Machines». Реакцией на такие тенденции стало появление «микроинформатики», устремленной даже к не существующей еще НАНОИНФОРМАТИКЕ. Этот феномен был «нежеланным ребенком» «холодной войны»: сеть задумывалась как система связи, которая, не имея единого Центра, выдержит атомный удар; ибо если нет головы, то враг в нее и не попадет, и не уничтожит... Но «анархистский потенциал» здесь присутствовал в самом замысле. Ныне очевидно, что Интернет отнюдь не склонен поддаваться любым попыткам надзора или даже цензуры. Он должен противиться им по самой своей сущности — что успешно и делает, а «анархисты информатики» на таком сопротивлении строят свои концепции. Билл Гейтс в свою очередь хотел бы, чтобы информация — самая разная — превращалась прежде всего в ТОВАР. Такая коммерциализация принесла ему миллиардное состояние — но подобное обогащение уделом всех обитателей планеты, разумеется, стать НЕ МОЖЕТ. Следует обратить внимание, что управление людскими умами и их обработка через информацию, собственно, уже в действии — следовательно, возможно и такое явление, как «всеохватывающая пропаганда».

Следует также учесть, что в даровой общедоступности информации капитал, несомненно, не заинтересован, и в мире сейчас имеет место тенденция «отоваривания» информационных ресурсов человечества. Но надо помнить, что помимо поставщиков информации людям нужны «поставщики» продуктов, энергии, средств производства, сырья, то есть материалов, необходимых для завоевания планеты и ее околокосмического пространства. Глобальная приватизация информационного рынка разными преуспевающими Microsoft'ами — это одна сторона медали. Другой, к счастью только предполагаемой, однако уже предугадываемой, явилось бы то, что Бретон называет «Чернобылями информатики». Речь идет о том, что сети всемирной в будущем связи возникают не без признаков хаотичности и путаницы, порожденных самой активизацией разрастания сетей. Рационально планирующий концептуализм решений здесь не всегда поспевает, часто напоминая как бы действия «пожарной команды» или службы «Скорой помощи», «неотложек», направляющихся туда, где возникают непредвиденные обстоятельства. Следовательно, Интернет и другие виды сетей могут оказаться ненадежны. И как это ни парадоксально, они подвержены опасности в большей мере именно тогда, когда начинают передавать, принимать и обрабатывать все возрастающую по объему «массу информации». Отчасти это еще метафорическое определение, но о «МАССЕ информации» в буквальном смысле, как приводящей в действие очень дорогостоящие вещи, я писал уже очень давно. Поэтому не только «терроризм в информатике» способен привести к новым «Чернобылям»: еще большая угроза может возникать пропорционально мере экономико-политической власти, отдаваемой в распоряжение сетей или им на хранение. Сети, с их «компьютерными узлами», не должны заменять собой библиотеки, как публичные, так и научно-университетские; они не должны ничего подменять собой, не должны оставаться единственным хранилищем информации. Монополизирующая концентрация в сетях ни полезной, ни абсолютно безопасной быть не может.

Итак, перед нами картина, скорее парадоксальная в своих крайностях: общество коммуникационно «объединенное», а вместе с тем крайне индивидуализированное, в котором дело доходит до «всесторонней умиротворенности», поскольку «физически» никто никому ничего дурного сделать не в состоянии,

а цена этому — фактическое одиночество в электронном коконе. Жизнь становится «виртуальной», «фантоматизированной». Можно находиться в Лувре, в Гималаях, всюду, быть «кем угодно» (существуют даже «компьютерно-сетевые наркоманы», которые рассылают по сети свои фиктивные индивидуальные воплощения — в Тарзана, в девушку, в кролика...), но в «действительности» они постоянно пребывают на одном и том же месте. По-моему, это скорее дурная научная фантастика.

Сеть порой не объединяет людей, но, находясь в руках каких-либо монополистов, господствует над людьми и способна ими всесторонне управлять. Мой литературный критик Анджей Стофф метко заметил, что «вполне добродушного Большого Брата» (возможно, электронного, вроде Молоха отца Дюбарле, управляющего обществом) я изобразил в «Возвращении со звезд» в качестве «невидимого электрократа», который «лично» в романе отсутствует и даже в догадках героев ни разу не возникает, и, однако, его присутствие вроде бы логически вытекает из того факта, что определенные институты (например, так называемый «Адапт») способны постоянно отслеживать, как бы не вмешиваясь, любые самые незначительные поступки или начинания индивида (героя — но, возможно, не только его). Все, описанное в романе, может явиться делом случая, все происходящее может оказаться следствием «невмешательства судьбы», но есть там места, когда это неизвестное, неведомо от кого исходящее «везнание» (а может, и всевластие?) дает о себе знать, хотя и достаточно деликатно... (Что, впрочем, выглядит уже как единственная явная догадка героя, когда, вернувшись «со звезд», он может сразу высадиться на Земле, но при этом ему приходится блуждать по кругам технологической совершенно непостижимой для него новой цивилизации, прежде чем поселиться в отеле, и, однако же, «власти» каким-то образом прекрасно осведомлены о его блужданиях...) Так вот, забавно, что этот «незримый тотальный контроль», осуществляемый — назовем ее так — «электрократией» (а тем самым и «Машину для очень мягкого по виду управления»), я выдумал, несмотря на то что не придумал ее. Это означает, что мне и в голову не пришла возможность предложенной А. Стоффом интерпретации происходящих в романе событий, «как-то само собой так написалось», и я напоминаю здесь об этой вещи не из стремления еще раз что-то предсказать, но единственно потому, что фабула «Возвращения со звезд» доказывает: «вездесущая электрократия» не может изначально стать некой формой тирании или диктатуры *modo Orwelliano*⁵. Она способна сделаться мягкой, может быть, ненавязчивой, даже незримой — пожалуй, только за исключением явно эсхатологических ситуаций, в которых ей следовало бы по меньшей мере на миг предстать в виде «электронного ангела-хранителя». Из дня в день никто такого вмешательства не ощущал бы. А вывод из вышесказанного таков: мы никоим образом не можем находиться между двумя точками упомянутой французским теоретиком альтернативы. Как ни обернется дело, все произойдет иначе, нежели он себе представлял, поскольку мы пребываем в жизни и в многомерном мире между Добром и Злом, где Случайное и Неотвратимое тщательно перемешаны.

8

В любом случае не следует доверять опытным специалистам, погрязшим с головой в гуще информационной электроники. Вернее, следует усвоить, что каждое известное нам из истории появление новой, радикальной и безграничной возможности, сулящей технологические новшества, повсюду пробуждало надежды на то, что именно этим новшеством и выпадет роль Обновителя, Возбудителя и даже Спасителя человечества, ибо им суждено полностью изменить социальные отношения и привести к совершенствованию терзаемой самой собою человеческой цивилизации. Рано или поздно слишком односто-

⁵ Оруэлловского образца (*лат.*).

ронные и слишком внезапно вспыхнувшие восторги и ожидания поблекнут, миллиардные прибыли растают. Возможно, эффективный на каком-то историческом отрезке капитализм, со своим рынком предложения, отоваривания и спроса, отлаженно впрягающий изобретательские новации в колесницу финансовых и экономических доходов, перед этой очередной «сетевой-информационной» революцией устоит и даже значительную ее часть сумеет обратить себе на пользу. Тем не менее будет слишком односторонним, монокаузальным преувеличением провозглашать истинный Новый Век, *New Age*. По крайней мере три четверти, если не четыре пятых всего человечества почти целиком останется за пределами « сетевого охвата », и ширящийся разрыв между этим бедным и голодающим большинством и мнимым «сетевым миром» (*Worldweb*) явит свои масштабы — а ведь подобное разделение не должно, не может полностью разделить обитателей Земли надвое! Переработка данных не должна превращаться в мономанию развлечения и работы, яви и сновидений, мы не можем допустить, чтобы все человеческие деяния были полностью подчинены держателям информации, поскольку это означало бы либо агонию, либо конец непрерывного преобразования цивилизации многих верований, многих традиций и многих культур. Мечты «цифровых энтузиастов» — это еще не конец истории и не начало настолько новой, чтобы все ценности необъединенных культур должны были затонуть в «серфинге», оказаться похороненными у провайдеров, а каждому индивиду стали служить серверы. Нельзя ни поглотить, ни переварить, будучи отдельной личностью, огромное количество информации, которое человечество уже успело накопить. Скорее с известной долей скептицизма, хотя и не без некоторой осторожности, стоит присмотреться к последующим превращениям этого едва только зарождающегося монстра, каковым для наших дедов и отцов неминуемо предстала бы «эпоха господства глобальной связи» и той ее сети, что жаждет уловить нас всех до единого...

Artificial servility

1

Что это значит — *artificial servility*? Такого словосочетания не было, пока я его здесь не создал. Это в буквальном переводе — «искусственное рабство» и касается всего, на что способно столь распространившееся ныне по всему свету электронное оборудование для преобразования, перемещения, хранения и *last but not least*⁶ передачи информации. Почему «рабство»? Да потому, что во всей этой индустрии (приносящей разным Microsoft'ам миллиарды), во всем компьютерном скопище, во всех поколениях *hardware* и *software*, в модемах, серверах нет ни малейшего следа разума. Ни проблеска интеллекта. Работают они как невольники, по нашему приказу. Пусть им по силам перенести нас в райские кущи «сексуального блаженства» или в «тарпейскую бездну». Однако им не дано отличать бредни (*junk mail*) от серьезной информации, даже такой чрезвычайно важной, как, например, уравнение $E=mc^2$. Им настолько «все равно», что с этим несопоставима даже степень безропотной покорности, до которой можно довести не только человека, но и всякое животное, обученное реагировать согласно правилам условных и даже безусловных рефлексов (по-скольку и такие имеются).

2

Возможно, кто-то скажет: ну и что? Разве такое безграничное подчинение нашим запросам (посещение Кордовы или ознакомление с расшифрованными фрагментами узелкового письма — «кипу»), такое беспредельное повиновение,

⁶ Последнее, но не менее важное (*англ.*).

которым отличаются все компьютеры, их соединения, их сети, их модемы, и принтеры, и система пересылки «электронной почты» (e-mail), — это плохо? Разве все это не обеспечивает нам массу преимуществ — не только потому, что приносит КОЛОССАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ИНДУСТРИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ПЕРЕСЫЛКИ ИНФОРМАЦИИ, но главным образом потому, что облегчает нам сбор, упорядочение, написание, распечатывание или визуальное выражение всего, что может являться информацией, — и здесь они безотказны? Безотказны до тех пор, покада некий индивид, побуждаемый чисто человеческой злобой, не начнет насыпать на этот общемировой порядок «ядовитые» вирусы в виде микропрограмм, способных разрушать данные, разорить, «вычистить» всю информацию на жестких дисках либо единым махом (как снаряд, угодивший в цель), либо же с произвольно запланированной и установленной отсрочкой (как заряд с детонатором, установленный на «соответствующий момент»). Но зло друг другу чинят люди, и это они способны — а часто даже любят — пускать в дело, рассылать или подкладывать, по адресу или безадресно, не только взрывающиеся бомбы, но и «бомбы логические» (*logic bomb*). А «сами по себе» электронные преобразователи, электронные переключатели, электронные медиа не могут ничего. Они до такой степени «ничего» не могут, что обыкновенная домашняя курица (даже слепая), которой «кое-когда подвернется зернышко», в сопоставлении с компьютером последнего поколения смотрится Эйнштейном. Постарайтесь уловить эту разницу, замахиваясь ножом на курицу и молотком на компьютер. Компьютер не дрогнет, пока вы его не сокрушите, зато курица по меньшей мере попытается удрать. Мы к такому рабскому повиновению настолько привыкли, настолько свыклись с компьютерно-сетевой непогрешимостью (не считая «пробок» и «зависаний», вызванных единственно чрезмерными объемами информации, превышающими передаточную емкость электронных соединений), что по-прежнему считаем подобное положение нормальным, желаемым и очевидным... с одним, но значительным исключением. А именно, когда обнаруживаем, что никакого вдохновлявшего нас *Artificial Intelligence*⁷ не существует. На протяжении пятидесяти лет инженерное искусство в области связи и *data processing*⁸ билось над проблемой AI, но и поныне никаких позитивных результатов не достигнуто. Кроме чертовски примитивных действий программ, которые способны, например, различать геометрические фигуры, цвета, могут также (но опять-таки не по собственной инициативе) передвигать всевозможные объекты и устанавливать их так, как мы того пожелаем. Это, ясное дело, никакой не интеллект. Это не свидетельствует не только о человеческом, но даже и о собачьем уме. Кто-то скажет: но ведь у нас есть хранилища знаний, экспертные программы, мы располагаем собраниями данных, при помощи которых, например, геологи находят под землей нефть, или же у нас имеются материалы (в том числе дополнительных исследований), позволяющие идти путем эвристических, альтернативных разысканий, дающие возможность поставить больному диагноз, установить оптимальную терапию и т. д. Есть целые системы, способные управлять и дирижировать, например, выпуском автомобилей или ракет (или бомб...) с помощью производственных роботов. Но да, мы этим располагаем, и развитие продолжается — однако где в таком поступательном движении можно обнаружить следы разума, интеллектуального взлета, «творческого вдохновения»? Мы хорошо научились обходиться без них: ведь можно задействовать симулирующие и оптимизирующие программы и программы, создающие «виртуальную реальность», но, увы, все это только подмена «интеллекта» и «творческой фантазии» их суррогатами. Это напоминает «интеллект» пищеварительного тракта, который «поглощает», «проглатывает» пищу и «переваривает» ее, столь «интеллигентным» путем добывая энергию для организма и необходимые для поддержания жизни химические соединения, а прочий энергетически и химически обесцененный «остаток» удаляет-

⁷ Искусственного интеллекта (*англ.*).

⁸ Обработки данных (*англ.*).

ся в виде эксcrementов. Да, выполнять нечто подобное неодушевленные устройства мира электроники, повинующиеся человеческой разумности, уже умеют. Но ведь никто не считает, будто процесс поглощения и переваривания котлеты — это убедительное свидетельство смышленности зубов, слюны, желудка и кишок.

3

Один из ответов на вопрос о причинах упомянутого отсутствия интеллекта, переместившегося из живого мозга в механизмы, и хотя бы малейших следов одухотворенности машин (не *Deus ex machina*, но хотя бы *Animus ex machina*⁹) таков:

РАЗУМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

Умы не бывают одинаковыми. Если все же будет создан *Artificial Intelligence*, а не какой-то его заменитель, более или менее искусно имитирующий разум, тем самым, желая того или нет, люди в качестве конструкторов AI вторгнутся в царство многообразия. Система, наделенная разумом, станет послушной — или быть таковой не захочет, поскольку, понимая смысл распоряжений, просьб, внушений, пожеланий, может как повиноваться, так и протестовать. Если «искусственный интеллект» всегда будет готов повиноваться, то тем самым он продемонстрирует свое безволие, отсутствие собственного мнения. То, что одни и те же научные, художественные, литературные и прочие тексты разные люди с разным уровнем образования (только, конечно, не полные идиоты, о таких вообще речь здесь не идет) могут по-разному трактовать и интерпретировать, оценивать как глубокие или поверхностные, могут расстроиться, или по крайней мере остаться к ним безразличными, или выражать восхищение — все, что я перечислил и чего, ради краткости эссе, не назвал, демонстрирует реальное множество вариантов проявления разумности, наличие которой мы склонны признать. Если бы все обстояло иначе, то и диахронически, в истории, и синхронически, в современности, не могли бы возникнуть разные стили мышления в религии, в философии и *last but not least* даже в процессе инженерно-производственного создания смертоносного оружия или чудодейственных лекарств и терапевтических методов. Ибо, например, ни одна программа из всех ныне существующих экспертных программ нового способа лечения какого-либо заболевания нам не предложит, так как программы абсолютно не способны думать, а начни они думать, то принялись бы думать по-разному. Иначе говоря: создать искусственный разум — значит расширить пространство свободы, в том числе и творческой. Так называемая «лингвистическая перформативность» означает всего лишь, что ни один человек, способный пользоваться языком (понимать его и говорить на нем), вовсе не должен, да и не может абсолютно одинаково формулировать мысли, которые приходят ему в голову. «Перформативность» в столь скромных масштабах просто означает, что мы говорим в меру свободно, а не декламируем исключительно то, что вызубрили наизусть. Наизусть шпарит грампластинка, магнитофонная лента или дискета. Нам по силам «направленье бега мысли, словами выражаемой, менять». Чем лучше кто-то знает данный язык, тем большая артикуляционная свобода может присутствовать в его речи, а в незнакомом языке мы сильно ограничены. К чему я клоню со своей вроде бы затянувшейся болтовней? Да к тому, что, стремясь высечь из мертворожденных устройств искру разума, мы столкнулись со многими трудностями. Остановлюсь на некоторых.

4

Ныне системам передачи данных не хватает самоконтроля. Модемам все равно, передают они на весь сетевой мир изображения святых, или изображе-

⁹ Бог из машины... Дух из машины (*лат.*).

ния голых задниц, или формулы производства взрывчатых веществ. Им все равно, а мы с этим смирились, поскольку люди имеют малопривычную вкушать именно плоды запретные, в силу их непристойности, а то и смертельно опасные. Но прошу учесть: если в сетях появится настоящий жизне-способный «искусственный интеллект», то тем самым возникнет и возможность фильтрация, содержания, отсева и аннигиляции информации, поскольку интеллект, состоящий в близком родстве с разумностью, может и даже должен быть в состоянии установить цензуру, заслон некоторым видам информации. И вот окажется, что существует уйма разного рода интеллектов и что тем самым разные страны, разные режимы, вероисповедания, мировоззрения и взгляды начнут использовать навыки «нейтрализации или уничтожения» той информации, на которую они накладывают табу, поступления, доставки которой к тем или иным адресатам они не желают. Сейчас (к примеру), чтобы оградить детей от созерцания картинок, транслируемых с помощью электроники (скажем, по TV), папа и мама могут установить на телевизор «электронный намордник», узнав из анонса о содержании передачи, которая должна появиться. Если такой приставки они не поставят, то никакой «антинепристойной» цензуры сам по себе телевизор не создаст. Итак, окончательно «цензурят» изображения или тексты отец с матерью, либо дядя с тетей, либо воспитатель, но не электронные машины. Их совратить невозможно. А вот искусственный разум должен, а не только может продемонстрировать свою активность и селективный отбор. Его можно развратить, можно в том или ином переубедить, можно дезориентировать, обмануть, одурманить или научить, можно что-то объяснить ему. Фундаменталисты чрезвычайно обрадовались бы, завладей они AI. Уже не потребовалось бы, как в Иране, просто запрещать установку спутниковых тарелок и антенн... Не так уж далеко то прошлое, когда Советский Союз объявил создание глобально действующих спутниковых ретрансляторов угрозой типа *casus belli*¹⁰. Я не выдумал этого специально, ради настоящих рассуждений. Советского Союза уже нет, искусственного интеллекта — пока нет, но могу заверить читателей, что одновременно с его появлением наступит новая эра, насыщенная новыми, доселе неизвестными опасностями. Не всех восхищает идея ГЛОБАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ЦЕНЗУРЫ. Кроме того, искусственный интеллект не скажу что сможет взять нас за жабры, но ввести в заблуждение, обмануть, сбить с пути он сумел бы. Это во-первых. Во-вторых, как мозги у всех людей разные, так не может быть и одинаковых (вплоть до тождества) интеллектов. Как существуют двигатели разной мощности, так разным по силе может быть и искусственный интеллект. Это не приведет сразу к производству машинным путем Эйнштейнов или — как в моей повести — «Големов». Возможно, возникнут интеллекты разного рода, основанные на различных «типах характеров». Я лично считаю, что «разумность» и «индивидуальность» — это потенциально разные по смыслу понятия. Но такое потенциальное разделение тоже не может сослужить нам добрую, и только добрую, службу.

5

Хочу заметить, что я по-прежнему крайне далек от примитивных мифоподобных сказок об «античеловечном», «зломном интеллекте», таком, который будет развиваться у роботов человеконенавистнические или бунтарские настроения. Не следует сразу все видеть в самых мрачных тонах, которые как раз легче всего себе вообразить. Искусственный интеллект способен принести и пользу, и вред, поскольку таковой была и остается судьба любого технологического новшества, которое люди смогли изобрести и пустить в дело.

Лично я добавлю уже только на полях (однако это связано с главным направлением моих выводов), что мы ныне являемся свидетелями того, как происходит на свете рост чисто технологической подготовки, четко соотносящий-

¹⁰ Повода к войне (*лат.*).

ся с продолжающимся увяданием свободно-творческого воображения. Это наблюдается не только в телевидении, но и в изобразительных искусствах. Недавно по спутниковому каналу я увидел некие обуглившиеся останки человеческих тел, однако то были никакие не жертвы пожара или геноцида, а «произведения современного искусства», как я тут же узнал из сопроводительного текста. В моде также визуализированная научная фантастика. К сожалению, однако, убогость воображения ее творцов резко контрастирует с богатством технико-визуального оснащения. С интеллектом внетехнологического и вне-научного порядка дело обстоит очень и очень плохо. Я сам некогда сочинял *science fiction* и стремился минимализировать нарушение элементарных и хорошо нам известных законов природы. Не принято писать, что жена откладывает яйца, а ее муж их высиживает. А в картине «День независимости» проигнорировано и попрано в угоду кассовому успеху кинематографистов огромное количество законов природы. Большинство событий в этом фильме противоречит очевидному. Например, громадные корабли *extraterrestials*¹¹ не могут завыснуть над Манхэттеном, потому что при таком приближении к Земле будет пересечена так называемая граница Роше. В результате любое достаточно большое тело будет разорвано гравитационными силами планеты. Стоит ли добавлять, что ни о какой «компатибельности» компьютеров с иной планеты из другого созвездия с земными компьютерами очередного нового поколения не может быть и речи. Скорее я признал бы правдоподобными разговоры с коровой или жирафом без посредничества каких-либо компьютеров. Говоря простым языком, кинематографисты пудрят нам мозги. А упомянул я об этом потому, что человеческий разум возник, чтобы мы способны были познавать ИСТИНУ. Что, впрочем, тем самым и означало: разум не застрахован от ошибок, он может ЛГАТЬ, стать жертвой обмана, — но иначе он ничего и не сможет осуществить. Интеллект — это материя, возникающая в процессе естественной эволюции и восходящая по ступеням «лестницы прогресса» (на Земле) вплоть до уровня языкотворчества, а тем самым уже способная породить и математику. Тогда появляются и оппозиции между правдой и ложью, рождается логика, возникает стихия новой сверхживотной свободы и сверхживотных предрассудков и суеверий во главе с астрологией, или сайентологией, или каким-либо иным сектантством. Еще более высоких ступеней интеллекта можно достигнуть с помощью генов — но можно и отдалить от них, вплоть до так называемого умственного кретинизма и полного идиотизма. Все это побочные эффекты становления разума, и я не думаю, что компьютерная непогрешимость в качестве неотъемлемого свойства может быть присуща и искусственному интеллекту. Мир способен обойтись и вовсе без разума, как естественного, так и искусственного. В то же время следует твердо усвоить, что такое чрезвычайное богатство самых разнообразных, рекламируемых как самые новейшие серверно-провайдерно-компьютерно-программно-дисковых приспособлений обязано своим непрерывным лавинообразным умножением прежде всего погоне за барышами, образующимися от продажи того, что еще сегодня предлагается в качестве самого совершенного, но уже завтра сменяется чем-то новым и как бы еще лучшим. Отсюда, например, также прогрессирующая микроминиатюризация и тенденция к нанотехнологии в сфере процессоров. Но я не хочу углубляться в технические области. Да, погоня за прибылями продиктована необходимостью получения материальных благ. Но человеческий ум все еще никак не создаст внечеловеческий интеллект («не-человеческий» как-то корябще звучало бы для нас). Ум, интеллект, разум, сообразительность, мудрость — все это понятия сами по себе превосходные, но вместе с тем небезопасные. Вот об этом, и только об этом, я и хотел сказать.

Перевел с польского С. Ларин.

¹¹ Инопланетян (англ.).



ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» МОЖЕТ НАС ИСПОРТИТЬ

Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?!

А. Ахматова — в Ташкенте (1942).

Скандал в европейском доме, причиной коего стали австрийские ультранационалисты, добившиеся успеха на почве растущей неприязни к нежелательным иммигрантам, — первая ласточка, а лучше сказать, первая ворона, предвещающая наступление «сезона», когда либеральное солнышко все чаще будет затягивать тучами межэтнических конфликтов. Усомнимся ли в том, что тучи не обойдут стороной и нас.

Не так давно журнал «Звезда» опубликовал статью М. Чулаки «Нацизм со свастикой и без», которая наводит на размышления, относящиеся к гораздо более широкому кругу вопросов. Идея статьи — остановить «дикий русский нацизм», признав реальность угрозы, перед которой поставлен русский этнос. Речь идет на сей раз не о психологических угрозах, действительных или мнимых, исходящих с Запада, но об угрозе физической, надвинувшейся со стороны Юга. Численно сокращающийся русский этнос с течением времени может раствориться в потоке переселенцев с Юга, пишет Чулаки; то есть Россия может попасть примерно в ту же ситуацию, в какой оказалась Прибалтика, где «формально справедливые протесты России против ущемления прав „неграждан“ звучат все-таки лицемерно: попытаемся вообразить, каков был бы накал русского национализма, если бы почти половину населения Москвы, Петербурга, Пскова, обоих Новгородов составили столь нелюбимые ныне народными массами „лица кавказской национальности“! А ведь эти лица все-таки объясняются в Москве по-русски — ну как они обращались бы к нам-туземцам на своем великом и могучем тюркском наречии... и презрительно удивлялись, что темные цацапы не понимают по-человечески?!».

Хороший пример — Прибалтика. Латыши и эстонцы люди, в общем, спокойные, даже не лишённые некоторой флегмы, но и они озлились, когда дальнейшее их существование как самостоящих народов было поставлено под вопрос. Каждая этническая общность желает сохранить свое лицо и удержать территорию, которую она занимает, и если пришельцев становится слишком много, ощетиливается и старается отгородиться от них и по возможности вытеснить. Так поступают малые народы, и так поступают народы великие.

Прогноз Чулаки: южане неминуемо станут большинством в Краснодарском и Ставропольском краях, а за ними придет очередь Ростовской и Волгоградской губерний. «Сталинград от немцев отстояли — удастся ли отстоять Волгоград от двенадцати тюркских, кавказских, да и персидских языков — это вопрос к истории грядущего века. Символом агрессии в XXI столетии будет не атомная бомба, а десяток детей в каждой семье „пассионарного“ народа». В Сибири и на Дальнем Востоке в роли агрессора выступают китайцы, которые, в отличие от мусульман, «внедряются тихо, без всякой идеологии».

Алармизм, на мой взгляд, оправданный. Говорить об этих опасностях можно и нужно. Еще раз процитирую Чулаки: «Существует интересный либе-

ральный стиль поведения: в кулуарах признавать, что „проблема существует”, но обсуждать ее публично — строгое табу, публично можно только заклинать, как плох всякий национализм, а уж в особенности — фашизм, нисколько не задаваясь вопросом: а откуда берутся фашисты?»

Положим, отождествление фашизма (нацизма) с крайним национализмом, которое мы находим в статье Чулаки, неточно. Понятие «фашизм» имеет все-таки иные содержания. Более того, в принципе фашизм может быть относительно свободен от национализма. Так, была от него свободна, по крайней мере в идее, гиммлеровская «империя» СС (между прочим, на нее сегодня равняются национал-большевики Дугина — Лимонова, которых тоже нельзя отнести к ярким националистам).

Так или иначе, крайний национализм (который может принимать различные формы, в их числе близкие фашизму), разумеется, худая вещь. Чтобы предупредить его, надо думать, как остановить «натиск с Юга». И не только поэтому, но и потому, что — «проблема существует». Чулаки пишет, что должна быть разработана «политика национальной защиты» наподобие той, что осуществляется в западных странах. Действительно, западные страны давно уже проводят такую политику, более того, ужесточают ее с течением времени и растущим притоком иммигрантов; на этом фоне австрийские ультра выделились главным образом откровенностью, с какой они поведали о своих антипатиях.

Заметим, что судьба Российской империи до сих пор складывалась более счастливо для нее, если сравнивать с западными аналогами. Англичане и французы, например, после нескольких столетий внешней экспансии фактически вернулись к порогу родного дома, а русские приобретения сохраняются в основной своей части. Зато русским есть что терять. И есть, а тем более будут народы, которые могут вытеснить нынешних «хозяев», даже не ставя перед собою такой цели сознательно. И хочешь не хочешь, приходится задумываться о таком «грубом» вопросе, как защита национальных владений.

Особенно если учесть, что мировая экономика, по утверждению специалистов, попала в чрезмерную зависимость от каких-то виртуальных эволюций и может наступить такой не прекрасный день, когда она вдруг рухнет и человечество заново проникнется ощущением Скарлетт О'Хары, возникшим у ее создательницы в годы «великой депрессии» 30-х годов: земля — это единственное, что не изменит.

Но здесь прорисовывается другая опасность, быть может, еще худшая. Дело касается психологии народа, после всех обманов советского времени могущего угодить в иного рода ловушку. Обстоятельства складываются таким образом, что впервые за несколько столетий русский этнос оказывается в оборонительной позиции по отношению к народам Юга, и это рождает в массе русского населения настроения угрюмой замкнутости (чему, с другой стороны, способствует психологическое давление Запада, слишком разноликого в своей открытости). Под знак вопроса поставлено такое известное качество русского народа, как «всемирность» и «всемерность», сопрягающее духовные процессы с политическими; по крайней мере исторически между теми и другими установилась определенная связь.

Действительно, христианство и римская идея — два типа универсализма, на которых возрос русский народ, — частично друг с другом совпадали (другое дело, насколько такое совпадение можно считать оправданным). Идеально империя должна была укреплять и распространять христианство; свое, национальное целиком поставлено было на службу вселенскому. Об этом писал, в частности, Вяч. Иванов: «...уже самое наречение нашей вселенской идеи (ибо „Рим” всегда — „вселенная”) именем „Рима третьего”, т. е. Римом Духа, говорит нам: „ты, русский, одно памятуй: вселенская правда — твоя правда; и если ты хочешь сохранить свою душу, не бойся ее потерять”».

Возьмите век Екатерины, когда был осуществлен уникальный по своей масштабности «бросок на Юг». Не просто от избытка сил или, скажем, от

жадности и даже не только из геополитических соображений завладели русские обширными территориями Причерноморья (и уже нацелились на самый Константинополь), но во исполнение некоторого предназначения, некоторой миссии мирового характера. Версальский стиль жизни и поверхностное увлечение Вольтером не помешали «великой жене» с ее «орлами» чувствовать истинную глубину задач, ими себе поставленных: война с турками ведется «за христианство» (Потемкин) и за римскую идею. Ни то, ни другое не является русским по происхождению, но перенято у далеких заморских инициаторов, столетия назад покинувших историческую сцену. Державин и Петров с восторгом возвещали: дух ахеев, и римлян, и крестоносцев вошел в русских; и се: «Осклабясь, Пифагор дивится... / Что зрит он преселенье душ...» (Державин, «На приобретение Крыма»).

Чувство «всемирности» — вертикаль, восставленная из точки, догматически определенной христианством («нести ни эллина, ни иудея»), и пронизывавшая все русское общество, хотя на разных его уровнях это чувство, конечно, проявлялось по-разному. В наибольшей степени им обладала верхняя тысяча, о которой говорит Версильев у Достоевского, воплотившая собою «высший культурный тип», именно «тип всемирного боления за всех». Но это чувство общенациональное, и в нем состояла «сила духа русской народности» (тот же Достоевский в «Дневнике писателя»). Которую — что важно удостоверить — признавали за нею другие народности. Известный татарский публицист, идеолог тюрко-татарского возрождения Исмаил-бей Гаспринский писал в конце прошлого века: «...русский человек наиболее легко сходится и наилучше уживается с различными народностями, привлекая их простотой, отзывчивостью и врожденной человечностью...» (это, разумеется, из светлых сторон характера, которые, как и у любого другого народа, сосуществовали у русских с темными).

Советская власть «испортила песню»; хотя на первых порах тема «всемирности», в ее превращенной форме, зазвучала, казалось бы, с неслыханной ранее силой. Идея мировой революции вскружила многие русские головы, включая и те, что имели самое туманное представление о марксизме. Сейчас о советской эпохе судят по ее позднему периоду, оставившему после себя запомнившийся вкус уксуса; но ведь когда-то уксус был вином. Пусть даже изначально отравленным. Была искренняя вера в «интернационал». В Красной Армии даже изучали в обязательном порядке эсперанто (если не ошибаюсь, до 1924 года). Это надо представить: красноармейцы, разносящие по миру коммунистическую «правду» на языке доктора Заменгофа!

Не устояли перед этой верой и самосильные художники — от Хлебникова с его «зачеловеческими снами» о едином «Людостане» и о том, как «создать скрещиванием племен новую породу людей», до Платонова, наполнившего интернационалистскую схему живым чувством с явственными следами христианства. В первую очередь оно было обращено к Востоку: у русских людей с народами Востока — одна душа (джан), одно исстрадавшееся тело, и то, что нас объединило и повело «вперед», есть нечто простое, грубое, но «честное».

Все эти странности отмечены знаком исторической преходящести, а все-таки: знать, у бойкого народа они могли только родиться, в той земле, что ровнем-гладнем разметнулась на полсвета и в больших делах шутить не любит.

Оглушенные новизною победившей идеологии и, может быть, в еще большей мере эффективностью (и эффектностью) технических средств, поставленных ей служить, люди Востока сами потянулись навстречу внезапно «покрашевшим» урусам (особенно после того, как нарождающаяся национальная интеллигенция дореволюционной генерации была истреблена или вытеснена за рубеж). Поверили, что земля «начинается с Кремля», учили русский при свете каганца, пешком спускались с гор, чтобы получить образование и дальше двигаться «дорогами наук». Тянулись и посланцы из дальних стран колониального мира, чтобы поглядеть на «наши достижения», и увозили с собой чаще хорошие впечатления, чем дурные.

Нельзя отрицать, что кое-какие достижения, конкретно в части «дружбы народов», действительно имели место; беда их была в недостаточной основательности и потому эфемерности. Как быстро, по историческим меркам, все вышло дымом! Два поколения «нацменов» пели с русскими в унисон «Прощай, любимый город» и другие душевные песни, третье призадумалось и психологически ушло в сторонку, четвертое, дождавшись подходящего момента, резко порвало с советской мифологией и стало выстраивать свою собственную, пятое (ныне подрастающее) о советской мифологии уже ничего не знает и даже русским зачастую не владеет (так по крайней мере обстоит дело за границами России). Sic transit...

Такая скоротечность легко объяснима: химера коммунизма не могла долго скрывать, что она ничем другим, кроме как химерой, не является, реальности же, открывавшиеся глазу по мере того, как рассеивался морок, были весьма далеки от обещанного. «Союз равноправных республик» на поверку оказался «царством» номенклатуры, на уровне общесоюзных структур (исключая те из них, где принцип пропорционального представительства нацменьшинств оставался обязательным) — почти исключительно русской, психологически замкнутой на себя, не слишком явно, но вполне ощутимо националистической, использующей риторику коммунистического глобализма в своих, по сути — вульгарно империалистических, целях. Реакция со стороны «братских народов», равно как и «друзей» из третьего мира, не заставила себя долго ждать.

Для ностальгирующих по советским временам есть утешение, хотя бы и слабое: наблюдать, как другая, соперничающая, модель универсализма терпит неудачу, пусть только частичную. Я, разумеется, говорю об американской модели.

Так же, как и Россия, Соединенные Штаты изначально выделились на европейском фоне своей «всемирностью», явившейся результатом сложения христианства и просветительского универсализма, тоже, впрочем, выросшего из христианства (определенную роль в их становлении сыграла и римская идея, хотя и в преимущественно республиканском своем обличье). Как выразился один историк, американцы строили «город без стен, окруженный воротами, приглашающими человечество войти».

Оценим американский опыт в плане этнического сожительства: на первый взгляд результаты его впечатляющи. Особенно это относится к сожительству белых с неграми. Провидение столкнуло на американской почве две расы, максимально удаленные друг от друга в антропологическом и культурном отношении, — белую (представленную главным образом англосаксонской ветвью, изначально склонной к некоторому горделивому обособлению) и черную. Или, точнее, попустило одну из них помыкать другою. Чтобы осуществить идеалы либерализма, заявленные отцами основателями республики, «провести» их в поле расовых отношений, надо было преодолеть невероятные трудности. Нет смысла говорить о них, ибо они у всех в памяти. Еще каких-то сорок лет назад в Южных Штатах за один только пристальный взгляд в направлении белой женщины негра могли лишиться жизни. Кажется, что с тех пор прошла вечность. С внешней стороны достигнутый уровень расовой и этнической терпимости можно посчитать едва ли не образцовым для всех. В том числе и для нашей страны. Негритенок из кинофильма «Цирк», столь демонстративно возлюбленный вольно и широко зажившими советскими людьми, дотяни он до наших дней, гораздо комфортнее чувствовал бы себя на родине (даже на Юге, не говоря уж о Севере), чем в бывшей «Эсэсээрии».

Увы, в той модели межрасовых и межэтнических отношений, которая утвердилась в Америке, чересчур много стало формального. Принято «не замечать» чьего-либо цвета кожи, формы головы и т. д., но по-настоящему «не замечать» их можно только тогда, когда устанавливается душевный контакт. А вот этого, судя по всему, стало сильно не хватать. Недаром негры, противопоставляя себя белым, называют друг друга «братьями в душе», *soul brothers*.

Белые с их точки зрения — *unsoulful*, «бездушны». То есть, может быть, не вообще бездушны, но там и тогда, где и когда они соприкасаются с черными.

Оттого в американских фильмах отношения между белыми и черными, вообще людьми иных рас, сплошь и рядом отдают некоторой фальшью: все делают вид, что «нет проблем» в этом смысле. Что на самом деле, конечно, не так. Гораздо убедительнее старые фильмы, времен борьбы за расовое равноправие, в которых показано, как белые и черные преодолевают взаимное отчуждение и становятся действительно близки.

Само отчуждение, к сожалению, неискоренимо. Разделение человечества на расы и этносы — следствие грехопадения первородителей; хотя есть в таком разделении и позитивный момент (ибо многозначен смысл грехопадения), который состоит в окачествовании человечества в его расово-этническом своеобразии. Так или иначе, внешние отличия, как, впрочем, и внутренние, генетически с ними связанные, всегда будут «мешать» в общении. И всегда придется их преодолевать, что требует определенной работы души. А безличная политкорректность — результат «овнешнения» изначального христианского пафоса, претворение его в стиль поведения, более свойственный последователям Понтия Пилата, чем последователям Христа.

Похоже, что неевропейские этносы, как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами, усматривают в таком стиле поведения некоторую слабинку. Как бы поощряющую проявления агрессивности с их стороны. Особенно это относится к американским неграм, на которых в данном отношении равняются другие народы третьего мира. Но разве не сами белые провоцируют в них агрессивность? Разве не к тому они зовут людей с иным цветом кожи и иными чертами лица, чтобы поучаствовать в общей «ярмарке», разжигающей аппетиты и возбуждающей претензии без границ? Хотя у этих людей и возможности их удовлетворения в большинстве случаев заведомо меньшие (даже у тех, кто живет в Америке), и есть сильные сомнения в том, что «ярмарка» составляет основной смысл жизни.

Можно, кстати, найти немало общего в том, как эволюционировали две модели универсализма — русская и американская. Каждая из двух стран изначально заявила о себе как о «Новом Израиле», и каждая (Россия — в качестве СССР) в итоге скатилась к натуралистическому мессианству, откровенно безбожному в одном случае и градуально утрачивающему христианское содержание в другом. В обоих случаях одержала верх эвдемоническая идея (земного «счастья»), только у советских — нагая и обращенная в будущее, а у американцев — более прикровенная, но зато обращенная в настоящее. Кроме того, советские мыслили «счастье» в масштабе человеческих массивов (и поначалу даже подчеркивали незначительность человеческой «единицы», существующей в настоящем времени: так, в фильмах 20 — первой половины 30-х годов положительные герои, «строители будущего», часто выглядят какими-то обтерханнскими люмпенами), а у американцев в центре внимания остается отдельно взятый человек: каждый, будь он белым, черным, желтым, оливковым или бронзовым, обязан выглядеть как конфетка (даже в гробу).

Конечно, американская модель, в отличие от советской, несет в себе определенное позитивное содержание. Американский опыт демократии имеет мировую ценность; другое дело, что *made in USA* вряд ли стоит механически переносить в страны, культурно от них далекие.

Впрочем, нынешняя Америка, «С глухой негритянской синкопой / Мешая арийский пэон», сама являет странную картину в культурном отношении. И это тоже результат ее многоэтнического состава — только уже никем, кажется, не предвиденный. Белые европейского корня всегда полагали аксиоматичным, что они будут «гнуть» инородцев по тем лекалам, которые выбрали для себя; но вот наступил час, когда под напором извне они стали гнуться сами. Джаз, первоначально воспринятый как очередное развлечение, исподволь стал вырабатывать у них другое, «сорванное» дыхание, теплые пахучие ветры, дующие из южных морей, принесли неизвестную прежде истому и с нею

другие чувствования, с собственной религиозно-культурной основой трудно совместимые. Причиной такой податливости, очевидно, стала их «безнадзорность» в культурном смысле (что, может быть, обусловлено изначальной пуританской недооценкой культуры как «фронта» человеческой деятельности). Культуре был предоставлен самотек; в результате мечта о всеобщем братстве все больше оборачивалась «упростительным смешением» по образцу портового кабака, да простится мне такое сравнение.

То, что называют мультикультурализмом, стало «педагогической и американской трагедией» (Ирвинг Кристол). Развязка должна наступить уже в следующем веке. Считают, что лет через двадцать — тридцать белые европейского корня станут в Америке меньшинством, то есть в этническом смысле она делается страной третьего мира. Футурологи предсказывают почти неизбежные потрясения на этой почве. Хотя идея всесмешения закусилась удила, расовое чувство (у белых) никуда не исчезло, оно только затаилось¹. И неизбежно скажется, если почувствует себя ущемленным. *Sangre y vergüenza*, как сказал бы Лорка, «кровь и стыд» заговорят. Тем более, что растворенная в крови пра-память несет в себе и начатки культуры². Нельзя подвергать природу чрезмерному насилию. Надо быть выше ее, а это совсем другое дело.

Вот что отличало русскую верхнюю тысячу и чего не хватало и не хватает американцам — она могла сказать о себе: «Нам внятно все». Мне могут возразить, указав на Генри Джеймса, влюбленного в Европу, или на Генри Лонгфелло, зачарованного индейцами, или на кого-нибудь еще. Но это исключения, не колеблющие правила. Всем своим строем — снизу доверху — американская культура обращена на самое себя (и когда она выпускает в себя нечто инородное, то делает это стихийно-бессознательно; так, «черная муза» проникла в американский дом через черный ход). Русские постоянно смотрели в сторону Запада со смешанным чувством, в котором была, между прочим, и зависть, и неуверенность в себе, но зато же и понимали его зачастую лучше его самого. Позиция американцев во многом противоположна. Своим поведением они как бы говорят другим: мы ушли в отрыв от всех вас, и что вы о нас думаете, не столь важно; важнее, что мы о вас думаем, но нам-то думать о вас особенно некогда. Даже пессимистический взгляд на будущее американской цивилизации может оставить незатронутым это чувство самодостаточности и некоторого самодовольства (пример — Марк Твен).

Имея те грамоты на благородство — правду говоря, уже сильно пожелтевшие от времени, — какие мы продолжаем хранить, надо хотя бы попытаться им соответствовать.

К тому же пришло время для более равномерного наполнения понятия «всемирность». В прошлом веке, говоря «мир», думали о Европе и лишь «в придачу» к ней об Азии; лишь отдельные «прорывы» в азиатском направлении осуществлял русский ум (начиная, конечно, с Пушкина, особенно с его «Подражаний Корану»). Сейчас Азию надо з н а т ь, надо следить за ее превращениями. Ибо превращения эти очень серьезны и могут принести много неожиданного. «Хребты Гиндукуша, вершины Тибета, / Стена Куэнь-Луня дождалась рассвета», только не того, о котором мечтали т.т. советские поэты. И

¹ Возьмите такой громкий (в обоих смыслах слова) фильм, как «Звездные войны»: можно увидеть в нем «праздник» терпимости в отношении любых продуктов смешения, которых здесь непочатый угол, включая фантастических полулюдей-полуживотных. Но нетрудно заметить, что и здесь, в пространстве сказки, чувство расы, именно белой расы, вполне ощутимо. Вся фольклорная традиция (а она здесь, конечно, европейская) работает на него. И хотя среди положительных персонажей мелькает негр (дань политкорректности), все главные герои — добротные особи белой расы.

² Это подтверждает опыт американских негров. Поставленные в условия, когда из них практически полностью была выбита родовая память, они тем не менее сохранили некоторые существенные элементы африканского мироощущения — на уровне «корней травы». Что с течением времени проявилось в их культурном творчестве — когда таковое стало возможным.

вообще не того, что способен вызвать умиление. Просто есть утренняя полумгла, предваряющая наступление в тамошних краях неведомо какого дня. То, что вырисовывается при ее неверном свете, с точки зрения национальных интересов России суть разноликие угрозы или по меньшей мере вызовы, на которые надо суметь ответить.

И все же не в том состоит «всемирность», чтобы уметь отвечать на вызовы; скорее уж в том, чтобы самим их кому-то адресовать. Но лучше оставим эту, дуэльную как-никак, терминологию. «Всемирность» произрастает из чувства, что человечество — одна семья, что в корнях все связаны со всеми. Это чувство не следует сталкивать с национальным эгоизмом, как все естественное, имеющим право на существование. Такое столкновение может закончиться обоюдным уроном. «Квартирный вопрос», теперь уже в масштабе страны, может испортить наш народ (не потому, что становится тесно, — относительная теснота существует лишь в некоторых городах и регионах, в целом же по стране еще куда как свободно, — а потому, что число «гостей» может стать раздражающе большим в сравнении с числом хозяев), отчего пострадают в конечном счете даже эгоистические интересы. Национальная «квартира», какую мы ее имеем, нуждается в разумной защите. Со своей стороны, чувство «всемирности» не способно побороть национальный эгоизм, но ему должно быть место рядом с ним или, точнее, «над ним». Без этого чувства народ станет «темным гостем» на земле, а его культура делается провинциальной — для русских угроза еще худшая, чем даже утрата южных областей.

В аспекте творчества «всемирность» ощущается как потребность, не имеющая и не желающая иметь какого-либо касательства к политическим вопросам. Об этом хорошо сказал Пастернак устами одного из персонажей «Доктора Живаго»: «Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дразги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части». Если этот долгий разговор в духе «русских мальчиков» (впрочем, и «девочек» тоже), ведущийся из недр по меньшей мере прошлого (через считанные месяцы скажем уже — позапрошлого) века, найдется кому продолжить, если удастся сохранить прежнюю глубину дыхания, тогда у нашей страны появится какое-то будущее и на земном шаре она выделится не только своими размерами.

А политика — гора, которая в этом случае сама придет «к Магомету».



МИР ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



ТРАДИЦИЯ БЕЗ СЛОВ. МЕДЛЕННОЕ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ

Три вводные констатации

1. Традиция у нас — жупел в квадрате. Свободомыслящая интеллигенция прозревает в ней тоталитаризм — излюбленного идола-врага, без борьбы с которым ей не хватает социальной идентичности. А охранители-патриоты помогают оппонентам в рекогносцировке: защищают традицию с людоедской агрессивностью. Вокруг традиции идет война мифов — респектабельно-маньякального и истерически-дремучего.

2. Выдающийся филолог и историк, один из последних учеников Гегеля Иоганн Густав Дройзен полагал, что «только музыка непосредственно выражает истину времени», тогда как все остальные свидетельства эпохи — результат толкований, автоматически притягиваемых словами к историческим фактам¹.

3. Музыка делают не только звуки, но и паузы. Существует закон значимого отсутствия.

Немузыкальность нашей исторической памяти и столбняк самоидентификации

Историческая память избирательна. Образ истории всегда ангажирован: сознательно исповедуемыми и бессознательно принятыми ценностями или же прагматически проталкиваемыми оценками². Они предшествуют отбору и истолкованию фактов³.

Художественное прошлое в нынешнем массовом сознании представлено еще более фрагментарно, чем политическая история. Что не удивительно, если сравнить эфирное время и газетные площади, уделяемые политике-экономике, с одной стороны, и культуре — с другой. Но и тот исторический образ искусства, который лепится профессионалами, дальше от полноты фактов, чем профессионально же очерчиваемая история государств.

Различия обусловлены характером материала. Если факты политической истории — вещь более или менее определенная (даже когда это «деза», используемая в информационной войне), то каждый факт истории художественной представляет собой множество с размытыми границами⁴. Область художественно-исторических фактов включает в себя всю «остальную» историю, в том числе и политическую (ср. современное продюсирование с использованием далеких от искусства манков, как-то: походы артистов в гости к президентам, приурочивание концертных программ к визитам зарубежных политических деятелей и т. п.).

Никакой историк искусства не способен учесть все, что имеет отношение к его предмету, поскольку к его предмету имеет отношение все. Учитывает же он то, на что настроила его профессиональная школа и социальная мифология (или жажда альтернативы этим настройкам).

Та или иная конфигурация пустот (как и «густот») в картине художественной истории сама становится историческим фактом. Не стоит относиться к пробелам истории как к прискорбному дефекту познания, ведь они — часть

исторической реальности. Важно задуматься, что именно (и почему) оказалось в зоне умолчания и о чем молчат эти «белые дыры». Ведь если история искусства парадоксально включает в себя всю историю, то в лакунах малой (художественной) памяти могут обнаружиться большие смыслы.

Музыка — одно из зияний в отечественном литературоцентричном сознании, занятом поисками национальной идеи. Не с периферийностью ли музыки в публично предъявляемой ментальности, включая и научно-культуроведческую³, связана долгоиграющая бесплодность этих поисков? В самом деле: Россия — такая герменевтическая тема, которая неустанно дискутируется, хотя новых истолкований не появляется (с малосущественными вариациями воспроизводятся известные с XIX века клише). Столбняк самоидентификации можно в конце концов понять как идентификационный признак: наша определенность в том, что мы не можем себя определить. Соответственно также в том, почему не можем.

«Умом Россию не понять» — максима, чьи многократные повторения в разных контекстах сделали ее медиатором между болтливой иронией и мистикой несказанного, — все же не утратила статуса информации к размышлению.

«Умом не понять» не означает, что понимание невозможно. Формулирующему рассудку всегда предшествует коллективный пред-рассудок — самопонимание той или иной культуры. Понимание культуры «со стороны» (в том числе и со стороны ее рефлектирующего носителя) есть осознание и формализация самопонимания культуры.

Язык самопонимания культуры может быть разным. В западной традиции, например, он риторико-логико-юридический⁶. Его отличия от языка рефлектирующего ума (того, которым «Россию не понять») не требуют преодоления переводческой пропасти.

Мы — страна «быстрых разумом Невтонов». Пусть «собственных», но «Невтонов» — носителей западной рациональности. В эпоху эгалитарного образования Невтоны нередко получают скороспелыми, бессистемно-поверхностно усваивающими то, что иноязычные учителя копили веками. Быстрота их разума проявляется в стремлении одним махом перескочить в рациональное долженствование через любые пред-рассудки, в том числе и воплощенные в образе жизни многих поколений. Не случайно именно у нас привилась идея прыжка через исторические эпохи. Результаты ускоренных модернизаций иррациональными киксами ложатся поперек блистательных планов. А это означает, что реформируется придуманное. «Быстрый разум» изобретает не только планы перестроек, но и перестраиваемую реальность. Сама по себе она словно не существует, поскольку ее язык невнятен. Какие-то темные идиомы. И темпоральность другая: «Тише едешь...»

Наша непосредственная самоощущенность выражается в категориях, далеких от риторико-логико-юридических установок западной культуры. Самопонимание, на которое надо бы ориентироваться в видах понимания России умом, вряд ли плодотворно искать в текстах теоретического склада. Стоит обратиться к внетеоретичным источникам.

Один из них — русская музыка. Ее, кстати, в России издавна исследуют меньше, чем западную⁷: тоже симптом «быстроты разума», перепрыгивающего через собственную обусловленность. Музыка не может быть не причастна к дорассудочному пониманию. Хотя бы потому, что ее логика и вообще внепнятийна, а в отечественной традиции реализует себя еще и в таких звуковременных конструкциях, которые разительно отличаются от аналитичных структур, господствующих в западной композиции.

В музыкальных памятниках, где такие отличия сгущены, следует искать ключей к нашему самоопределению. Чтобы указать их, не требуется даже анализа партитур. Как правило, именно эти памятники так или иначе отодвинуты на обочину внимания.

«Быстрый разум» уже в прошлом столетии отодвигал от себя в первую голову «медленное» — стили и произведения, конфигурированные веками, что

были до них, а не предчувствуемым и программируемым будущим. В опусах, повернутых к прошлому, музыкальное время течет иначе, чем в футурологически-проективных. Где нет звуковых событий, поражающих слух непривычностью, там не нужно торопиться фиксировать услышанное в памяти и спешить отстраиваться от него, чтобы связать в единый образ моменты сочинения: психологическая скорость процесса невысока. Традиционалистская музыка «медленна» не только во внешнем историческом измерении, но и во внутреннем художественном.

Однако «тише едешь, дальше будешь»...

Начало русской музыкальной классики. Неопознанная реставрация

«Тихо ехал» М. И. Глинка (1804 — 1857). А оказался далеко. Настолько, что его музыка нам еще предстоит, ее с нами по-настоящему еще не было.

С наследием Глинки (позволю себе сравнить несопоставимое во всех отношениях, кроме внеэтночно-типологического) произошло то, что случилось с застойным СССР, когда было объявлено «ускорение»: утрата самого «ускоряемого».

Композитор, возможно, остался бы в тени плодovitых и успешных современников К. А. Кавоса и А. Н. Верстовского, если бы не харизматический энтузиазм М. А. Балакирева, положившего жизнь на то, чтобы сделать Глинку знаменем национальной композиторской школы и тем самым придать задним числом в сознании публики историческую «скорость» его наследию.

Глинкинский проект Балакирева удался. Национальная школа возникла — в очертаниях, совпадающих со структурой наследия Глинки (историческая и сказочная оперы; увертюры на народные песенные темы; «чужая» музыкальная этнография — от испанской до арабской...). Все это чуть ли не надиктовал Балакирев (и его друг критик В. В. Стасов, автор первой документированной биографии Глинки, 1857) А. П. Бородину, М. П. Мусоргскому, Н. А. Римскому-Корсакову, ими же привлеченным к композиторству вообще и к строительству национальной школы в частности.

Школа появилась, но положенный в ее основание и тем возвеличенный Глинка в каком-то смысле исчез.

Что делать с «официозным» шедевром — «Жизнью за царя», — просвещенная публика не знала уже в 1870-х. «Борис Годунов» Мусоргского был значительно понятнее: все-таки мальчики кровавые в глазах. Еще понятнее в исторической перспективе «Золотой петушок» Римского-Корсакова: царь признается в любви на мотив «Чижика-пыжика» — чем не передача «Куклы»?.. Фонограммы и даже нотного издания «Жизни за царя» в аутентичном виде не было весь XX век, нет и по сю пору. Только четыре года (1889 — 1993) опера шла в Большом театре в полном виде, на аутентичный текст и под авторским названием. Потом — снова «Иван Сусанин», снова покореженная партитура...

Да и вторую оперу Глинки скорее терпят, чем любят; пятно премьерного провала не выведено с блистательной, праздничной, роскошно-остроумной партитуры до сих пор. Постановщики сокращают «Руслана и Людмилу» кто в лес, кто по дрова — длинно, мол, и чуть ли не скучно. Скоро под видом «Руслана и Людмилы» будут ставить дайджест из каватины Фарлафа и марша Черномора...

Симфонического Глинку на моей не такой уж короткой профессиональной памяти живьем практически не играли, записей не издавали. Лишь недавно В. И. Федосеев записал компакт-диск с «Камаринской» и испанскими увертюрами. Романсы Глинки исполняются много реже, чем даже романсы Варламова, Булахова или Гурилева, не говоря уж о вокальной лирике Чайковского и Рахманинова...

Глинку не «затоптали в грязь», но превратили в формально почитаемый объект — родоначальника национальной музыки и «поэтому» автора гимна постсоветской России. Впрочем, о новом гимне не затухает какой-то вяло-бес-

смысленный спор. Как будто аристократу, напрашивавшемуся звучать на постсоветских церемониях, сделали громадное одолжение и теперь сожалеют о великодушной опрометчивости...

Так разрушается «медленное», когда его «ускоряют». Отстроив от Глинки национальный музыкальный прогресс, перевернули историческую оптику. Глинка не закладывал основ — он их реконструировал; не проектировал будущее, а собирал забытое.

Обратимся к многотерпеливой «Жизни за царя».

Три венчания, пронизывающих сюжет (дочери Сусанина и Богдана Собинина; самого Сусанина с вечной славой в терновом венце мученика; наконец, первого Романова на царство)... Тридцатитрехлетний ИСус (так композитор сокращал имя главного героя в рукописной партитуре); его полный тезка приемный сын, который, когда отец принимает мученическую смерть, стучится в ворота монастыря, символизируя воскресение главного героя; троица детей, в эпилоге трижды оплакивающих отца (это скорбное трио, разбитое на три части, упорно выбрасывается в отечественных постановках оперы)...

И еще: немыслимое для оперы — всех ее разновидностей, накопленных за два с лишним века до Глинки, — количество хоров. Почему в русских сценах «Жизни за царя» хоры крестьян и ополченцев присутствуют на виду (и на слуху) у зрителей практически постоянно, еще можно объяснить сюжетными причинами. Но удивительно, что поляки задумывают свою политическую интригу (а дело-то секретное, обычно обсуждаемое несколькими посвященными) тоже хором.

Мало того. Хоровые номера, даже самые бытовые (например, крестьяне идут на работу в лес), написаны в рафинированных полифонических техниках, вроде бы совершенно избыточных, — шли бы себе аккордовыми столбами, чай, не बारे...

Откуда эзотеричность хорового письма? Откуда столько хоров? И откуда интерпретация событий 1612 года в духе священной истории? Если искать общий ответ на эти вопросы, то возможен такой: из хорового духовного концерта — высшего жанра русской композиторской музыки в конце XVII — XVIII веках. Ко времени Глинки он утратил всякую актуальность, так же как стихотворство Симеона Полоцкого рядом с поэзией Дмитриева, Батюшкова и Пушкина. Именно эту ушедшую традицию Глинка реконструировал в «Жизни за царя». А вместе с ней и то, что роднило русский духовный концерт с его западным источником и аналогом — ораторией, и то, что их различало.

Оратории не бывает без наработанных еще до появления этого концертного жанра «ученых» техник многоголосия, нормы которых сформированы литургической символикой. Оратория хранила в себе традицию музыкально-богословской экзегезы в то время, когда в других крупных жанрах (прежде всего в опере) утверждалась эстетика чувства, чтобы не сказать тела. Оперное бельканто, в частности, выражает раскрепощенную натуральность дыхания, опирающегося на диафрагму; рожденная в опере и вначале только для оперы техника письма, выделяющая солирующую мелодию, а остальные сводящая к ее аккордовому сопровождению, по-своему апологизирует «телесный» голос.

Русский духовный концерт взял из западной оратории многоголосную ученость. А из духовного концерта она перешла в хоровой пласт оперы Глинки. Но и сольный пласт в «Жизни за царя» принадлежит к оперной эстетике лишь отчасти. В партии Сусанина, особенно в его предсмертной арии из сцены в лесу, слышим аллегорические фигуры (например, мотив креста), характерные для немецких пассионов XVII — XVIII веков — разновидности ораторий, исполнявшихся на Страстной неделе. «Чужеродные» мотивы так вросли в интонационную пластику крестьянской протяжной песни, что выделить их на слух, если не знать о них заранее, почти невозможно. Остается лишь впечатление монументальной значительности каждой мелодической фразы. Ее можно истолковать как величие народного характера (что и делается). Однако крестьянская песенная интонация, которая символизирует народность, есть также в

партиях Антонида или Вани. Но без кодифицированных в западной ораториальной традиции аллегорических вкраплений она не дает масштаба, который выделяет фигуру главного героя так, как в обратной перспективе иконы выделен герой жития.

Объединив исконное русское и давнее европейское, композитор возродил тип события-знамения (единицы реальной истории, непосредственно являющейся знаком объясняющего историю священного текста). Для XIX века это был вполне архивный ход, напоминающий о том, как относились к истории в 1612 году. И хотя сюжет оперы дает прямое указание, какой тип сознания реконструировал Глинка, оперу поняли как политический официоз. За этим истолкованием (и за советским его продолжением, превратившим «славься, царь» в «славься, народ») стояло представление о том, что мысль жестко привязана к идеологическому реквизиту текущего времени. В том числе и носители «свободомыслия» не допускали, что свобода мысли может проявляться в измерении, независимом от текущей конъюнктуры.

Опера Глинки осталась непонятой и в другом отношении. Вернемся к ее жанровым прообразам.

Оратории не бывает без оркестра и сольных номеров. А духовный концерт исключает инструментальное и минимизирует сольное звучание. В этом он находит православной литургии. Хор в духовном концерте — полномочный представитель храма. Ту же роль играет хор и в первой опере Глинки.

Музыка в опере Глинки говорит не столько об обстоятельствах восшествия на российский престол первого Романова или о подвиге старосты деревни Домнино, сколько о той мистерии власти, которая объединяет царя (медиатора между земным и небесным) и крестьянина (чей подвиг воспроизводит ответственность Божьего помазанника за государство), а значит, о нерасторжимой связи между преходящим и вечным и о постоянной возможности преображения посюсторонней реальности. Глинка музыкально засвидетельствовал возможность чуда.

Опера о чуде — такое в истории музыки редчайшая редкость. Вагнеровская «Тристан и Изольда» не в счет — в ее сюжет встроено не чудо, а волшебство. Скорее уж речь должна идти о «Тангейзере», «Лоэнгрине» или «Парсифале»: там есть чудеса, но сугубо сюжетные. Что же до создания Глинки, то не только его сюжет включает чудесное преображение, но и сама опера есть *музыкальная модель чуда*. Ведь сугубо светский жанр сумел преобразиться в род музыкальной иконописи.

Синтез церковного и светского в опере Глинки возвращает к каноническому состоянию музыки, когда правила композиции обосновывались надмузыкальными (прежде всего богословскими) аксиомами, в том числе и в светских жанрах (ведь последние в европейской профессиональной традиции производны от церковных). Воспроизводится ситуация, сохранявшаяся на Западе до XVII века. Происходит это в контексте, в котором уже нет внемузыкального обоснования правил: нормы композиторского письма апеллируют друг к другу внутри специфически музыкальных языковых систем⁸. Еще полвека — и не будет общезначимых правил композиции, размытых эстетикой нового, которая превращает каждое сочинение в *opus № 1*⁹. А спустя еще век обнаружится противоречие эстетики нового: без фундамента общезначимых правил новизна не прочитывается или вынуждена искать себя за пределами звука¹⁰. В конце 1970-х заговорили о «новой простоте», неотрадиционализме, наконец, о возвращении к канону¹¹. В 1990-х реконструкция доновременного типа композиции оказалась единственным направлением творчества, в котором находит себя историческое сознание¹², прежде связывавшееся с музыкой исключительно через концепт «нового».

В 1836 году Глинка написал музыку XVII века. И одновременно — 1990-х, а точнее, даже эпохи, которая сейчас только вызревает.

Можно возразить: сказанное касается «Жизни за царя», а у Глинки есть и другие сочинения. Есть. Например, «Руслан и Людмила» (1842), опера тоже

весьма долготерпеливая. Но насколько «Руслан» в действительности далек от «Жизни за царя»? Ровно на то смысловое расстояние, какое существует между Рождеством и святочными праздниками или (инверсированно) между масленицей и Великим постом. «Руслан и Людмила» — то же самое по отношению к «Жизни за царя», что «Служба кабаку» по отношению к литургическим текстам в средневековой русской словесности.

Несколько деталей. В «Жизни за царя» есть не поющий персонаж. Это «наш боярин Михаил» — первый Романов. И в «Руслане» есть не поющий персонаж — злой волшебник Черномор. В «Руслане» хоров меньше, чем в «Жизни за царя». Но зато есть герой, который поет хором, к тому же мужским, что, если думать о литургической традиции, особенно показательно. Речь идет о Голове, с которой Руслан встречается на поле, усеянном «мертвыми костями», сразив которую он добывает волшебный меч — средство против жизнехранительной бороды Черномора, о голове, которая оказывается остатком от великана — брата карлика Черномора. И которая поет хором (недаром: великан), тогда как ее брат-карлик вовсе не поет. При этом аналог не поющего волшебника — царь — в первой опере представлен как раз хоровым маршем. То есть волшебные братья из «Руслана» (не поющий карлик и поющий хором великан) есть травестированно-раздвоенный царь. При этом Руслан, побеждающий обоих волшебных братьев, делается перевернутым аналогом Сусанина, отдающего «жизнь за царя»...

В оперном наследии Глинки воспроизведен давний баланс молитвы и смеха¹³. «Руслан и Людмила» — своего рода аристократическое скоморошество; тогда как «Жизнь за царя» — государственно-историческая литургия.

Так что и в 1842 году Глинка написал музыку сразу XVII и XXI веков.

От музыки к общественной перспективе. Нежесткое сцепление № 1. Боюсь, что и не будучи Невтоном, впаду в этом разделе (как и в последующих аналогичных) в убыстренную мысль. Просто потому, что, кроме как эскизно, не возьмусь очерчивать материи, по отношению к которым всегда была лишь читателем, но никогда — писателем. Уж слишком это искусительно, а отчасти граничит с самозванством — затрагивать судьбоносные темы, в проповедническом жанре «иного не дано».

К тому же музыка не может без осязаемых смысловых цезур непосредственно переходить в публичную речь «общего профиля». Необходима цепь соединяющих звеньев, прописывание которых составило бы еще одну, и не маленькую, статью внутри этой.

Тем не менее совсем коротко: если думать о внемузыкальных параллелях глинкинской перспективной ретроспекции, то речь может идти об осознаваемой сегодня конструктивной роли старого культурно-символического наследия в жизни открытых обществ XX века, о внезапно актуальной конструктивности традиции.

Выясняется, что наследие Средних веков — вовсе не музейный реликт, а то именно, что удерживало современные демократии от сползания в хаос¹⁴. Недаром даже Джордж Сорос, десятилетиями проповедовавший открытое общество, сегодня впал в ревизионизм — призывает к возрождению нерыночных ценностей, к которым относит прежде всего религиозное мировоззрение¹⁵.

Завершение русской музыкальной классики. Преждевременный консерватизм

Глинку помнят, хотя и формально. Другого композитора, которому выпало завершить национальную классику, забыли. А делал он примерно то же, только не в опере, а в симфонии.

Последнее исполнение шедевра Василия Сергеевича Калинникова — Первой симфонии — состоялось в 1960-х (оркестр Московской филармонии под руководством Кирилла Кондрашина). Но и до того она игралась редко. В со-

знании нескольких поколений меломанов и профессиональных музыкантов симфония, как и все наследие Калинникова, практически отсутствует.

Калинников прожил тридцать пять лет (1866 — 1901). Из них двадцать он пытался реализовать свое музыкальное призвание, шестнадцать изнурительно боролся с нуждой, тринадцать безнадежно болел и всего только пять последних лет жизни смог посвятить композиторскому творчеству¹⁶. Первая симфония была сочинена в 1895 году. Она стала не только кульминацией недолгой творческой жизни автора, но и итогом всей национальной классической школы, по отношению к которой композитор, скончавшийся едва покинув ученический класс, не успел занять критическую позицию (хотя сама школа — в лице, например, Римского-Корсакова — к концу 1890-х уже критически переосмысляла себя).

Жизнь музыканта, которому история и биография отвели роль пиететного завершителя традиции, сложилась так, как он предвидел. Поступив в Московскую консерваторию, Калинников писал отцу: «Я ничуть не желаю венков вперед и громкой славы. Я просто желаю быть настоящим артистом и даже желал бы умереть в самой крайней бедности, лишь бы только быть им...» Калинников умер настоящим артистом и в крайней бедности. Но слава, хотя недолгая и отнюдь не выданная вперед, все же была¹⁷. Дирижер А. Н. Виноградский писал о Первой симфонии ее автору (1899): «Право, это какая-то триумфальная симфония. Где бы я ее ни играл — всем нравится. А главное, и музыкантам, и толпе. Вот это ее удивительное свойство».

Что же на рубеже уходящего столетия объединило знатоков и случайных посетителей концертов, вкусы которых уже тогда поляризовались (одни почитали необходимым отметить в Байрёйте на «Кольце нибелунга», другие все менее стеснялись шантанных пристрастий)?

Сочинение Калинникова непровокативно: оно предоставляет возможность отдохнуть от любой броскости, будь то сенсационная концепционность/новизна, которая в элитарном сознании в конце 1890-х уже стала пропуском к успеху¹⁸, или взвинченная страстность/веселость, имитирующая смысловую запыленность жизни на просевшем фундаменте традиционных ценностей.

В симфонии Калинникова этот фундамент естествен и незыблем. Он как будто даже незаметен, поскольку автор не проповедует традицию, а просто пребывает в ней. Отношение к истории не рефлектируется, не выдается за знаковый жест.

«Незнаковость» в большом художественном контексте конца прошлого (а тем более нынешнего) века кажется чем-то провинциальным. Она надолго отодвинула произведение Калинникова на периферию актуального искусства. Однако сегодня, когда средства для агрессивной маркировки актуальности исчерпаны (уже в 1980-е не приходилось сомневаться в том, что музыкальный авангард перестал существовать), отсутствие претензий на «продвинутость» представляется опережающей время позицией.

Но не в гонках прогресса дело. Калинников, человек глубоко верующий и каждый день побеждавший грех уныния в борьбе с подступавшей смертью, творил в настоящем, которое причастно вечности. И получилось тоже настоящее, которое причастно вечности.

Выдающийся музыковед Борис Асафьев в 1930-е назвал симфонию Калинникова «песней жаворонка русского симфонизма». Спокойная естественность радости в высоком искусстве XVIII века еще имела хождение. В XIX столетии она превращалась в анахронизм, а в XX веке и вовсе исчезла¹⁹. Части заменили целое: юмористическая травестия и пародийная перелицовка, лирическое ликование, героический экстаз, легендарно-эпическая торжественность, развлекательная пустячность — это ведь не вся радость. И вообще не радость — та, глубокая (но не впадающая в эзотерическую нескáзанность) и живая (но не нажимающая на собственную заразительность), какую неожиданно слышим в симфонии Калинникова.

Откуда же она взялась?

Композитор говорит лексикой Бородина (интонациями из его «Богатырской» симфонии) с просодией Чайковского (имеются в виду его лирико-гимнические кульминации, напряжение которых достигается сменяющимися друг друга долгими волнами, устремленными под купол высотного пространства) и в грамматике Моцарта (музыкальная речь на всех масштабных уровнях ясно расчленена на симметричные вопросо-ответные построения). Сочетание было бы эклектичным (Чайковский так же далек от Бородина, как Бородин от Моцарта), если бы не обнаружившийся вдруг общий смысл. Калининков ничего не добавил к фрагментам традиции — только выбрал их. Но выбрал так, что они слились в единый образ, отбросив тянущие в разные стороны исходные смысловые окраски.

«Богатырство» в столкновении с лирической декламацией лишается эпической легендарности. Остается только чувство укорененности в народном прошлом, или — более общо — повседневная прочность самоощущения. Любовный восторг рядом с эпической объективностью расширяется в благодарность бытию, не имеющую лично-биографических привязок. А классицистская прозрачность причинно-следственных связей, накладываясь на национально-«соборную» мелодику и гимническую бескрайность кульминаций, теряет связь с родной ей эстетикой аристократической меры и превращается в обобщенный знак разумности мира.

Объединяя традиции, композитор создает русскую (действительно русскую) симфонию (действительно симфонию).

Симфонию долго не прививалась на российской почве. Сочинения получались либо «слишком» русскими и потому не совсем симфониями, либо вполне симфониями и потому русскими больше по месту написания²⁰.

Симфонический процесс состоит в изложении и последующем дроблении двух противоположных тем (их называют главной и побочной; в старых учебниках композиции они иногда характеризуются как «мужская» и «женская»). Темы делятся на мотивы и субмотивы, которые против- и сопоставляются, чтобы заострить их контраст — довести его до кульминационного конфликта, и выявить сходство — довести его до тождества, обозначающего завершение опуса²¹. Если пользоваться словесно-интонационными аналогиями, то схема симфонии (и цикла в целом, и его модели — первой части) такова: «Да. — Да? — Нет. — Нет? — Да! Или... — Нет! Или... — Да? — Нет? — Нет-нет-нет! Никогда!!! — А может быть, да? — Да нет... — Н-да... нет, да! Конечно, да! — Никаких „нет“! — Да-да-да! Да!! Да!!!» Симфония подчинена телеологической динамике. Она шагает от начала к концу, не давая слушателю оглядеться по сторонам. Эта тенденция достигает кульминации в симфонии бетховенского склада: в ней время превращается в единственное измерение существования²².

Если витальная модель симфонии — шаг, то мелодика русской крестьянской протяжной песни, как и православного распева, «дышит». Она живет не дроблением, а суммированием-наращиванием. Исходное интонационное зерно прорастает; к вариантам-продолжениям прибавляются другие варианты, которые имеют свои продолжения. Финальная точка мелодии не задана; цель процесса музыкально не артикулируется — ее просто нет. Если искать речевых ассоциаций в духе предложенных в связи с симфонией, то получится нечто вроде: «Да-а... Да + ой + да-а-а... Да + ой + да + эх + да-а-а...» Музыкальная мысль движется как будто не во времени, а в пространстве. Для нее важно не прибытие из точки А в точку В, а заполняющее пребывание. Она мыслит звуковые «места», и не мыслит даже, а обживает их.

Калининкову удалось соединить телеологическое время, притом в самой быстрой (поскольку предельно компактной) версии, и обживание пространства, притом долгое, «многовековое», медленное (в его симфонии имеется, в сущности, одна-единственная тема — все остальные вырастают из ее интонационной рассады, а при малой плотности разнородных интонационных событий музыкальный процесс замедляется). Извлечена эта «быстрая медленность»

из глубины собственно «медленного». Для его незвучащей модели (дыхания) найдено точное звуковое воплощение.

Обратимся к первой части симфонии и оттолкнемся от одной из ключевых точек формы: изложения главной темы.

Тема звучит в унисон, как в «Богатырской» Бородина, а также — как запев русской протяжной песни или как допетровское церковное пение. Структура мелодии также заставляет вспомнить о распевах православной литургии. Если мелодию замедлить и сгладить ритмический рисунок, то проступит модель опевания тона речитации, базовая в знаменном распеве. Такая мелодия не способна к участию в симфоническом дроблении. Однако Калининков помещает между ее фразами лишённые мелодической характерности медленные хроматические ходы. Они поднимаются, как бы имитируя движение вдоха, в то время как мелодические фразы становятся «выдохом» (поют ведь на выдохе). Продолжая «дышать», как крестьянский или литургический напев, тема обнаруживает в себе расчленяющий контраст, из которого и извлекаются столкновения «нет!» и «да!» в кульминации.

То, что в западной симфонии делается двумя противоположными темами, в опусе Калининкова выполняется одной (состоящей из «выдоха» — присутствия мелодии и «вдоха» — ее озвученного отсутствия). Зато эта одна предстает во множестве вариантов (побочная и другие темы — продолжения-наращивания главной). Чего отнюдь не может позволить себе главная тема западной симфонии: ей ведь надо жестко сохранять собственные очертания, чтобы противостоять побочной теме. У Калининкова экономятся различия, зато единство получается свободным, открытым. В западной симфонии, напротив, различия акцентируются, зато и единство возможно только в одной версии, которая появляется в финале.

Симфония Калининкова, при всей ее «моцартовской» компактности, исповедует разомкнутость. Ее мир (в отличие от западной симфонии, финал которой предзадан началом, а начало обусловлено финалом) открыт. Но открытый композитором простор, вопреки банальной герменевтике русского характера, не есть слепая ширь. Он символически упорядочен, пронизан направленными ценностными энергиями. Динамика волнообразного подъема, которая заставляет вспомнить о кульминациях Чайковского, выстраивает пространство иерархически, собирает его вокруг оси низ-верх. При этом на каждом уровне иерархии идущие от уже описанной «дыхательной» структуры главной темы соответствия подъемов-спадов воссоздают филигранные «моцартовские» симметрии, упорядочивая звуковые «места» по горизонтали. В направлении вверх — национальное; в плоскости «здесь и сейчас» — общеевропейское: такова структура симфонического «простора» у Калининкова.

Дискурс симфонии у Калининкова артикулирует живое дыхание национального мелоса, но и сам из него вырастает. Западный служит выявлению русского, и обратно. Музыкальный простор открыт в геокультурный универсум. Углубишься в свое — освоишь всеобщее.

Остается понять, при каких условиях возможна эта открытая самобытность.

Вернемся к моцартовской симфонической грамматике, неожиданно адекватной в симфонии Калининкова русскому мелодическому чувству. Ее эстетическая мораль: компактность и обозримость целого, четкость внутренних граней, еще не смытых представлениями о том, что искусство должно «исправлять мир», вести за собой историю по дороге великого замысла. А также щадящее отношение к слушателю, которого музыкальная структура не тащит вперед и вверх, а позволяет самому решить, предаваться ли самозабвенному погружению в звучащее или с аристократической индифферентностью держать дистанцию между собой и произведением.

Композиторам добетховенских поколений было еще свойственно профессиональное здравомыслие. Музыка — только музыка, не более (но и не менее; когда музыка становится больше чем музыкой, она делается менее музыкой).

Моцарт был едва ли не последним великим творцом, свободно относившимся к собственному призванию, не ставя его на службу никакой отвлеченной идее (в XIX веке аналогом будет лишь Шуберт, но тот отдал свои силы преимущественно малому жанру — песне, а в малом быть свободным легче, чем в большом). После Бетховена отношение к творчеству стало другим. «Через страдания к радости» (любимый бетховенский девиз): идея героического преодоления во имя великой цели укоренилась в заданных Бетховеном стандартах симфонического развития²³.

У русских композиторов середины XIX века была своя героическая идея — национальная школа. К 1890-м национальная школа состоялась и отстоялась, за нее не надо было бороться. И Калинников не боролся. Но он отказался и от той концептуальной «идейности», которую привил симфонизму Бетховен.

Именно отказ от подчинения идее позволил запоздалому русскому моцартианцу объединить западное симфоническое время и русское мелодическое пространство. Симфоническое время, устремленное в будущее, превращено в пространство, которое обжито традицией. Тем самым сказано: будущее может состояться только как «свое иное», вросшее в конкретный опыт поколений.

От музыки к общественной перспективе. Нежесткое сцепление № 2. Опять по необходимости быстро и коротко.

Музыкальному посланию Калинникова можно найти аналог в политической психологии и среди моделей политического поведения. Речь идет о здравом смысле, который выражается в уважении к данности, будь она своей или чужой. Такой здравый смысл — необходимая аура консервативной политики. Как писал один из первых ее адептов Эдмунд Бёрк, необходимо «улучшать, сохраняя». В этой максиме живет не какая-то идеология, но система ценностей, которая позволяет недоктринально-гибко использовать в интересах (и в конкретных условиях) своей общности любые полезные и морально оправданные (будь они «старые» или «новые», экспортируемые или самобытные) социальные и экономические инструменты.

По культурному оформлению консервативного здравомыслия в конце прошлого века уже заставляли тосковать противоборствовавшие системы политических идей, быстро обросшие броским художественным аранжментом. Не с этим ли связан солидарно-благодарный отзыв на симфонию Калинникова разномастной публики конца 1890-х?

Но с этим же связано и последовавшее угасание интереса к этой симфонии. Идеологии в XX веке победили. Человека они превратили в борца, а такой человек звучит особенно гордо. По крайней мере ему легко внушают гордость его апологеты-манипуляторы, которые уже на заре массового общества выстроились в мощный и алчный социальный отряд. Нерадостная цена идеологической гордости вполне открылась лишь к концу века — по крайней мере в России.

Теперь симфония Калинникова, возможно, вернется в художественную жизнь²⁴. Ведь консерватизм, кажется, наконец-то вновь востребован. Во всяком случае, у нас появились политики, желающие именоваться консерваторами. Но востребован консерватизм пока что в соответствии с еще не преодоленным молчанием культурной памяти — в качестве обретшей престижность на фоне дискредитированных идеологий, но пустой маркировки.

Пустой, поскольку нет того, что наполняет консерватизм самостоятельным смыслом и отличает его от циничной прагматики: безусловной веры в традиционные ценности; той веры, которая шире как социалистической, так и либеральной доктрин (при том, что обе возникли в качестве вариантов обмирщения христианства), шире и изоляционизма, и глобализма и потому позволяя-ет брать полезное отовсюду и при этом не терять цельности.

Так, как это произошло в симфонии, завершившей русскую национальную классику.

Новый музыкальный язык и национальная идея

Глинка создал «медленные» оперы. Калининков — «медленную» симфонию. Остается вокальная музыка — хоровая и сольная. Здесь самым «медленным» был Георгий Свиридов (1915 — 1998).

Оркестровые произведения Свиридова заканчивал, как правило, очень быстро. Его вдова вспоминала, как, тяготясь необходимостью срочно сдать режиссеру партитуру для кинофильма «Время, вперед!» и боясь пропустить вечерний клев (Георгий Васильевич был страстным любителем рыбалки), композитор завел будильник и едва ли не за час сочинил ту самую финальную часть сюиты, которую (по музыкальным позывным телепрограммы «Время») знает все население бывшего СССР²⁵. Зато над вокальными сочинениями композитор работал подолгу, десятилетиями. Например, «Песнопения и молитвы» создавались двадцать три года (окончательная редакция датируется 1995 годом). Вокальная поэма «Петербург» на стихи Блока складывалась с 1963 по 1995 год. Четыре хора из «Песен безвременья» (также на тексты Блока) впервые прозвучали в 1981 году, но цикл дополнялся до самой кончины композитора.

И дело не в том, что с оркестром Свиридову было легче, чем с певческими голосами. Легкого-то ведь всегда больше. А в наследии Свиридова оркестровых и инструментальных сочинений всего около десяти, тогда как вокальных, причем масштабных, многочастных, более сорока. Так много (и так кропотливо-медленно) для хора и солирующих голосов не писал ни один из композиторов XX века.

Вокальная музыка в свиридовской иерархии жанров занимает верховную позицию. Между тем с середины XIX столетия наиболее полное и чистое воплощение музыки видели в инструментализме вообще и в симфонии в частности (см. примеч. 23). Свиридов вернулся к ситуации, когда инструментальные жанры могли претендовать на значительность лишь в том случае, если претворяли опыт вокальной музыки (как, например, органские, органные мессы XVII — XVIII веков, которые были инструментальными заменителями мессы хоровой).

Различие вокальной и инструментальной музыки сегодня не столь очевидно, чтобы оперировать им без специальных пояснений. Мысль о том, что вокальное/инструментальное составляют базовую оппозицию музыкального искусства, высказана в XX веке лишь однажды. Видный немецкий музыковед Пауль Беккер называл инструментальную музыку «механической», а вокальную «органической»²⁶. Лишь в пору доминирования вокальных жанров (от начала европейской композиции в XI столетии до появления симфонии в середине XVIII века) возможна подлинная мелодия.

Действительно, настоящие мелодии развертываются независимо от метрического счета времени или смены гармонии. Импульсы для нового витка развития содержатся в предыдущих фазах мелодического движения: например, в незаполненности интервала, требующей компенсации гаммообразным ходом, или в резком подъеме, который необходимо уравновесить спадом, и т. п. Когда музыкальный язык подчиняется — выросшей из необходимости синхронизации оркестровых групп — абстракции такта (удобной и эффективной для построения пропорций, соответствий и симметрий, собирающих форму в обозримое слухом целое), мелодии остается только изображать лидера. На деле же форма движется аккордовыми последованиями, которые являются проекцией тактовой метрики (и поэтому среди них есть «сильные» и «слабые», закрепляющие за собой функции начала, перехода и конца). Мелодия в музыке Нового времени — декоративный президент (хотя выглядеть может весьма харизматично и вести себя интригующе-непредсказуемо), которым манипулируют «олигархи» — гармоническая тональность и тактовая метрика.

Беккер в своих исторических оценках в целом прав: подлинная мелодия к XX веку исчезла; ее нет ни в высокой музыке, ни даже в массовом песенном репертуаре, где ей, казалось бы, самое место. Из всего советского песенного наследия можно назвать только два-три образца, напоминающих о настоящей

мелодии (например, «Ой, туманы мои, растуманы» В. Г. Захарова). В большинстве случаев «механический» принцип такта либо более или менее удачно вуалируется обрывками традиционных мелодических стилей (тенденция первой половины века), либо, напротив, обнажается, превращая мелодию в нарезку из кратких попевок, отбивающих доли времени (тенденция последних десятилетий).

Однако из этого правила выпадает феномен Свиридова. Его мелодии не нуждаются в костылях такта и помочах аккордовых прогрессий. Поэтому привычное разделение музыкальной ткани на мелодию/аккомпанемент музыки Свиридова неадекватно, хотя во многих сочинениях мелодия резко выделяется на фактурном фоне. Последний может быть аккордовым, может следовать тактовой метрике, но это мнимые такты и мнимые аккорды, поскольку не они, а мелодия структурирует музыкальное время. «Олигархи» нововременной музыки у Свиридова теряют власть.

В последней части «Маленького триптиха» (1966) оркестровые группы, свободные от изложения мелодической темы, имитируют звон бубенцов. Хотя звон пульсирует равномерно, словно озвучивая сетку тактовых долей, хотя звенящие вертикали сменяют друг друга в режиме тонально-метрической прогрессии, имеются в виду не тактовый метр и не гармония, а только краска, рисующая звуковое пространство (дорогу), в котором движется, чувствует и мыслит мелодия.

Такова же функция мощной пульсации оркестра в заключительном номере из сюиты «Время, вперед!». Она создает образ громадного, мощного и ликующего индустриального пространства (цеха, стройки, железной дороги... — страны цехов, строек, железных дорог...). В нем разбросаны мелодические фразы духовых — словно камера выхватывает крупные планы людей, населяющих эту страну большой, героической (но вряд ли бережно определяющей цену человеческой жизни) работы. Интонационный источник мелодических восклицаний — ораторская речь (от нее — резкая, императивная лепка интервальных ходов), но способ развития сугубо мелодический: игра пустотами и заполнениями. Каждая фраза состоит из двух резких подъемов вверх (двенадцать звуков), которые уравновешены только лишь тремя звуками, низводящими с вершины всего-навсего на сексту (а подъем захватывал две октавы). «Конспективного» спуска при столь «подробном» подъеме хватает для эффекта завершенности. Этот парадокс, однако, есть не что иное, как искусный обман слуха. До двойного подъема существует долгий звук, задающий среднюю линию высотного пространства. И спуск заканчивается долгим звуком, который находится в той же зоне середины. Так что и подъем, равный двум, и спад, равный одной четверти, укладываются в логику типичного для мелодии опевания серединной зоны (только артикулировано опевание, в соответствии с сюжетной привязкой музыки, ораторски-размашисто). Вместе с тем контраст развернутого восхождения и минимального нисхождения столь разителен, что гасится (двумя обрамляющими его долгими серединными тонами) не до конца. Остаточный дисбаланс служит импульсом к повторению мелодических фраз²⁷. Вторые два подъема плюс малый спуск служат «ответом» на «вопрос», заданный первыми. Мелодия движется вперед собственными силами, без оглядки и тем более опоры на смену аккордов или тактовые пропорции.

Примеры из «Маленького триптиха» и сюиты «Время, вперед!» показывают: сосредоточенность на мелодии порождает специфический свиридовский минимализм²⁸. Одного голоса, в принципе, достаточно, чтобы музыкальная форма (а с нею и художественная мысль) состоялась. До Свиридова так было только в древних и средневековых монодических традициях (если говорить о русском наследии, то в знаменном распеве).

Тут самое время вернуться к суждениям П. Беккера об инструментальной и вокальной музыке. Немецкий музыковед (сам того, видимо, не подозревая) воспроизвел классификацию, характерную для русских средневековых трактатов о музыке. В них выделялось два типологических понятия: «пение» и «игра-

ние». Соотношение между ними мыслилось таким же, как между храмом и ярмарочной площадью, богослужбной книгой и скоморошьими забавами. На эту аналогию провоцировала не только связь пения со словом — верховной культурной инстанцией Средневековья, но также зависимость пения от дыхания — символа жизни и духа.

И сам музыкальный язык средневековых певческих традиций был проекцией слова и дыхания. В знаменном распеве (основном стиле русского богослужбного пения) каждая конкретная мелодия закреплена за определенным текстом или группой текстов, а также привязана к церковному календарю. Мелодии различаются не только составом попевок, но и степенью их развитости, измеряемой количеством тонов, приходящихся на один слог текста, а чем больше тонов приходится на один слог (значит, и на один выдох), тем более интенсивно и дисциплинированно певческое дыхание. Развитые мелодии звучали в церковные праздники. Значительности праздника прямо пропорционально богатство мелодии, а ему — культивированность певческого дыхания.

Слово и дыхание — метамузыкальные основания языка древней и средневековой богослужбной музыки. Язык Свиридова также растет из метамузыкальных корней. Но не ступлюк из слова и дыхания (хотя первое в вокальных жанрах естественным образом определяет направленность композиторской мысли, а второе есть субстанция мелодии), сколько из других символических реалий, до Свиридова вообще не соприкасавшихся с музыкальным языком.

Если формулировать кратко, то музыка Свиридова, во-первых, классична; во-вторых, доклассична, в-третьих, постклассична. В ней собрана вся известная музыкальной истории языковая типология. Собрана под общим знаменателем национальной традиции.

Определением «классический» подразумевается опора оригинального произведения на нормы, которые существуют до опуса и независимо от него. Прекомпозиционных (то есть всеобщих) норм, однако, в музыке XX века (подчиненной новационной идее «опуса № 1») не существует. Свиридову пришлось такие нормы заново создать (его традиционализм, таким образом, продолжил и расширил идею «опуса № 1» — оригинальным «опусом» стала прекомпозиционная основа музыкального языка).

Из чего можно создать всеобщие музыкальные нормы в эпоху отсутствия самой категории музыкальной всеобщности? Только из метамузыкальных «привязок» музыки, как в доклассическую эпоху. Не случайно неоканонисты 1980 — 1990-х воспроизводят старинные техники богослужбной музыки. Свиридов пошел по другому, более понятному широкой публике, но совсем нехоженному пути.

У Свиридова источник прекомпозиционных норм недогматичен. Именно поэтому доклассичность его музыкального языка тождественна постклассичности. И даже заставляет думать о неопознанном авангардизме (выжившем после кончины того авангарда, который сам себя так называл), поскольку речь идет о впервые найденном способе построения музыкального языка. В семантизирующей роли, какую выполняло в Средние века богослужение и богословие, в музыке Свиридова выступает звукоатмосфера традиционной русской культуры — устоявшиеся звуковые символы национальной картины пространства и времени.

Эти символы выделены в популярных романсовых текстах: «Однозвучно гремит колокольчик... Разливается песнь ямщика». Песнь, которая *разливается*, подразумевает широкое, даже бескрайнее, и при этом ровное, гомогенное пространство — поле, в облике которого крестьянину предстает «мать-сыра земля». Колокольчик, который гремит *однозвучно*, представляет не подверженный изменениям и перемещениям, навечно установленный купол неба. Русские мыслили небо в виде купола²⁹, форму небесной сферы повторяет колокол (чьим малым подобием является дорожный колокольчик), а звук колокола гулко расходится из-под купола и клубится под ним, собирая землю под его свод.

Вернемся к *песне ямщика*. За ней стоят дорога и путник. Дорога связывает дом и даль (предел дали в народной мифологии — «тот свет»), то есть опосредует оппозицию «рождение/смерть». Находясь в дороге, путник погружен в сгущенное время, в котором непосредственно смыкаются, нейтрализуя свою противоположность, начало и конец³⁰.

Романсовые строки, фиксирующие звучащий национальный хронотоп, могут служить кратким описанием того, что мы слышим в уже упоминавшемся финале «Маленького триптиха». «Колокольчик гремит однозвучно» — эффект, достигаемый чудесами оркестровки. Заставить целый оркестр звенеть бубенцом и сохранить при этом тембровое богатство инструментального хора — значит преобразить (в сокровенном измерении) маленький дорожный колокольчик в громадный колокол, в купол неба... «Песнь разливается» — действительно «разливается»: не просто движется вперед собственными силами, как и другие мелодии Свиридова, а движется без цезур (там, где слух ожидает остановки, появляется, напротив, разбег, подводящий к следующей фразе), как сплошной поток... И звуковая картина дороги возникает. Дорога в «Маленьком триптихе» безначальна и бесконечна: мелодия-песнь предваряется звенящим пульсом и затихает раньше, чем прекращается звон колокольчика, таким образом, маркировки начала и конца размыты... И слушатель чувствует себя путником, который оказался наедине с собой, землей и небом. Мелодия вылеплена, как исповедальная речь. Ее ключевая интонация — повторяемый от разных высотных позиций ход с задержанным верхним звуком и быстрым сбеганием к нижнему устою — моделирует взволнованное высказывание, почти рыдание. Но эта эмфатическая интонация встроена в плавное, сплошное и неспешное разворачивание мелодии. А разворачивание это создает волнообразный рельеф, вздымая над линией нижних устоев высотные «купола». Рыдание и простор (который обозначает *разливающаяся песнь*), путник, земля и небо «неслитны и нераздельны»...

Именно на «путнике» (персонифицированной мелодией) сходятся в музыке Свиридова прекомпозиционные нормы и их индивидуация (без которой в классической музыке нет оригинального авторского сочинения).

Если в «Маленьком триптихе» конец и начало «дороги» размыты, то в вокальной поэме на слова Есенина «Отчалившая Русь» (1977) «дорога» имеет конец, который становится новым (выводящим за пределы произведения) началом. «Путник» приходит к преобразению. Преобразование намечено поэтическим текстом. В стихотворении, выбранном для заключительной части цикла, герой несет, «как сноп овсяный, солнце на руках». Человек вырастает в подобие мирового древа, которое объединяет поле и солнце. Музыкальным аналогом путника, соединяющего землю и небо, в свиридовской языковой системе может стать синтез песенности и колокольности. И действительно, вокальная линия, которая в начале поэмы держалась узких интервалов и гаммообразных ходов, в финале представляет собой серию широких интервалов, а конкретно — шагов по тонам настройки колоколов. При этом способ ее разворачивания остается чисто мелодическим. В партии фортепиано — свое преобразование: от мерных звончатых фактур в первых частях цикла к колокольности, которая в финале ритмически артикулирована как взволнованная человеческая речь. Драматургия перекрестного преобразования земли в небо и неба в землю, сфокусированного на путнике, заставляет по-новому прочесть смысл «дороги» — медиатора между началом и концом. Конец («земля как небо — небо как земля») равен новому началу — началу неразъединенного, неантиномичного бытия.

От музыки к общественной перспективе. Нежесткое сцепление № 3. Есть слова, вросшие в музыку. Например, некрасовские — в «Весенней кантате» (1972) Свиридова: «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка Русь». Они интонируются повтором одной и той же гимнически-набатной фразы (напоминающей также и аккламации священника).

В музыкальном повторе, который и подчеркивает поэтические антитезы, и обнаруживает скрытую синонимию противоположных самооценок, дано такое «вомузыкаливание» слов, которое словно изначально, в самих строках поэта, существовало, только мы этого не слышали.

А есть слова, из музыки вырастающие. С ними труднее. Это как сочинять от той эвристически-загадочной точки, с которой начинает композитор, и дойти — тоже загадочным путем — не только до заверщенного произведения, но еще и до его рефлексивной интерпретации (которая самого композитора если и интересует, то только потом, когда о его сочинении пишут и говорят). С другой стороны, писать и говорить о музыке, не пытаясь вырастить слова из нее самой, — профанация. Поэтому пробовать все же надо, хотя и без особых упований.

Попытаемся «прорастить» из музыкального языка Свиридова понимание, как возможна наша национальная идея.

Пройдем еще раз по уровням языковой системы композитора. Первый (прекомпозиционный) опирается на традиционную геопоэтику: образ простора, собранного воедино идеально, «сверху», ценностями веры. Но это только почва (и «почва» самой идеи, и концепт «почвы» в ее содержании).

Простора и веры нет без «путника» и его «дороги», а они в каждом сочинении Свиридова неповторимы, уникальны (это уже высшие языковые слои, на которых прекомпозиционные нормы индивидуируются).

Здесь сосредоточено самое сложное.

В вокальной поэме на слова А. Блока «Петербург» (окончательная редакция — 1995) первая кульминация — трагический романс «Я пригвожден к трактирной стойке». Его мелодия все время возвращается к одной и той же каденции: «путник» не «идет», он и в самом деле «пригвожден» к безысходно-страшной остановке. Только голос его страдает и стремится вырваться (и задерживает высшую точку мелодии перед тем, как упасть на дно все той же каденции). А исключительная кульминация — «Богоматерь в городе» — сплошной «путь», бесконечный, поскольку каждая мелодическая фраза и весь номер в целом заканчиваются осторожно-вопрошающими мелодическими фигурами — фигурами надежды и ожидания.

Все дороги открыты. И все тупики тоже.

«Ты и могучая, / Ты и бессильная»... Ты и свобода нравственного поступка, ты и анархическая воля... И Гринев, и Пугачев...

В отличие от других идентификационных идей (например, «американской мечты» или шариатского государства), наше самопонимание, как его представляет музыкальный язык Свиридова, не предписывает поведенческие стандарты. Его стержень — свобода выбора себя. Каждый «путник» сам выбирает свою «дорогу» между небом и землей, началом и концом. Единственное, что здесь надперсонально, — перечисленные координаты, по отношению к которым «дорога» обретает направление. Впрочем, надперсональность земли — неба — начала — конца — это надперсональность метафизики (а не экономики, как в «американской мечте», и не жесткого регламента бытового поведения, как в фундаменталистских религиозно-идентификационных системах).

У Свиридова русская национальная идея персоналистична. Она означает трагически-тяжкую и радостно-светлую принадлежность к общине носителей свободы. Противоречия в определении здесь нет. Ведь слово «свобода» не такое уж однозначное: корни его питаются смыслами и из общинно-родового ряда, и из ряда «персона», «личность»³¹.

Диалектика свободы, заложенная в наше самопонимание, объясняет недостаточность теоретического отстраивания русской национальной идеи от надличностных концептов, будь то государство (оно в русском сознании становится мотивом идентификации только в связке с «простором-единством-верой», но не как функция — правовой механизм или театр политических интриг), «историческая миссия народа», а тем более взращенный агитпропом странный монстр, который объединял коммунистический провиденциализм с

уступкой притягательности западного потребительского рая: «дальнейший рост благосостояния советских людей». И она же мешает завоевать в национальном сознании ведущие позиции образу деловито-успешного индивида, начинающего карьеру посудомойщиком и достигающего статуса мирового воротилы.

Когда сегодняшние охранители сводят национальное самоопределение к плохо различаемым соборности-тоталитарности, когда сегодняшние модернизаторы противопоставляют этот ложный образ либерализму, демократии, правам человека, то эта борьба ведется «мимо» реального самоопределения нашей культуры. А оно равно далеко и от поглощающего индивидуальность коллективизма, и от отождествления личной свободы с предпринимательской инициативой и потребительским выбором.

Впрочем, сквозь эту меру постоянно мерцает ее оборотничество — безмерность. С одной стороны — беззаветный порыв «на миру и смерть красна», а с другой стороны — ухарский девиз «волюшки»: «что хочу, то и ворочу». Но это — лишь экстремально заостренное (и потому азбучно упрощенное) выражение все той же общинно-персоналистической диалектики свободы.

Тонкость национальной идеи подразумевает ее упрощенные прочтения. И об этой взаимосвязи тоже говорит музыкальный язык Свиридова: песенный (что может быть понятнее?), но устроенный совершенно небывало, как ни один из музыкальных языков XX, да и других веков. Надо слышать второе сквозь первое. И лишь тогда не только мы воспримем нашу музыку, но и наша музыка вос-примет нас. А вместе с нею нас воспримет и наша собственная национальная идея.

Теперь — совсем уж «быстро» и неизбежно огрубленно.

Медленное в русской музыке опередило глобальный прогресс. Сегодня все яснее, насколько перспективна традиция, которую реконструировали русские композиторы (а реконструировали они не только «свое», но и западное культурное прошлое).

От охлократии современные общества спасает лишь память об иерархии, о безусловном достоинстве высшего, воплощавшемся во взаимосвязи истории священной и мирской. От тупиков идеологической одномерности человека и государство способна оградить консервативная политика. Кроваво-безысходным цивилизационным конфликтам, в которых сталкиваются индивидуализм и коллективизм, противостоит метафизика свободы, вписывающая возможность личного выбора в фундаментальные онтологически-символические координаты — предельно широкие, но вместе с тем в любой культуре окрашенные национальной поэтикой пространства-времени...

Между прочим, в 1990-е «быстрой» музыки уже никто не сочиняет, и не только в России. Композиторы ищут «медленное».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Droysen J. G. Historik. 3. Aufl. München, 1958, S. 96, 422.

² В таких почтенных проектах, как «Современная история» Евгения Киселева на НТВ, из-под аналитической респектабельности, случается, торчат конъюнктурные ориентиры. Например, фильм «Афганский капкан» смотрелся как метафора событий в Чечне — той их трактовки, которую телеканал формировал, когда работал на ослабление популярности В. В. Путина.

³ Зависимость от системы ценностей может проявляться и в равнодушии к прошлому (нелепо удивляться, когда современные студенты затрудняются сказать, что произошло в России в феврале 1917 года: поколение, настроенное на «живи настоящим!», мало интересуется тем, что было даже десять лет назад), и в том или ином расположении пустот в событийной сетке прошлого. В нашей сегодняшней

картине истории, как ее показывают, например, многочисленные телепрограммы, «дыры» другие, чем в советскую эпоху, когда представления об истории формировал идеологический отдел ЦК. Главная лакуна нынешнего исторического сознания приходится на представление об истории как процессе. События и приметы времени свалены в кучу. Получается нечто вроде кунсткамеры: рядоположность всякой всячины, надерганной из разных лет. Напротив, в советском историческом сознании представление о процессе (которое задавалось учением о смене общественно-исторических формаций) имело преимущество перед конкретными фактами. Их можно было игнорировать или исказить в угоду телеологической поступи эпох по направлению к коммунизму.

⁴ Очевидно, что фактом истории искусства является художественное произведение. Но произведение не всегда представлено текстом. Оно может существовать и в бестекстовом виде, как в фольклорных словесности или музыке. В этом случае исследователю приходится реконструировать инвариант на материале целой культуры или даже нескольких культур (вспомним исследования В. Я. Проппа о структуре сказок).

К художественно-историческим фактам принадлежат обстоятельства прихода (или неприхода) произведения к публике, включая такую реальность, как количество музеев, театров или концертных залов в определенных культурных центрах, а также другие коммуникативные каналы, связывающие произведение и аудиторию. Таким образом, история искусства вбирает в себя историю городов, социальных институтов, техники...

⁵ Музыка пребывает на периферии даже серьезных трудов о русской культуре. Например, в «Очерках по истории русской культуры XIX века» Б. Ф. Егорова и в томе «Из истории русской культуры. XIX век» (М., «Языки русской культуры», 1996), в котором наряду с «Очерками» перепечатаны отдельные статьи как самого Б. Ф. Егорова, так и других авторитетных исследователей, есть подробнейшие сведения об орденах, знаках отличия и медалях, о жалованье на государственной службе, не говоря уже о литературной жизни и о споре западников и славянофилов. На фоне doskonaльности и осмысленности прочей информации выделяется своей поверхностностью раздел «Музыкальная жизнь», внесенный в издание как будто только для формальной полноты картины. Трюизмы вроде сопоставления Глинки с Пушкиным, а Даргомыжского с Гоголем (второе — явная натяжка, дань литературоцентричным клише: есть «литературная пара», должна быть такая же музыкальная) дополняются уж чем-то совсем безответственным. Характеристика, например, Римского-Корсакова сводится к «сказочности» его опер (об исторических операх вроде «Псковитянки» забыто) и к большей «женственности» (?) его музыки в сравнении с некоторыми «современниками» вообще.

⁶ См.: Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. В кн.: «Поэтика древнегреческой литературы». М., 1981.

⁷ Этому примечанию грозит непомерный объем. Ограничусь несколькими симметричными фактами. Первое в мировом музыкознании фундаментальное исследование о Моцарте было создано нижегородским помещиком и скрипачом-любителем А. Д. Улыбышевым (издано по-французски в Москве в 1843 году). В XX веке в России вышло еще десять объемистых книг о Моцарте. Первое исследование о Глинке, которого нередко называют русским Моцартом, датируется 1911 годом, и это не монография, а небольшой очерк в многотомном труде (Финдейзен Н. Ф. Музыкальная старина. Сборник статей и материалов для истории музыки в России. Выпуски 1 — 6. СПб., 1903 — 1911). Впоследствии Глинка удостоился шести развернутых публикаций (последняя датируется 1987 годом, в то время как последний труд о Моцарте вышел по-русски в 1993 году). Другая группа симметричных фактов. У нас о крупнейшем нашем композиторе Сергее Танееве (1856 — 1915) в XX веке вышли только три монографии, а о творчестве «не нашего» Рихарда Штрауса (1864 — 1949), сопоставимого с Танеевым по месту в традиции, российские ученые выпустили четыре труда. Тем временем в Японии, где Общество С. И. Танеева существует уже более тридцати лет (в России такого общества нет), статьи и книги о Танееве выпускаются едва ли не ежегодно.

⁸ Если вплоть до начала XVIII века в теоретических трактатах изложение правил композиции начиналось с положений о мировой гармонии, с математических формул движения планет и с теологических истолкований числовых значений музыкальных интервалов, то в XIX веке типичным стало такое начало инструкций для композиторов: «Мы начинаем с простейшего, а именно с гаммы» (см.: Marx A. B. *Die Lehre von der musikalischen Komposition*. Bd. 1. Lpz., 1856, S. 12).

⁹ В начале своего творческого пути лидер послевоенного музыкального авангарда Карлхайнц Штокхаузен писал: «Города стерты с лица земли, и можно начать с самого начала, не оглядываясь на руины». Композитор оказался лицом к лицу с «ничто» и впервые получил возможность проявить творческое всемогущество (см.: Stockhausen K. *Texte*. Bd. 1. Köln, 1963, S. 48). Проявить в том числе в жанре символического позиционирования: Штокхаузен отказался от нумерации опусов, и вплоть до середины 1980-х каждое его новое сочинение было помечено как № 1. Композитор и в самом деле каждый раз начинал заново, поскольку апробировал все новые техники и их концептуальные обоснования. Однако к 1980-м импульсы новаций истощились, и композитор надолго «завяз» в «номере единственном» — проекте из семи опер под общим названием «Свет».

¹⁰ С 1910-х годов разворачивались эксперименты с использованием шума, цвета, света, осязаемых и обоняемых предметов в роли «как если бы музыкальных звуков». Апофеозом этой тенденции стал масштабный хепенинг Д. Кейджа «В поисках утраченной тишины» (1979): три поезда, заполненные пассажирами, которые играли на музыкальных инструментах и ловили шумы и радиопередачи на коротких волнах, отправились из Болоньи по трем направлениям — в Поретто, Равенну и Римини. По жизненному пространству расплзлось звукошумовое, оно же визуальное, осязаемое и обоняемое, пятно. Музыкакой становилось все: поезда, пассажиры, станции, люди на платформах, окружающий ландшафт. Композиция структурировалась паузами, которые совпадали с остановками поездов согласно железнодорожному расписанию (оно, таким образом, тоже превращалось в музыку). После акции Кейджа невозможно придумать, какой еще найти новый «как если бы музыкальный звук». И никто больше ничего не придумал. Начался откат в сторону музыкального звука в узком смысле и в сторону традиционных форм.

¹¹ Очерк неоканонизма впервые (в оппозициональной связи с абсурдистски-смеховыми препарированиями традиции) дан в книге: Ч е р е д н и ч е н к о Т. В. Музыка в истории культуры. Т. 2. М., 1994, стр. 158 и след. Творчество Арво Пярта, Владимира Мартынова, Александра Рабиновича, Валентина Сильвестрова конца 1980-х — 1990-х годов с разной степенью радикализма (наибольшей у Владимира Мартынова) подчиняется идее «opus post» — поставторской композиции, стремящейся не к самовыражению творца, не к оригинальности и новизне, но к общезначимым основаниям и смыслам. Их ищут в архаическом фольклоре и в разнорегиональных традициях гимнографии (включая даже и советскую традицию официальной гражданственной песни: композиция В. Мартынова «Opus post — opus prenatum» непосредственно монтирует с традициями христианского богослужебного пения и восточных инструментальных импровизаций на каноническую мелодическую модель призрака пионерской песенки, сочиненной композитором в школьные годы). Общее свойство неоканонической музыки — ее «медленность»: отсутствие контрастных звуковых событий, предпочтение повторения и минимального варьирования резким модификациям и сдвигам тематического материала. Так — в «Тихих песнях» В. Сильвестрова (переходящих друг в друга на сплошном пиано монотонных стилизаций бытовых романсов русского XIX века), в «Tabula rasa» А. Пярта (оркестровой литании из двух аккордов, которая крайне постепенным, незаметным нарастанием тембровой плотности знаменует сразу и отсутствие высказывания на «чистой доске», и его постепенное проявление), в «Войдите!» или в «Танцах Кали-Юги» В. Мартынова (разомкнутых процессах типа А, А, А, А, А₁, А₁,... А₂,..., где «А» может быть как большим фрагментом докомпозиционно «готовой» музыки — в «Войдите!» это романтическая оркестровая фактура XIX века, — так и мелкой мелодической фигурой, в силу своей элементарности также докомпозиционно-готовой, — в «Танцах Кали-Юги» это пять звуков гаммы).

¹² Впрочем, историчность в 1980-е перестала быть императивом музыкального творчества. Потребность «быть историками самих себя» (К. Дальхауз), столь сильная у композиторов первой (довоенной) и второй (послевоенной) волн авангарда, сохранилась у немногих, и притом не в перспективной, но в ретроспективной проекции (неоканонизм). Большинство современных композиторов сочиняет, так сказать, вне истории (то есть в рамках неконцептуального традиционализма, вбирающего в себя любые накопленные искусством языковые модели).

¹³ Сегодня высокая музыка пытается вернуться к канону. Если это станет ведущей тенденцией, то аналоги «Службы кабаку», производимые весь XX век индустриальным способом (и внутренне давно уже каноничные — следующие жестким надындивидуальным нормам), избудут наконец агрессивную рыночную назойливость (при этом, возможно, отнюдь не потеряв в статистике доходов) и встанут на свое традиционное место — место праздника после поста.

¹⁴ Из летописи российских 1990-х, представленной в двухтомнике М. Соколова, хорошо видно, как хаотизировало российскую действительность неядальновидное презрение к реликтам додемократической истории. Журналист подытоживает: «...Россия, кажется, всерьез восприняла демократические ценности, и даже более того — в своем отношении к культурным символам нации сделалась едва ли не самым демократическим государством мира. Монархо-аристократические предрассудки, предполагающие чуждую демократии идею ранга, элитарности и культурной иерархии <...> были ею честно и искренно отринуты даже и на финансовом уровне <...>. Между тем старушка Европа знает, что делает. Предоставляя пропаганду ультрадемократических идей пламенным дармоедам из структур евробюрократии, в реальности она ведет себя так, как будто знает, что подлинный фундамент Европы — те самые монархо-феодалные пережитки, которые дают необходимое всякой нации чувство неизбывной стабильности. Без этого якоря европейские нации в полном объеме познали бы все прелести буйной охлократии» (Соколов М. Поэтические воззрения россиян на историю. Кн. 1. Разыскания. М., 1999, стр. 212).

¹⁵ См.: Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999.

¹⁶ Поступив в Московскую консерваторию (1884) после Орловской духовной семинарии (где его страсть к музыке проявилась в регентстве в хоре воспитанников), сын станового пристава не смог оплачивать уроки теории музыки (необходимые для будущего композитора), но не мог найти и времени для приработка, который пошел бы на оплату ученья. Поэтому через год Калининков перешел в Московское филармоническое училище в класс фагота (что избавляло его от оплаты теоретических занятий). Появилась возможность зарабатывать на учебу и на жизнь, играя в оркестрах и преподавая хоровое пение в школах. Постоянная нужда и переутомление привели к чахотке, которая (после выпускных успехов и одобрения самого П. И. Чайковского) заставила композитора перебраться в Крым. Там начались его полноценные занятия композицией. В крымские пять с небольшим лет Калининков успел написать две симфонии, симфоническую картину «Кедр и пальма», музыку к драме А. К. Толстого «Царь Борис» и приступил к работе над оперой «В 1812 году», заказанной ему С. И. Мамонтовым. «Часто меня устрашает, — писал Калининков другу С. Н. Кругликову (1899), — огромность взятой на себя работы. Будь я здоров, другое дело, а теперь, когда приходится не зевать и урывать у болезни буквально всякую мало-мальски сносную минуту, пожалуй, раньше сложишь свои кости, нежели осилишь свой труд. Ну, да к черту пессимизм! Авось и осилю!..» Осилит композитор только пролог к опере, с успехом исполненный в Москве в 1899 году. Кстати сказать, Мамонтов ничего не заплатил композитору; но друзья собрали деньги по подписке и переслали их Калининкову как якобы гонорар от Мамонтова. Вскоре (29 декабря 1900 года по старому стилю) композитор скончался.

¹⁷ Первая симфония два года не могла пробиться к публике. Друзья Калининкова адресовались и к московским мэтрам (но единовластно правивший музыкальной жизнью Москвы ректор консерватории В. И. Сафонов не мог простить Калининкову перехода в конкурирующее учебное заведение и потому не давал хода симфонии), и к петербургским (но Римский-Корсаков, оказывавший решающее влияние на концертную политику Петербургского отделения Русского музыкаль-

ного общества, около года не удосуживался заглянуть в присланную ему партитуру, а затем разгромил ее за ошибки переписчика; вновь высланную ему вычищенную партитуру Корсаков уже не захотел просмотреть). К 1897 году исполнителя — дирижера А. Н. Виноградского — удалось найти в Киеве. На концерте Киевского отделения РМО симфония была исполнена с грандиозным успехом. В том же году тот же дирижер показал симфонию в Москве — опять овации. Через два года — премьеры в Берлине, Петербурге и Вене. Публика всюду аплодировала стоя. То же самое — в Париже за полтора месяца до кончины автора.

¹⁸ Понятие нового шло к эстетической власти со времен Бетховена. Применительно к его творчеству в 1840-х годах впервые заговорили об «историческом значении». В 1890-е годы сформировалось представление о новом не как индивидуальном, но как об эпохальном качестве — «современном», а в 1910-х выражение «новая музыка» стало ходовой категорией, указывающей на отличие истинно нового от «просто современного», которое тогдашние критики уже рассматривали как некий мезальянс с традицией. См. подробный анализ представлений о новом в музыке: Dahlhaus Carl. 19. Jahrhundert heute. — «Musica», 1970, № 1, S. 11.

¹⁹ Знаменитую соль-минорную симфонию Моцарта (ныне — безусловный шлягер аудиосборников под удручающими названиями «Лучшее из Моцарта») сегодня воспринимают в драматическом ключе. «Насколько мне известно, — пишет современный исследователь эмоциональных коннотаций музыки Питер Кайви о главной теме симфонии, — нет никого, кто пытался бы охарактеризовать эти такты как исполненные бодрого настроения» (см.: Kivy P. The Corded Shell. Reflections on Musical Expression. Princeton, 1980, p. 16). Однако в XVIII веке в симфонии Моцарта слышались вполне безоблачное настроение. Традиция дожила до XIX века. В вышедшей в 1840-е годы популярной книге Зигмунда Шпета «Великие симфонии», где главные темы шедевров читателям предлагалось запомнить при помощи мнемонической подтекстовки, первая тема соль-минорной симфонии снабжена следующими виршами: «И с улыбкой, и с шуткой веселой / Отправляемся мы на прогулку. Напеваем мелодию звонко, / Начиная симфонию эту...» (см.: «Musical Quarterly», 1982, № 2, p. 289 — 290).

²⁰ Глинке опыты симфонии (1824, 1834) не удалось; сочинения остались в набросках. Зато нам оставлена гениальная «Камаринская» — грандиозные оркестровые вариации на две народных песни, плясовую и протяжную. И последователи Глинки если и писали симфонии, то более или менее мнимые, склоняющиеся к вариационным обработкам национального (не обязательно русского, но обязательно, вслед за испанскими увертюрами Глинки, гео- и этнохарактерного) мелодического материала. Балакирев и Бородин оставили по две симфонии, которые больше напоминают программные увертюры и вариации на песенные темы; Римский-Корсаков — три (впрочем, «Шехерезаду», если бы не количество частей, можно было бы считать четвертой). Даргомыжский, Мусоргский и плодовитый оперный автор Кюи не написали ни одной симфонии. С композиторами, которые не чувствовали в себе борцов за национально-музыкальную идею, дело обстоит несколько иначе. Ректор Петербургской консерватории Антон Рубинштейн создал шесть симфоний (правда, ни одна из них не смогла соперничать с оперой «Демон»). Танеев — автор четырех симфоний, из которых успех выпал только на долю первой. Скрябин создал три симфонии и несколько симфонических поэм, но его творчество выходит за пределы классического XIX века.

Уникальна роль Чайковского, автора шести симфоний, из которых три последних заняли место в пантеоне оркестровой классики. Если его Первая симфония еще тяготеет к главному оркестровому жанру Глинки и «кучкистов» — к программно-картинной сюите (она имеет авторский заголовок «Зимние грезы»), то в Четвертой, Пятой и Шестой композитор уходит от поэтики пространства, открывая новый для больших жанров русской музыки мир лирической интроспекции, не отстраненной ни исторической дистанцией (как в сусанинских ариях из «Жизни за царя» или в партии Марфы из «Хованщины»), ни условностями сказки (как в ариях глинкинской Людмилы или Снегурочки из оперы Римского-Корсакова).

При этом в симфонию впервые вошла повседневная интонация русского городского романса. В нем элементы крестьянской песни приведены в соответствие

со средневропейскими стандартами метрики и гармонии и приправлены эмфатической эмоциональностью цыганского исполнительства, что придало его интонации использованную Чайковским пластичность — способность участвовать в том числе и в симфоническом развитии. Романсовая окраска смягчает волевые импульсы симфонического процесса, и типичная после Бетховена (см. ниже) семантика борьбы-преодоления переводится в специфически русский план сомнения-веры как замены активного действия. Тем не менее симфонии Чайковского не дают слушателю сохранить «моцартовскую» (об этом — тоже ниже) дистанцию между собой и сочинением. Коллизии смятенной души в Шестой Чайковского не менее драматичны, чем столкновения на всемирном поле брани, представленные в Пятой или Девятой Бетховена.

²¹ Традиционно сопоставление симфонии с романом (хотя генетически симфония связана с драмой, с театром — с оперной увертюрой). Оно оправдано не только тем, что и роман, и симфония ворвались в классицистскую номенклатуру жанров и разрушили ее, но и сходством драматургии. В романах, например, Джейн Остин (1775 — 1817) предназначенные друг другу главные герои вначале исполнены предубеждений, в середине повествования могут даже вступить в конфликт, но к финалу повествования прозревают, и дело заканчивается браком. Примерно так же ведут себя «мужская» и «женская» темы симфонии.

²² Бетховенская симфония стала нормативным ориентиром в учениях о композиции XIX века. Моцарт же (автор множества опер, а не одной, как Бетховен) давал слушателю возможность «оглядеться» — существовать не только во времени, но и в пространстве. Его темы остаются ариозными мелодиями, хотя внутренняя их структура позволяет отдельным мотивам самостоятельно участвовать в развитии музыкальной мысли. И движение времени в моцартовских симфониях «извилисто», изобилует отступлениями от прямой, ведущей к цели. В момент подготовки кульминации внимание может отвлечь свежий мелодический образ. Создан он обычно из мотивов главной или побочной темы, но звучит как новая картина, открывающаяся взгляду остановившегося путника. Бетховен, тоже мастер строить многое из немногого, не стремился придать метаморфозам ключевых мотивов отвлекающую от цели движения пластическую самоценность. Недаром А. Б. Маркс, автор учебника композиции, по которому с 1850-х годов учились во всех консерваториях Европы, восхищался: у Бетховена «грандиозное целое вырастает из ничтожнейших мотивов».

²³ До Бетховена симфонию называли «оперой для оркестра». После Бетховена (впервые — в рецензии Э.-Т.-А. Гофмана на его Пятую, 1810) заговорили о симфонии как «абсолютной музыке» (то есть «чисто» выражающей как «идею музыки», так и некий универсальный «абсолют»), а об опере — как компромиссе между музыкальной логикой и литературным сюжетом (см.: Dahlhaus Carl. Die Idee der absoluten Musik. Kassel, 1978, S. 17, 47).

²⁴ Совпадение, которое при желании можно считать многозначительным. Когда писался этот текст, на глаза автору попался проспект фонофирмы «Богема-мюзик». И в нем значится Первая симфония Калинникова! Удалось выяснить, что диск еще не поступил в продажу и что на нем — архивная (конец 1940-х) запись Н. С. Голованова.

²⁵ Раз уж упомянуты устные мемуары Эльзы Густавовны Свиридовой, приведу продолжение истории со знаменитым симфоническим фрагментом. Старейший Брежнев приказал заменить свиридовскую заставку главной информационной программы СССР. Аргумент был такой: «Слишком тревожная музыка, как будто война вот-вот начнется». Застойный генсек в любой, даже ликующе-оптимистической, энергии слышал некую социальную угрозу... И не совсем был не прав — не как застойный генсек, а, если так можно сказать, как нечаянно сказавший что-то существенное наивный медиум современности. Было бы чрезмерным сравнивать мощную моторику «Времени, вперед!» с темами «нашествий» из симфоний учителя Свиридова — Шостаковича (хотя это делал, например, В. Непомнящий — см. «Новый мир», 1991, № 2, стр. 251 — 252), но утопия тотального жизнестроительства (из которого совсем «вынут» рядовой быт) трагически близка к антиутопии котлована...

Зато на волне постсоветских поисков психологической стабильности музыка Свиридова вернулась в программу «Время» и стала символом соединения времен, разъятых 1991 годом. В другом телеконтексте (программа НТВ «Старый телевизор») карикатура на нее (под возгласы ведущего «Время, назад!» мелодия Свиридова звучит в обращенном движении и в механично-кукольной аранжировке) означает либеральную оценку былого исторического энтузиазма как некоего мусора истории, к которому относиться можно лишь препараторски-равнодушно.

²⁶ Веккер Р. *Organische und mechanische Musik*. Berlin und Leipzig, 1928.

²⁷ Всякая неясность в музыке разъясняется повторением, но, как говаривал А. Шёнберг, не таким, как «я — идиот, я — идиот, я — идиот». Урожай идиотских повторений сегодня можно собрать на поле попсы: «Я морячка, ты моряк, / Я рыбака, ты рыбак»...

²⁸ Сюита «Время, вперед!» сочинена в 1965 году. Первое минималистское произведение — «In C» американца Терри Райли — появилось годом раньше. В нем воплощены — только суше и радикальней — «свиридовские» идеи: скупая фактура, сведенная к равномерной пульсации, плюс долгая и постепенно разворачивающаяся мелодическая линия (в «In C» мелодическую линию заменяет серия кратких попевок, в которой последующая едва отличима от предыдущей, но последняя довольно резко отличается от первой, — этот композиционный принцип можно назвать процессом незаметных изменений). У нас Райли впервые исполнили в середине 1970-х. Свиридов вряд ли знал об опытах минималистов не только в пору работы над музыкой к кинофильму, из которой составлена сюита, но и позже. Во всяком случае, в 1990-е в его разговорах о музыке минималисты не занимали никакого места. Впрочем, даже если бы Георгий Васильевич был знаком с минималистской композицией, вряд ли он опознал бы в ней свои собственные открытия. Тут мы имеем дело с омонимией творческих систем. Минималисты исходили из популярной эзотерики, в частности дзен-буддистского поклонения недеянию и пустоте. Эклектичный шик восточной медитации в американском (европейском) университете закончился пшиком — инициаторы минимализма к 1980-м растворились в плотной толпе сочинителей кино- и прочей коммерческой музыки, отличающейся от откровенной попсы этноэкзотическими фенечками и вкраплениями медитативных импровизаций. Концептуальный нерв новации в любом случае был утрачен. Что же касается Свиридова, то его минимализм произрастает из совершенно других корней — из самоценности мелодии (что позволяет немелодическому пласту фактуры быть предельно разреженным), а также из звукообраза пространства-времени, который определил своеобразие свиридовского музыкального языка (см. ниже).

²⁹ «Небо, видимое очами смертного, представляется огромным блестящим куполом, обнимающим собою и воды, и сушу... По народному воззрению, небо — терем Божий, а звезды — очи взирающих оттуда ангелов» (см.: Афанасьев А. Н. *Древо жизни*. М., 1983, стр. 52 и след.).

³⁰ В. Н. Топоров пишет о начале и конце пути: «...они скрепляются именно самим путем и являются его функцией, его внутренним смыслом. Через них путь осуществляет свою установку на роль медиатора: он нейтрализует противопоставления этого и того, своего и чужого, внутреннего и внешнего, близкого и далекого, дома и леса, „культурного“ и „природного“, видимого и невидимого, сакрального и профанического» (см.: Топоров В. Н. *Пространство и текст*. — В сб.: «Текст: семантика и структура». М., 1983, стр. 260).

³¹ Среди этимологических параллелей русского «свобода» — древнеиндийское *sabhā* — «собрание», готтское *sibja* — «родство», «родня»; праславянское *sveboda* и церковнославянское *свобѣство*, *сбѣство* — сразу и «личность», и «свой член рода».



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



ЕВГЕНИЙ НОСОВ

Из «Литературной коллекции»

Евгений Носов из своих крестьянских низов поднимался в литературу скромно, неслышно, «тихими» рассказами, никогда ничем не прогремел, — да таким неслышным и остался до исхода своей, уже 75-летней, жизни.

Все рассказы его сюжетны — и разнообразны по содержанию, не повторяются, но и — лишены сюжетной жёсткости. В каждом из них сюжет просочен затопляющим настроением. Оно тоже варьируется от рассказа к рассказу, но после прочтения одного-другого сборника более всего и наполняет грудь читателя эта очень-очень тёплая, любовная к людям и природе расположенность. Ощущение весьма сравнимое с ощущением от рассказов чеховских — тем, когда и малозначительный эпизод лучится от пропитанности теплотой и не подвержен авторскому суду. Это настроение звучит уже и в мелодике названий: «Течёт речка», «В чистом поле за посёлком», «Шумит луговая овсяница», «Холмы, холмы...», «Во субботу, день ненастный», «И уплывают пароходы, и остаются берега».

Сами сюжеты — ничем не из ряда вон, не знаменательны, не героичны, чаще всего — обыденные эпизоды современной жизни — но всегда ласково высвечены. Как говорит автор: «Хотелось написать что-нибудь простое, бесхитростное, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни». Краткость, неназойливость, непринуждённость показа. От каждого персонажа автор не упускает ни крохи сердечного тепла, с доброжелательным и чутким вниманием в случайной с ним беседе, «голос — пей, не напьёшься» — и никогда никаких авторских изъяснений, толкований происходящего. Перед нами медленно текут те самые простейшие эпизоды живой жизни, которых так недостаёт нам в учебниках истории, чтобы её ощутить, как бы поживши в ней. Та уверенная, непридуманная покойная обстоятельность быта простых людей — всё менее замечаемая нами в беспокойном современном круговерчении, где человеколюбие становится даром утраченным.

Перебранка ли юных пастушат через речушку, разделяющую колхозы во все нищий и более состоятельный. Волненья ли бабы с подросткой дочерью, собравшейся в загадочный город покупать девушке первую шубу — как не ошибиться? Умиранье ли заброшенной северной деревни, где на 12 добровечных изб осталось восьмеро жителей, полукалек, среди них — всеми забытый георгиевский кавалер Первой войны, — поэтическая грустная мелодия, струнные души через северный пейзаж. — Или, в ожидании местного самолётика, простая пересидка от моросящего дождя в недалёкой избе и случайное втягивание в житейскую историю, сирую бабью судьбу с исчужевшим сыном. — Эта тема, одинокой крестьянской матери, вовсе покинутой выросшими, уехавшими детьми, переходит у Носова и из рассказа в рассказ. Иных матерей вызывают в город как няnek, для внуков, потом отшвыривают: молодое, огорожаненное поколение бывает удачливо, развязно, хватко, а старушка уезжает

домирать в пустую деревню: зато «кладбище у нас хорошее». — Ещё кричаще эта тема сгущена в рассказе «Тёмная вода»: ослепшая старуха по дороге в сельскую лавку за хлебом обронила последние очёчки в невылазную грязь, ищет, застряла и сама, — так что проезжие горожане-охотники издали приняли её за кабана, чуть не застрелили. Пошли избу искать — она без очков и избы своей найти не может. Сын и дочь её — недостижимо далеки, бросили. А мужика её справного, отдохавшего от смены на лугу, по небрежности раздавили трактором — вот таким высоким мастодонтом, на котором и сейчас им встречается развязный, беспечальный молодой тракторист. — «Трактора теперь стали выше хат», с него и не углядишь, что там под гусеницами.

Или («Течёт речка») — многолетне затаённый, так и не состоявшийся деревенский роман, уже и до старости неудачника. Или («Луговая овсяница») — другое, годами затаённое ожидание молодой красивой крестьянки, уже она и с ребёнком, уже и облеплена приставателями — а дождалась-таки прихода своего желанного — женатого, дождалась всего на одну ночь, волшебную ночь косьбы при луне и лунном затмении к утру. — Или («Варька») ещё одна прекрасная бессонная лунная ночь, первая любовная смута сельской старшеклассницы, внутреннее пробуждение счастья, слияние с природой, «между водой и небом», шаловливая скачка на коне от догонщика-юноши, «живая доверчивая сила коня между ногами», и всё — точно выверенными словами, целомудренно, как всегда у Носова. — А то («Кулики-сороки») — поэма детской души, весеннее возбуждение доброго мальчика у края подступающего невиданного паводка — под возвратными весенними прилётами птиц; разъяснения бабушки в пересыпе народных мудростей, заповедник всего природного и исконно сельского, русского. — А то: самозанятый городской интеллигент по случайной командировке попадает на сутки в оглушающе запущенный колхоз, взять на анализ пробу их строительных залежей, им нечем строиться, а «в колхозе — ни бревна». Уже год не дождавшись из города отзыва, бабы изсильно ковыряют лопатами этот известняк. Приезжий заворачивает кусок на пробу, дарит ночные часы молодой отчаявшейся женщине, председательнице этого гиблого колхоза, на рассвете садится в поезд — а потом и не вспоминает, и теряет этот кусок пробы, так и не послав отзыва. (Очень чеховский рассказ.)

В рассказах Носова крестьянская жизнь — до того натуральная, будто не прошедшая через писательское перо. Никакой литературщины, никаких *приёмов*. Крестьянское осмысленное понимание каждого природного, бытийного хода. Такое коренное, подробное знание его, такой намётанный глаз, такая пронимчивая наблюдательность, какой не находили мы у дворянских писателей и быть не могло у них по их отстранённому положению. Да вот — она и есть неизмысленная простая *народность*, самый *тип* народного восприятия. Нам тут посылается один из последних памятников деревенской, а значит, тысячелетней и навсегда уходящей Руси. Она застигнута в её домирающем советском, а затем и послесоветском состоянии.

Какая соразмерная отчётливость в изображении мужика в оставляемых ему всё меньших клочках бытия. Какие незатёртые, ответственные слова для переданья той точности наблюдений, никогда не пустых и лишних, даваемой только долгим личным опытом и детальной врощённостью в быт. Какое точнейшее, невообразимое различие и называние буквально *сомен* запахов — спектр, уже мало-мало кому доступный. Или: «о хлебе выпекаемом она говорила как о живом существе», передавая его, хлеба, повадки — в замесе, в печи и на отдыхе. (Истинно что такое есть хлеб — ни нам, ни детям нашим уже никогда не ответить.) Как точнее переданы лошажи повадки, вроде: «лошадь усердно мотала головой, помогая себе тащить телегу», а когда пришла по колхозам директива о последнем уничтожении лошадей (60-е годы), боль мужичья о жеребятках: как убивать? «дети ведь ещё!» — А то — незримыми волнами уловленное поведение и чувства коровьего стада (и, на возврате с пастбы, «нетерпеливое молоко каплет на дорожную пыль»). — Напоминанье о неповторимых, теперь вовсе забытых *праздниках труда* — как бывалый съезд

на мельницу для помола урожая, а ещё больше — косьба, сохранившая праздничный характер даже в принудительно колхозное время. «В косарях — хмельная удаль, как ни при какой прочей работе». И косьба, как никакая другая работа, «не старит, а молодит». — Находим и поэзию ремесла: покойный мастер так оттачивал фуганок, что с расстеленной газеты «срезал буквы, не повредив бумагу», и «стружка тонюсенькая светится».

И как же Носов удерживался, чтобы не дать себя согнуть в заказную советскую казённую тишину? Его сохраняла душевная чистота и природная недекларативная тишина: он и не претендовал отличиться перед начальством. Даже при типично советском сюжете — показательной сельскохозяйственной колхозной выставке, он переносил туда деревенскую сосредоточенность и ласку доярки к своей корове, когда-то выхоженной ею из прогололенной смерти — и вот до рекордных удоёв. (А рядом — манерный выставочный ресторан и тучный, пьяный их председатель колхоза дирижирует залом, помахивая рачьей скорлупой.) — Так и повесть о начале Великой войны и первом массовом уходе мобилизованных мужиков («Усвятские шлемоносцы») Носов сумел нам дать с сильно приглашенными чертами колхозной жизни — и перелил в поэму о вечности крестьянства на земле и судьбоносной грозности всякого предвоенного расставания семей.

Конечно, трудно было бы ждать уж полного чуда. На войну бабы отправляют своих мужиков без крестных знамений. Бригадир отдельным заявлением уходит в армию на полсутки раньше других. — От войны Гражданской (это Курская область) тем поколением только-то и вспомнено, как какие-то белокази где-то расстреляли рабочих. — Под немецкой оккупацией «привычную колхозную жизнь враг затоптал», и у семьи не какого там парторга, а ударника-тракториста в наказание отобрали корову и швейную машину; зато как ушли немцы — бросилась баба скорей в сельсовет мыть полы: теперь «вольность вернётся!» — Или такой послевоенный сюжет: парень, техник, бросил полученную городскую квартиру и через обком настойчиво добился, чтоб его послали выручать родной загрязший колхоз. А мать, увидав у сына красную книжечку, «ощутила девичий румянец». Сын же (конфликт плохого-хорошего руководителей): «Могут и подбодрить [сверху кнутом], тут ничего плохого нет».

Но такая слабость — редка, редка у Носова. Да без советских рубцов — и вся ведь литература наша, даже у высших мастеров, не обошлась. И — не так, чтобы вообще деревенская литература содержала приукрашиваний и лжи больше, чем даже верхи литературы интеллигентской.

Однако, год за год, наш автор выстаивает, выстаивает — и ещё распрямляется. Атмосфера сельского неблагополучия всё больше насыщает его рассказы. Вот: «на бабах до сего дня пашем» (уже далеко от войны). «Бабе завсегда сыщется, на чём живот порвать». Полный колхозный развал. Начальники «анбары почистили да и отзвонились» к предколхоза. Как насильственно отбирали коров «в закуп». Как даже не разрешали колхозному хряку огулять частную свинью («расхищение общественного имущества»...). «Зануздают тебя, чтоб ни туда, ни сюда». «Земля изрыта дыбом от машин, от тракторов». Разросся бурьян «дурнишник» — знак гибели деревни. Разворовали мостики на дрова, жгут и яблони. — Вымирающие деревни на островах Онежского озера. Беспомощные смерти, до лекаря не дотянуться. (Но пароходы возят беззаботные экскурсии к сохранившимся деревянным церквям:

Брежат верхами островные храмы, будто парят над тусклым серебром Онеги, кисейно-призрачные, неправдоподобные как сновидение.

А ещё совсем недавно: «Разобрали б вы, мужики, этот хлам, смотри, кого ушибёт».)

А присущ Носову и лёгкий, тёплый юмор, как попутная при разговоре улыбка. Туристы с парохода видят — одноногий инвалид землю копает; многозначительно: «Ещё раскопка какая-то». А тот: «Да гальюн копаем, для пасажиров».

И уже в последние годы проступают самые издавшие картины, как под медленным, опоздавшим проявителем: воспоминания о Великом Переломе, в городе. «Как мы выжили? Болтушку варили со столярным клеем». — «Повалили нищие, всё в окна стучали, по несколько раз в день. Измождённые, молодые казались стариками, уже безразличные ко всему. В ветоши, в разбитых лаптях, а ребятишки — с рахитичными босыми ногами». Старый детский доктор, ходивший на дом, посажен в тюрьму доносом какого-то родителя: «Не такое лекарство дал ребёнку!» По ночам санитары в чёрных халатах собирали трупы с улиц. Оголодавшие птицы рвали из помоек кто дохлую крысу, кто старый башмак.

И наконец же — Война с Германией! Возраст Носова был последний, призванный на ту войну. Ещё не достигнув и девятнадцати, он взят был к противотанковым пушкам, всегда на переднем краю пехоты; по требованиям маскировки вне боёв полными днями скорчась лежать в боковых барсучьих отнорках от траншей, а в бою вчетвером-впятером управляться, под танковым огнём, с пушкой в тонну двести килограмм. Состав батареи вымывало и вымывало красными волнами, приходила замена. А Носову досталось добрататься от родных курских мест — и до балтийского побережья Пруссии, где и был он тяжело ранен под конец войны, так что встретил день Победы в госпитале.

Вся неохватимая огненная жестокость войны как бы не поместилась в душе кроткого автора. Ни одной, до глубины же изведанной, батальной сцены он нам не передал. Время от времени в рассказах своих он оставлял нам как бы окрѳужные, побочные приметы войны. Вот — многодневное мучительное тление израненных или обезрученных в госпитальной палате, в смутной неизвестности своего выздоровления или смерти («Красное вино победы»). — Или бедствия солдатки, когда муж на фронте, а вот пришла и похоронка. — Или сырые малые ребятишки в разорѳенной избе, в мороз, в прифронтовой полосе. — Или русская печь, уцелевшая от сплошного пожара деревни, так что не осталось «ни былочка, ни поживочки», а печь стоит — и вокруг неё, исколупанной пулями, строится заново какая-никакая изба. — Вот инвалид войны на культяшке, в своей деревне последний годный к ремѳслам, к работе («И уплывают...») — Или бывший старшина, так распушенный трофейной вольностью конца войны, что уже не способен вернуться к скромному труду («Объездчик»).

Надо было автору отдалиться на десятилетия общественного забытия воинов, оттеснения ветеранов, бесприютности фронтовиков, стыдливости за боевые ордена, уже не нужные, почти смешные, когда молодѳжь в забаву пляшет около «вечного огня», молодым оркестрантам в изневолю исполнять траурный марш, и никому-никому не памятные, не известные высеченные на обелисках имена — малая доля их, кто по случайности не канул в полное беззвездие. Надо было пережить эти десятилетия, чтобы Носов сперва единожды описал нашего убитого, повисшего на немецкой колючей проволоке, у всех на глазах провисевшего так всю зиму.

Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки; казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприятного, скрыть от пуль и осколков, которые всё продолжали вонзаться и кромсать его тело.

А годами позже, когда посвободнела речь, — распахнуть нам и всё то поле на днепровском плацдарме при наступившем весеннем обнажении, уже зловонно тлеющее польце, где в разных позах перезимовали никем не убранные «битые солдатики»: их часть поредевшая была тотчас снята на пополнение, а пришедшие взамен: «это *не наши* лежат», чтѳо под обстрелом «дурную работу делать», ползать да хоронить? а потом до весны снегом закрыло всех. — И ещё шире, шире приходят воспоминания: и на госпитальном-то дворе мѳртвых лежало выше забора; широкими розвальнями отвозили их до глубоких долгих ям, в которых прежде хранили колхозную картошку, наскоро выгребли смѳрзшуюся

гниль и приспособили под *братские* могилы. «Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали». «Никто не забыт, ничто не забыто». — Этим рыжих проплешин потом не пахали, а поперву голодные собаки туда бегали.

В рассказах Носова 90-х годов всё внятнее и тоскливей проступает сгущённая горечь покинутых, обездоленных, если не осмеянных ветеранов Великой войны.

Теперь, через полвека, проступила у Носова, но безо всякого политического жара или упрёка, и подлинная картина советского обезумелого отступления 41-го года («Синее перо»):

Весь день поджигальщики скакали окрест, тыкали в спутанную солому огненной паклей на длинных шестах. Жгли хлебный перестой, немолоченые копна, сено в стогах: «Никому дак никому!» Страшно было оставаться с неоплаченными трудоднями,

пустыми закромами и голодными детишками. На заготзерновских складах зерна сжечь не успели, только облили керосином, а кто-то из народа помешал. Слух прошёл — и туда, к станции, потянулись собирать зерно, кто с ручной тележкой, кто и на корове.

Вокруг складов, на железнодорожных путях всё засыпано пшеницей. А пшеница-то что твой перл, чистая, жёлтая — ну впрямь золото. А из складского нутра тошнотно шибает керосином. Ничего, окрестный люд не побрезговал, бросился набирать кто во что горазд.

По расположению своей мирной природы, по скромной непритязательности, писатель такого склада не мог не отдать дани и добродушным рассказам о природе, и даже с благоговейностью к ней, её многомножественным силам и тайнам, доступным только внимчивому глазу, уху, обонянию, осязанию — сокровенностям трав, кустов, деревьев, мелким птичьим событиям и повадкам. Целомудренной ненарочитости с природой, интимности с ней, свежим, точным словам для пейзажных красок — внезапной ли радости позднего осеннего распогодья, расточительной буйности сохранённого клочка заповедной полынной степи или раздумчивой передвижке молодого месяца вдоль деревни, как бы пересчитывающего стожки на подворьях. И от каждого стебелька — свой запах, и медный отлив заката на пашне, журавлиный клик на болоте, повесенному горькое благоухание осин, косматыми старухами сгорбленные древние ракиты, разломистые раскаты грома над полями — и Онега, застывшая в белую ночь.

И все страницы Носова сочатся полнозвучными русскими словами, а в диалогах — живейший разговорный язык, в нём и характер каждого говорящего, и достоверно скрестившийся момент.

Из его слов:

укормистые луга	снеготал	переливная звень
обрывистое побережье	дурнотравье	ресницы ячменно лучились
корова выладнилась	приспособа — <i>ж</i>	захватистая пятка топора
бычок взмыкивает	нѣамерзь — <i>ж</i>	шагалистая песня
паутиный голос	ветрополье	бегучий свет
каплезвонкий	засáумерило	заволнобродило
затайки — <i>мн</i>	угонистая разновсячина (под косой)	



РУСИЗМЫ. ОБЗОРЫ

КАМЕРА ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Дина Рубина. Последний кабан из лесов Понтеведра. СПб., «Симпозиум», 2000, 317 стр.
Дина Рубина. Высокая вода венецианцев. — «Знамя», 2000, № 2.

Последние повести Дины Рубиной успели собрать букет пренебрежительных отзывов. Отнести «Кабана» и «Венецианцев» к рубинским удачам действительно трудно, однако проза эта — как всегда у нашего автора — настолько самоиронична и лишена претензий, что упражняться в стрельбе по беззащитным мишеням не тянет. Рубину всегда приятно читать, что само по себе заслуживает благодарности в наши времена. Она ненавязчиво остроумна, ненавязчиво умна. Ей мало везет в оценке современников и соотечественников — рано начав, она так и числилась в молодых, а живя в Ташкенте, волей-неволей оказывалась на периферии литературного процесса. Но свой круг читателей и почитателей у нее есть, и ответ тогдашней, еще семидесятнической, симпатии к ней неизбежно будет ложиться на все, что Рубина пишет после эмиграции (которую язык не поворачивается назвать репатриацией, когда речь идет о русском прозаике). Новые ее сочинения читаешь не только желая узнать, каким стал наш автор, но и догадываясь о том, кем он мог стать. А задатки для того, чтобы писать не только «милую, талантливую», но и просто классную прозу, у Рубиной были с самого начала, и достаточно, казалось, разорвать круг, подняться над собственным опытом, чтобы превратиться в писателя первого ряда. Думаю, что в самом начале девяностых, в расцвете силы и зрелости, Рубина была к этому очень близка. Ярче всего об истинной природе ее дарования свидетельствовала повесть «Глаза героя крупным планом», включенная под названием «Камера наезжает!..» в питерский сборник этого года. Несмотря на некоторую этнографичность, претенциозность и многословие, роман «Гряди, Мессия!» эти ожидания вполне оправдывал. Новые публикации Рубиной — «Последний кабан из лесов Понтеведра» (с чудовищным подзаголовком «Испанская сюита») и «Высокая вода венецианцев» — подтверждают, увы, совсем другое. В разное время Александр Кушнер и Мария Розанова замечали, что география страны проживания оказывает непреодолимое влияние на синтаксис, нрав, да и на масштаб личности ее уроженцев. Выразимся осторожно: переезд из большой, разнообразной, универсальной страны в куда меньшую и, при всех своих противоречиях, более монолитную роковым образом влияет на писательский талант.

Подтверждений у этой теории немало: стоит вспомнить то, что писали Куприн, Ремизов и относительно молодой Замятин во Франции. Подозреваю, что и Довлатов, выбери он Израиль, превратился бы в банального фельетониста местечкового толка.

Российская женская проза... Она либо пришиблена Набоковым (О. Славникова), либо истерична и мстительна (Л. Петрушевская), либо вульгарна и агрессивносамодовольна (М. Арбатова), либо поверхностно-иронична и мелочна (В. Токарева). Молодых и уже не сомневающих в своем величии авторов вроде Екатерины Садур или Анастасии Гостевой, чьи тексты одинаковы, как колбаса на всем своем протяжении, но значительно менее питательны, я и в расчет не беру. Большинство пишущих женщин начинают превосходно, но подозрительно быстро сдаются соблазнам конъюнктуры и самоповтора, принимают эксплуатировать прием и отделяться прозой вот именно что «милый и талантливый», не сулящей открытий. Это распространяется и на таких зорких писателей, как Людмила Улицкая, чей последний роман «Веселые похороны», по-моему, не выдерживает сравнения с «Медеей» — опять-таки сказывается бедность и скудость российской эмигрантской колонии: масштаб страстей явно не тот, во всем слышится удручающий брайтонский акцент... В нашей женской прозе Дина Рубина выделяется (по крайней мере

выделялась до последнего времени) редкой, но чрезвычайно плодотворной особенностью: не то что самоиронией, а зачастую прямо-таки неприязнью к себе.

«Я за любую работу принимаюсь обычно с ученическим рвением, ибо знаю заранее, что весьма скоро это рвение иссякнет. Нет, я не ленива. Я глубоко и безнадежно бездеятельна. Это единственно естественное для моей психики, любимое и, к сожалению, недоступное времяпрепровождение».

«Своего ангела-хранителя я представляю в образе лагерного охранника — плешивого, с мутными испитыми глазками, в толстых ватных штанах, пропахших табаком и дезинфекцией вокзальных туалетов... При попытке к бегству из зоны, именуемой „жизнью“, мой ангел-хранитель хватается за шиворот и тащит по жизненному этапу, выкручивая руки и давая пинков. И это лучшее, что он может сделать».

«В моменты отчаяния я всегда раздваиваюсь и затеваю с собой внутренние диалоги или затягиваю тягучий назидательный монолог, обращенный к никчемному существу во мне, которое в такие минуты даже не оправдывается, а просто плетется в ногу со мной, понуро выслушивая все справедливые обвинения, которые приходят мне в голову. В психиатрии для обозначения этого состояния существует специальный термин — я его забыла».

«И вдруг сверху на меня что-то полилось... Это было настолько неожиданно и неправдоподобно, что несколько секунд, оцепенев, я стояла под теплыми струями, бегущими сквозь щель между стеной и подоконником мне за шиворот, абсолютно не понимая, что происходит.

Потом поняла...

— Детка, ты что ж такая мокрая! — воскликнула Маша. — Ссали на тебя, что ли?!

До сих пор не перестаю изумляться сообразительности этой простой женщины».

«Я взяла нож, конечно же тупой, как и все ножи в этом никчемном доме без мужчины, отыскала точильный брусок и так же вяло принялась точить о него нож. Я сидела в халате главного администратора гостиницы „Кадыргач“, точила на себя, как на кусок говядины, кухонный нож и думала о том, что пошлее этой картины ничего на свете быть не может».

Как вам нравится, государи мои, эта лирическая героиня — перед самоубийством отмечающая пошлость и намерения, и обстановки? Обоссанная? С ангелом-хранителем в виде лагерного вертухая? И сама — в халате администратора гостиницы «Кадыргач»? Это далеко не самые горькие признания Рубиной. Она часто сравнивает себя с канатоходцем — и действительно, такой человек попросту обязан идти по жизни, шатаясь и еле удерживая равновесие между надеждой и скепсисом, отчаянием и насмешкой. Она вечно сетует на собственное неумение считать деньги, на бездеятельность, на невостребованность (и поделом)... Ей все поделом, она всякую мерзость, всякий облом принимает как должное, без жалоб и экзальтации. Вспомните: сколько бы ужасов о себе ни наговорила героиня, скажем, той же повести Петрушевской «Время ночь» (сочинения куда более сильного и рассчитанного, чем легкие и непритязательные повести Рубиной), какой все-таки убежденностью в собственной правоте проникнуто каждое ее слово! Ни у одного нынешнего прозаика я не встречал такого упрямого снижения, такого демонстративного отказа от позиции судьи, как у Рубиной. В ее повестях автор тем и обаятелен, что он если не хуже, то явно беспомощней всех — и еще дерзает кого-то описывать, кого-то ненавидеть, кем-то манипулировать, поминутно казня себя за это!

В ранних книгах Рубиной это было особенно заметно, в новых она как будто позволяет себе расслабиться и обрести более высокую самооценку. И многое теряет, хоть и не в одной самооценке тут дело. Маргинал перестал быть маргиналом, обзавелся щебечущими подругами, вписался в какой-никакой коллектив... Изгой перестал быть изгоем, еврей уехал на историческую родину. Беда в том, что вместе с маргинальностью, с позицией безнадежного чужака куда-то делась и убедительность, и чуткость, и зоркость — хотя проклятый дар быть всюду чужим среди людей никуда не делся. Он только припрятан, изо всех сил заглушен — теперь уж

автору приходится быть одним из многих... Все мы были на чужбине, но вот воссоединились — ура! Рубина по-прежнему нигде не дома. Слава Богу, ни в Ташкенте, ни в Иерусалиме соблазн единения с градом и миром ее не достиг. Но былой узвленности нет, и какая-то существеннейшая составляющая прежней интонации утрачена, а новая удручает шаблонностью. Бог дал Дине Рубиной счастливую способность рассказывать о своей жизни так, чтобы читатель с блаженным чувством стыда и облегчения узнавал в ней собственную. Такая проза куда менее условна, чем традиционный вымысел, и куда более достоверна. Гениальные фрагменты позднего Олеси были лучше всех тогдашних унылых эпосов — а он-то себя корил за неспособность писать связно, словно птица, тщетно заставляющая себя ходить! Боюсь, что и у Рубиной, вообще склонной к заниженным самооценкам, запоздалый комплекс. Она решила, что пора уже написать что-нибудь настоящее — с жесткой фабулой, с вымышленным героем, списанным не с себя, нелюбимой... Впрочем, возможен и другой вариант: Дина Рубина решила написать традиционную женскую прозу, пользующуюся читательским спросом. Не иронический лирический дневник почти без сюжета, а кр-ровавую драму со страстью и смертью. Получился промежуточный продукт, слишком многословный, ироничный и глубокий для масскульта, слишком натянутый, высокопарный и опять-таки многословный для серьезной прозы. Многословие — вообще беда поздней Рубиной: в «Последнем кабане» делов-то на небольшую повесть, но она добросовестно растянута в роман. В том и дело, что Рубина замечательно умеет разговаривать с читателем, поддерживая вроде бы необязательный, но умный и честный разговор, и совершенно не способна с ним болтать-трепаться. От тяжеловесных отступлений на темы книжно, тривиально увиденного средневековья, от ветвистых синонимов и пышных сравнений начинает рябить в глазах, как на восточном базаре, где все, если взглядеться, одинаково и не очень качественно (опять влияние местности?).

Удивительна вообще эта рубинская зависимость от среды. В маленькой и тесной стране, где все друг другу как бы родня (что, в общем, и прокламируется чуть ли не на уровне государственной идеологии), безотказным мотором сюжета становится инцест. Странно читать о нем — да еще в двух больших вещах подряд — у Дины Рубиной, писателя, чьих героев (при всем их невежестве, пошлости, мелочности) неизменно отличало душевное здоровье, почти вызывающая нормальность! Впрочем, на этой новой рубинской теме (как и на столь же навязчивом мотиве начального музыкального образования) уже успел злорадно потоптаться в «Независимой газете» А. Вяльцев. В отличие от него я вижу в этом инцестуальном, так сказать, уклоне не интерес к модной и полузапретной до сих пор теме (чего уж там стесняться после «Ады»), но именно что отражение тесноты Израиля, почти физическое ощущение всеобщей породненности. Если в ранних рассказах Рубиной действие было медленным, вязковатым, бессобытийным, как советская жизнь в семидесятых, и говорили все больше ни о чем (при стенографической точности языковых характеристик), теперь в ее прозе бушуют испанские страсти, любовь и смерть тесно переплетаются, герои громко и пафосно ругаются, и все это до боли напоминает «Отелло» в драматическом театре на юге России. Возможно, жена местного театрального барышника и скажет после такого спектакля: «Босьяк, теперь ты знаешь, что такое настоящая любовь!» — но сильно подозреваю, что прежде у Рубиной была другая публика. И если вместе со страной проживания у нее почти целиком поменялась и аудитория (у которой, предположим, оказался столь невзыскательный вкус), то не смеяться над этим впору, а пожалеть хорошего писателя, вынужденного подлаживаться под такого читателя.

Рубина врать не умеет: почти всегда, где в ткань естественного, легко текущего повествования вторгается у нее вымысел, даже язык, вернейший ее инструмент, становится невыносимо фальшивым. Наступает, допустим, кульминация «испанской сюиты»: торжественное, старательно подготовленное празднество в лучших традициях романтической драматургии, с балом-маскарадом, — все это так не вяжется с бытописательской, приземленной, живой манерой Рубиной! И среди всего этого фейерверка автор бросается убеждать читателя: «Да-да, я понимаю, что это выглядит шитым белыми нитками фокусом». («Шитый белыми нитками фокус» — тавтология, которых теперь у Рубиной полно.) Да так и выглядит, и даже если Руби-

на в своей новой манере поклянется мне всеми песками и пальмами Израиля, что ровно так оно и было, мои претензии от этого, увы, никуда не денутся: не верю. И не Главного Режиссера в этом вина (он себе позволяет и театральные эффекты, и невероятные совпадения), а рассказчика, пишущего теперь так развесисто и густо: не верю я ни в демонического карлика Люсио с его макабрической бутафорией, ни в точеную красавицу Брурию с ее алкоголизмом и нимфоманией, ни в полусумасшедшего красавца Альфонсо, с восемнадцати лет сожигательствующего с младшей сестрой. Все это так же пряно, избыточно и грубо, как спор в одесской коммуналке: вот стороны истребить друг друга готовы, а час спустя воркуют, и не поймешь, что тошнее — вопли: «Я тебе размножжу!», или это воркование, или же назойливое чередование того и другого, так живо описанное в первой главе «Кабана». Вот когда речь заходит о Таисье — я ей верю, хотя и тут мне уже недостает прежней рубинской сдержанности, отовсюду торчат спрямления, штампы, где прежде была графическая точность — нынче пирует жирная живопись, и хоть убей, не получается у меня любить эту женщину-монстра с ее буйным темпераментом, «лицом молодого орла» и скандальной, утомительной страстью улаживать чужую жизнь.

Что касается «Высокой воды венецианцев», сочинения, беспомощность и беззащитность которого еще откровеннее, — я не разделяю главной претензии нескольких рецензентов: им кажется психологически недостоверным, что героиня, узнав о своей болезни (возможно, смертельной), едет в Венецию и предается там осмотру картинных галерей. Критики полагают, что героиня обязана перепугаться до полной неспособности думать о чем-то, кроме собственного ужасного будущего. Позволю себе, однако, напомнить, что не всем же быть такими трусами и хиляками — некоторые способны перед лицом смерти искать утешения в чем-нибудь вечном, хоть вот в искусстве, если угодно. (До чего вообще трогательна эта неискоренимая советская манера навязывать автору, что должен чувствовать его персонаж! Прежде требовали бы, чтоб он перед смертью думал о Родине. Теперь заставляют трястись над своей бедой до полного неприличия.) Поразительно, что эта рубинская повесть — при всех красавостях и натяжках, о которых ниже, — выявляет главную, как нам кажется, интенцию нашего автора: не просто сострадание к человеку, но подспудную, затаенную гордость за него, сознание «величия участи». В слабых вещах автор проговаривается откровеннее, чем в сильных, где он во всеоружии. Вот что всегда привлекало к Рубиной сердца ее читателей: не только отсутствие иллюзий на собственный счет, но и уравновешивающая это вера в человека как такового, в его мужество, в феноменальную способность среди кошмаров быта и пыток памяти заниматься любовью, творчеством, дружескими посиделками! Все рубинские поэты-алкоголики, полунищие художники, пописывающие менты были дороги ей именно своей способностью подниматься над животным ужасом существования (который так внятн ей самой и таким подземным гулом сопровождает ее лучшие сочинения). Начиная с первой рубинской публикации — знаменитой повести «Когда же пойдет снег?» — все ее тексты были посвящены единственной теме: преодолению собственного ничтожества. Достойное, гордое без гордыни противостояние — вот суть всех любимых героев этого удивительно трезвого и все-таки неискоренимо романтического писателя, — и не случайно именно способность героини хохотать над грустным абсурдом собственной судьбы спасает ее от самоубийства в повести «Камера наезжает!..». Пожалуй, и Лусио с его комическими уродствами и бесчисленными талантами вписывался бы в эту галерею рубинских любимцев, не поддайся автор соблазнам дурновкусной театральности. Так что «Высокая вода венецианцев» — своего рода манифест: «Надо было дожить отпущенное ей время, как доживал этот город: щедро, на людях. В трудах и веселье». В сущности, все мы доживаем отпущенное нам время, и эта всеобщая обреченность не позволяет Рубиной бесповоротно осудить даже самых противных своих героев. Любимцы же ее — те, кто чувствуют эту всеобщую обреченность острее других (вовсе не надо было ее педалировать в случае с Лусио, навешивая на героя еще и родовое проклятье). Чувствуют — и тем не менее противостоят ей, живя «на людях, в трудах и веселье». Обреченная, умирающая и праздничная Венеция в повести Рубиной не претендует на конкуренцию с Венецией Манна или даже Дафны Дюморье (хотя, мнится мне, автор «Высокой воды венецианцев» не только

хорошо изучил город, но и внимательно перечел «Не оглядывайся»). Однако и намерения писать путевой очерк с клубничкой у Дины Рубиной, уверен, не было. Гордая и прекрасная обреченность, стоическое и безнадежное противостояние, обретающее величие в самом себе, — вот главная тема ее непритязательной, чуждающей котурнов прозы. Это своеобразная вера без Бога — или, если угодно, независимо от Бога. И автор не изменяет этой теме даже после того, как стал писать явно примитивнее и моветоннее, — ничем иным, кроме как моветоном, инцестуозную линию в «Венецианцах» не назовешь, да и описывая живопись или соитие (на таких вещах отлично проверяется художественный такт), Рубина то и дело вляпывается в такой сироп, в такие густые заросли банальщины, что возникает смутная неловкость за блестящего профессионала.

Впрочем, нам ли судить человека, перед которым впервые после долгих лет ташкентской каторги, переводов, поденщины — распахнулся мир? Сколько можно сознавать упомянутое величие замысла, борясь с бытом и полупризнанием, безденежьем и отсутствием среды? Зато теперь Рубина увидела библейские холмы, и леса Понтеведра, и Венецию — и, понятное дело, захлебнулась всем этим. Ее позиция вечно униженного человека сменилась благодарным восторгом перед бесконечным богатством и разнообразием мира — и винить ли ее в том, что обо всей этой роскоши она пишет с захлебывающимися интонациями школьницы, то и дело впадая в трюизмы? Важно, что теме своей она верна, не дала себя задобрить, а потому веселый и трагический ее стоицизм многих еще утешит и ободрит.

Об одном я жалею, хотя едва ли имею право о чем-либо жалеть применительно к чужой биографии. В повести «Камера наезжает!..» Рубина продемонстрировала удивительную способность очертить типаж двумя-тремя сильными и резкими деталями, пригвоздить единственным определением, воспроизвести интонацию с истинно консерваторским слухом. Излагая самую непритязательную историю, с минимумом страстей, без единого убийства и с единственной трагифарсовой попыткой изнасилования, она умудрялась явить читателю весь кошмар позднесоветской жизни с ее тотальной имитацией — подменой творчества, общения, любви, смысла... Эта жизнь состояла из гипнозов и отвлечений — и, показанная глазами человека, ни к каким гипнозам и отвлечениям не способного (даже собственное творчество не кажется Рубиной сколько-нибудь серьезным выходом), эта действительность начала восьмидесятых предстала триумфом бессмыслицы вроде бесконечно затянувшегося визита скучного гостя, выгнать которого не позволяет природная деликатность, а самому уйти некуда. Думаю, что нынешняя реальность в этом смысле ненамного предпочтительнее, да и всякая эпоха, кроме редких и кратких эпох переходных, дает не меньше материала для рубинской иронии. Только страсти сделались помасштабнее да события пострашней. Вот потому-то мне так обидно, что один из любимых моих писателей пять лет назад уехал в Израиль, а не в Москву.

Дмитрий БЫКОВ.



ПОЭТИЧЕСКАЯ ЕВРАЗИЯ СЕМЕНА ЛИПКИНА

Семен Липкин. Семь десятилетий. Стихотворения. Поэмы. М., «Возвращение», 2000, 591 стр.

Название объемного стихотворного тома Семена Липкина говорит само за себя. Семьдесят лет — эпоха, первое стихотворение книги датировано 1931 годом, написано двадцатилетним поэтом. Такого долговременного поэтического существования, пожалуй, больше нет в русской поэзии: творческие миры наших относительных долгожителей-поэтов Тютчева, Фета, Ахматовой укладываются в полвека... Странное чувство: вот сейчас можно снять телефонную трубку и набрать номер человека, писавшего еще за десять лет до войны, которая сама кажется уже легендарным событием далекой истории. А в ранних стихах Липкина еще «Гражданскую войной / Разрушенные дачи» — множество зафиксированных примет до-

военного баснословного времени... И при всем том — это наш современник. В его первых, ранних стихах — «кода» всего дальнейшего его творчества: мир русской Евразии, причудливо переплетенный с древнееврейским, библейским... «Здесь медленные движутся верблюды, / Похожие на птиц глубокой древности», и — «Из аула в аул я шатаюсь, но так / Забывают дорогу назад. / Там арабскими кличками кличут собак, / Над могилами жерди стоят... Вот уже за спиною мечеть и погост, / И долина блестит вдалеке. / Полумесяцем там перекинулся мост, / В безымянной колеблясь реке».

Ибо, идучи путем пустынным,
Научились мы другим желаньям,
Львиным рыкам, шепотам змеиным,
Голубиным жарким воркованьям.

...Глубокое впечатление производят военные стихи Липкина, впервые собранные все вместе.

Военная лирика, наверное, — из лучшего, что есть в советской поэзии, и это объяснимо: стихотворцам тут можно было не врать, подлинный драматизм вывел на новые рубежи даже скромные дарования, позволил раскрепоститься сильным.

Липкин по самосознанию советским поэтом не был, но искусства «осоветиться», искусства, что «все действительное разумно», поэт, как и большинство его современников, очевидно, все же не избежал: «Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, / Говори, почему ты лукавишь с собой? / Почему же всей правды, скажи, почему, / Ты не выскажешь даже себе самому? / Не откроешь себе то, что скрыл ото всех? / Вот он, страшный твой грех, твой губительный грех!» («Беседа», 1942). Война помогла Липкину, как и многим, «открыть себе» правду, ведь внешний враг не так страшен, как внутренний, и воевать, очевидно, не столь тяжело, как трястись ночью в ожиданье ареста. В войну муза Липкина словно рассвободилась, лирическая речь достигла новых регистров, поэт пишет мощно и безоглядно. Потом — в шестидесятые годы — в поэме «Техник-интендант» (которую успела прочитать и оценить Анна Ахматова) он скажет о войне с большой силой¹. Но у стихов, написанных о войне «синхронно», особый замес, закал, особая неостыиваемость строчек. Одно из лучших здесь — «Воля»: писать в войну о страдании животных — как это пронзительно, как благородно! Когда овцы «окровавленными мордочками тычутся в бричку. / Ярость робких животных — это ужасней всего».

Пятый день мы бежим от врага безводною степью
Мимо жалобных ржаний умирающих жеребят,
Мимо еще неумелых бляений ягнят-сироток,
Мимо давно недоенных, мимо безумных коров.

Иногда с арбы сердобольная спрыгнет казачка,
Воспаленное вымя тронет шершавой рукой,
И молоко прольется на соленую серую глину,
Долго не впитываясь...

Тут особая сила поэзии, которая держится не на строгой рифме и ладном гладком размере, но на энергетике вдохновения — производного сильнейшего впечатления. Текст словно «самореализуется» — без видимого рационального, ремесленного начала. Такие стихи берутся не усилием, а изливаются органично.

В 1947 году Липкин пишет замечательное стихотворение «Тот же признак» (и симптоматично, что эти безакцентно проговариваемые в тексте слова вынесены Липкиным в заголовок). Кажется, стихотворение это — культурно-мировоззренческий манифест поэта, сфокусировавший вышеупомянутое довоенное мироощущение. А Лев Гумилев мог бы, очевидно, взять его эпиграфом и к своему мировоззрению тоже:

¹ Вообще Отечественная война — и через десятилетия — может приобретать какую-то прямо-таки магическую отчетливость. Свидетельство тому — новейшие рассказы Александра Солженицына «Желябугские выселки» и «Адлиг Швенкиттен» («Новый мир», 1999, № 3). Совсем недавно в читательский оборот вошли и поразительные военные стихи Солженицына: Солженицын Александр. Протеревши глаза. М., «D'Age d'Homme», 1999.

На окраине нашей Европы,
Где широк и суров кругозор,
Где мелькают весной антилопы
В ковылях у заснувших озер,

Где на треснувшем глиняном блюде
Солонцовых просторов степных
Низкорослые молятся люди
Желтым куклам в лоскутках цветных,

Где великое дикое поле
Плавно сходит к хвалынской воде,
Видел я байронической боли
Тот же признак, что виден везде.

Средь уродливых, грубых диковин,
В дымных стойбищах с их тишиной,
Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и дали иной.

Не знаю, читал ли это стихотворение Николай Заболоцкий, но его поэма «Рубрук в Монголии» (1958) кажется соотносимой с поэтикой и проблематикой этого стихотворения Липкина.

Евразийство не как политическая доктрина, но как творческая картина мира — веская и логичная составная отечественной культуры.

Вообще Липкин, возможно, последний эпик в нашей поэзии, легко укладывающий в стихи историософские мысли. В его сознании и слове иррациональная циклопичность истории упорядочивается до исторической аксиомы. А все потому, что он проанализировал и продумал то, что для многих стихотворцев просто малоинтересный и «темный лес». Они пишут о себе и о том эмпирическом, что соотносится с их недостаточным крупным личностям. А Липкин же думает о загадках мира, истории и судьбах народов. Он поэт гораздо бóльшей мировоззренческой массы. И глубокого осмысления трагедии XX века. Стихотворение «Размышления в Сараеве» (1968) — яркий тому пример:

...На узкой улице прочел я след ноги
Увековеченный, — и понял страшный принцип
Столетия нашего, я услышал шаги
И выстрел твой, Гаврила Принцип,
Дошедшие до нас, до тундры и тайги.

Когда в эрцгерцога ты выстрел произвел,
Чернорубашечный поход на Рим насытил
Ты кровью собственной, раскол марксистских школ
Ты возвестил, ты предвосхитил
Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.

Поразительные стихи. Поэт словно захлебывается — четырежды повторенное «ты»! И вместе с тем — какая точность исторического определения.

...Редкий случай: бóльшая, во всяком случае никак не меньшая, часть стихотворений Липкина написана после шестидесяти. Там, где другие оказываются уже на износе, он набрал спокойную и ровную силу. Липкин избежал декаданса и доказал, что стихотворчество не исключает здоровья — умственного и лирического одновременно. Ветхозаветный инстинкт самосохранения в данном случае возобладал над традиционным для пишущего по-русски стихотворца самоиспелением. Еще в 1946 году поэт лаконично сформулировал секрет выживания (стихотворение «Договор»):

Если в воздухе пахло землю
Или рвался снаряд в вышине,
Договор между Богом и мною
Открывался мне в дымном огне.

И я шел нескончаемым адом,
Телом раб, но душой господин,
И хотя были тысячи рядом,
Я всегда оставался один.

Счастливо заключенный «договор с Творцом» — вот где разгадка тайны творческой уравновешенности поэта. А также и секрет творческого долгожительства. При этом поэт на то и поэт, чтобы не самоизолировать себя от боли мира и — при всей осторожности — не бояться «вызывать огонь на себя» и имманентно воспринимать бедствия бытия:

Если верить молве, —
Мы в начале поры безотрадной.
Снег на южной траве,
На засохшей лозе виноградной,
На моей голове.

Днем тепло и светло,
Небеса поразительно сини,
Но сверлит как сверло
Мысль о долгой и скудной пустыне,
На душе тяжело.

И черны вечера,
И утра наливаются мутью,
Плоть моя — кожа.
Но чего же я жду всею сутью,
Всею болью ядра?

Вот стихотворение, чья актуальность, кажется, «на все времена». В самом деле: когда у нас в России нет такой «молвы» и когда мы здесь — не «в начале поры безотрадной»? Не упомянуть.

А в совсем недавнем стихотворении здесь он вопрошает еще отчетливее:

Настанет день, настанет час,
Низвергнется мертвящий газ,
Громада непонятной пыли...
Ужели Бог отвергнет нас
И мир забудет, что мы были?

Конечно, вопрос вопросов. Хотелось бы верить, что настоящая поэзия самим фактом своего существования отвечает на него утешительным для нас образом.

Семен Липкин — серьезный поэт. Кажется, ему и в голову никогда не приходило делать из поэзии баловство. Может быть, его поэзии не хватает чувства юмора. Но сейчас столько поэтов-затейников, что она воспринимается как пронесенная через десятилетия доблесть. Она, повторю, серьезна в самом точном и четком значении этого слова. Никогда она не подмигивает читателю, не ухмыляется, не строит цинических, ставших уже дежурными рож. Вот поэзия, достойная уважения, а в высших проявлениях своих — восхищения. Поэзия ясная, честная и прямая.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



СТРАСТЬ К ЦЕЛОМУ

Зинаида Миркина. Невидимый собор. О Рильке. Из Рильке. О Цветаевой. Святая Святых. СПб., «Университетская книга», 1999, 271 стр.

Зинаида Миркина. Мои затишья. Избранные стихи. 1994 — 1998. СПб., «Университетская книга», 1999, 255 стр.

Лучше бы не мешать искусству со святостью — оно размывается под напором превосходящих величин. А у святости свое художество — аскетика. Какая святость без праведности, и какой художник без греха. Жутковатое все-таки видение: вконец истерзанный недостижимостью соединения святости и искусства художник сжигает рукописи, призывая кончину и Страшный суд. Искусство сгорело в камине, святость осталась на усмотрение Божие... Искусство не справляется с какими-то последними вещами, уходит в каминный огонь...

Зинаида Миркина — на пересечениях искусства и святости.

«Совершенно святое искусство есть искусство святых. Терпеливых до подвига. Но это вовсе не значит, что пока люди не святые, не должно быть искусства. Искусство растет вместе с Душой. Более того, искусство может быть путем души и даже — по словам китайского поэта — путем к святости. И часто от него невозможно, а потому и грешно требовать сразу всей святости, как от ребенка нельзя требовать силы и ответственности взрослого.

Все на своем месте. От искусства можно требовать **только, чтобы оно не уходило в сторону от путей души, чтобы оно шло с душой одним путем**» (здесь и далее в цитатах выделено автором. — *О. М.*).

Автор начинает и продолжает свой «Невидимый собор» страницами о мистике, но подводит его и к святости. То таинственное, о чем пишет Миркина, люди видят с разной степенью ясности и резкости, в разном объеме. Мистику — виднее. Будучи художником, он дает увиденному форму, художественно заостряя увиденное. А молчальнику-святому, если он не причастен к созданию литургического искусства, внешние формы выражения вообще ни к чему (*сокровенный сердца человек*, по апостолу). Зачем ему наше грешное мирское искусство?.. Есть, конечно, и в русской, и в других традициях святые-художники. Церковно прославленные. Иоанн Дамаскин, Симеон Новый Богослов или Андрей Рублев. Миркиной, однако, хочется, чтобы и мирское искусство звалось богослужением, чтобы вовсе не обязательно церковный, и, может быть, даже лучше, чтобы не церковный, но высоко настроенный (как Рильке) художник имел статус святого. Миркиной движет благородная, религиозная и героическая страсть к Целому. Увы, мир разорван и по этой линии: искусство — святость...

Автор повествует взволнованным языком (предмет заставляет): дали, веяния, беспредельность, запредельность, бездны, струенье, сквоженье, отрешенность, пробуждение, единение, экстаз, белый огонь... Это векторы, свидетельствующие иную реальность и наличие духовного мира. У Миркиной Бог — не Другой: Он внутри нас, наша бездонность и бесконечность, — раз за разом проявляется основная интенция эссеиста, которую я обозначил в заголовке. «Любить Христа — значит любить сквозь Него Отца, невидимый источник наш — Безграничную Действительность. Всякая иная любовь — кумиротворение, клетка для Бога». Христианство Миркиной чурается конфессиональных перегородок (даже, кажется, жертвуя личной любовью к самому Христу). Жанр можно обозначить как мистическую патетику и лирику.

Итак, Зинаида Миркина прославляет и духовно обозревает многожды прославленных в том числе и друг другом в известной переписке) Рильке и Цветаеву и предлагает собственные опыты спиритуалистической поэзии.

«Невидимый собор», включающий в себя помимо двух обширных эссе о любимых поэтах переводы «Сонетов к Орфею» и примыкающих сонетов, «Импровизаций на тему каприйской зимы», трех «Дуинских элегий», «Элегии к Марине» и ряда других стихотворений Рильке, собственные стихи о Цветаевой и вероисповедальный этюд «Святая Святых», начинается с романтически приподнятой темы одинокого художника. Тема задается через рильковские «Записки Мальте Лауридса Бригге» и сразу же сворачивает в нужную автору сторону: Одинокий в «Записках...» предается одиночеству во имя созерцаний и мистических трансов и отныне замещает собой монаха и святого. Миркина говорит о не привязанных к плоской социальности аспектах одиночества как о неизбежной творческой предпосылке (интересные вещи произносятся с избытком вопросов и восклицаний, отчего читать бывает затруднительно, как и от назойливых выделений полужирным шрифтом): художник ищет уединения потому, что к нему подступило бесконечное и он призван к иному бытию, его сознание причастно миру и живых и мертвых, внешне странный, чужой, внутренне он неразделим со всем миром, для него нет отдельных существований и т. д.

Прославивший одиночество Рильке, не имевший амбиций критика социальной действительности, чуждый догматических ограничений, для Миркиной кумир и ориентир. Рильке столь высоко ставил одиночество, что проводил знак равенства

между одиноким поэтом-художником и святым иноком. Оба имеют дело с Безграничной Действительностью (я исправно повторяю авторские прописные буквы) и с образами, являющимися из лона этой Действительности. Рильке — живой носитель такой целостности: искусства-святости. Это Рильке, сколько я помню, называл искусство страстью к целостности. Миркина складывает Целому (отсюда и «невидимый *сбор*») выразительные гимны.

Целому враждебны дробность и частность. «...ужасное есть часть бытия, отделившаяся от Целого, противопоставленная ему и кажущаяся самостоятельным целым...»

«Задача, вставшая перед великим художником, как и перед святым, состоит в том, чтобы **переглядеть** чërта...

Безграничная Действительность не может быть очевидна. Очам видна действительность ограниченная...

Доглядеть страшную, граничащую с кошмарами очевидность до стройности и великой гармонии невидимого очам внутреннего мира...»

Вот так: переглядишь чërта — ты художник, художник-святой...

Миркина много говорит о росте, становлении, осуществлении, но не прописывает вопросы формы (Рильке с его концепциями «вещи» и «работы», вдохновленными Роденом, и Цветаева с ее языковыми и стиховыми новациями). Но зачем вообще форма, если по-настоящему значительно только то, что невидимо, то, что внутри нас. В пустынном промытом зеркале видим мы отражение этого значительного — мир видит сам себя в своем значительном.

«Образ принадлежит ко второй действительности, к другому пространству бытия; показавшийся даже на миг, он свидетельствует о Вечности. Вечность и может показаться в этом временном мире лишь на миг и лишь в образе. И надо быть способным видеть образ, не принимая его за предметную реальность и не отвергая его реальности на том основании, что она не материальный предмет.

Задача художника — дать образ, самому же сойти на нет, не стоять между смотрящим и картиной, донести миру не себя, а высшую, глубинную реальность. Но для этого надо быть Одиноким, иным, иноком.»

То есть Одинокий не более чем медиум, проводник образа — в уединении, в пустыне, в тишине.

Миркина почти не говорит, что художник *формирует* образ — исходя и из Безграничной Действительности, и из действительности, ограниченной в пространстве и во времени. Искусство — в более или менее равновесном наличии осязательно-чувственного и спиритуального, что дает потом возможность вести речь о красоте, изяществе, обаянии, наслаждении и т. д. У Миркиной — преобразование (преодоление, исключение) чувственного (тела) во имя сверхчувственного. Однако ее художник-святой, «серафический доктор» (так ведь называла Рильке одна из его титулованных покровительниц), создавал оформленные «вещи», и был период, когда призывал поклониться — в противовес сверхчувственному, внутреннему и потустороннему — Эросу, тому, что вожделеет и воплощает чувственное...

Цветаева — не святая, а дочь стихий. Святой только Рильке. Цветаева «отвергает ложное, еще не зная истинного». Пространное эссе «Огонь и пепел» посвящено обзору этапов духовного пути и различению духов в творчестве поэтессы. Здесь есть и билет, возвращаемый Творцу, и «многобожие поэта», и телáа вместо душ, и атрофия совести в искусстве, и ответственность искусства перед совестью. В отличие, скажем, от наблюдений Иосифа Бродского «Об одном стихотворении» (о «Новогоднем»), ставящего во главу угла поэтику, Миркина идет «путем души». И склоняется в утешительную сторону: «Неутолимое, вечное недовольство собой. Она не была безгрешной. Нет, не была. И снисхождения не просила. Но огонь, сжигающий грех, никогда не угасал в ней».

...Миркина — из числа тех, быть может, уже совсем немногочисленных энтузиастов поэзии, которые полагают ее главным зримым и слышимым присутствием незримого.

Поэзия... Она и есть
Та самая благая весть,
Та весть о Благе, весть о Боге,
Которая слышна немногим.

Она и есть тот самый Дух,
Которым этот мир набух,
Как почка вешняя... Вот-вот
Проглянет новый небосвод,

Как лист из почки. Здесь, теперь, —
Лишь только до конца поверь
Поэзии, а не глазам
Своим, так часто лгушим нам.

Ей незачем предаваться формальным изыскам, ибо она по определению не формирует, а лишь повторяет и транслирует открывающееся через нее содержание, образ. (*Я ничего не творю от себя, / Я повторяю.*) Форма здесь может быть истолкована более широко — как овладение содержанием через духовный рост личности. Высокое искусство, поэзия не есть нарочитая форма, но проступающее через личность божественное содержание. Прежде всего поэт у нее — Бог: от Него — и самый источник вдохновения (ни в коем разе *не люциферийский*).

Поэзия есть тайный лад,
Согласие души и Бога.
Наш Бог — поэт. И в райский сад
Войти одни поэты могут,

Согласные с творящей волей,
Как с ветром вал и с небом — поле.
А тот, нарушивший запрет
Живого Бога, — не поэт.

«Мои затишья» — не иллюстративное дополнение к выкладкам эссеиста, а самостоятельное поэтическое творчество. Но, разумеется, единство творческой личности очень чувствуется. Я сличил «Затишья» с доступными мне по публикации в журнале «Русское богатство» — в выпуске, посвященном Григорию Померанцу (1994, № 2), — стихотворениями Миркиной. «Затишья» строже, выдержаннее (и лучше стихов, посвященных Цветаевой в «Невидимом соборе»). С этих стихов исчез налет кружковой любительской литературы. Их безыскусная простота (искусство без искусства — Миркина имеет идеалом такое искусство и небезуспешно стремится к нему), их ровная спокойная метрика и намеренно не аффектированный язык (свой стих она называет *бедным*) — то самое устранение в пользу смотрящего (читающего), дабы дать ему возможность забыть об авторе и лишь видеть, как проступает образ. Все прочее — литература...

Всеединство, целостность здесь — рефлексы тишины, ее градации, оттенки. В то же время говорить можно не об образах, а о едином целостном образе. В тишине приходит сознание полной слитности: Бог не вне, а внутри (Целое). *Ты есть я, а я — пробоина, окно, дверь, выход — в Тебя...* Только в тишине присутствует Бог («Тишина — не отсутствие звуков, / А присутствие Бога во мне»). И в этой тишине — такова, пожалуй, самая важная и радостная новость Миркиной — есть движение, пульсация. Покой — высшая и радостная жизнь, которая непрестанно течет, длится, выплескивается через край. Миркина стремится разрешить антиномию покоя и жизни.

Как говорит со мною Бог? Так тихо,
Как старый ствол, как облетевший сад,
С которого сорвал осенний вихорь
Все, что имел он, все, чем был богат.

Как говорит со мною Бог? Так долго,
Что я за жизнь сумею различить
Одно лишь Слово, что еще не смолкло,
Когда порвалась жизненная нить.

То, дрящееся у меня на тризне,
В мой самый высший, в мой беззвучный час,
Одно лишь слово, что длиннее жизни
И слог за слогом в вечность вводит нас.

Спиритуалистическое содержание изливается из личного опыта богопознания и приводится в движение единственно присутствующей в этих стихах страстью — к Целому.

Я приношу из зазеркалья
 Благоую весть:
 Там, где все звуки отзвучали,
 Тишайший есть.

 Так распахни Ему ладони
 Рывком одним!
 Не тень Он, не потусторонний —
 Мы дышим Им...

Отнесемся с подобающим вниманием к столь важной вести. В этих стихах все начинается с Целого и все приходит к нему (Бог здесь не в деталях, а в Целом, в глубинном и внутреннем). Нам этого недостает — мы погрязли в дробном, в «литературе». Стихи Зинаиды Миркиной говорят о Начале — встрече с Единым в Его (нашей) тишине.

Олег МРАМОРНОВ.



В ПОИСКАХ «РУССКОЙ КАРТИНЫ МИРА»

Валентин Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. М., «Наследие», 1999, 544 стр.

Бывает, что в крепко построенных, обладающих несомненной внутренней органикой текстах встречается вдруг деталь, которая поначалу производит впечатление неуместной, излишней, мало связанной с остальным содержанием, а при более пристальном рассмотрении оказывается ключевой, воссоединяющей смысловой континуум. В книге Непомнящего тоже есть такая деталь. Это обширная цитата из «Пира» Данте, содержащая классическое различие четырех уровней истолкования текста (уровни буквального, аллегорического, морального и анагогического смыслов). Прочитав Данте, Непомнящий сразу оговаривается: «Можно не применять начертанную им схему буквально». И действительно не применяет ее. Спрашивается: зачем же было делать столь пространную выписку? Лишь затем, чтобы подчеркнуть собственную приверженность к анагогическому «сверхсмыслу», или «духовному объяснению»? Но эта приверженность и так очевидна любому, открывшему книгу Непомнящего. Думается, выписка нужна была ему для другого: для опоры на филологическую традицию, которой Непомнящий следует. Рискнем определить ее как традицию экзегезы.

Одним из древнейших герменевтов называют иногда Аарона: его устами говорил косноязычный Моисей, получивший откровение — но не дар речи. Однако Непомнящий говорит о Пушкине. Какого же рода герменевтический акт (не будем сейчас отличать его от экзегетического) может быть осуществлен по отношению к тому, чьим даром является именно слово? Герменевтические усилия получают в данном случае прямо противоположную направленность. Их цель состоит не в том, чтобы пробиться из сферы неизреченного в сферу речи, но в том, чтобы вернуться из области слова в область неизреченного. «Четвертый смысл называется анагогическим, — говорит Данте, — <...> он <...> через вещи означенные выражает вещи, причастные вечной славе...» Поэтический мир Пушкина — «вещи означенные». Как «причастная вечной славе» истолкована в книге духовная биография Пушкина. Она-то и служит основным предметом внимания, истолкования, экзегезы.

И главы «Онегина», и пушкинская лирика прочитаны в книге как история духовной жизни поэта. Не как лирический дневник — но как тексты, по которым эта история реконструируется. Получается совершенно особый тип биографии, пожалуй, еще никогда не писавшийся. История жизни прослеживается не через факты — скорее они получают свое истолкование через поэтический текст, чем питают прочтение текста. К концу XIX века в пушкинистике возобладал биогра-

фический метод: в биографии видели ключи к пониманию произведений (их смысл казался уловленным, как только обнаруживалась биографическая к ним параллель). Здесь мы имеем прямо противоположное: тексты служат комментарием к духовной биографии. Замечательный по своей тонкости анализ пушкинской поэтики служит лишь вспомогательным средством, обслуживающим эту главную для исследователя цель.

Духовная жизнь Пушкина прочитывается и реконструируется Непомнящим по законам драматургии: исследователю важно увидеть то *драматическое* событие, которое совершается, запечатлеваясь в тексте.

В тезисах «Время в его поэтике» Непомнящий пишет: «Если обычное лирическое стихотворение есть *лирический акт*, то пушкинское стихотворение — *лирический процесс*». Пушкинское «я» меняется — «претерпевает, переживает или разрешает некую внутреннюю коллизию» — прямо по ходу стихотворения. И это сближает «законы пушкинской лирики с законами драмы: и там, и там — коллизия, разрешающаяся во времени; лирический процесс пушкинского стихотворения есть в этом смысле драматический процесс».

«Онегин» тоже прочитан Непомнящим как текст, в основе поэтики которого — процесс, движение, становление, не запрограммированное заранее, но организуемое «на каждом шагу», по мере писания, вместе с ходом и движением жизни. Особое значение придано поглавному изданию романа. Каждая глава — самозначимый, отдельный этап. Продолжение следует, но оно не предreshено, к моменту выхода очередной главы будущее романа открыто, как и будущее его автора.

Непомнящий подчеркивает лирическую основу романа, сплетенность «повествовательного сюжета» (сюжет героев) с «поэтическим сюжетом» (сюжет автора). В результате звенья сюжета героев осмысляются как иньбитие сюжета внутренней жизни автора. И если лирические отступления «отступают» от «повествовательного сюжета», то последний, в свою очередь, может быть воспринят как отступление от сюжета лирического.

Подобный взгляд на «Онегина», инициированный, пожалуй, еще Ю. Н. Тыняновым, в последние десятилетия утвердился в своих правах благодаря работам Ю. Н. Чумакова, С. Г. Бочарова и самого Непомнящего. Продержавшееся полтора века чтение романа как сюжета героев можно наконец считать рухнувшим. И это открывает весьма существенные историко-литературные перспективы: от «Онегина» к XX веку, к поэтике романов Набокова, например.

Тезис о процессуальности текста вызывает, однако, одну серьезную методологическую трудность. Непомнящий утверждает, что «*процесс* романа» рассматривается им «не как эмпирическая реальность истории создания текста, а как *структурный принцип самого произведения*, реализуемый в *беловом* тексте». Между тем основной предмет внимания исследователя здесь, как и в разделах о лирике, — «история души», запечатленная в тексте. Здесь, как и там, экзегетические усилия исследователя направлены прежде всего на внетекстовую реальность, которая реконструируется, исходя из показаний текста.

Строго говоря, Непомнящий не удерживается в рамках белового текста, вольно или невольно он привлекает к анализу фрагменты творческой истории романа, параллельно писавшиеся стихотворения и письма. В этой связи можно было бы предъявить ему некоторые упреки историко-литературного плана. Но анализ «Онегина» так точен и увлекателен, глубок и прост одновременно, что в связи с ним хочется говорить о совершенно других вещах.

Прежде всего — о природе филологического метода Непомнящего. До сих пор речь шла по преимуществу о центральных разделах книги. Что же касается статей, их обрамляющих, то лучше всего их можно определить термином, предложенным А. Н. Хоцем и введенным в оборот С. Г. Бочаровым: «религиозная филология»¹. С точки зрения любой отрасли того литературоведения, которое осмысляет себя как науку, «религиозная филология» — явление маргинальное, и обсуждать его всерьез почти неприлично. Между тем как факт истории культуры оно несомненно нужда-

¹ Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999, стр. 585 — 600.

ется в осмыслении, тем более когда речь идет не об эпигонских его проявлениях, а о таких ярких, как «феномен Непомнящего».

Некоторые из статей, помещенных в начале и в конце его книги, имеют весьма выразительные подзаголовки: «Лекция учителю и ученику», «Письмо в редакцию сборника „Пушкинская эпоха и христианская культура“ (СПб.)», «Из дневника пушкиниста. Заметки между делом». Эпистолярный или дневник, имеющий публицистическое, религиозное или учительное задание — у этой формы в русской культуре есть классические прообразы. Мы не знаем, интуитивно или сознательно была избрана Непомнящим ориентация на «Дневник писателя» и «Выбранные места из переписки с друзьями». В любом случае эти жанровые образования имеют глубинную связь с содержанием его книги.

Гоголь с его письмами, хранящими жанровую память о пастырских посланиях, конечно, предвосхитил характер начальных статей книги, в которых даются наставления ученикам, учителям и даже священникам. Но сходство с Гоголем не исчерпывается совпадением дидактического задания. Если рассматривать творческий путь Гоголя архетипически, как одну из моделей пути человека, принадлежащего русской секуляризованной культуре слова, то мы увидим, что творческий путь Непомнящего в ключевых своих моментах следует именно этому архетипу. Главный вектор такого пути — движение от светского по своей природе слова к слову воцерковленному. Движение, совершаемое при условии, что носитель слова не принимает церковного звания. Подчеркнем, прибегая к интонации Достоевского (не случайно она нередко прорывается на страницах книги Непомнящего): в этом-то условии все и дело. Тут, видимо, установка на то, что воцерковленной должна стать *вся* культура, не только внутрицерковная, — потому так важно, совершая это движение, остаться мирским, светским лицом. Писателем, филологом — но не священником, не монахом.

В некоторый момент именно *такого* пути из уст светского человека начинает звучать проповедническое слово. Реакция современников Гоголя на него известна: резкое неприятие как со стороны светских, так и со стороны церковных кругов. Впрочем, нашлись и воодушевленные почитатели. Казалось бы, за полтора века, прошедших с гоголевских времен, мы могли бы уже привыкнуть к проповедям, исходящим от писателей, литераторов, публицистов. Тем не менее реакция на переход Непомнящего от блестящих работ по поэтике к статьям, имеющим учительный пафос, до смешного напоминает ту ситуацию, которая когда-то оказалась столь неожиданной для Гоголя: как и тогда, нашлись пламенные приверженцы, но иные, друзья и собратья по профессии, категорически отвергли новое направление мысли. Как и тогда, те, кто любили, не перестали любить (и с тем большим страданием отнеслись к метаморфозе), те, кто ценили раннее творчество, не перестали его ценить.

Итак, архетип духовного пути филолога в его отношении к культуре слова — путь, пройденный Гоголем. Не потому ли Пушкин под пером Непомнящего получает иногда неуловимое сходство с Гоголем? «Свойственное Пушкину ясное ощущение в Творении некой *светлой цели*, которая относится к *человеку* и связывается с *преображением*, целиком принадлежит сознанию христианскому». Из этого ощущения вырастает у Пушкина «эстетика преобразования». Все это справедливо (за исключением слова «целиком») — но если искать среди русских писателей того, кто сознательно и целенаправленно следовал пафосу преобразования как эстетическому принципу, то таким писателем будет прежде всего конечно же Гоголь, который воспринял идею преобразования в эстетических построениях «Московского вестника» (имеющих, между прочим, *немецкий* генезис) и подчинил этой идее замыслы «Невского проспекта», «Портрета», «Ревизора», «Мертвых душ» и т. д. Непомнящий говорит, что русская литература, наследуя Пушкину, «взяла на себя, в стремительно секуляризирующемся мире, крест своего рода миссионерства, труд напоминать о том, что человек создан как образ и подобие Бога». Но и эта ключевая характеристика русской словесности гораздо прямее выводится из Гоголя, чем из Пушкина.

Так почему же, разделяя гоголевский пафос и следуя гоголевскому архетипу, Непомнящий избрал предметом (исследования и проповеди) не Гоголя, а Пушкина?

Мы определили метод Непомнящего как экзегетический. Экзегеза в том ее виде, в каком она применяется им к текстам Пушкина, — это выведение, из-ведение смысла за пределы предмета истолкования. Между прочим, именно такого рода экзегетикой — применительно к собственным текстам — неустанно занимался Гоголь. Начиная с «Ревизора» его тексты постоянно обрастали авторскими комментариями типа «Театрального разбеда» или «Авторской исповеди», в которых автор настойчиво разъяснял природу и назначение своих творческих усилий. Многих дивила несообразность его комментариев. Достаточно вспомнить высказанное в «Развязке „Ревизора”» утверждение о том, что в комедии изображен наш «душевный город». А между тем это было, по всей видимости, не что иное, как традиционное выведение анагогического и связанного с ним морального смысла пьесы.

Насколько органичен для Гоголя автокомментарий, настолько немислим он для Пушкина, у которого смысл всегда имманентен (вспомним одно из классических определений философии Пушкина как «имманентной философии»²). Книга Непомнящего свидетельствует о том, что идеальный предмет для экзегезы — это «имманентный» предмет. Аарон говорит потому, что Моисей молчит.

Есть, конечно, и другая причина предпочтения Пушкина Гоголю. Непомнящим движет страстная и серьезная надежда найти дорогу к спасению — для себя и своей культуры (обнаженность этого устремления как раз и коробит многих). Гоголевский же путь — это путь катастрофы, между тем как путь, пройденный Пушкиным, подтверждает, что такая надежда не пуста. Но табу на проповедничество, на выдвижение мессианских претензий, на извлечение смыслов из имманентно их содержащего поэтического языка — неотъемлемая черта пушкинского духовного мира. Она-то и является камнем преткновения для тех, кто дерзает писать о Пушкине, выходя за пределы академичного историко-литературного метода.

«Имманентный» предмет все содержит в самом себе, и потому он целостен. Как только неизъясимые смыслы эксплицируются, извлекаются — так сразу же целостность и имманентность оказывается нарушенной и место «пушкинской» модели занимает «гоголевская». Что же делать в этой ситуации экзегету, которому дорога именно пушкинская модель?

Совершив выход за пределы пушкинских текстов в область духовной биографии Пушкина и далее, в область исторически осмысляемой современной духовной жизни, он попадает в *открытую* экзистенциальную сферу — и оказывается перед необходимостью проинтерпретировать ее как такую же целостную и имманентную, какой является пушкинская модель, избранная в качестве идеала. Устройство одной области по подобию другой становится принципиально важным. Хотя публицистическая и нравственная проблематика под пером Непомнящего разрастается, вытесняя собственно филологическую, отказ от последней для него невозможен. Тут дело не в инерции: Непомнящий — духовно свободный человек, вполне способный, сочти он это необходимым, сжечь за собой мосты, ведущие в филологическую сферу. Но этот разрыв был бы совершенно бессмысленным, ибо дело заключается именно в постоянном взаимоувязывании обеих сфер.

Здесь, однако, встречается одно существенное затруднение. Измерение духа всегда открыто. А открытая форма не обязательно целостна и уж тем более — имманентна. И ради того, чтобы гарантировать эти столь дорогие качества, возникает соблазн придать духовному бытию черты завершенности. Например, обрисовав его как вполне определенный национальный склад духовной жизни, вмещаемый в раму не менее определенной — и в силу этой определенности замкнутой внутри себя — «картины мира». Побуждаемый такой «завершающей активностью», Непомнящий ведет своего читателя к убеждению в том, что русский, пушкинский, путь — это путь к спасению, преображению, осуществлению Божьего промысла о человеке и что именно этими чертами «русская картина мира» отличается, отграничивается от «картины» любой другой культуры. Мысль, прямо скажем, не новая. Не ново даже простодушное совмещение ее с идеей всемирной отзывчивости. На таких постулатах не стоило бы задерживаться, если бы не то обстоятельство, что

² Гершензон М. *Мудрость Пушкина*. М., 1919, стр. 39.

сама их предвзятость спровоцирована необходимостью прийти к согласию между процессуальностью жизни духа и его целостностью, функцию которой начинает выполнять завершенная, замкнутая внутри себя определенность. И если бы не то обстоятельство, что здесь перед нами — слишком типичная ловушка сознания, стремящегося удержать качество имманентности.

Между прочим, Гоголь, изводя сокровенные для него смыслы за пределы собственных художественных текстов, точно так же заботился о «замыкании кругов», о том, чтобы эти смыслы вновь оказались внутри, а не вне имманентной эстетической формы. «Театральный разъезд» — это пьеса вокруг пьесы. Если публика не узнала себя в «зеркале» сцены, надо — хотя бы на выходе из театра — поймать ее следующим зеркальным кругом. В 1846 — 1847 годах вокруг «Ревизора» выстраивается еще одно, замыкающее зрительское восприятие, кольцо. Новой постановке комедии должно предшествовать знакомство публики с «Выбранными местами», которое подготовит ее к более адекватному восприятию. А для того, чтобы и последующая реакция не ускользнула из-под контроля, пишется «Развязка „Ревизора“». Общественное восприятие «запирается» с обеих сторон: «до» и «после».

Итак, в Пушкине и Гоголе мы имеем две модели: имманентную и изводящую смыслы. Но вторая модель, как видим, нарушая имманентность, стремится к тому, чтобы восстановить ее заново. Едва ли можно сказать, что гоголевский архетип позволяет решить эту задачу. Но есть еще один, третий, русский писатель, к которому явно и неявно, сознательно и интуитивно апеллирует Непомнящий. Это Достоевский. Наследуя и Пушкину, и Гоголю, Достоевский совершенно иначе выстраивает отношения между имманентно-художественными и публицистически-проповедническими текстами. «Дневник писателя» и художественные замыслы реализуются *параллельно*. Их смыслы корреспондируют, но писатель не стремится выстроить из них обнимающие друг друга круги. Для Достоевского принципиально, что они существуют в двух автономных, взаимно свободных, независимых измерениях, ибо именно в этой автономии выход из той ловушки, в которую попал Гоголь. Но Непомнящий, кажется, и здесь близок скорее к Гоголю, чем к Достоевскому. Не случайно его книга имеет кольцевую композицию: два первых и два последних ее раздела, подчиненные прежде всего религиозному и нравственному пафосу, имеющие «учительное», проповедническое звучание, обрамляют, «замыкают» в себе содержание срединных, собственно «филологических» разделов книги. И если эти, сердцевинные, разделы неоспоримо драгоценны своим вкладом в осмысление пушкинской поэтики, то книга в целом сама нуждается в осмыслении — как феномен русской культуры, как свидетельство о настоятельных, но все еще не разрешенных проблемах нашего сознания, восходящих к XIX веку.

В «Сюжетах русской литературы» С. Г. Бочаров проинтерпретировал чтение Макаром Девушкиным «Станционного смотрителя» и «Шинели» как творимый Достоевским порождающий миф русской литературы, соположенный с историей грехопадения. «Нагая проза» Пушкина не ведает стыда — и к стыду не побуждает. Но после того, как в зеркале «Шинели» герой Достоевского увидел себя — и устыдился, пушкинское «райское» состояние слова уже невосстановимо. Теперь герою требуется «покров» — защита от стыда. «Жажда слога», которой обуреваем Девушкин, — это жажда «облачения в слово», подобного облачению гоголевского героя в шинель. Размышления о книге Непомнящего заставляют признать, что Достоевский, Гоголь и Пушкин в их сущностном взаимодействии до сих пор составляют на нашем культурном поле некую триединую конфигурацию, подчиняющую себе расположение его силовых линий. Думается, что зона влияния Достоевского и особенно Гоголя так сильна в этой книге не потому, что автор «перепутал» писателей, а потому, что, вводя творчество Пушкина в контекст текущей, живой истории, далеко за границу 1837 года, он попал в ту историческую картину мира, где Пушкин вот уже полтора века действительно неразъемлемо связан с Гоголем и Достоевским.

Мария ВИРОЛАЙНЕН, Мелвар МЕЛКУМЯН.

С.-Петербург.



ФИЛОСОФСКАЯ «СОБАКА, ЗАРЫТАЯ В СТИЛЕ»

С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., «Языки русской культуры», 1999, 626 стр.

...взвесить спор, не решая его....

Из книги Сергея Бочарова.

Заглавная метафора, взятая в кавычки, — из той же рецензируемой книги. Автор хочет сказать — не важно, по какому поводу, — что литературные «приемы», «заходы», навыки письма суть *энергии*, чреватые смысловыми последствиями на линиях больших умственных движений родной нам культуры — русской и европейской. Поскольку на книжный переплет вынесена среди прочих тема «Литературоведение как литература», ничего не мешает приложить этот вывод к творчеству самого Сергея Бочарова: его «филологические сюжеты», завязанные чаще всего вокруг тончайшей филиации идей-слов и итожимые с таким же острым вниманием к оттенкам и поворотам собственного слова, упираются в дилеммы философские и «экзистенциальные», с совсем не очевидными решениями.

Книга Бочарова — как и книга избранного им в любимые оппоненты Валентина Непомнящего «Пушкин. Русская картина мира» — это прорыв так называемого традиционного литературоведения сквозь заслон новейших исследовательских технологий, «чистых» и «грязных», это торжество *человекообразной* гуманитарии (в соответствии с этимологией латинского слова) над гуманитарией бабы Яги, которая не худо чует человеческий дух, но с тем, чтоб его истребить. Освоение обеих книг еще впереди; им, видимо, предстоит перевалить в XXI век и в качестве классики успокоиться на отведенных младшими современниками и потомками шестиках, как уже почти случилось с сочинениями Тынянова, Бахтина и даже Лотмана. Пока же — первые отклики, разгоряченные, когда главное — не воздать почестей рангу и масштабу, а «мысль разрешить». Или, если угодно, скреститься мыслями.

...Впрочем, помянутое «традиционное литературоведение» — здесь не более чем условная абстракция. У Бочарова — свой метод, быть может, столь же давний, как и сама филологическая герменевтика, но сегодня как раз *не* традиционный. Скажем, он декларирует почтительность к исторической поэтике (во время оно выводившей его поколение из тупика нормативного марксизма). А между тем — совершает его не санкционированное. Если историческая поэтика и ее близкая родственница — компаративистика — опираются на документированное выяснение взаимовлияний и социокультурных эволюций, то есть подходят к цепочкам литературных фактов *позитивистски*, то Бочаров думает совсем по-другому. «Независимые переключки в истории мысли ценнее всего», — «независимые», то есть не полученные по литературной эстафете (от «отца» ли к «сыну» — или от захудалого дядюшки к бойкому племяннику, как считали опоязовцы), а навеянные, так сказать, атмосферически (аполлон-григорьевское и леонтьевское «веянье» — «обаятельное понятие», по ощущению автора).

Переключки же эти независимы только от прямых литературных контактов, осознанных впечатлений, но они зависимы от бессознательной «власти литературных припоминаний» (используется выражение А. Бема); здесь даже правит «таинственная сила генетической литературной памяти», сила, о которой Бочаров не забывает напоминать на пространстве всей книги. И словно шкатулка открывается — по-иному озвучивается строгое и неброское название тома. Большие творческие «идеи» суть функции некоего сверхличного континуума. Нет, еще верней. Они порождаются сверхличным организмом. «Сюжеты русской литературы» — это не сюжеты, употребительные у русских авторов, это сюжеты, авторство которых принадлежит соборному целому русской литературы. А «узлы», выхваченные из целого стойкими бочаровскими предпочтениями («Пушкин — Гоголь — Достоевский», «К. Леонтьев — Толстой — Достоевский»; добавим из области теории: Бахтин — А. В. Михайлов), — сочленения живого мифопорождающего организма, от-

верстого будущему (в выходах за пределы XIX века: Пруст — Ходасевич — Битов — Петрушевская — тоже все сочленено, хоть и не так плотно).

В общем, если адепт исторической поэтики — поневоле позитивист, ибо обя-зался оперировать положительно удостоверенными интертекстуальными связями и вытаскивать из-под спуда времен смыслы и значения, актуальные в эпоху создания произведения (безусловно ценный «обратный перевод» с современного на минувший), то наш автор — скорее «холист» или «органицист», то есть контрпозитивистичен. В очень существенном смысле тут тоже — «русская картина мира», и книга Бочарова породнена с книгой Непомнящего куда больше, чем они сами думают. Коль Непомнящий — это «религиозная филология» (так в «Сюжетах...» припечата-но), то Бочаров — это «метафизическая филология». «Тайна» — принципиальное слово из его лексикона: вместо обратного перевода, возвращения в лоно истори-ческого контекста — потаенная чреватость зерна будущими прорастаниями. Быть может, тут одна из причин того, что трудно найти сегодня другое историко-литера-турное сочинение, настолько насыщенное философскими аллюзиями — от Геракли-та и Платона до Хайдеггера и Макса Шелера, от Сквороды до Флоренского, Булгакова и Федотова.

Чем крепится филология (служба *при* тексте, по С. С. Аверинцеву) к филосо-фии? Экзегезой, работой по уразумению максимального смыслового объема слова в существенном для данной культуры тексте и метатексте. «Сюжеты русской лите-ратуры» меньше, чем можно было ожидать, заинтересованы в собственно сюжето-сложении или в родословии характеров. Ранние открыватели сквозных положений русской литературы — скажем, автор знаменитой статьи «Русский человек на rendez-vous» или полузабытый Осипович-Новодворский, в «Эпизоде из жизни ни павы ни вороны» собравший у одра издыхающего Демона целый выводок его ли-тературных детей, — напрасно просятя в предшественники нашему филологу. Слово-мотив, в крайнем случае ситуация, означенная как бы вскользь оброненной фразой, а не сюжетный кирпичик, перипетия, и не типологическая черта персона-жа, — вот квант рассмотрения. Точнее, взглядывания: феноменалистики и физио-гномии. Взглядывания и вслушивания.

Осмысляющий слух Бочарова изумителен; здесь, по-моему, нет ему равных (я даже не добавляю: «сегодня»). Это явлено в «мелочах» высшей пробы. Например: «...дьявол с Богом борется» (из зацитированных слов Мити Карамазова о красоте). Не «борются» (в манихейском некоем равенстве, — как часто заповинается наше-му поверхностному уму), а «борется», атакует дьявол, пытаясь похитить, оспаривая у Всевышнего богосозданную, онтологически несомненную красоту. Или кто бы еще расслышал в мрачном стихотворении Ходасевича об автомобиле: «Но с той поры, как ездит т о т, / В душе и в мире есть пробелы, / Как бы от пролитых кис-лот», — в этом «как баы» — тючевский «знак высокой старинной поэтики в при-менении к химической и технической метафоре века», а за ним — сразу весь «кон-трапункт поэзии Ходасевича, его современности и его классицизма»? В этой вир-туозности главное — что она неотразимо точна, суть не в остроумии, а в высво-божденной ласточке смысла.

Триумф этого метода — статья-размышление «Праздник жизни и путь жизни. Сотый май и тридцать лет. Кубок жизни и клейкие листочки»¹. Феноменология понятия «праздник» с его религиозными призывками, дерзкое обмирщение его в идущем от старой французской поэзии эпикурейском клише, и далее: Пушкин, прильнувший к «кубку жизни», от юности до зрелой мудрости; припавший к нему же Иван Карамазов в прении с братом Алешей о «клейких листочках» (пушкин-ских тож), о жажде жизни и жажде ее смысла... Любо-дорого следить, как путем чуткого *внятия*, различения полу- и четвертьтонов, и одновременно посредством жесткой философской аутопсии «свежее слово» художника обращается в «идейную

¹ Мне особенно полюбившаяся в массивном богатстве книги; хотя автору, чувствуется, дороже другая — «Холод, стыд и свобода» — на пушкинско-гоголевско-достоевский «сюжет», сопоставленный с библейским сюжетом грехопадения прародителей. Но там, по-моему, фи-лологический невод заброшен слишком глубоко в пучину последних сущностей, и нет уве-ренности, что его удалось вытащить.

парадигму», извлекаемую исследователем на свет Божий без того, чтобы «свежему слову» хоть сколько-то повредить. Замечу кстати: пусть Бочаров и предупреждает, что любые спрямленные дороги от фактов поэзии к философским тезисам сомнительны, сам он, «расщепляя» поэтическое слово и высвобождая его «эйдос», производит образцовое разграничение философских позиций: эпикурейство, стоицизм, шопенгауэрианство, христианский взгляд (сошлюсь, в частности, на поразительный этюд о стихотворении Тютчева «Итальянская villa» в работе «Литературная теория Константина Леонтьева»).

«Станным сном полна бывает и голова филолога...» Вот признание! Оно равносильно славному и неоспоримому: «Поэта — далеко заводит речь». Потому что в обоих случаях долгоиграющий, едва ли не мирового размаха «сюжет» выстраивается как бы слово за слово. «Собака зарыта» здесь в том, чтобы выследить эти тайные слова, зародыши будущих событий и деяний. Сюжет «зарезанной любви» — есть, оказывается, в русской словесности такой, и идет он, конечно, от Пушкина, от нескольких строк известного уподобления в «Сцене из Фауста», от рельефной фигуры речи. Самая эффектная цепочка: начиная одной из октав «Домика в Коломне», где поэт-повествователь дает на мгновение волю мстительному порыву, воображает пожар богатого новгородного дома, сгубившего прежний уголок, — к сценам поджога в губернском городе из «Бесов» — и наконец к «мировому пожару» Блока. Мудро подавленное, оставившее лишь беглый словесный росчерк чувство — и вдруг прорывается из подпочвы как мятеж, а потом уже детонирует как «апокалипсис нашего времени». И ведь действительно *сюжет* — не только русской литературы, но и всей русской истории, крыть нечем.

Бочаров буквально ловит своих героев на слове, на соучастии в «независимых», не зависящих от их воли перекличках. Вот: о «мировой гармонии», слагающейся из эстетически уравновешенных контрастов добра и зла, — Константину Леонтьеву приходит тут на ум прекрасная *опера*, но задолго до того, словно упредив неведомого противника, Белинский с ядом называет нечто подобное усладой для *меломанов*. Или — малосимпатичное слово «ковыряние», которым, не сговариваясь, метят Леонтьев и Тургенев новую, отягощенную «лишними» подробностями манеру письма (включая Толстого). Таким занимательным совпадениям ненавязчиво придается значимость и значительность — как проявлениям *общей жизни* русской литературы, совокупного источника ее сюжетов.

Слово у Бочарова на заметке, в ореоле свободных валентностей, и это справедливо также в отношении специфического «чужого слова» — слова тех разнокалиберных коллег, кто привлечен в спутники по филологическому прочтению². Чужое определение, формула, «мо» (именной указатель отчасти свидетельствует о чрезвычайном объеме этих извлечений) Бочарову, положи руку на сердце, не слишком нужны — избыточны. Владая всеми артистическими оттенками интеллектуальной речи, он, кажется, легко мог бы «переиграть» эти посторонние удачи и находки. Но ему важно поместить себя в полилог голосов, сгруппировавшихся вокруг «испытываемого» текста, не остаться рядом с ним в идеологически авторитарном одиночестве. Здесь не просто научная корректность, понуждающая учитывать суждения тех, кто до тебя приближался к твоему предмету. Здесь — тип сознания.

Внимание к слову в ущерб вниманию к перипетии — это верный признак не любви к законченности, окончательности (ведь в классической парадигме цепочка перипетий приводит-таки к развязке, слово же звучит и ждет отзвука невзирая на автономию текста, на поставленную в нем точку). Слово открыто противослову за пределами того исхода, которым сам себя итожит заверченный художественный мир произведения.

Книга Бочарова начата работой о «возможных сюжетах» Пушкина — в «Евгении Онегине» и не только там. Например, уясняется, что завязка романа в стихах идет не от Татьяны, а от Онегина, от его возможного чувства к ней при первой

² Поучительно, что пушкинисту Непомнящему коллеги-пушкинисты ни к чему — за редкими исключениями.

встрече, чувства, оставшегося в сослагательном наклонении («...Я выбрал бы другую, / Когда б я был, как ты, поэт»)³.

За словом, указывающим на внесюжетную, иносюжетную возможность движения, разворачивается громадная перспектива, обозначенная в книге пушкинской фразой: «Не говорите: иначе нельзя было быть», — повод для разговора о неполной детерминированности, нефаталистичности исторических событий, о случае как мгновенном мощном оружии Провидения и о человеке с его свободной волей как ловце такого случая. Что может быть привлекательней (скажем, для меня) философской борьбы с историческим детерминизмом, ведущейся во имя и именем Пушкина? И все же у рассуждения имеется обратная, не предвидимая автором сторона.

Да, *возможность* есть не пустая мечта, а особый модус бытия (Бочаров вспоминает при этом Аристотеля). Но действительность — она-то реализованный *выбор* между разными возможностями, когда отсекаются все, кроме одной (*героический* выбор, как отзывается сам филолог о выборе Татьяны в финале пушкинского романа). Отказ от выбора превращает рой возможностей в беспробудное сновидение.

Чтобы не впасть в морализаторство, вернемся, обходя стороной жизнь, к литературе. Бочаров цитирует известные слова Льва Толстого о творческой задаче писателя: «...обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/000000...» Задача же исследователя — уловить и выявить конструктивное присутствие тех немногих «возможных сочетаний», которые не были выброшены в лабораторную корзину вместе с тысячами прочих, а оставили в тексте след: *могло* быть иначе; устремись воля художника по другому, слегка намеченному руслу, открылись бы совсем иные дали, и перед кем-нибудь, наткнувшимся на заброшенное ложе потока, они и впрямь открываются — в преemственном творческом акте. Но это задание имеет свой философский пафос и свою философскую оправданность только в рамках классической нормы повествовательного искусства. (Точно так бунт против устоев общества бывает полезен и освежающ, пока общество это устойчиво.) Между тем постклассическое письмо, так сказать, методология компьютерного века, услужливо предлагает художнику включение неотброшенных возможностей в самую программу произведения, отказ от линейности и, следовательно, от выбора (не важно, что этим у нас пользуются пока авторы второго и третьего ряда — «Зимняя пыль» Слаповского, «Спички» Бородыни, «Чайка» Акунина; на Западе — уже давно и первого, Макс Фриш, например). В новой эстетической ситуации «возможные сюжеты» назойливо определяют себя как ирреальные, отменяющие самоё возможность реальности, — и пусть это станет маленьким звончком, тренькающим близ уха нашего автора...

Бочарову чрезвычайно пришлось по душе «коромысло антиномий», на котором, как замечено было Я. Э. Голосовкером, колеблется ум Ивана Карамазова. Даже сама фигура Ивана предстает «неким мистериальным неравновесным живым коромыслом»: «идет как-то раскачиваясь... правое плечо... ниже левого». Здесь нашему исследователю бросается в глаза именно «неравновесность» — как Ивѡанова ущербленность (шуйца, сторона нечистого духа, приподнята выше десницы). Но «коромысло» Кантовых антиномий, на кои указывает Голосовкер, да и любых нерешаемых антиномий вообще, — как раз «равновесное», и в этом его искусительность. Прежде всего — для автора данной книги. Почти во всех важнейших анализах и спорах он стремится остановить в «колеблющемся равновесии» чаши весов, сравнять в силе *pro* и *contra*.

Ясней всего эта «привязанность к коромыслу» манифестируется в очень установочной статье «Из истории понимания Пушкина». Разбор наиболее подходящего для такого случая пушкинского стихотворения «В начале жизни школу помню я...» превосходен, а замечание о том, что слово «бесы» применительно к античным «кумирам» в школьном саду — не прямое, а «цитатное» слово, извлеченное воспо-

³ Бочаров замечает, что этот момент еще должным образом не оценен исследователями. Справедливости ради укажем, что реплика Онегина не прошла мимо внимания Белинского (хотя он «из принципа» отвергал всякую возможность чувства Онегина к Татьяне — неопытной девочке): «Этому равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двух невнимательных взглядов, чтобы понять разницу между обеими сестрами...»

минателем то ли из прежнего, отроческого сознания, то ли из кругозора его наставников, — замечание это могло бы быть, в пику «выпрямителям», развернуто в целый очерк о благом чуде пушкинской уклончивости. Но дальнейший вывод превышает смысловые границы даже такого поразительного (и действительно незавершенного, неумышленно или нарочито) создания: «Стихотворение... держится на натяжении и колеблющемся равновесии сошедшихся в нем гигантских всемирных энергий... непримиренных огромных сил»; поэт сумел «организовать в внутреннем мире встречу миров исторических — двух культурных эпох — и взвесить спор, не решая его». Миры эти — античность и христианство, но «в начале жизни» отрока-поэта их «колеблющееся равновесие» — только ведь подорожная в его будущих творческих странствиях. Однако чувствуется, как хотелось бы Бочарову распространить этот, как говорили гегельянцы, *момент* на всю драму движения «всемирных энергий», остановить чаши весов в состоянии, не предполагающем выбора. А ведь «взвесить» спор энергий, спор стихий — совсем не значит их заклясть («заклинатель и властелин многообразных стихий» — формулу Аполлона Григорьева Бочаров выделяет как наиболее близкую своему постижению Пушкина). Это значит — остаться созерцателем противоречия, отрешенно восклицая: «Посмотрите! каковы?.. / Делибаш уже на пике, / А казак без головы!» ...Думаю, возможно показать превосходство Пушкиным исторических и культурных противоречий очень большого масштаба, и это не станет насилием над ним («интерпретацией»).

Но Бочаров любит противоречие, любит не столько умом, сколько душой. (Может быть, так же, как о. Павел Флоренский, почти освятивший противоречие, это удобное свидетельство неместимости бытия в человеческий ум?) Поэтому так драгоценен ему Константин Леонтьев — воплощенное противоречие, — предпочитаемый не только «лукавому» диалектику Соловьеву, но иной раз и «грубому» в своих квалифицирующих формулах Достоевскому. Леонтьев «склонялся перед требованиями православной аскетики и не хотел терять широты эстетических и культурных переживаний», — до чего симпатично! до чего сродни каждой мятущейся душе!

При этом Бочаров прекрасно видит, что, если повертеть это коромысло так и эдак, оно, того гляди, сломается. Прекрасно он видит, что «православная аскетика», по Леонтьеву, отмечена таким безлюбным радикализмом, что оказывается уже и не вполне православной. Он прекрасно видит (и сам о том пишет), что широта культурных переживаний Леонтьева, переливающаяся в его «эстетику жизни», несет на себе театральное-декоративное, слегка бутафорское налет. Что, если обратиться к «популярнейшей леонтьевской цитате»⁴, то станет очевидно: Моисей автор ее представлял себе по скульптуре Микеланджело, а не по Библии — гугнивого Моисея, незадачливого убийцу египтянина, спустившегося, однако, с Синая с непереносимо сияющим лицом от недавней близости Божией. Что, да, «апостолы проповедовали» — а среди них первоверховный апостол Павел, больной какой-то противной, неприглядной хворью, «жалом в плоть», от которого Господь не давал ему избавления. Что «мученики страдали» — красивая констатация, за которой в составленных ранними христианами актах стоят описания ужасных, отвращающих воображение пыток. Короче, как о Ницше писал Владимир Соловьев, что его доктрина — мечтания «филолога», так и о Леонтьеве можно сказать, что его эстетизм — поклонение не Красоте, а ее культурным отражениям разных эпох; ту же красоту, что «тайно светит» сквозь «зрак раба» («рабский вид», как дословно перевел Тютчев со славянского догматическую формулу), он скорее всего — именно как *красоту* — не переживал, хотя и упивался, уже вторичной, красотой церковного обряда. И значит, меркнет все великолепие центрального леонтьевского противоречия — обе его стороны подмочены.

В книге можно найти многочисленные прокламации касательно нерешенности и нерешаемости вещей самых важных в «сюжетах литературы» и сюжетах жизни — и это принципиально. Насчет убежденности Леонтьева в единственно реальной на земле гармонии — гармонии света и тени, добра и выгодно оттеняющего его зла — говорится: «Мысль старая как мир и вечно новая, убедительность кото-

⁴ «...не ужасно ли и не обидно было бы думать, что Моисей входил на Синай...» и т. д.

рой *равна* ее соблазнительности» (курсив мой. — *И. Р.*). Так софизм ли это или, напротив, закон бытия? Дай ответ — не дает ответа. С удовольствием исследователь отмечает «свободный и *поэтический* взгляд» Иннокентия Анненского на контрверзы «Преступления и наказания» — «без однозначного между ними решения». О Достоевском и Леонтьеве: «Сейчас мы слышим обоих и заново переживаем тот спор, который и до сих пор для нас не остыл... И оценивать нам его сегодня не в чью-то пользу. Это был не мирный унисон, из какого никогда в истории мысли путного не было, а... та самая поэтическая борьба, какую так любил Леонтьев». Но если спор «не остыл», как можно удержаться, не ввязаться в него и кончить важнейшую из своих штудий столь закругленным эффектом? Поистине, подобное «невмешательство» должно стоить специальных усилий, связанных с общими мотивами книги⁵. В иных случаях можно говорить (подражая приведенной в книге характеристике: «вызывающе неточный» язык Бахтина) об ускользающе *противоточном* языке Бочарова. «Леонтьев был одним из источников той популярной сейчас, в конце двадцатого века, мысли, что большая русская литература отвечает за то, что случилось потом в русской истории». Речь идет о мысли — способной смутить и опалить; но удачно подобранным пояснением «популярная» снят вопрос, насколько она жжет автора приведенных строк и жжет ли вообще.

Принципиальная, даже не лишенная внутренней патетики позиция филолога-мыслителя — ее мы попытались описать — требует не просто уважения, а вникания в ее собственную истину, в ее, быть может, правоту? Ну, самое неинтригующее, поверху лежащее объяснение — влиянием Бахтина, который, как показано в его философском портрете Бочаровым-мемуаристом, не сочувствовал «сведению концов с концами» и согласованию чего бы то ни было в «эпическую гармонию». *Диалог* видится тотальным и незавершимым: спорят персонажи, творцы, культурные эпохи, понимая (вопреки О. Шпенглеру — М. Гаспарову), но и переиначивая друг друга, и нет ни у кого права на последнее слово. Однако Бочаров — не эпигон коренных бахтинских понятий, он их учитывает лишь там, где это нужно его идущей своим путем мысли.

⁵ Позволю себе экскурс по поводу одного из таких мест, вокруг «слезинки ребенка» (стр. 377): «...она поколеблет картину вечной гармонии так, что писателю до сих пор на эту тему с нами не объясниться...» Колебание же невыносимое — близ довода «о невозможности принесения в „строительную жертву“ одного человеческого существа». Недавно С. Ломинадзе полемизировал на этой территории с К. Степаняном, приписывая аргумент от «детской слезинки» глубочайшему мирочувствию самого Достоевского и отмечая замечание А. Василевского, что мысль из главы «Бунт» идет все-таки от персонажа, а не от автора «Братьев Карамазовых». Бочаров осторожно солидаризируется с Ломинадзе. Тут, по-моему, наряду с натуральным этическим порывом еще и какое-то тягостное недоразумение, во всяком случае, среди людей, чтущих, догадываюсь, Евангелие. Словосочетание «строительная жертва» взято Бочаровым из одной работы В. Е. Ветловской, где Ивану Карамазову с большим или меньшим успехом приписывается кардинальная причастность к масонству и к его эзотерической символике. Но если отвлечься от этой символики, травестирующей всечеловеческие архетипы, и от самого диагноза, выставленного Ивану, нужно со всей силой сказать, что для верующего ума (в том числе для ветхозаветного и языческого) *на жертве* стоит все мироздание (отсюда и гекатомбы, и всеожжения, и даже человеческие жертвоприношения — все то совсем не пустое и не суеверное, все то всеобщее мифо-действие, от чего освободил человечество Христос). А сам Христос — именно что «строительная жертва»: Камень, который отвергли строители, стал во главу угла — нового соборного вселенского здания Церкви. И Он же — жертва искупительная. Потому-то на слова Ивана Алеша отвечает напоминанием о Едином Безгрешном (так что на «диалектику» Ивана откликается не только «космодидея Зосимы», но и прямой Алешин возглас). Больше того, Церковь сакрализует не только добровольную жертву — Христа и его последователей, но и жертву, не связанную с волеизъявлением: канонизированы изничтоженные Иродом в Вифлееме еврейские младенцы — как принявшие смерть Христа ради. И вообще, в круговой поруке общей вины невинные гибнут *за* виновных, Достоевский ли об этом не знал? Все это не противоречит нравственной невозможности устраивать свое счастье на несчастье другого (Татьянинного мужа в Пушкинской речи Достоевского, на которую в этой связи ссылаются и Ломинадзе, и Бочаров) и не оправдывает притязания новых иродов основывать сулимое в будущем благоденствие на погублении ныне живущих. Невинно погубленные и ироды окажутся по правую и левую сторону престола Господня.

Можно, конечно, посчитать эту «экзистенциальную метафизику» просто эквилибристической фарисействующим умом, но тогда уж надо до конца оставаться с Иваном Карамазовым *во всем*. Бунтовать так бунтовать. (Кстати, мне кажется, Достоевский, вопреки мнению Бочарова, любит Ивана Карамазова не меньше, чем Раскольникова. Любит, но не делает иной *выбор*.)

И все же без Бахтина не обойтись — в другом, менее очевидном отношении. Бочаров — такой же персоналист, как и тот. Святыня лица, «нежность» к лицу, а не только его филологическое освидетельствование для него важнее всего. Он пишет о тех, кого любит, и тех, кого любит, — не судит. Конечно, можно съязвить, что сами его «объекты» не того ранга, чтобы лезть к ним с поучениями. Но нет, не противоположенная ответственному уму почтительность — именно *любовь к лицу* побуждает Бочарова не применять ранящей методики вскрытия, оставляя речи каждого в их недоговоренности, с их «бледнеющими промежутками» (К. Леонтьев)⁶. «Досказать речь Диотимы» в Платоновом «Пире» — на такое мог решиться разве что Владимир Соловьев, за что и прослыл доктринером.

Наконец, главное опять-таки совпадает с бахтинским «кодексом». Собеседнику Михаила Михайловича, Бочарову, запомнились слова: «Правда и сила несовместимы». Эти слова отнюдь не оспорены, скорее — приняты в сердце автором «Сюжетов...». Отсюда: акт выбора означает давление на одну из чаш весов, пребывающих в «колеблющемся равновесии». И даже если это выбор правды (Правды — начальную букву можно и повысить), она, оказавшись в позиции силы, тотчас перестает быть собой. Тут бесполезно возражать, что не всякая сила есть насилие и что «слово со властью» привлекает, а не насилует. Тут — наиинтимнейшая установка души, надежно защищенная от любых наших резонов.

С этой-то установкой связана полемика вокруг «авторитарных тезисов» коллег — Валентина Непомнящего и Татьяны Касаткиной, — полемика, которую Бочаров ведет, я бы сказала, с суровым юмором и художественным воодушевлением. Это самый шепетильный момент в ходе моих заметок, потому что никто не ставил меня арбитром между такими людьми, такими филологическими писателями. И все же я трусливо отступлю, если не признаюсь, что, с одной стороны, согласна с Бочаровым *в существе дела*, но с другой — по извлечении «существа» нечто обнаруживается в сухом остатке.

Оба названных автора — интерпретаторы Пушкина и Достоевского, а интерпретация, как определяет ее Бочаров, — это «автономная область порождения собственных смыслов, затем обратным ходом приписываемых тексту». *Понимание* — союзничество с исследуемым текстом, пребывание близ него; *интерпретация* — «агрессивное давление на текст», его «идеологическая редукция», заносчивое пребывание над ним. Что ж, идет ли речь о прочтении Непомнящим пушкинских «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы...» или о толковании Касаткиной, скажем, романа «Идиот», — все, что пишет Бочаров об этой «религиозной филологии» и о присущих ей способах препарирования, более чем справедливо. Грустно за тех, в кого попали стрелы, но радость от «экологической» защиты любимых сочинений, от доказательства их «неприступности» превозмогает огорчение. Меткость же попаданий почти скрывает легкое дрожание разящей руки.

И все же. Неужели «третьего не дано»? Неужели понимание всегда означает покорное согласие с мыслью художника, а интерпретация, то есть (говоря без обвинительного уклона) столкновение этой мысли в контексте мысли собственной, означает, опять-таки всегда, обращение художника в искалеченного Гуинплена? Нельзя ли понимать, оставаясь при своем, и интерпретировать без ножа? *Понимал* же Леонтьев литературные удачи лукавца Вольтера!

Вот автор «Сюжетов...» встает на защиту безусловно прекрасного стихотворения Блока «Девушка пела в церковном хоре...». Обороняет блоковский шедевр от Непомнящего, который хотел бы изъять из роковой концовки слова «причастный тайнам» (Тайнам), тяготясь заключенным в них «диктатом» (причастенный Св. Таин ребенок прозорливо ведает, что все, о ком только что молились в храме, не-

⁶ Иногда эти «промежутки» представлены, на мой взгляд, слишком уж «бледными», как у других бывают слишком картинны искусственные интерпретации... Для моего грубого ума не составляет такой уж загадки, отчего в «Станционном смотрителе» Дуня, по доброй воле увозимая из отцовского дома, плачет в кибитке; она оплакивает трагическое неведение отца, добродушно подтолкнувшего ее к окончательному решению: дескать, прокатись, чего боишься? — оплакивает и свою внезапную решимость, отягощенную виной. Загадочности здесь не больше, чем в пресловутой реплике доктора Астрова насчет «жарищи в Африке», — а вот понятие «подтекста» не стоило бы так резко отвергать.

милосердно обречены — ибо так устроен мир). Бочаров прав: желание интерпретатора «исправить» стихотворение, удалив из него слова, ради которых, именно ради них, ради этого *Weltschmerz*'а, оно было написано, — безумное, хотя и трогательное желание. Но так ли он прав, становясь (как всегда это делает) на сторону художника и утверждая, что «срыв» в конце стихотворения уравновешен всем, представленным до этого поврота? Так ли помогает тут ссылка на авторитет В. Вейдле, «художественного критика и верующего человека», пояснявшего, что поэт «уверениям веры не верит... а все же... обращает лицо к алтарю, оттого и печаль его стихов оказывается проникнутой чем-то ликующим и светлым»? Дивное стихотворение — почему не признать, что оно — по сути — кощунственно? Зачем оставлять этот прямодушный вывод на долю атеистов и богоборцев? Да, неземная красота — но она заемна, заимствована из красок богослужения, проникновенных слов ектеньи, светоносной атмосферы храма и девической чистоты, к чему поэт *все еще* чувствителен. Угрюмый итог, не побоюсь сказать, паразитирует на этой красоте, подсвечен ею, потому и кажется неотразимым. Точно так же лермонтовско-врубелевский Демон, в медленно гаснущем, как «вечер ясный», оперении, *все еще* красив, и его саркастические слова о тщете надежды: «Простить Он может, хоть осудит!» — в точности так же гипнотичны и провокационны, как последний катрен блоковских стихов. Не будем же отрицать «угрюмства», какое знал за собой поэт. Не откажем в понимании и «наивной» реакции Непомнящего.

Примечательно, что Бочаров почти не соударяется с «чужими» — с такой крупной фигурой, как М. Гаспаров (хотя неприятие последним Бахтина не позволило полностью избежать спора). Он очень мягко возражает В. Шмиду и другим западным славистам, которые по части акробатических интерпретаций порой дадут сто очков вперед главным объектам бочаровской критики. Он мало интересуется «ультранынешними» теориями текстового анализа, которые, казалось бы, могли вывести его из себя. Как правило, он оппонирует «своим», тем, кто говорит на общем с ним ценностном языке — языке горних смыслов, но говорит другое и по-другому, прибегая к указующим «пастырским жестам». (В случаях, когда к таким «жестам» прибегают Гоголь, Достоевский или Соловьев, им тоже не прощается.)

Понятное дело. Бочаров защищает статус литературоведения как «осмысления самой литературы изнутри», как продолжения литературы ее собственными средствами — защищает от средств, привносимых извне, из особенно болезненной для него (потому как не совсем чужой) сферы идеологизированного «благочестия». Но сама его книга, напрягающая читателя каждым неординарным изгибом фразы, ворошит такие предельные «вопросы жизни», что сугубо литературоведческой ее не назовешь. Не хочется называть ее и блистательной (хотя она блистательна), поскольку ее внутренний накал не вяжется с этим льдистым эпитетом. И, однако, куда денешься — расположилась она на острове блаженных, в некоторой Телемской обители, где вершинные фигуры старой культуры дороги немногим уже избранным, где самые яростные стычки происходят в одном тесном смысловом кругу, — а между тем волны и вихри постцивилизации все сильней налегают на сей заповедник. Чует ли самый чуткий из больших наших филологов это *веянье*?

Ирина РОДНЯНСКАЯ.



ВСЯ «ЧУКОККАЛА» И «ВЕСЬ ЧУКОВСКИЙ»

Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., «Премьера», 1999, 400 стр., с илл.

Лаконичная фраза в аннотации объемистого тома — «Альманах издается полностью впервые» — обозначает помимо прочего завершение причудливого пути этой полифоничной (полиязычной, полижанровой etc.) книги к читателю. У него появилась фантастическая возможность иметь *всю* «Чукоккалу» — как за-

конченную живописную картину с приложением всех эскизных альбомов и разработок темы даже на ресторанных салфетках.

Дорога была извилистой, долгой и разнообразной по «способу передвижения»: начиная от первых вкраплений чукоккальских записей в статьи и воспоминания хозяина альманаха (судя по всему, первый раз это случилось в год смерти Блока¹) и кончая одноименным документальным фильмом², легендарной книжкой тридцатилетней давности³ и приложением «Неопубликованные автографы из „Чукоккалы“» к очерку Елены Чуковской «Мемуар о „Чукоккале“»⁴. Эти вехи — самые значительные...

Что же до самой «Чукоккалы», то, при всем разнообразии «мимики» и «богатстве жестов», ее образ и очертания сложились сразу и навсегда. С первой же записи, с первого рисунка в «Чукоккале» альманах стал — пользуясь выражением одного из его участников Николая Евреинова — «театром для себя». Причем это определение относилось и к тому, кто оставлял свой след на страницах альманаха, и к хозяину «Чукоккалы», предлагающему этот след оставить.

Как-то сразу стало понятно, что репутация и масштаб вдохновителя «Чукоккалы», рабочий и домашний круг его общения обеспечат высокий уровень и качество записей, основой которых была чаще всего импровизация как на заданную, так и на произвольную тему. Тут же выяснилось, что в «театре для себя» отсутствуют задник, стены и входные билеты, что «сцена» имеет историческую и литературную перспективу, что угол зрения рискует со временем превратиться в «тупик» или, напротив, стать мощным «прожектором», покрывающим огромные расстояния. На глазах сегодняшнего читателя иная деталь стремительно дорастает до целого, а шаг от великого до смешного растягивается на десятки лет. Читая эти страницы сейчас, замечаешь, что нарциссизм может обернуться исповедью, холодные наблюдения ума — воплем о помощи, а «сердца горестные заметы» — приговором эпохе.

Это, конечно, лишь слабая попытка передать несколькими словами образное впечатление от книги, которую следует читать долго и терпеливо. И хотя инструментарий к чтению максимально упрощен (три варианта шрифтов, два цвета и три указателя), просто так *прочитать* «Чукоккалу» будет сложно. Но это радостная сложность.

Альманах заполнялся хаотично, после записей десятых годов могли следовать сороковые, а перевернув страницу, вы опять попадали в десятые. Елена Чуковская, которая составила эту книгу, фактически воспроизвела «Чукоккалу» «один в один», убрав лишь пустые страницы, соответственно переименовав нумерацию. Напомню, что Корней Иванович оставил свое детище в наследство именно ей, он даже успел поработать вместе с внучкой над вариантом будущего издания, которого так и не увидел... Только не станем забывать, что для него в качестве «будущего» предполагалась другая «Чукоккала», изданная небольшим тиражом только в 1979 году.

Сегодняшняя «Чукоккала» — это не второе и даже не дополненное издание. Это сам альманах. *Тираж оригинала.*

Вскоре по рождении «Чукоккала» стала легендой — без предварительной поддержки временем, а после ухода ее основателя из жизни продолжила свою судьбу и обросла новыми приключениями. Из последних упомяну, например, присвоение одной из малых планет Солнечной системы имени альманаха. Тут, как в сказке Чуковского, запляшут и цифры, ведь альманах начался в 1914 году, а планета имеет акkurat 14 километров в диаметре.

Кстати, «Чукоккала-79» (именно так в списке условных сокращений Елена Чуковская именуется советское издание альманаха) вышла из печати через неделю после того, как астрономы открыли и наименовали данное небесное тело, сразу обозначив масштаб явления и выявив свою осведомленность в истории отечественной

¹ «Стихотворные послания Блока». — «Летопись дома литераторов». № 2. Пг., 1921, стр. 6.

² «Чукоккала». Кинофильм. Сценарий Е. Рейна. Режиссер М. Таврог. «Центрнаучфильм», 1969.

³ «Чукоккала». Рукописный альманах К. Чуковского. М., 1979.

⁴ «Наше наследие», 1989, № 4.

культуры. Ведь в конце концов еще не изданный к тому времени альманах уже несколько десятилетий существовал как культурный миф, как Янтарная комната или золото Трои. Замечательно было встречать в чьих-либо воспоминаниях такие фразы: «Корней Иванович, священнодействуя, достал из шкафа „Чукоккалу” и предложил мне оставить свой след в этой легендарной летописи остроумия и находчивости...»

Из новых приключений, рассказанных Еленой Чуковской в приложении к «Чукоккале-99», отмечу почти авантюрную историю о недавней находке, казалось, навсегда пропавших чукоккальских страниц с записями Блока и Гиппиус. Эти листы были вынуты из альбома и перепрятаны в семидесятые годы — подальше от случая — в чужом доме, адрес которого мистическим образом стерся из памяти прятавших.

А сейчас происходит и вовсе странное: две «Чукоккалы» — издание 1979 года и 1999-го — вступают в диалог друг с другом, обнаруживают новую «чукоккальскую» драматургию, о которой можно написать отдельную и увлекательную работу.

Оценивать эту книгу, повторяюсь, и читать ее нелегко. Нелегко еще и потому, что вариантов подхода к оценкам и последующим выводам очень много. Можно говорить, например, о том, что мы впервые видим альбомные записи самого Корнея Чуковского, который с самого начала был полноправным участником «Чукоккалы». В издании-79 его голос звучал лишь в развернутом комментарии, которым Корней Иванович пронизал перетасованные «по темам и временам» страницы альманаха. Собственных стихов, рисунков, буриме и вообще своих сиюминутных реакций — тут же, на соседней странице! — на чужие, только что записанные, в тот, как бы сейчас сказали, *проект* он намеренно не включил.

Можно говорить о том, что благодаря выходу этой книги мы имеем возможность впервые прочитать неопубликованных Блока и Мандельштама, полнее вообразить себе исторический и литературный контекст деятельности легендарного издательства «Всемирная литература» (1918 — 1925) или жизнь не менее легендарного Дома Искусств. Тут же порассуждать о дополнительных красках в петроградской атмосфере двадцатых или — в отепельном хрущевском тумане. Или — о том, в каком виде отразился на страницах «Чукоккалы» грозовой климат растянувшегося на годы Тридцать седьмого. Вообще — о Времени.

Страницы этой книги, наверное, могли бы выразительно иллюстрировать чьи-нибудь эссе «О свободе» или «О тирании». Я уж не говорю о том, что эта книга — своего рода прививка от пошлости, в которой, как писал у себя в дневнике Чуковский, «купается вся полуинтеллигентная Русь». А можно — воспользуюсь пронизательным наблюдением Ю. Карякина — подумать и о том, что «Чукоккала» способна помочь преодолеть «грех уныния».

Можно, наконец, задуматься, насколько правильно и оправданно решение составителя: издать альманах, сохранив в нем как и старые комментарии самого Чуковского (конечно же только к тем страницам, которые он считал хоть сколько-нибудь возможным видеть опубликованными), так и добавив новые, написанные сегодня. И хорошо ли, что факсимильное воспроизведение страниц «Чукоккалы» выполнено «марочно», когда каждый лист альманаха предстает перед читателем в размере чуть больше коробка спичек, окруженный расшифрованным чукоккальским текстом и комментариями к нему. Сразу оговорюсь, что в нынешнем году приложением к этой книге, где *идея текста* доминирует над *идеей картинки*, выйдет, Бог даст, — как приложение — широкоформатный факсимильный том. Правда, как говорят, он будет стоить немислимых денег, а тираж не превысит трехзначной цифры. А возможно, кому-то захочется сравнить с нынешним и обсудить предпоследний замысел издания альманаха в 1994 году — не воплощенный сперва по техническим, а затем и по конструктивным причинам, когда «Чукоккала» готовилась в виде чисто факсимильного альбома с приложением тома «Пояснений». Судя по замыслу героических издателей, эти «Пояснения» должны были превратиться почти в новую литературную энциклопедию... Как явствует из тогдашних газетных интервью, задумывался даже компьютерный диск с богатым меню и расширенной системой поиска.

Но вернемся к вышедшей книге. Путешествие по страницам альманаха затягивает и захватывает настолько, насколько интересно и дорого его читателю то, что происходило в российской жизни и российской литературе на протяжении уходящего от нас столетия. Кстати, тот факт, что в 1916 году «Чукоккала» вместе с хозяйном съездила в Англию, где побывала в руках Конан Дойла и Герберта Уэллса, а также приняла в себя рукописный лист с балладой Оскара Уайльда, усугубляет сказанное. И как знать, может, шутливая надпись чукоккальца Юрия Анненкова на одном из вариантов обложки — «Собрание рисунков Репина за последние 100 лет», — сегодня не покажется такой уж шутливой?

...Обсуждая «Чукоккалу», как не вспомнить о ее предшественницах. В предисловии к изданию двадцатилетней давности Иракий Андроников тоже писал о традиции существования подобных альбомов и тут же — о выламывании «Чукоккалы» из рамок всяческих традиций. Это же не альбом для автографов!

Впрочем, один раз он таковым все-таки оказался. Во сне. Декабрьским утром 1924 года Корней Иванович записал в дневнике: «Снилась „вдовствующая императрица“, которой никогда не видал... Очень ясно: лицо с кулачок, старушка. Сидит на диване с Марией Борисовной, шушукуются. А я беру „Чукоккалу“: „Ваше величество, дайте автограф“. Дело летом, на даче. Солнце. Приснится же вздор — безо всякой связи с событиями...»

Между тем предчувствия событий и сами события отражались в «Чукоккале» на протяжении всей ее жизни: перемены режимов, войны, культурные сдвиги, мифы — все, все.

Иногда зеркало кривилось, могло сбить с толку. Вспоминая о записях и рисунках времен Первой мировой, Чуковскому в своих предсмертных комментариях пришлось объясняться: «...иной читатель, пожалуй, подумает, будто во время войны мы только и делали, что забавлялись альбомными виршами. Такое заключение было бы крайне ошибочно. Из участников „Чукоккалы“ и Бенедикт Лившиц и Гумилев ушли на фронт добровольцами, Репин с утра до ночи работал над своими полотнами, Евреинов писал свою трехтомную книгу „Театр для себя“, так что „Чукоккала“ была для нас отдыхом, отдушиной, своего рода „пиром во время чумы“...»

Кажется, говоря здесь о «пире», автор подразумевает что-то вроде доброго карнавала в бахтинской аранжировке.

Интересно, помнил ли он, когда писал эти строки, свою дневниковую запись 1957 года: «Как отвратительны наши писательские встречи. Никто не говорит о своем — о самом дорогом и заветном. При встречах очень много смеются — пир во время чумы, — рассказывают анекдоты, уклоняются от сколько-нибудь серьезных бесед...» Вот такие «пиры».

Замечательно в этой связи участие в альманахе тех, кого этот, один из самых ярких, литературных критиков серебряного века безжалостно уничтожал в своих ранних статьях. Например, поэта Александра Рославлева, которого, пользуясь выражением Розанова, Корней Иванович заживо «закопал» под заголовком своей знаменитой статьи «Третий сорт».

Убежден, что внимательный читатель четырехсотстраничного тома оценит работу составителя. Волей случая автор этих заметок был частым свидетелем многолетнего и ежедневного труда над книгой. Труда рукотворного, не разгибая спины. Здесь я, пожалуй, в последний раз открою «Дневник» хозяина альманаха: «Вчера разбирали с Люшей (Еленой Цезаревной Чуковской. — П. К.) „Чукоккалу“, которую она знает гораздо лучше, чем я. Очень весело было работать вместе...»

На днях я поинтересовался мнением об этой книге у начинающих студентов-филологов: «Пробовали читать?» — «С любого места. По ней гадать можно». Жаль, что я тут же не спросил, удалось ли им выдержать студийный экзамен Чуковского: назвать тех поэтов, из стихотворных строчек которых он составил в своем альманахе длинную и увлекательную балладу.

Не предаваясь «гаданиям», все-таки не удержусь и процитирую одну не публиковавшуюся ранее чукоккальскую запись.

«Неортодоксальный» священник и писатель Григорий Спиридонович Петров, автор книг «Евангелие как основа жизни» и «Русское дело». Запись сделана 21 сен-

тября 1915 года: *«Война — самый точный градусник для определения и высшей доблести, и крайней подлости человека и народов»*.

Кажется, это действительно своевременная и современная книга.

Р. С. В отечественном *чуковедении*, существующем сегодня усилиями нескольких человек, произошло еще одно знаменательное событие. Вышла в свет первая полная библиография произведений Корнея Чуковского и литературы о нем за 1901 — 1993 годы. В книгу выборочно вошли и более поздние публикации, а также статьи о К. Чуковском в журналах русского зарубежья. В **«Библиографическом указателе „Корней Иванович Чуковский”»** (составитель Д. А. Берман / М., 1999/) представлены критические статьи писателя в дореволюционной печати, книги для детей и о детях, исследования о Чехове и Некрасове, многочисленные переводы и пересказы, мемуарные очерки и литературные портреты, редакторская и составительская работа.

Литература о жизни и творчестве Чуковского охватывает весь его путь в литературе — от газетных дискуссий по поводу его критических статей и книг десятилетиях — двадцатых годов до «борьбы за сказку»; от воспоминаний о нем — до постановки его произведений в театре и кино. Изданная Русским библиографическим обществом, книга снабжена пятью вспомогательными указателями.

Автор и составитель этой книги — Дагмара Андреевна Берман — не дожила до появления издания всего нескольких месяцев, а трудилась она над ним (практически в одиночку!) четверть века. Это действительно подвиг любви и преданности литературе. Добавлю, что, если бы не «Указатель», наше сегодняшнее знание о судьбе альманаха «Чукоккала» было бы намного беднее.

Павел КРЮЧКОВ.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

+7

Рафаэль Обер, Урс Гфеллер. *Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым.* Перевод с французского Елены Баевской и Михаила Яснова. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1999, 232 стр.

О французском издании этой книги уже писал Алексей Зверев («Новый мир», 1997, № 5), называлось оно иначе: «*От Иванова до Невселя. Беседы с Жаном Невселем Рафаэля Обера и Урса Гфеллера*». Два швейцарских журналиста беседовали летом 1994 года в Риме именно с Жаном Невселем, между тем первичен тут именно *Иванов*. В предисловии к книге Жорж Нива пишет, что ее стержнем является превращение сына поэта-символиста и ученого античника — мальчика, которого отец привез с собой в Италию в 1924 году, — в журналиста, француза по паспорту, языку и юмору, позаимствовавшего свой псевдоним (Невсель) у названия деревушки в Верхней Савойе, где он родился. В своих воспоминаниях Дмитрий Вячеславович очень конкретен. Вот после революции семья живет в Баку непосредственно в университете, рядом — анатомический музей. Скелеты не производят на восьмилетнего мальчика большого впечатления, но однажды ночью он бежит по длинному коридору в общий университетский туалет, а навстречу идет человек и несет что-то на блюде. «И вот я вижу, что на блюде лежит отрезанная человеческая голова, — вероятно, он нес ее в лабораторию, чтобы высушить или анатомировать. Она была похожа на голову Иоанна Крестителя, а я, в коротких штанишках, оказался в роли Саломеи... Все детство я слышал разговоры о культуре Диониса, об отрезанных головах — это входило в культы Диониса. Нас с сестрой очень веселило то, что с культом Диониса связаны животные — и козы, и овцы, целый зоопарк. Мы, конечно, прятались за занавеской, глупо хихикали, пока отец серьезно толковал с коллегами о важной роли козы в сцене на вазе. (*Смеется.*)» Вот такие эпизоды и делают книгу читабельной. Голова на блюде, оказывается, интереснее Ватикана, хотя и о Ватикане тут много интересного. Касаясь вероисповедных проблем, Иванов-Невсель ясно обозначает свою позицию («я француз и чувствую себя французом, поэтому соблюдаю западный обряд, но как русский по происхождению соблюдаю и восточный обряд»), не углубляясь в столь скользкие материи, и правильно делает. В приложении даны некоторые статьи французского журналиста Невселя из газеты «France-Soir»: «У Бориса Пастернака», «Новый Папа перед римлянами» и др. Русское издание, на московской презентации которого присутствовал восьмидесятисемилетний Дмитрий Иванов, осуществлено при поддержке фонда «PRO HELVETIA» и общества «LOTERIE ROMANDE».

Дмитрий Воденников. *Holiday.* Книга стихов. СПб., «ИНАПРЕСС», 1999, 62 стр.

Ну не нравится Стелле Моротской («Знамя», 2000, № 4) эта книга, ее рыжий цвет и карманный формат, которые никоим образом не ассоциируются у нее с автором *незабвенного изысканного «Репейника»*: «Для меня остаются непонятными (а значит, неприятными) смысл и назначение затейливой ориентальной фигурки с зонтиком и опахалом, которая настойчиво создает „дизайн“. Но более всего мне не нравится редакторский текст, многозначительно размещенный на четвертой странице обложки и призванный, по-видимому, представить творчество поэта Воденникова гипотетическому читателю. Этот текст не просто безграмотен, бессмыслен и претенциозен — он написан человеком, который не любит Дмитрия Воденникова и не понимает его стихов». А Моротская — любит и понимает, знает их наизусть, засыпает с ними и просыпается и считает, что феномен стихов Воден-

никова — не филологический, а *психологический*, и эту психологическую сторону она разбирает подробно и убедительно, чего я делать вовсе не буду. В последнее время замечаю, что постепенно утрачиваю *словарь*, которым мог бы адекватно говорить о стихах, которые мне *нравятся* (о прочих — нет проблем). Я могу/умею их только цитировать...

Мне 30 лет,
а все во мне болит
(одно животное мне эти жилы тянет:
то возится во мне,
то просто спит,
а то возьмет — и так меня ударит,
что даже кровь из десен побежит)...

...Или голосовать за них. Воденников — один из лауреатов сетевого литературного конкурса «Улов», членом жюри которого был и я.

Михаил Гаспаров. Записи и выписки. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 416 стр.

«Записки и выписки» крупнейшего отечественного филолога, литературоведа, переводчика Михаила Леоновича Гаспарова печатались в журнале «Новое литературное обозрение» (с № 16, с перерывами) и были в конце концов удостоены премии Андрея Белого за *изысканный жанровый опыт, претворяющий филологические маргиналии и технику фрагментарного письма в уникальный экзистенциальный текст*. Текст же этот — объясняю для нечитавших — таков. «**Анекдот.** Я сказал сыну: я — тот козел, которого в анекдоте вводят в тесную комнату, чтобы потом выгнать, и людям стало бы легче. Сын, хоть и привыкший ко всему, сказал: „Никогда не мог подумать об этом с точки зрения козла!“...»; «**Бог.** В. В. Розанов одним и тем же инициалом обозначал Бога и Боборыкина»; «**Вийон.** А вдруг Вийонова прекрасная кабатчица, плачущая о молодости, вовсе никогда и не была прекрасной и это плач о том, чего не было? Так Мандельштам, по Жолковскому, пьет за военные астры, зная, что вина у него нет»; «**Евграф.** Бухарин при Мандельштаме и Пастернаке — это какой-то благодетельный брат Евграф русской литературы, стилистически отличный от доброго барина Луначарского»... И так много, много в алфавитном порядке (плюс еще статьи, эссе, ответы на анкеты). И по выходе в свет — обвал откликов. Александр Архангельский — среди всех комплиментов — уже обратил внимание на то, что *в этой печальной книге выдающегося ученого, написанной в очень странное время, изысканные сведения, о которых никто из нас, невежд, не слышал, соседствуют с явными ляпами*. «В конце концов всякий пишущий обрастает этими короткими почеркушками, — размышляет Александр Гаврилов, — у много пишущего и работающего человека их много. Если работать столько, сколько Гаспаров (а это, в свою очередь, предмет университетских сказаний), почеркушек становится очень много. В какой-то момент они, конечно, занимают все свободное пространство — а что остается, то и есть объемный образ их автора...» Но — «не будем отождествлять одинокого и обреченного, несколько гротескного «автора», личность которого складывается исключительно из чужих текстов, с выдающимся историком литературы, стиховедом и переводчиком», — предупреждает Андрей Немзер, определяя жанр книги как (*анти*)*постмодернистский (анти)роман* и сожалея, что, не будь у нее столь удачного заголовка, он предложил бы именовать ее как последний роман Маканина — «Андеграунд, или Герой нашего времени»...

«Лучше иной „литературы“», — так я написал о «Записках и выписках» в одной из «Периодик». Сейчас я думаю, что так можно сказать о чем угодно, а на самом деле «Записки и выписки» ничему не альтернатива и не замена, а просто книга, обреченная на успех.

Татьяна Чередниченко. Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах. Актуальный лексикон истории культуры. Художник Андрей Бондаренко. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 416 стр.

Уже раздавались (в прессе) сетования на то, что новую книгу Татьяны Чередниченко придется класть на стол, так как огромный формат в мягкой обложке

на весу прогибается, а с колен съезжает, мелкий шрифт и длинная строка утомляют глаз, боковые линейки выталкивают читающего на следующую страницу, а обозначения реплик в дискуссиях, то светлые, то полужирные, раздражают и не дают сосредоточиться... Я же читал ее в разных местах — например, в самолете, летящем в Хургаду, — и ничего, нормально. Татьяна Чередниченко — музыковед, культуролог, доктор искусствоведения, автор нескольких книг, директор Благотворительного Резервного фонда и Благотворительного фонда Георгия Свиридова, постоянно печатается в нашем журнале (см. в настоящем номере «Нового мира» ее статью о музыке). Идея проекта — а речь идет о реализованном проекте телебесед — возникла в 1991 году. Главы/темы: *Либерализм, Традиция, Деньги, Идеи, Числа, Вещи, Чудо, Тайна, Авторитет, Власть, Имидж, Тусовка, Обман, Глупость* (этот фрагмент печатался в «Новом мире» — 1997, № 5), *Война, Хаос, Оптимизм-Пессимизм и Вечные темы на пороге XXI века*. Собеседники — Михаил Гаспаров, Игорь Шафаревич, о. Андрей Кураев, Андрон Кончаловский, Андрей Немзер, Евгений Сабуров, Александр Доброхотов, Даниил Дондурей, Михаил Леонтьев, Лев Рубинштейн, Вадим Кожинов, Евгений Попов, Борис Раушенбах, о. Георгий Чистяков и многие другие. «Перенос телевизионного эфира на бумажную страницу — вообще-то рискованная затея, — пишет о книге Константин Парамонов. — И нельзя сказать, что она удалась автору полностью. Непосвященному фрагменты бесед участников передачи, которая так живо смотрелась на телеэкране, могут показаться кусками бесконтактного интервью, ответами на вопросы, присланными по глухой почте. Поэтому (еще и поэтому) неудивительно, что вопросы и ответы, в соответствии с выбранным интерфейсом, порой откровенно „зависают“, кнопка не срабатывает, авторские связи между рассуждениями участников диалога обрываются на самом интересном месте». Главы склеены обширными и, по-моему, просто захватывающими культурологическими комментариями Чередниченко, и это — лучшее, что есть в книге, которую от начала до конца осилить все равно невозможно, но она — пригодная для чтения в любом объеме и порядке — для этого и не предназначена.

Александр Генис. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. Вступительная статья М. Эпштейна. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 336 стр.

О еде известный критик, культуролог и публицист Александр Генис пишет лучше, чем о литературе, но сборник эссе посвящен в основном современной литературе/культуре, отечественной и зарубежной. А пресловутый Иван Петрович — это такое удобное обобщение (нет, не работы карикатуриста Бильжо), резиновая кукла для битья палкой: «Каким же грандиозным самонимением надо обладать, чтобы написать: „Иван Петрович встал со скрипучего стула и подошел к распахнутому окну“. Чтобы не испытать стыда за плагиат (?! — *А. В.*), надо заставить себя забыть обо всех предшествующих и последующих Иван Петровичах, скрипучих стульях и распахнутых окнах. Нужно твердо, до беспамятства и фанатизма, верить в свою власть над миром, чтобы думать, будто ты описываешь жизнь такой, какая она есть». В основе книги лежат статьи о новой российской словесности, печатавшиеся ранее в питерском журнале «Звезда». Новая словесность — это Андрей Синявский, Андрей Битов, Владимир Маканин, Венедикт Ерофеев, Сергей Довлатов, Саша Соколов, Татьяна Толстая, Владимир Сорокин, Виктор Пелевин. «В этом списке нет ничего неожиданного, — ехидничает Александр Скидан (<http://vavilon.ru/texts/skidan0.html>). — Напротив, это скорее дежурный список, общее место „новой русской словесности“, обращаясь к которому критик может чувствовать себя в полной безопасности. Никто не обвинит его в ретроградстве или, наоборот, элитарности. Какую бы интерпретацию он ни предложил, что бы ни написал, по большому счету это уже ничего не изменит в статусе рассматриваемого писателя или расстановке литературных сил. Зато безусловно прибавит весу критику; ничем не рискуя, тот может именно что вольготно расположиться в кругу тех, чьи имена говорят сами за себя. И вот что любопытно: даже такого нарушителя спокойствия и литературных конвенций, как Сорокин, Генис умудряется лишить присущего тому радикализма, превратив в какого-то наформалиненного пупса. После устроенной Генисом санобработки Сорокина можно помещать под

стекло или преподавать детям в школе». Александр Скидан даже предположил, что, устраняя бедного Ивана Петровича, эссеист расчищает место для своей, как он сам ее определяет, «гуманитарной прозы», характерные черты которой — «гибридность формы, светскость изложения, прозрачность языка, доступность содержания, компактность конечного продукта, известная игривость ума, отсутствие экзистенциального и метафизического измерений... толика формализма, толика культурологии, толика сведений, толика „органической поэтики“... То, что так нравится редакторам культурных отделов „интеллигентных“ газет и их читателям, тем, кому недосуг обратиться к первоисточнику, но кто стремится „быть в курсе“ и потому серьезным изданиям предпочитает дайджест». Но дело в том, что читать Гениса — все равно интересно и приятно, пусть даже больше приятно, чем интересно, будь то эссе о зоологической прозе Джеральда Даррелла или библиография самого Гениса.

Борис Акунин. Статский советник. Роман. М., «Захаров», 1999, 286 стр.

Умер Иван Петрович, не умер, а Эраст *Петрович* Фандорин жив. И, как возмущался Р. Арбитман, под пером Акунина факт (первоначальной) принадлежности к жандармскому ведомству не компрометирует этого героя, но даже выглядит главной человеческой добродетелью, «каковой не оценит разве что стриженная курсистка с идеями в голове, да и та потом оценит». Сказано зло, но об этом чиновнике по особым поручениям при московском губернаторе возможны иные мнения. «Фандорин — мечта нынешнего либерала: человек светский, способный к действию, безусловно нравственный, при этом чудак, то есть имеющий представление о ценности приватности, *privacy*, человек» (Лев Данилкин). Первые романы фандоринского цикла дали повод тому же Р. Арбитману увидеть в них абсолютно фантастическую картину российской действительности последней четверти XIX века, «откуда благоразумно изъяты едва ли не все „внутренние турки“ — карьеристы и казнокрады, обскуранты и держиморды, чиновные тупицы и политические бездари... — словом, все те, кто своими действиями либо бездействием привел реальную (не пряничную!) страну сначала к 1905-му, а позднее и к 1917 году...» Но вот выходит очередной детектив о Фандорине, такой же крепкий, как и остальные (свидетельствую — зачитался на египетском пляже, весь сгорел), действие его происходит в 1891 году: революционеры борются с Российским государством, и соответственно государство — в лице Охранного и Жандармского управлений — с революционерами-террористами. Вячеслав Курицын заметил, что, наверное, впервые в отечественной словесности конфликт между царской властью и «нигилистами» изложен *ни с какой точки зрения*, — автор добросовестно воспроизводит логику и защитников режима, и его врагов. Вроде бы так, но остается странное ощущение: исторический контекст-то ведь — живой, еще не музеефицировавшийся, рана еще не затянулась, мы все знаем, что произошло потом, когда Российское государство проиграло эту внутреннюю войну. Да, благородный Эраст, уходящий в финале с государственной службы ради этой самой *privacy*, остался «весь в белом», не солидаризовавшись ни с одним из воюющих лагерей, и стал... неинтересен. Но, видимо, автор его скоро прикончит, не даст ведь дожить до красного Октября.

Борис Акунин. Коронация, или Последний из Романов. М., «Захаров», 2000, 350 стр.

Убили, убили!.. Нет, живой еще. Книга выдвинута на Букера (мною), но ничего не получает.

-3

Словарь терминов московской концептуальной школы. Составитель и автор предисловия Андрей Монастырский. М., «Ad marginem», 1999, 224 стр.

«История послевоенного русского искусства сложилась таким образом, что только Московский Концептуализм смог предложить систему представлений, составивших альтернативу официальному Советскому искусству и способных вернуть

русское искусство в орбиту интернационального арт-мира», — заявляет Иосиф Бакштейн в предисловии к «Словарю», и мы оставим эти претензии без рассмотрения (о романе концептуалиста Павла Пеперштейна «Мифогенная любовь каст», написанном в соавторстве с Сергеем Ануфриевым, см. решительный отклик Ирины Роднянской в апрельском номере «Нового мира» за этот год). Если не вдумываться, названия словарных статей звучат музыкой — ВАРУМ-ВАРУМНЫЕ ДЕЛА, ВЫРУБАНИЕ ГАРНИТУРОВ, ЗАЙЧИКИ И ЕЖИКИ, КОЛОБКОВОСТЬ... А вдумаясь: «ГНИЛЫЕ БУРАТИНО — население „мифов и сфер непостоянства”». *А. Монастырский, В. Сорокин. Предисловие а. Сергия к Первой Иерархии, 1986*; «ЛИВИНГСТОН В АФРИКЕ — самоопределение культурного положения и мироощущения участников школы московского концептуализма в России. *Термин А. Монастырского в диалоге И. Бакштейна и А. Монастырского „Вступительный диалог к сборнику МАНИ „Комнаты”, 1986*». Сергей Костырко уже имел случай усомниться в практическом применении словаря — «традиционное соотношение определяемого словосочетания и его толкования поменялись местами». Но это не недостаток, а особенность проекта. В приложении 3 («Дополнительный словарь В. Захарова») концептуалист В. Захаров прямо пишет, что его задача — перевод общеупотребимых слов на психоделический язык. И вправду переводит. «АХ — категория греха»; «ДОМИК В ГЛУШИ — поэтический образ, сводящий с ума людей здоровой психики»; «КРЫМ — место в голове, напоминающее о важном»; «МУЗЫКА ВИВАЛЬДИ — процесс застревания вечности в четырех состояниях года — последний этап мытарств души»; «ШОПЕН — Шопен»...

Да, книга узкоспециальная и по преимуществу магическая, как характеризовал ее рецензент Дмитрий Бычихин (<http://russ.ru/journal/dosie/bychihin.htm>). «С концом Советского Союза, — итожит Бычихин, — московский концептуализм из опекаемой немногочисленными подвижниками овечки Долли превратился в бряцающую триумфальными регалиями священную корову. Что, в общем, никак не сказалось на его герметичности. Реликвия и рада бы пасть на воле, однако содержать ее предпочитают непосредственно в храме. Слишком непредсказуемое впечатление производит она на пейзаж...» Добавить нечего.

Сергей Соловьев. Книга. М. — СПб., «Комментарии», 2000, 147 стр.

Конечно, это не режиссер Соловьев (и тем более не его тезки — дедушка-историк и внук-поэт), а уроженец Киева, ныне живущий в Германии, стихотворец-метафорист, издатель литературно-художественного журнала «Ковчег», график, автор книг «В зеркале отца», «Нольдистанция», «Дар смерти», «Пир», «Междуречь» (ни одной из них, признаюсь, не читал, а после «Книги» и не хочется). Вот аннотация — впрочем, аннотация ли? — то ли написанная автором, то ли издателем, во всяком случае, этот текст напечатан там, где в пошло-обыкновенных книжечках дают аннотацию: *Видимо, не случайно сущность времени и человека по сей день не только не поддаются определению, но и, особенно первого, вразумительному мышлению. То есть метафизически существование их остается все еще недоказанным. Полиморфная история странствий намерений и языка, развернутая вокруг авторского проекта Фигура времени, образует четырехъярусную одиссею книги. Травестийная дискуссионная группа, заточенная в один из ярусов, вступает в виртуальный обмен с Фигурой, являясь своего рода читательской проекцией книги. «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие вкусят от плодов его», — доносится голос одного из библейских узников лабиринта. Тут нечто похожее на «Словарь московского концептуализма»: аннотация обыкновенно примитивнее книги, иначе она не может выполнить своего назначения, а у Соловьева, напротив, основной текст даже несколько яснее аннотации. Из основного текста: «Вмурованный в жизнь, не понимаю, не поні маю. Паршиков-горбунок: вот детям песок, пусть построят свои города-твердыни. Похож на пони, от крестца к груди — перевернутым конусом-парусом, снасть звенит, напряжен в холке, отполирован, глаза-ноздри блестят, обмахивается воображением. Рождество в Кельне, дождь, небо, шнуруемое петардами, мемуары. У скота поголовье, а у нас — поколение. Кажется, Беккет: я единственный человек, остальное божественно. Бобэоби, бо жественно. Чем дышишь? Собой*

ведь...» А что? В сущности, за нечто подобное Виктор Соснора — писатель, состоящий из одной репутации, — получил \$ 25 000, то есть Большую премию имени Аполлона Григорьева.

Артю́р Рембо. Стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. СПб., «Азбука», 1999, 224 стр.

Не важно, умер Артю́р Рембо в 1991-м (стр. 1) или в 1891 году (четвертая страница обложки), но писал он точно *по-русски*. То есть он есть представитель поэзии французской, он даже посвящал стихи Парижской коммуне и французскому народу, но... почему-то предпочитавший сочинять стихи на экзотическом для него русском наречии. Но если нигде не написано, что стихи *переведены* с французского (ну понятно, издатели не для дураков работают, подозревая в читателе некоторую образованность), то как же в книге обозначен(ы) переводчик(и)? Да никак. Ну буквально никак. При том, что издатели педантично отметили: мол, на обложке воспроизведен фрагмент картины Дж. Кэтлина «Охота на фламинго» (1857). В выходных данных книги значатся: руководитель проекта Алексей Балакин, художественный редактор Вадим Пожидаев, технический редактор Татьяна Раткевич, корректоры Елена Байер, Нина Богачева, верстка Алексея Соколова. А вот переводчиков никаких не было. И платить никому не надо. Правда, в выходных данных находим указание: мол, текст печатается по изданию: Рембо А. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. М., 1982. («Литературные памятники»). Ну как же, как же — знаменитая книжечка. Иду к полке, беру в руки, раскрываю — там все на месте: *перевод М. П. Кудинова*. Можно уточнить — покойного М. П. Кудинова, который уже не может защитить свои права...

...И тут только я разглядел на обложке этого покетбука странную бляху, похожую на медаль, с силуэтом, похожим на Петра Великого, с датой «1998» и загадочными словами «Знак общественного признания». Кто бы за всем этим ни стоял, он явно погорячился.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ



Иосиф Бродский. Меньше единицы. Избранные эссе. Перевод с английского под редакцией В. Голышева. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 472 стр., 6500 экз.

Михаил Булгаков. Избранные сочинения. В 3-х томах. Составители Б. Акимов, А. Храмов. М., «Литература», «Тест-сэмпл», 1999, 5500 экз.

Том 1. Записки юного врача. Записки на манжетах. Рассказы. Дьяволиада. Рокковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. 686 стр.

Том 2. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман. (Записки покойника). Рассказы. Мастер и Маргарита. 697 стр.

Том 3. Пьесы. 736 стр.

Ивлин Во. Пригоршня праха. Мерзкая плоть. Сенсация. Романы. Перевод с английского Л. Беспаловой, М. Лорие, А. Бураковской. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000, 634 стр., 7000 экз.

П.-Г. Вудхауз. Лорд Эмсворт и другие. Перевод, составление, примечания Н. Трауберг. М., «Остожье», 2000, 672 стр., 3000 экз.

Герман Гессе. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Последнее лето Клингзора. Повести. Перевод с немецкого С. Апта. СПб., «Азбука», 2000, 217 стр., 10 000 экз.

Джеймс Джойс. Улисс. Роман. Перевод с английского В. Хинкиса, С. Хоружего. СПб., «Симпозиум», 2000, 830 стр., 5000 экз.

Александр Еременко. Горизонтальная страна. Стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 1999, 144 стр.

Илья Ильф. Записные книжки. 1925—1937. Первое полное издание. Составление, комментарии А. И. Ильф. М., «Текст», 2000, 607 стр., 7000 экз.

Читайте рецензию в одном из ближайших номеров.

Тимур Кибиров. Нотации. Книга новых стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 1999, 72 стр.

Тимур Кибиров. Улица Островитянова. М., Клуб «Проект ОГИ», 1999, 64 стр.
Стихи 1998 — 1999 годов.

Хулио Кортасар. Экзамен. Роман. Перевод с испанского Л. Синянской. СПб., «Амфора», 2000, 286 стр., 8000 экз.

Одно из самых ранних произведений классика аргентинской литературы (относится к концу 40-х годов), подготовленное им для печати в последний год жизни; роман вышел в свет после смерти писателя. На русском языке публикуется впервые.

Михаил Кузмин. Стихотворения. Вступительная статья, составление, подготовка текста, примечания Н. А. Богомолова. 2-е издание, исправленное. СПб., «Академический проект», 2000, 832 стр., 2000 экз.

Личное дело-2. Литературно-художественный альманах. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 236 стр.

Авторы знакового для новейшей русской литературы поэтического альманаха «Личное дело №» (М., 1991) Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Виктор Коваль, Денис Новиков, Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, составлявшие в те годы поэтическую группу «Альманах», отметили завершающееся десятилетие изданием второго (в великолепном полиграфическом исполнении) выпуска альманаха с тем же названием и авторским составом и, естественно, новыми, уже сегодняшними текстами.

Н. Олейников. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья Л. Я. Гинзбург. Биографический очерк, составление, подготовка текста, примечания А. Н. Олейникова. СПб., «Академический проект», 2000, 272 с., 3000 экз.

Киндзабуро Оэ. Игры современников. Роман. Перевод с японского В. Гривнина. СПб., «Амфора», 1999, 461 стр., 9000 экз.

Виктор Соснора. Камни NEGEREP. СПб., «Пушкинский фонд», 1999, 144 стр.

Гертруда Стайн. Автобиография Алисы Б. Токлас. Перевод с английского Ирины Новиковой. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 400 стр., 1000 экз.

Автобиографический роман Гертруды Стайн (1933), написанный от имени ее близкой подруги, значительная часть которого посвящена парижским годам Стайн: здесь рассказывается о Сезанне, Ван Гоге, Матиссе, Аполлинере. И, разумеется, о Пикассо. («Три гения, о которых я хочу рассказать, это Гертруда Стайн, Пабло Пикассо и Альфред Уайтхед», — сказано повествовательницей в начале романа.) Издательская аннотация предлагает читать роман «по-разному — как художественный справочник и путеводитель по авангардным мастерским и подмосткам Парижа, как историческое повествование и, наконец, как психологический и стилистический шедевр». Перевод этого романа, исключительно высоко оцененный автором послесловия Самуилом Лурье, занял у переводчицы Нины Ниновой (1958 — 1994) несколько лет напряженнейшей работы.

Асар Эппель. Шампиньон моей жизни. Рассказы. М., «Вагриус», 2000, 476 стр., 5000 экз.



Блаженный Августин. Творения. В 4-х томах. Том 1. Об истинной религии. Составление, подготовка текста С. И. Еремеева. 2-е издание. СПб., «Алетейя», Киев, «УЦИММ-Пресс», 2000, 742 стр., 2000 экз.

М. Ардов. Вокруг Ордынки. Мемуары, повести. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 463 стр., 3000 экз.

В. И. Баранов. Максим Горький: подлинный или мнимый. М., «Просвещение», 2000, 111 стр., 5000 экз.

Полемика известного литературоведа, специалиста по жизни и творчеству Горького с появившимися в последние годы «неканоническими» трактовками жизни и творчества писателя. Особенно остро автор реагирует на освещение в мемуарной литературе поездки Горького на Соловки. Скажем, описанный Солженицыным эпизод с мальчиком из лагеря, которого, после его разговора с Горьким расстреляли, Баранов опровергает так: «...если разговор происходил наедине, за что же могли расстрелять несчастного ребенка, даже не сделав попытки выяснить содержание беседы?» Собрав различные критические высказывания писателей-лагерников о Солженицыне, автор делает вывод: «Лагерный люд весь охочь до создания легенд... Вот перед нами одна из таких легенд», — а общую оценку роли Горького в сталинской России, которую дает Солженицын, объясняет ослеплением из-за его неестественной нелюбви к Горькому. Сама же книга Солженицына, названная вначале «знаменитым произведением великого борца с социальной несправедливостью», критикуется далее за недостоверность приводимых фактов и общую озлобленность ее автора, и соответственно, вреда от этой книги, в частности от глав о Горьком, гораздо больше, по мнению автора, чем пользы: «Сомнительные, а иногда и попросту недостоверные сведения и обобщающие суждения получили распространение во всем мире в огромном количестве (тираж только номеров „Нового мира“ с „ГУЛАГом“ достигал более полутора миллионов экземпляров)».

В предисловии от издательства «Просвещение» сказано, что книга Баранова «адресована прежде всего учителям-словесникам и старшеклассникам».

А. Бахрах. Бунин в халате. Вступительная статья В. Михальского. М., «Согласие», 2000, 244 стр., 3000 экз.

Мемуарная (отчасти «эккермановская») книга литературного критика Александра Бахраха, познакомившегося с Буниным в 1923 году в Париже и на десятилетия ставшего одним из постоянных собеседников писателя.

Н. А. Бердяев. Самопознание. Выбранные места из «Опыта философской автобиографии». Составитель В. Муравьев. Под общей редакцией А. И. Арнольдова. М., Издательский дом «Грааль», 1999, 127 стр., 750 экз.

Богослов. Философ. Мыслитель. Юбилейные чтения, посвященные 125-летию со дня рождения о. Сергия Булгакова (сентябрь 1996 г., Москва). М., Дом-музей Марины Цветаевой, 1999, 152 стр., 1000 экз.

В книге представлены работы Н. А. Струве, иеромонаха Иннокентия (Павлова), И. Б. Роднянской, А. И. Кырлежева, Антона Аржаковского, священника Георгия Чистякова, Т. Н. Жуковской, протоиерея Александра Геронимуса и других.

Дело Менделя Бейлиса. Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства о судебном процессе 1913 года по обвинению в ритуальном убийстве. Составители Р. Ш. Ганелин, В. Е. Кельнер, И. В. Лукоянов. СПб., «Дмитрий Буланин», 1999, 393 стр., 1000 экз.

М. Л. Гаспаров. Записи и выписки. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 416 стр.

Возможно, самая неожиданная и увлекательная книга одного из ведущих наших филологов; составлена как толковый словарь, уже сам словник которого является отпечатком мысли автора, географией и хронологией его культурных, научных и эстетических интересов. Каждое понятие (Любовь, Лыко, Литературоведение, Литературовед, Личность, Лень, Лесть, Ложь, Мазохизм и т. д. — объем «словаря» 26 печатных листов) определяется или комментируется с помощью выписанной цитаты или записанного высказывания кого-то из коллег (Аверинцев, Михайлов, Тименчик, Лотман и другие). Здесь чтение — способ формулирования собственных мыслей («**Интерпретация.** Не спешите по ту сторону слов! Несказанное есть часть сказанного, а не наоборот»; «**Совет.** „Спрашивай ближнего только о том, что сам знаешь лучше: тогда его совет поможет” — Карл Краус»); в выписках на равных правах собственные формулировки («**Точка.** Ваша новая манера — это еще точка, через которую может пройти очень много прямых. И кривых»). См. в настоящем номере «Нового мира» отклик А. Василевского на эту книгу М. Гаспарова.

Гигин. Мифы. Перевод с латинского Д. О. Торшилова. Под общей редакцией А. А. Тахо-Годи. 2-е издание, исправленное. СПб., «Алетейя», 2000, 360 стр., 2000 экз.

Диаспоры. Независимый научный журнал. М., 1999, № 1, 198 стр., 500 экз.

Первый выпуск научного издания, призванного «заполнить пробел в комплексном междисциплинарном изучении процесса формирования диаспор, логики их внутреннего развития, сложнейших проблем их взаимодействия с окружающим обществом». «...строже определить в самом предмете изучения» — самого явления «диаспоры». Издание подготовлено редколлегией под руководством доктора исторических наук, профессора Иркутского университета Виктора Дятлова. Первый выпуск журнала «Диаспоры» посвящен еврейской диаспоре и состоит из пяти разделов: «Диаспора как исследовательская проблема», «Евреи в Российской империи: жизнь за „Чертой”», «„Еврейский вопрос” в СССР», «В поисках идентичности», «Евреи в зеркале демографии». Проблема рассматривается как на общетеоретическом уровне; в частности, работа Михаила Членова «Еврейство в системе цивилизаций (постановка вопроса)» предлагает для рассмотрения проблемы более чем специфической формы существования еврейских народов (и еврейских языков в том числе) в рассеянии пользоваться понятием «еврейская цивилизация» наряду с понятиями христианской, исламской, индийской, китайской цивилизаций, — так и прорабатывается на конкретном историческом материале, скажем, в статьях «Религиозная жизнь сибирских евреев в XIX столетии (по материалам Томской губернии)» Юлии Мучник или «Евреи дореволюционного Иркутска: наброски к портрету» Владимира Рабиновича. Среди авторов издания Виктор Дятлов, Александр Милитарёв, Лилия Кальмина, Виктория Романова, Ева-Мария Столберг, Наталия Юхнёва.

Ф. Ф. Зелинский. Аттические сказки. СПб., «Алетейя», 2000, 189 стр., 1500 экз.

Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 2. Статьи о русской литературе. М., «Языки русской культуры», 2000, 880 стр., 2000 экз.

Иисус Христос в документах истории. Составление, статья, комментарии Б. Г. Деревенского. 3-е издание, исправленное, дополненное. СПб., «Алетейя», 2000, 574 стр.

Ксенофонт. Греческая история. Перевод с древнегреческого, комментарии С. Я. Лурье. 3-е издание. СПб., «Алетейя», 2000, 444 стр., 2000 экз.

Вячеслав Курицын. Русский литературный постмодернизм. М., ОГИ, 2000, 288 стр., 1000 экз.

В отличие от Курицына-эссеиста, автора книги «Журналистика», здесь явление Курицына-теоретика. Построенная как научная монография: «Предупреждение», Часть первая, Часть вторая, «Заключение», «Список литературы» (402 позиции), восемь глав с названиями «К ситуации постмодернизма», «О проблеме „авангардной парадигмы“»... — книга написана на материале новейшей литературы: Сорокин, Пригов, Гандлевский, Шаров, Эпштейн, Кузьминский и т. д. «Эта книга сочинялась с 1992 по 1997 год... Когда я начинал сочинять этот том, слово «постмодернизм» мелькало лишь в обиходе специалистов, когда я закончил его сочинять — оно надоело решительно всем, и употреблять его считается дурным тоном. Может быть, главы моей книги расскажут вам как раз о жизни (и смерти?) этого слова? Во всяком случае, я тешу себя надеждой, что в книге состоялся не только исследовательский, но и приключенческий сюжет» (из «Предупреждения»).

Д. А. Левицкий. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. М., «Русский путь», 1999, 552 стр.

Первая монография о жизни и творчестве Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881 — 1925) — итоговая работа американского исследователя, выходца из России Дмитрия Левицкого. Первым этапом стала диссертация «Жизнь и литературное наследство Аркадия Аверченко», представленная на соискание степени доктора философии и защищенная Левицким в 1969 году в Пенсильванском университете. Затем в 1973 году в США была издана книга «Аркадий Аверченко. Жизненный путь». В нынешнем, окончательном виде монография состоит из трех частей: «Жизненный путь», «Писательская деятельность», «Литературное наследство». В работе над книгой были использованы как широко известные, так и труднодоступные материалы, а также письма и устные рассказы людей, лично знавших Аверченко.

Надежда Мандельштам. Воспоминания. Подготовка текста Ю. Фрейдина. Предисловие Н. Панченко. М., «Согласие», 1999, 552 стр., 5000 экз.

В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. Составители Б. Аверин, А. Долинин, М. Маликова. СПб., РХГИ, 1999, 976 стр., 1500 экз.

Г. Нейгауз. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. М, «Классика — XXI», 2000, 432 стр., 1000 экз.

Ю. Г. Оксман, В. В. Пугачев. Пушкин, декабристы и Чаадаев. Составление, вступительная статья и примечания Л. Е. Герасимовой, В. С. Парсамова и В. М. Селезнёва. Саратов, Редакция журнала «Волга» — ИКД «Пароход», 1999, 260 стр., 400 экз.

Книгу составили четыре статьи Ю. Г. Оксмана: «Повесть о прапорщике Черниговского полка. (Неизвестный замысел Пушкина)», «Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине», «Политическая лирика и сатира Пушкина», «Пушкинская ода „Вольность“». (К вопросу о датировке)» — и семь статей В. В. Пугачева («Предыстория Союза благоденствия и пушкинская ода „Вольность“», «Декабрист Н. И. Тургенев и пушкинская „Деревня“», «Декабристы, „Евгений Онегин“ и Чаадаев», «Кто победил 14-го декабря?» и др.), а также в «Приложении»: Ю. Г. Оксман, «Пушкин и декабристы. Подготовительные материалы к книге».

Э. Сведенборг. О небесах, о мире духов и об аде. Предисловие Х.-Л. Борхеса. СПб., «Амфора», 1999, 558 стр., 8000 экз.

Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся. Послесловие Р. Гергеля. 2-е издание, дополненное. СПб., «Алетейя», 2000, 647 стр., 2000 экз.

Э. Фромм. Кризис психоанализа. Очерки о Фрейде, Марксе и социальной психологии. Перевод с английского. СПб., «Академический проект», 2000, 215 стр., 3000 экз.

Ф. В. Шеллинг. Система мировых эпох. Мюнхенские лекции 1827 — 1828 гг. в записи Эрнста Ласо. Томск, «Водолей», 1999, 320 стр., 1000 экз.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Волга», «Время новостей», «Вышгород», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Наши современник», «Наша улица», «НГ-Религии», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Новое литературное обозрение», «Новый Журнал», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Подъем», «Предлог», «Субботник НГ», «Урал»

«А там уж будь что будет...». Последняя любовь поэта Юрия Левитанского в его письмах и воспоминаниях его жены Ирины. — «Огонек», 2000, № 9, март. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«Мы познакомились в августе 85-го в Юрмале... Стихов его я до этого не читала, и он потом всю нашу жизнь над этим подшучивал».

Александр Агеев. В России неудачник не плачет... — «Знамя», 2000, № 3. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>
...а берет топор и идет убивать старушку-процентщицу.

Надежда Ажгихина. Русская идея Федора Абрамова. Он был прозаиком-«деревенщиком» и публицистом-«западником». — «Кулиса НГ», 2000, № 5, 17 марта. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Да, народ жертва зла, — писал он в дневнике, — но он и опора зла, и питательная почва зла». К 80-летию писателя см. также очерк Олега Ларина «Помните, у Абрамова...» («Новый мир», 2000, № 2).

Геннадий Айги. Поклон — пению. Часть вторая. Тридцать шесть вариаций на темы чувашских и марийских народных песен (1998 — 1999). — «Дружба народов», 2000, № 3. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba>

Часть первую см. (или *не см.*) в № 10 «Дружбы народов» за 1993 год.

Лорен Айзли. Эпоха человека. Перевод с английского, вступительная заметка и примечания Д. Н. Брешицкого. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Эссе 1962 года американского натуралиста и поэта Лорена Айзли (1907 — 1977) о том, что человек произошел от обезьяны.

Максим Амелин. Угрюмая пища гения. К 200-летию Евгения Баратынского. — «Независимая газета», 2000, № 39, 2 марта. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Когда в будущем надеяться не на что, а настоящего стыдно, остается искать утешения в прошлом, любить прошлое и гордиться прошлым. Ищущим подобного забвения советую почитать Евгения Баратынского, поэта современного, как нельзя кстати обратившего свою печаль — мировой скорбью, свой страх — космическим ужасом, свои предчувствия — пророчествами вселенских катаклизмов...» Обращает на себя внимание смешанное употребление вариантов фамилии юбиляра — поэт БАратынский, но родился и умер БОратынский.

К 200-летию поэта см. также статью Елены Невзглядовой «На высоте всех опытов и дум» («Звезда», СПб., 2000, № 2).

Юрий Архипов. «Раскол» Владимира Личутина и осколки истории. — «Москва», 2000, № 3. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

Владимир Личутин, по мнению критика, «первым (во всяком случае, в художественной литературе) во всем объеме постиг размах русской беды — той неизбежной, не изжитой, поные сверяющей боли, что скрывается за этим острым, но давно обкатанным словом — „раскол“...» К 60-летию прозаика см. также большую беседу Владимира Личутина с Владимиром Бондаренко в газете «День литературы» (2000, № 5, 3 марта) и меньшего объема в газете «Завтра» (2000, № 11, 14 марта): «Хочется иной раз, даже очень, описать все страсти наяву, всю эротичность любви, а потом думаешь: ты же ведь не зверь. Это животное прилюдно совершает любовные игрища. А в человеке от Бога заложено чувство стыда. Только перо зависает, думаешь, вот бы обсосать

вкусненько эту подробность, выйти на легкие фривольные тона, чтобы все посмеялись и чтобы в душе зажглось и заиграло в пупке. Сразу себя останавливаешь, а стыд где человеческий? Переступи один раз, и все рухнет сразу. А русский писатель был всегда особенно стыдлив. Русский писатель не позволял себе матерных слов. То, чем сейчас якобы интеллигенция козыряет даже на телевидении, перед миллионами зрителей. Это все нерусское...» (В. Личутин).

Виктор Астафьев. «Боль начинается с преодоления себя...». Беседовала Наталья Сангаджиева. — «Книжное обозрение», 2000, № 9, 28 февраля; № 10, 6 марта.

Среди прочего прозаик неожиданно высказывается за единое всемирное государство и единый язык (а иначе европейские, славянские нации будут сметены огромными мусульманскими, китайскими, негритянскими мирами...).

Вадим Баранов. Трубка вождя, или Уход «рабоче-крестьянского графа». Опыт беллетризованного исследования. — «Субботник НГ», 2000, № 9, 11 марта. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Алексей Н. Толстой, Иосиф Сталин и Иван Грозный.

Павел Басинский. Проблема Александра Еременко. — «Литературная газета», 2000, № 13, 29 марта — 4 апреля.

Комментируя поэтическую строчку Александра Еременко «Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...», критик восклицает: «Где же еще, скажите на милость, можно им встретиться, как не посередине XX века? В „Бродячей собаке“? В ЦДЛ брежневской эпохи?..»

Владимир Березин. Памяти Плейшнера. К пятидесятипятилетию со дня гибели немецкого ученого. — «Ex libris НГ», 2000, № 10, 16 марта. Электронная версия: <http://exlibris.ng.ru>

«Погиб Плейшнер — маленький человек, жертва массовой литературы».

Олег Бораев. Телефункен. Монолог в одном действии. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 4. Электронная версия: <http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural> или <http://www.infoart.ru/magazine/ural>

«ДОКТОР (кладет магнитолау, оглядывается). У меня нет даже баралгина... (Смотрит на магнитолау, заглядывает внутрь.) Она что, жует ленту? (Магнитола завывла, доктор берет пинцет.) Так, ложись-ка, дорогая, на бок... Вот так... Хорошая... Ну давай же, давай... (Магнитола воеет, доктор держит, магнитола заскрипела, доктор осторожно вынимает из-под крышки маленький, размером со спичечный коробок, радиоприемничек.) Какой хорошенький... (Осторожно держит, разглядывает.)

РАДИО. Доктор, скорей... Кто? Мальчик?..

ДОКТОР. Черт вас разберет... (Перегрызает зубами тонкий проводок, осторожно, как грудного ребенка, держит крохотное радио.)».

Сочинил тридцатилетний екатеринбургский драматург, лауреат премии Антибукер за 1997 год.

Владимир Бондаренко. Недопесок. Юрий Коваль из поколения «пониженных гениев». — «Ex libris НГ», 2000, № 9, 10 марта.

Из готовящейся к выходу книги «Дети 1937 года». См. из этого же цикла *амбивалентную* статью о поэзии Олега Чухонцева «Плач проходящего мимо родины» («Москва», 2000, № 3).

С. Боровиков. В русском жанре — 16. — «Волга», Саратов, 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>

«У Достоевского дьявол многолик... У Толстого дьявольское искушение, в сущности, это только похоть». См. другие публикации С. Боровикова из того же цикла в «Новом мире» (1995, № 1; 1998, № 7; 1999, № 9).

Иосиф Бродский. Наглая проповедь идеализма. Беседа с профессором Дэвидом Бегеа. Перевод с английского Глеба Шульпякова. — «Новая Юность», № 40 (2000, № 1). Электронная версия: http://www.infoart.ru/magazine/nov_yun

Бродский ехидничает: «Не буду фантазировать насчет того, какие мемуары написал бы о Герштейн Мандельштам».

См. также достаточно критическую по отношению к нобелевскому лауреату рецензию Анатолия Либермана («Новый Журнал», № 217) на известную книгу С. Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским»: «Иногда кажется, что шквал наград, восторги критиков и писания льстецов притупили у Бродского инстинкт интеллектуального самосохранения. Он поверил, что любое оброненное им слово на вес золота...»

Андрей Ваганов. Клонирование млекопитающих было впервые осуществлено в СССР. — «Независимая газета», 2000, № 44, 11 марта.

Советская мышь была клонирована в 1987 году, за десять лет до овечки Долли.

Ольга Вайнштейн. Поэтика дендизма: литература и мода. — «Иностранная литература», 2000, № 3. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Отрывок из книги «Денди».

Андрей Вознесенский. Теряю голос. — «Кулиса НГ», 2000, № 5, 17 марта.

«Господи, нас возврати, хоть вчерне, / к прежнему Косову, / к цельной России, к мирной Чечне — / к чистому голосу...»

Игорь Волгин. Пропавший заговор. — «Октябрь», 2000, № 3. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/october>

Достоевский и политический процесс 1849 года. Окончание. Начало см. в № 1, 3, 5 «Октября» за 1998 год. См. также в № 7 «Нового мира» за 1999 год рецензию Марии Ремизовой на книгу Игоря Волгина «Коллебая над бездной. Достоевский и императорский дом».

Валерий Володин. Исчезнувший. Повесть о настоящем человеке. — «Волга», Саратов, 2000, № 2-3.

«Некто средних лет, семейный и благополучный внешне человек, заболевает тягой к исчезновению...»

Александр Вяльцев. Священник как герой. — «Независимая газета», 2000, № 53, 24 марта.

«Едиственное, чем „оригинален” наш отец Михаил (герой повести Сергея Бабаяна „Канон отца Михаила” — „Континент”, № 101. — *А. В.*), — своим отношением к авторитетам Церкви: он критикует Апостольские послания, а уж Отцы Церкви ему и вовсе не указ... Я уж молчу о проговорах отца Михаила, что Христа, возможно, не так поняли и не так записали... Скорее отец Михаил напоминает современного либерального богослова протестантского толка, для которого ничто не есть догма, что не признается сердцем».

См. также рецензию Александра Вяльцева «Женщина перед смертью» («Независимая газета», 2000, № 47, 16 марта) на новую повесть Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев» («Знамя», 2000, № 2). По мнению критика, автор повести хочет *воспеть Венецию и благословить ищест.* На ту же повесть см. рецензию Дмитрия Быкова в настоящем номере «Нового мира».

Александр Гаврилов. В поисках нового Владимира Соловьева. — «Ex libris НГ», 2000, № 9, 10 марта.

Говорит Александр Носов, ответственный редактор Полного собрания сочинений Владимира Соловьева: «Я вообще думаю, что общество вряд ли читало длинные философские трактаты Соловьева, когда он их печатал, это все же тяжеловато... И уж если Блок бросил на середине, то вряд ли вся читательская масса 70 — 80-х годов так уж зачитывалась соловьевскими философскими сочинениями. Но масса газетных сообщений, заметок о публичных диспутах, лекциях — это явно прочитывалось. С ним знакомилась в первую очередь как с некой культурной фигурой, а не с писателем. Вот восстановить это восприятие Соловьева обществом того времени и есть задача комментариев. Мы стараемся собирать обзор откликов, рецензий, заметок в прессе — тоже с претензией на полноту. Просматриваем переписку третьих лиц, потому что довольно много писали о Соловьеве. Вот такие вещи мы все стараемся давать в комментариях, потому что попадается нечто совершенно неожиданное: Чайковский в письме фон Мекк пишет, что читает „Критику отвлеченных начал” и поражается, насколько это замечательное произведение и как оно послужит делу борьбы с позитивизмом и материализмом. Кто бы подумал, что Чайковский станет такое читать?»

Александр Галушкин. Над строкой партийного решения. — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000). Электронная версия: <http://www.nlo.magazine.ru> или <http://www.infoart.ru/magazine/nlo>

Неизвестное выступление В. В. Маяковского на заседании комиссии ЦК РКП(б) о литературной политике партии (1925 год) публикуется по неправленной стенограмме.

Владимир Гандельсман. Из дневника читателя. — «Волга», Саратов, 2000, № 1.

С желчью — об эссе Бориса Парамонова «Солдатка» и стихопрозе Андрея Битова «Жизнь без нас». Спокойно — о сборнике стихотворений Валерия Черешни «Пустьрь» (1998). С чувством — о Мандельштаме.

М. Л. Гаспаров. Мандельштамовское «Мы пойдем другим путем»: о стихотворении «Кому зима — арак и пунш голубоглазый...». — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000).

Очень медленное чтение известного стихотворения.

Георгий Гачев. Младенец и смерть. — «Огонек», 2000, № 9, март.

Гачевские «Жизнемысли» — новая рубрика в «Огоньке».

Нина Горланова. Подсолнухи на балконе. Штучка. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 4.

«На этом этапе мы простимся с нашими героями, тем более что и они распростились и более не дружили домами: Люся с мужем не бывали у Рогнеды с Володей, а те — у этих». См. также рассказы и стихи Нины Горлановой в журнале «Знамя» (2000, № 2, 3).

Евгений Гришковец. Как я съел собаку. — «Наша улица». Ежемесячный общественно-литературный журнал. 2000, № 2.

Автор монолога — лауреат Антибукеровской премии 1999 года по драматургии. См. также его интервью в «Независимой газете» (2000, № 38, 1 марта): «Знаете, мне не нравится, например, Пруст. Я не люблю тексты, где нет абзацев, диалогов, мне становится скучно от одного вида текста. Мне нравится читать хорошие пьесы именно потому, что там сплошь диалоги».

Александр Давыдов. Ключик. Учебник по географии моего детства. — «Дружба народов», 2000, № 3.

Дом на пригорке. Мариинская больница. Институтский переулок. Архитектура детства. Площадь перед Театром. Музей Советской Армии. И так далее (журнальный вариант). Но почему учебник? Кто будет по нему учить(ся)?

Венедикт Ерофеев. «Я бы Кагановичу въехал в морду...». — «День литературы», 2000, № 3-4, февраль. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

В беседе (3 июля 1990 года) принимали участие Сергей Куняев, Венедикт Ерофеев (В. Е.), Светлана Мельникова (С. М.) и жена Венедикта Галина.

«С. М. Веничка, и еще в „Литгазете” написано, что твой отец был репрессирован. Расскажи, пожалуйста, эту историю.

В. Е. Так это совершенно просто, его просто взяли, отца, и все.

С. М. А кто его взял?

В. Е. Ну, пришли 4 человека в 1945 году...

С. М. И сколько он сидел?

В. Е. С 1945 по 1954.

С. М. Он сидел в это время? А ты говорил, что дядя.

В. Е. Да какой дядя? Мой дядя сидел уже по другой статье.

С. М. Ты мне говорил, что „Литгазета” перепутала, они написали, что отец сидел, в то время как сидел дядя, а не отец.

В. Е. И отец сидел, и дядя Павел сидел, и дядя Степан сидел...»

«Зеленое окно за письменным столом». Лидия Гинзбург и Наталия Ильина — переписка. Публикация Вероники Жобер. Предисловие Маргариты Тимофеевой. — «Знамя», 2000, № 3.

Переписка 1986 — 1988 годов в связи с публикациями прозы Лидии Гинзбург.

Александр Зиновьев. «Надо прорываться!». Беседу вел Олег Головин. — «Литературная Россия», 2000, № 11, 17 марта.

«Теперь и Горький, величайший писатель XX века, оказывается, не писатель, и Маяковского оплевывают, на его место при этом выдвигая такого весьма посредственного поэта, как Мандельштам. Ну неплохой поэт Пастернак, хотя и он маленький совсем поэт по сравнению с Маяковским».

Михаил Золотоносов. Сын капиталиста. — «Московские новости», 2000, № 12, 28 марта — 3 апреля. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

«Последнее десятилетие поставило острую проблему, связанную с тем, что в стране произошли распределение собственности (прежде общественной) и резкая имущественная поляризация... И дело не в том, что появились очень богатые и бедные, а дело в тех законах (точнее, в их отсутствии), по которым такое распределение произошло... Меня в данном случае интересует реакция литературы. Есть литература, группирующаяся вокруг газеты «Завтра» и журнала «Наш современник». Есть другая литература — либеральная. Если первая пишет про грабеж и оккупацию и этим художественно объясняет смысл главного социально-политического события (оно же — и главная проблема) по-

следнего десятилетия, то вторая от самой постановки этой проблемы систематически **увилваает**. Поскольку всякие рассуждения (=сомнения) насчет справедливости, эффективности состоявшейся приватизации, мысли о возможном перераспределении собственности... «интеллигенция второго типа» полагает «коммунизмом» и для себя если не запретными, то неэтичными... Я не говорю об ответах на эти вопросы, которые должны давать романы. Писатель не обязан знать. Я говорю только о том, что является задачей литературы (во всяком случае, русской): **художественно** (то есть честно, остро, до логического конца) **поставить проблемы**, которые на самом деле давно волнуют большинство».

Все это в связи с повестью Валерия Золотухи «Последний коммунист» («Новый мир», 2000, № 1, 2), которую М. Золотоносков как раз считает остроумной, но — беспроблемной. См. о повести рецензию Марии Ремизовой «Новый русский идиот. Литературные попытки идейного портрета» («Независимая газета», 2000, № 44, 11 марта).

Валерий Золотухин. «Он был поэт!». Беседа с Владимиром Бондаренко о Владимире Высоцком. — «Завтра», 2000, № 7, 15 февраля. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Я, например, никогда в жизни не слышал от него (Высоцкого. — А. В.) разговоров о поэзии», — вспоминает Валерий Золотухин.

Роберт Ибатуллин. Взгляд на русскую литературу 2183 года. — «Знамя», 2000, № 3.

Рубеж, взятый автором, так далек, что *там уже все возможно*, а без сопротивления материала, согласитесь, неинтересно.

Елена Иваницкая. Ценности 2000 года. — «Новая газета», 2000, № 10, 13 марта. Электронная версия: <http://www.novayagazeta.ru>

«Сейчас, когда инерция читательского отхода от „серьезной“ современной литературы еще действует, но уже ничего нового в себе не заключает, для самостоятельно мыслящего читателя наступает самое благодарное время противопоставить свою позицию унылому общему течению и заявить свою оригинальность вниманием к „толстым“ журналам...»

Из неопубликованных писем к К. Р. Публикация, вступительная заметка и примечания Людмилы Кузьминой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2.

Письма В. М. Гаршина, А. П. Чехова, И. Е. Репина и других к Его Императорскому Высочеству печатаются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом).

Сергей Исаков. Marche funèbre. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1999, № 6.

Об одном из наиболее интересных русских литераторов в Эстонии 20 — 30-х годов, популярном общественном и культурном деятеле Эстонской Республики Борисе Константиновиче Семенове, умершем в Саратовской тюрьме в 1942 году. Тут же — из архива А. Л. Бема в Праге — печатаются стихи Бориса Семенова и два его письма 1937 — 1938 годов к А. Л. Бему.

Фазиль Искандер. Когда мысль опирается на палку — это хромая мысль. Культура как религиозная заповедь. — «Новая газета», 2000, № 9, 6 марта.

«Современное демократическое общество со своей громадной индустрией развлечений отвлекает человека от правды, явно не запрещая ее. И это отвлечение человека от правды трагических вопросов существования в исторической перспективе более медленно, но верно разрушает человека...»

Ирина Кабанова. Омар Хайям и другие: всемирная классика в России 1990-х годов. — «Волга», Саратов, 2000, № 1.

Содержательный обзор новых изданий/переизданий мировой, в первую очередь — западной классики. Издательские ориентиры все те же — ностальгия по старому, хорошо знакомому, нежелание рисковать.

Владимир Казаков. Из неопубликованного. Публикация Т. П. Авальян. — «Волга», Саратов, 2000, № 1.

В саратовской «Волге» литературное наследие В. В. Казакова (1938 — 1988) регулярно публикуется с 1995 года.

Владимир Клименко. Три жены Булгакова. — «Литературная Россия», 2000, № 9, 3 марта.

Проживавшая в Туапсе (где она и умерла в 1982 году) престарелая Татьяна Николаевна Лаппа, первая жена Булгакова, смиренно отвечала донимавшим ее иностранным

корреспондентам: «Я никогда не знала Булгакова-писателя, я была всего лишь женой Булгакова-лекаря».

Вадим Кожин. Россия, как чудо. Беседу вел Владимир Винников. — «Завтра», 2000, № 12, 21 марта.

«Я не являюсь специалистом, компетентным в вопросах мировой экономики. Но невероятное могущество и определяющая роль США в современном мире говорят именно о том, что это государство находится накануне упадка... Не думаю, что лично я доживу до заката Америки, но я вполне это допускаю».

Мария Козлова. От Нерона до Шенгена. — «НГ-Религии», 2000, № 6, 22 марта. Электронная версия: <http://www.religion.ng.ru>

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) и «число зверя» — 666. Тут же приводятся две противоположные точки зрения на проблему — статьи Владимира Осипова «Карточка для ЦРУ и антихриста» и Дмитрия Поспеловского «Штрих-код как образ врага».

Борис Колымагин. «Поэзия есть возвращение человека к началу вещей». — «НГ-Религии», 2000, № 6, 22 марта.

Завершился посвященный памяти святителя Филарета, митрополита Московского первый в истории отечественного Интернета поэтический конкурс на лучшее стихотворение на религиозную тему (лауреаты — Иван Дмитриев, Николай Переяслов, Мария Ходакова и Владимир Тугов).

Юрий Колкер. Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2.

«Умрем — и английской станем землей, / Смешаемся с прахом Шекспира, / Навеки уйдем в окультуренный слой / Прекраснейшей родины мира. / Флит-стрит благодарной слезой напою. / В насмешку предавшей отчизне / Мы счастливо прожили в этом краю / Остаток погубленной жизни...»

Михаил Кралин. Неизвестное об Анне Ахматовой. — «Наш современник», 2000, № 3.

«София Казимировна Островская — друг (Ахматовой. — А. В.) или оборотень? Оборотень, считает автор, но: «Трагедия советского человека, вынужденного быть осведомителем, — это тема, еще далеко не осмысленная ни фактологически, ни психологически... Я хочу вспомнить о Софье Казимировне такой, какой я ее знал». Мемуары С. К. Островской «Встречи с Ахматовой (1944 — 1946)» интересно соотносятся с ее же донесениями того времени (они приводятся М. Кралиным по публикации Олега Калугина). Запоминается такое примечание М. Кралина к своей статье: «О лесбийских наклонностях Ахматовой С. К. Островская не раз упоминала в разговорах со мной (в связи с баронессой Евгенией Розен и Т. М. Вечесловой), но мне не хочется приводить этих подробностей».

Григорий Кружков. Закладки. Загадка «Замиу...». — «Предлог». Литературно-художественный альманах. 2000, № 2.

Мандельштам и Заратустра. Пастернак и Китс. Гумилев и Йейтс.

Борис Крячко. «Дорогая матушка Тамара Павловна!». Письма к Т. П. Милютинной в Тарту из Пярну. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1999, № 6.

21 письмо Б. Ю. Крячко (1930 — 1998), русского прозаика, жившего в Эстонии. Литература, болезни, кошки, собаки.

Александр Куляпин. Три источника и три составных части рассказа В. М. Шукшина «Срезал». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2.

Остроумный дискурс о неожиданных контекстах, расширяющих, по мнению барнаулского автора, возможные интерпретации шукшинского рассказа.

Валентин Курбатов. Младший брат. — «Литературная Россия», 2000, № 10, 10 марта.

«Вообще мне теперь из усталости долгого опыта мерещится, что Вампилов стремительнее и ярче остальных пережил последующий отрезвляющий слом времени и вернее всего написал его. Именно *не отразил*, не высмотрел сторонним умом художественного диагноста, а подлинно *пережил*, перестрадал и оплатил сам. И уже четыре варианта «Прощания в июне» были не только знаком его требовательности к себе (хотя и это тоже), но результатом всматривания его в мир и понимания вовсе не ободряющих векторов устремления этого времени».

См. также статью Валентина Курбатова «...А просто дыханье словами» («Книжное обозрение», 2000, № 13, 27 марта) о поэзии Геннадия Русакова, получившего Малую премию имени Аполлона Григорьева за 1999 год.

Анатолий Курчаткин. Победитель. Из книги «Радость смерти». — «Дружба народов», 2000, № 3, 4.

См. другие части книги — «Злоключение» («Знамя», 1998, № 10) и «Бегство» («Звезда», 1999, № 8).

Елена Кутловская. Театр лечит неврозы. — «Независимая газета», 2000, № 57, 30 марта.

Беседа с театральным режиссером Владимиром Мирзоевым. «Я читаю много новейшей драматургии (в том числе и как член жюри Антибукера). И поверьте, складывается странное впечатление: чем примитивнее — тем точнее и живее, тем сильнее энергетическое поле прочитанной вещи... Конечно, из прошлого века будут еще долго доноситься отголоски стилей, идей... Но уже сейчас ощущается, что жест примитивиста точнее и увлекательнее, чем жест декадента. И тот, кто не понимает или не хочет понимать, что мы переместились в новую языковую ситуацию, оказывается в положении маргинала».

А. Ф. Лосев. Тайна общего дела. Рассказы. Вступление Елены Тахо-Годи. Публикация А. А. Тахо-Годи. Подготовка текста А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого. — «Октябрь», 2000, № 3.

«Однажды Ванька забрался в комнату Петьки, избил Петьку и забрал у него несколько ценных вещей...» (из рассказа начала 40-х годов «Вранье сильнее смерти»). См. также в «Октябре» — переписку юного гимназиста Алексея Лосева с Ольгой Позднеевой (1999, № 6) и его дневниковые записи 1914 года (1998, № 10).

Джон Малмстад. Кое-что об Андрее Белом. — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000).

Буря символистов в стакане воды (1907 год) и розенкрейцерская шалость в романе «Петербург».

Александр Мень. Судьба цивилизации может оказаться плачевной. Публикация Ольги Обуховой. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1999, № 6.

Выступление в итальянском городе Бергамо 2 ноября 1989 года на международном симпозиуме «Культурная идентичность России и западноевропейская традиция. Анализ открытой проблемы»: «С космической точки зрения, это (гибель нашей цивилизации. — А. В.) не так страшно, — Творец может создать из камня сынов Авраамовых, как сказано в Библии, может создать еще одну цивилизацию, но было бы обидно, если бы мы не выполнили своего предназначения и разрушили то, что нам было дано и что строило человечество на протяжении многих тысяч лет». Кстати, а *что такое строило человечество на протяжении многих тысяч лет?* Не знаю.

9 сентября текущего года исполняется уже десять лет со дня убийства Александра Меня. См. сайт, посвященный о. Александру: <http://www.amen.org.ru>

Екатерина Мещерская. Змея. Повесть. Публикация Г. А. Нечаева. — «Москва», 2000, № 3.

См. другие произведения кн. Е. А. Мещерской (1904 — 1995) — воспоминания «Трудовое крещение» («Новый мир», 1988, № 4), роман «Жизнь некрасивой женщины» («Москва», 1996, № 7, 8), повесть «Конец „Шехеразеды“» («Москва», 1997, № 11).

Чеслав Милош. О конце света. Беседа с Катажиной Яновской и Петром Мухарским. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный еженедельник. Варшава, 2000, № 1 (5).

«У меня очень силен элемент апокатастасиса, т. е. представления о том, что все вернется в свою очищенную форму после наступления конца света. Но если бы я в самом деле догматически в это верил, то был бы еретиком, и меня следовало бы сжечь на костре или проклясть, как Оригена, который считал, что и дьявол будет спасен: уж если возвращение, то все вернется. Но я вовсе не догматический проповедник апокатастасиса, это скорей необходимое мне художественное представление... Мы обязаны вновь укоренить свою жизнь в настоящем, поменьше гнать воображение то вперед, то назад. И больше внимания обращать на детали, о которых я говорил, на жизнь сегодняшнюю».

Владимир Мошенко. Улица джаза. — «Предлог». Литературно-художественный альманах. 2000, № 2.

Отрывок из романа. 60-е. Становление корифеев отечественного джаза.

Наука быть свободными. Беседовала Елена Иваницкая. — «Общая газета», 2000, № 12, 23 — 29 марта. Электронная версия: <http://www.og.ru>

Говорит писатель Даниил Данин (незадолго до смерти): «Никакой жажды порядка в 30-е я не помню. Помню жажду вырваться за рамки жестких до абсурда требований... Существует заблуждение, что в годы моего детства наркомании среди молодежи не было. Еще как была! Был морфий, ребята во дворе показывали мне, как кокаин нюхают. А во двор соседнего дома мы даже заходить боялись: все знали, что там живут воры, наркоманы и проститутки».

В. Непомнящий. *Poor boy Onegin*. — «Искусство кино», 2000, № 2. Электронная версия: <http://www.kinoart.ru>

«Онегин западного фильма „Онегин” (фильм Марты Файнз 1999 года. — А. В.) несчастлив потому, что судьба виновата, то есть окружающие люди и обстоятельства. С этой целью поступки Онегина в фильме всячески улучшены, а окружающие его люди — Татьяна, Ленский — насколько, возможно, ухудшены».

Олеся Николаева. Последняя птица. Стихи. — «Знамя», 2000, № 3.

Хорошие стихи.

Анджей Новак. Ленин как отчим геополитики. — «Новая Польша». Обще-ственно-политический и литературный ежемесячник. Варшава, 2000, № 1 (5).

В частности, приводится до сих пор нигде не опубликованная запись ленинского высказывания, которую в сентябре 1920 года сделал швейцарский большевик Жюль Амбер-Дроз, находившийся в Москве на конгрессе III Интернационала. Привожу последний абзац записи: «Германия всегда будет нам помощником и союзником, ибо горькое чувство поражения вызывает в стране волнения и беспорядки, и немцы надеются, что благодаря этому им удастся разорвать железный обруч, которым их сковал Версальский мир. Они хотят реванша, а мы — революции. Временно наши интересы совпадают. Эти интересы разойдутся, и немцы станут нашими врагами в тот день, когда нам захочется проверить, что именно возникает на пепелище старой Европы — новая германская гегемония или коммунистический союз Европы».

Михаил Новиков. Литература для легкой простуды. Игрушечные бестселлеры Б. Акунина лучше настоящих. — «Коммерсантъ», 2000, № 40, 10 марта. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

«С точки зрения русского литературного канона весь Акунин — графомания, поскольку ни метафизических открытий, ни социальных обобщений его романы не содержат». Михаила Новикова трудно представить в роли защитника русского литературного канона, поэтому вышеприведенная фраза — это *такая* похвала, поводом к которой послужил уже седьмой в серии романов о русском Шерлоке Холмсе — Эрасте Фандорине.

Алексей Медведев в статье «Игра на чужом поле» («Время новостей». Ежедневная газета. Издается с марта 2000 года. 2000, № 3, 20 марта) подводит итоги первому литературному проекту Б. Акунина. «Действие романов фандоринского цикла происходит в 70 — 90-х годах XIX столетия. Фандорин живет во времени обратного отсчета, стремящемся к нулевой точке революционной катастрофы... Авантюрист Фандорин вполне мог бы похищать бриллианты для диктатуры пролетариата или, наоборот, дурачить ротозеев-большевиков. Консерватор Фандорин вынужденно и бесславно уходит со сцены».

«Новые реалисты» — XXI веку. Предисловие Ивана Евсеенко. Специальный выпуск журнала «Подъем». Воронеж, 2000, № 1.

Под этим неудачным названием печатаются хорошие, но уже публиковавшиеся прозаические сочинения Василия Голованова, Светланы Василенко, Василия Килякова, Владислава Отрошенко, Лилии Павловой, Олега Павлова, Михаила Тарковского, Александра Яковлева, а также статьи Павла Басинского, Олега Павлова и Вячеслава Лютото. Отдел новейшей русской литературы и русского зарубежья ИМЛИ (РАН) организовал встречу с этими авторами для обсуждения современного состояния реализма — см. об этом сообщении Марии Даниловой «Оправдание реализма» в «Независимой газете» (2000, № 44, 11 марта).

Новый журнализм. — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000).

За статьей известного обозревателя Максима Соколова, воплощающего в себе этот самый *новый журнализм*, следуют статьи о нем самом: Олег Проскурин, «Максим Соколов: генезис и функции „забавного слога”» и Сергей Козлов, «Заметки о стиле Максима Соколова. На полях статьи О. Проскурина», а также статья Сергея Иванова о том, к кому обращаются отечественные масс-медиа.

Дэниел Пайпс. Заговор: объяснение успехов и происхождения «параноидально-го стиля». Перевод с английского Г. Дашевского. — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000).

Читать рассуждения этого автора о Сталине и Гитлере — после суворовского «Ледокола», как бы к нему ни относиться, — очень смешно. К счастью, в подборку под названием «Теории заговора» вошли еще две содержательные статьи наших соотечественников: Андрей Зорин, «Враг народа. (Культурные механизмы опалы М. М. Сперанского)» и Б. И. Колоницкий, «Занимательная англофобия. (Образы „Коварного Альбиона” в годы Первой мировой войны)».

Михаил Пантелеев. Все проходит. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 4.

«Это рассказ о стариках и старости: что старикам надо; нет того хуже, как долги платить да стариков кормить; неужель под душой так же падаешь, как под ношею; что самое мерзкое перед Богом? когда человек сам себя оправдывает; что самое главное в жизни; мы и Бог...» А если совсем коротко: *хроника болезни и смерти жены* — как бы скрытой камерой, без выводов, без морали, только боль. Впечатление очень сильное. Автору на тот момент — 77 лет. «Здесь, на этих страницах, я стараюсь рассказать, как один и тот же человек может любить другого человека и обижать его, любить и оскорблять, любить и бить» (запись от 19 апреля 1998 года).

Борис Парамонов. Гоголь, убийца животных. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2.

Другие *философские комментарии* Бориса Парамонова можно найти на сайте «Радио „Свобода”»: <http://www.svoboda.org>

Переписка В. В. Набокова с А. Ц. Ярмолинским. Вступительная статья Галины Глушанок. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Таллинн, 1999, № 6.

Десять писем 1940 — 1952 годов — несенсационная переписка знаменитого писателя с филологом, переводчиком и издателем Авраамом (Абрамом) Цалевичем Ярмолинским (1890 — 1975), в течение тридцати семи лет возглавлявшим Славянский отдел Публичной библиотеки в Нью-Йорке.

Елена Петренко, Татьяна Филимонова, Станислав Тютюкин, Анатолий Чернобаев. Существовало ли «Завещание»? — «Независимая газета», 2000, № 41, 4 марта.

Авторы считают, что, используя реальные факты биографии Плеханова и ряд высказанных им мыслей, составители «Политического завещания» Георгия Плеханова дополнили их множеством собственных тезисов в духе нынешней социально-политической конъюнктуры. Текст апокрифического завещания см. в специальном приложении к «Независимой газете» — «Хранить вечно» (1999, № 8, 30 ноября).

Людмила Петрушевская. В садах других возможностей. Из новой книги. — «Октябрь», 2000, № 3.

«Где я была», «В доме кто-то есть» и другие рассказы и сказки. См. также ее рассказы в журналах «Знамя» (2000, № 3) и «Урал» (2000, № 1).

Фредерик Рафаэл. Замок Кубрика. Перевод с французского А. Брагинского. — «Искусство кино», 2000, № 2.

Писатель, кинодраматург вспоминает о своем интересном/неудачном сотрудничестве со Стэнли Кубриком.

Эрих Мария Ремарк. Земля обетованная. Роман. Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого. — «Иностранная литература», 2000, № 3.

Журнальный вариант незаконченного романа.

Мария Ремизова. С новой ересью, господа! — «Независимая газета», 2000, № 58, 31 марта.

Марии Ремизовой решительно не понравился новый метафизический роман Анатолия Кима «Близнец» («Октябрь», 2000, № 2): «Ким пару раз в этом тексте фыркает на модернистов, дескать, гадости сочиняют и идут нарасхват — так модернисты получают в сравнении с ним куда пригляднее: хоть цели своей не скрывают — сказать гадость. Ким же говорит все больше *в высшем смысле*, хотя и гадость получается *в высшем смысле*, хоть и мизерная по результату».

Михаил Румер-Зараев. Диабет. Повесть. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2.

Диабет.

Борис Рыжий. Горный инженер. Стихи. — «Знамя», 2000, № 3.

Новые стихи екатеринбургского поэта, *поощренного* Антибукеровским жюри 1999 года за его предыдущую подборку в журнале «Знамя» (1999, № 4). См. также его интервью в «Независимой газете» (2000, № 46, 15 марта): «Там (в Екатеринбурге. — А. В.), безусловно, есть очень талантливые люди — Коляда, Славникова, Горланова, Верников. Но проблема в том, что круг этот очень невелик, все друг другу быстро надоедают. Я должен признать такую закономерность: кто оттуда не уехал, из того ничего не вышло... В провинции хорошо начинают, подают большие надежды, потом все куда-то уходит. Я думаю, сказывается недостаток среды. Я, кстати, в Москве получал только пряники, в Екатеринбурге — только пинки под зад. Меня там никто не рассматривает как серьезного поэта, пусть даже начинающего, в Москве ко мне отношение совершенно иного рода».

Рыжий — не псевдоним, как можно было бы подумать (ср. Андрей Белый, Саша Черный), а подлинная фамилия поэта.

Генрих Сапгир. Тактильные инструменты. — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000).

Поэтическая книга с иллюстрациями Г. Заполянского входит в мемориальную подборку материалов о Сапгире.

Бenedикт Сарнов. Колесница Джаггернауа. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 11, март. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

Глава из мемуарной книги. Вокруг дневников и записных книжек (1927 — 1941) драматурга Александра Афиногенова. Сталин. Страх/Любовь. О том, как исключенный из комсомола студент Сарнов влюбился в вождя.

Анна Сергеева-Клятис. «Колпак дурацкий мой...». — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 13, апрель.

Поэма В. С. Филимонова «Дурацкий колпак» (1828): в связи и вокруг. См. также статью А. Сергеевой-Клятис «Сожаление о старом халате. Из литературного быта пушкинской эпохи» («Литература», 2000, № 2).

Ольга Славникова. Та, что пишет, или Таблетка от головы. — «Октябрь», 2000, № 3.

О женской прозе (два романа Ирины Полянской в «Новом мире», Марина Вишневецкая и другие). См. также статьи Ольги Славниковой «Иван Петрович у распахнутого окна» («Дружба народов», 2000, № 3) и «Искусство не принадлежит народу» («Новый мир», 2000, № 3).

Елена Стишова. Конец цитаты. — «Искусство кино», 2000, № 1.

О фильме Алексея Германа «Хрусталеv, машину!». См. об этом фильме в февральском номере «Искусства кино» статьи Юрия Клепикова «Опровержение опыта», Михаила Трофименкова «Физический фильм», Евгения Марголита «Формула ухода», Людмилы Донец «Черный вечер. Белый снег...», Жоржа Нива «Попугай в коммунальной пустоте» (перевод с французского В. Божовича), Олега Аронсона «Возможное некино».

Игорь Сухих. Из гоголевской шинели. (1923 — 1930. «Сентиментальные повести» М. Зошенко). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2.

Рубрика «Книги XX века».

Дмитрий Травин. Долгая дорога к чуду. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 2.

О том, как десять лет назад в Польше началась та самая шокотерапия.

Уникальность чего бы то ни было. Беседовала Елена Герчук. — «Ex libris НГ», 2000, № 9, 10 марта.

Директор издательства «Ad marginem» Александр Иванов: «Когда я начинал, мне казалось, что в России можно сделать такое *«cool»* издательство, абсолютно снобное — только философия, только современная; а потом я понял, что здесь это невозможно, здесь нет для этого контекста, и если заниматься современностью, то надо заниматься всем, что имеет отношение к сегодняшнему ритму жизни, ритму ощущений. Мысль не живет на философском факультете — она живет и в художественной литературе, и в литературной критике, в искусствознании — место стало гораздо более разнообразным».

Нина Цыркун. Секретные материалы из Блэра. — «Искусство кино», 2000, № 1.

«Я увидела фильм первый раз на видеокассете и, признаюсь, впервые в жизни испытала настоящий страх, смотря кино» — о фильме «Ведьма из Блэр: курсовая с того света» («The Blair Witch Project», 1999).

Сергей Шаргородский. Заметки о Булгакове. — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000).

Есенин/Бездомный и Тиняков/Бездомный. Начало заметок см. в № 30 «Нового литературного обозрения» (1998).

Максим Шевченко. Сердце Орлеанской девы. Жанна д'Арк в XXI веке, или «Священная война» Люка Бессона. — «НГ-Религии», 2000, № 5, 7 марта.

«С точки зрения господ киноведов, его (Люка Бессона. — А. В.) „Жанна д'Арк“ чрезмерно кровава, чрезмерно дорогостояща, чрезмерно психологична, и вообще Милла Йовович, исполнительница главной роли, на эту роль не подходит. Все обвинения и придирки разлетаются в ту же секунду, когда лицо Жанны появляется на экране. Понимаешь, что только такой она и могла быть, что только за такими сумасшедшими глазами, наполненными страданием, любовью и верой, и могли пойти выдавшие виды, битые-перебитые грубые французские рыцари». Максим Шевченко горячо рекомендует этот фильм детям до шестнадцати лет.

Олег Шишкин. Диктатура бриллиантов. — «Субботник НГ», 2000, № 9, 11 марта.

1919 — 1924 годы, бриллиантовый *поток* из Советской России на дело мировой революции. Журналист Олег Шишкин — автор нашумевшей книги о Николае Рерихе «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж» (М., «ОЛМА-ПРЕСС», 1999).

Виктория Шохина. Тайны Кремля. — «Кулиса НГ», 2000, № 4, 3 марта.

Сталин в «Палисандрии» Саши Соколова и «Голубом сале» Владимира Сорокина. См. предыдущую статью о Сталине в русской литературе 60 — начала 90-х годов («Кулиса НГ», 1999, № 21, 25 декабря).

Сергей Шумихин. Практика пушкинизма (1887 — 1999). — «Новое литературное обозрение», № 41 (2000).

Практика русско/советско/российского пушкинизма, в самом сжатом очерке. С юмором. С интересными документами.

Александр Щуплов. Чтобы язык поспевал за временем. — «Независимая газета», 2000, № 59, 1 апреля.

Беседа с доктором филологических наук, заместителем председателя Орфографической комиссии РАН Владимиром Владимировичем Лопатиным о готовящемся новом Своде правил русского правописания (последний появился в 1956 году).



ПРЕМИИ: поэт Евгений Рейн и критик Сергей Чупринин стали — по совокупности заслуг — первыми лауреатами литературной премии, учрежденной московским казино «Александр Блок» («Время новостей», 2000, № 7, 24 марта; «Известия», 2000, № 54, 24 марта; «Коммерсантъ», 2000, № 51, 25 марта).



АДРЕСА: Александр Жолковский (статьи, рассказы, мемуары, интервью, библиография): <http://www.usc.edu/dept/las/sll/alik.htm>



ДАТЫ: 8 (20) июля исполняется 200 лет со дня рождения русского писателя Александра Фомича Вельтмана (1800 — 1870).

Составитель **Андрей Василевский.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

«Волга». Саратов. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>

«Новое литературное обозрение». Теория и история литературы, критика и библиография. Выходит шесть раз в год. Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine/nlo> См. также сайт «Нового литературного обозрения»: <http://www.nlo.magazine.ru>

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



*Меланхолическое путешествие по Интернету в поисках поэзии,
с заходом в «сумеречную зону души»*

Я уже давно собирался поставить над собой такой эксперимент: попробовать в одиночку, так сказать, без руля и без ветрил (сетевых обозревателей), пуститься в свободное плавание по поэтическому Интернету — и каждый раз откладывал это путешествие, откладывал из-за собственного малодушия. Мало-душия в буквальном смысле. Я люблю поэзию. Но чтение стихов требует от меня подозрительно много душевных сил. Особенно при чтении нового поэта. Более чем пятью или шестью любимыми поэтами за читательскую жизнь так и не обзавелся. Душа, видимо, малого размера, больше не вмещает. Это раз.

И второе — на какой литературный сайт ни зайдешь, там обязательно есть раздел поэзии, и когда открываешь его и видишь еще только списки выставленных поэтов (а списки эти всегда казались мне бесконечными), уже на этом этапе чувствуешь тихое дуновение ужаса: и это ВСЁ ПОЭТЫ?!

Но... взялся быть обозревателем — соответствуй! И я решился. Правда, для разбега открыл страничку Курицына — ознакомиться с последними новостями. А уж потом, решив стартовать с его странички, сбросил из Сластиного окошечка «Литературные сайты» список и опять, что называется, «забурился» — просматривая список сайтов, в самом конце его я прочитал: «Сумеречная зона души», и палец мой, лежащий на левой клавише мышки, сработал не спросившись. Глаз провалился в угольно-черное, залившее экран монитора, а уже из черноты проступило разноцветными пятнами неясное изображение чего-то умеренно-зловещего. Сверху засветилось название «Сумеречная зона души» и поясняющий подзаголовок «Творчество душевнобольных». Я решил не противиться — идти, куда ведут. Слева на экране начали появляться и выстраиваться в столбик названия разделов сайта. Их готический шрифт действовал успокаивающе, вызывая ассоциации с уже обжитыми словами: Франкенштейн, Анна Радклиф, Голем.

Вывешенная тут же эстетическая программа сайта оказалась немногословна:

«Людей с неустойчивой нервной организацией общество всегда старалось изолировать. Их помещали в желтые дома, ссылали на канатчиковы дачи. На них либо боязливо косились, либо пытались не замечать. Они были, да и по сей день остаются изгоями. Между тем психическими расстройствами страдали Гоголь и Ницше, Врубель и Ван Гог, Гаршин и Достоевский... А ведь эти люди, чьи шедевры вошли в сокровищницу мировой культуры, распорядись судьба иначе, тоже могли бы сгинуть в психушках.

Этот сайт создан для того, чтобы «нормальные» люди увидели и оценили творения тех, кого принято называть душевнобольными, психами, сумасшедшими. А ведь только им дано заглянуть в сумеречные зоны души и поведать нам о том, что там происходит. Самые достойные из них будут обязательно здесь опубликованы.

Владимир Немира» (<http://www.members.tripod.com/soulzone/main.htm>)

(Тут можно было бы, наверно, поспорить с автором и, видимо, создателем сайта Владимиром Немира на тему: чем остались в нашей культурной памяти названные им имена — знаком душевных сумерек или света? Но спор это давний, и не один Немира думает, что «сумерек».)

Знакомство с сайтом я начал с первого раздела: «Великие безумцы» — мне было интересно, чьим еще авторитетом освящены представленные здесь тексты. На таком же черном фоне многоярусная портретная галерея начала открывать свои окошки: Мопассан, Хлебников, Есенин, Эдгар По, Антонио Гауди, Манделштам, Руссо и другие. Завершал галерею портрет Достоевского с зажженной свечой, видимо, светом ее пытавшегося развеять свой душевный сумрак (и это тоже, по нынешним временам, почти каноническая традиция восприятия Достоевского).

Ну а собственно тексты душевнобольных? Больных, надо полагать, гениальностью, неистовым творческим порывом?

Тексты есть. Их не так много, но зато они, как правило, пространны, и потому я решил воспользоваться приемом Макса Фрая, в своем «Идеальном романе» представлявшего и характеризовавшего (исчерпывающе) неведомые читателю романы цитированием их финальных строк. Я же предлагаю первые строки:

Дмитрий Пименов, «Муть»

Антипсихиатрический роман

Глава первая. «Сумасшедший разведчик»:

«На двери было написано: „Если ты любишь жизнь, ты должен любить и меня”.

Я позвонил. Открыла симпатичная блондинка и вопросительно взглянула на меня. Я поздоровался по-нашему, и она пропустила меня внутрь. Пройдя по коридору, я постучался в последнюю дверь». (<http://www.members.tripod.com/soulzone/myt.htm>)

Владимир Немира

Мне бесноватый азарт
вряд ли сейчас к лицу.
Хижине или дворцу
свой посвящу поп-арт.

(<http://www.members.tripod.com/soulzone/cyclo.htm>)

Рада (Рада&Терновник)

Танго

Белое танго душевнобольных
Наши души летят над промерзшим асфальтом
Огибают углы темно-серых больниц
Над костром погребальным.

(<http://www.members.tripod.com/soulzone/rd.htm>)

Владимир Немира. Рассказы

Родственники

«Родственники меня ненавидят. Где бы я ни находился, они уже тут как тут. Выволакивают меня из-под кровати, ставят на колени и суют под нос вчерашнюю газету. А когда я уезжаю в командировку, они следуют за мной, поселяются в моей гостинице, в моем же номере. Тогда я запираюсь в туалете и живу там. По служебным делам выходить мне приходится через маленькое окошко и спускаться по водосточной трубе, такой же путь я проделываю по возвращении». (<http://www.members.tripod.com/soulzone/rod.htm>)

Я понимаю, что по таким небольшим отрывкам судить о текстах, об их эстетической стороне очень трудно (хотя, подозреваю, иногда можно), но вот о психической вменяемости этих текстов, на мой взгляд, — вполне. Сумасшествие здесь предмет рассмотрения, а не способ познания мира, так сказать, объект, а не субъект. Чтение этих текстов сразу же отсылает к классике: «Мы любим поговорить о странностях наших знакомых. Говоря об их странностях, мы как бы прислушиваемся к собственной нормальности» (Фазиль Искандер).

Короче, уютенький такой сайт. Тексты его к выставленным на портретах лицам «великих безумцев» отношения не имеют. И обычным безумием тоже не обладают. И слава богу! Лично я всегда предпочту игру в безумие настоящему безумию. Что делать, бескрылый я человек.

Чтение «Сумеречной зоны» в начале путешествия за поэзией оказалось по-своему полезным, оно, так сказать, адаптировало, и уже с легким сердцем и даже как бы радостным предчувствием выбирался я со страниц «сумеречной зоны» на сияющие светом страницы «Сетевой словесности» (<http://www.litera.ru/slova/images/slovestn.gif>) прямо к списку выставленных там поэтов.

И наконец, я начал читать поэзию. Стихотворение за стихотворением, автора за автором. Прочитав подборку, открывал вторую, третью, четвертую. И странное чувство начал испытывать. Я почувствовал себя вдруг чем-то вроде туго надутого мяча, который пытается погрузиться в воды поэзии, а она, вода, естественно, выталкивает его. К чему бы это? Я вернулся назад, к первой подборке, и начал читать внимательно, медленно, дочитав до конца, я попытался найти и выписать строфу или несколько строк, в которых наиболее вытнто, рельефно содержалось то, что не впускало меня в стихотворение. Потом то же самое проделал со второй подборкой, с третьей, четвертой. В результате получилось следующее:

1

Дождь ушел за тридевять земель,
Утирая слезы кулаками.
Вот и все. Чужими облаками
Застлана последняя постель.

2

Мы дети, не распознанные стражей.
Кто высушит нам слезы, если страшен
злой кредитор, цыганка или черт,
укравший, что осталось на похмелье,
когда будильник жерновами мелет
и петухи ждут третий свой черед.

Нам остается — на вокзал, к природе
и кануть в непобrivшемся народе...

3

Тогда в глазах мелькнет еще страданье,
Застынет жалость, как оплывший воск,
В последний раз сведет мосты сознанье,
Пробив туннель через погибший мозг.

4

Степь пропахла седою полынью,
Даже воздух горчит на губах...
Звезды в бездне Днепра темно-синей
Длинной удочкой ловит рыбак.

Цифрами отмечено по несколько строк из четырех прочитанных подряд подборок. Здесь четыре цифры. Потому что на пятой подборке я споткнулся. На странице Василия Чепелева (<http://www.litera.ru/slova/chepelev/stihi.html>) На чтении его стихов не разбежишься, слова тормозят разбег, заставляют вчитываться:

Позвони, закажи билет до Америки. Денвер? Так нам и надо.
Проснемся завтрашним утром на влажных простынях мотеля,
разбуженные машинами.
Из окна — ничего не видно, город. Поедем посмотрим, что за земля,
Узнаем, зачем в такие непримечательные деньки здесь, в Колорадо,

С его фермами, оросительными каналами и затопленными лощинами,
Куда любят заплыть мальчишки, мог оказаться я.

Возможно, дело в контексте, а возможно (надеюсь!), и нет. Стремительное скольжение взгляда по стихотворным строкам тормозится здесь наличием в стихах даже не мысли, а как бы чувственного проживания рождающейся мысли, воплощенного в слове, ритме, дыхании. По небольшой подборке трудно судить о поэте и даже понять, хороши ли эти стихи. Может, и не очень хороши, но то, что они заставляют себя читать, это уже знак.

Справка автора о себе: «22 года. Родился и живу в Екатеринбурге. Детский доктор. Поэтические предпочтения, думаю, очевидны для каждого, прочитавшего стихи». Возможно, автор имел в виду стихи Бродского. Да, чем-то (отсутствием «седой полыни» и «последней постели» и «прозаизмами»), может, и напоминает Бродского (не обязательно именно его). А если все-таки автор имел в виду свою ориентацию как раз на Бродского, то можно поздравить Чепелева: Бродский ему мешает. Не укладывается Чепелев полностью в уже сшитые мастером одежды так, как, скажем, полностью укладывалась в имитацию Бродского упоминавшаяся нами ранее поэтесса Полина Барскова в стихах «Памяти Бродского». Нет, разумеется, я не говорю здесь, что Чепелев «победил» Бродского, я только о том, что есть, видимо, в Чепелеве некий, возможно, и не такой уж большой, но собственный дар, который сопротивляется уподоблению своего стиха чужому, даже неизмеримо лучшему, чем твой. А это, согласитесь, признак обнадеживающий.

И потому выстроенную выше композицию из четырех поэтов я заканчиваю строками из шестого по списку, а не пятого:

6

Явленье женщины счастливой
меняет ход вещей не зря:
смотри вослед ей, торопливой,
в плаще из перьев журавля...

Что с такими текстами делать?..

Вот они, точнее, *оно*: большое количество, разбитое на строки, имеющие размер и рифмы, плотно уснащенные «поэтическими» образами: «в плаще из перьев журавля», «седая полынь», «бездна Днепра темно-синяя», «жалость, как оплывший воск», «будильник жерновами мелет», «чужими облаками застлана последняя постель» и т. д. И, терпеливо прочитывая эти строки, вполне отдаешь себе отчет в том, что слова авторы расставляли как бы «оригинально», и вроде как дополнительные смыслы у этих слов появляются от не вполне привычных пересечений с другими привычными словами, и пусть привычны (в процитированном — практически все) интонационные ходы, но и они дают, или хотя бы имитируют, некоторый дополнительный напор: «Явленье женщины счастливой меняет ход вещей не зря». То есть это «стихи», наверно. А что же еще? И я охотно допускаю, что, когда авторы писали эти строки, они, возможно, волновались, они что-то еще чувствовали помимо гордости от сознания, что Я Сочиняю Стихи, Я — Поэт. Что-то, может быть, влажное, томящее, набухшее в груди, озноб какой-то от неожиданно открывшегося за образом неведомого пространства. Вполне может быть. Только мне-то, читателю этих строк, что делать, если я ничего похожего не чувствую, читая про «седую полынь».

После шестого поэта в «Сетевой словесности» я отправился на конкурсный сайт «АРТ-ЛИТО 2000» в раздел поэзии, туда, где уже до меня умные люди провели отбор.

Открылся, как водится, список мне незнакомых имен (все-таки мало интересуюсь я современной поэзией!), и я щелкнул по имени Ольги Родионовой, книжка которой «Мои птицы — на ветках...», подаренная издателем и еще не прочитанная, лежит у меня на столе. (Кстати, книга вышла в интернетовской серии

«WWW», уже упоминавшейся мной в этих обзорах. Еще раз: серия питерского издательства «Геликон Плюс», представляющая творчество интернетовского поколения, расширяруется как World Wide Writers.)

На конкурс «АРТ-ЛИТО 2000» вывешено стихотворение Родионовой «Крысолов» (<http://www.art-lito.spb.ru/2000/poetry/krysolov.html>) Точнее, не стихотворение, а маленькая поэма.

По первым прочитанным строчкам понять, чем это отличается от процитированного выше, трудно:

О, город Гаммельн!.. Пляшущий фонарь
У магистрата тускло догорает.
И до сих пор на улицах, как встарь,
Здесь еженощно дудочка играет.

Ну, в общем, та же самая «седая полынь». И мотивчик — не сказать, чтобы так уж нов.

Но у этих стихов был номинатор. Кто-то за что-то их выбрал. А коллегам нужно доверять. Читаем дальше:

Дудка играет, музыку узким ртом
Медленно выдыхает мой скупой властелин.
Я не желаю знать, что будет со мной потом.

Похоже, что есть у этих стихов своя энергия, прошивающая дежурную энергетику дежурных словосочетаний. Она накапливается в стихотворении, «разогревается» к финальной главке:

Мне было четыре года, когда отец сделал мне дудку.
Мне было четыре года, когда отец...
Мне было четыре года.
Играй, дитя, живи, страдай,
Рождай мороз и жар
И душу дьяволу продай
В обмен на Божий дар.
Играй, дитя, как я не смог...

Я вдруг чувствую, что общепозитическая интонация и словарь уже не мешают, стихи держат внимание. И здесь не просто искусная эксплуатация не вымытого до конца бесконечным употреблением энергетического запаса затверженных словосочетаний и образов (а что обкатанней *Крысолова*?), но собственное топливо. У Родионовой *свой* «Крысолов», и даже «седая полынь», похоже, своя. Откуда эта сила?

Здесь же в «ЛИТО им. Стерна» я нашел страницу с обложкой ее книги «Мои птицы — на ветках...» (<http://www.podtext.spb.ru/books/verochka.html>), а на странице этой ссылка на ее подборку во все той же «Сетевой словесности», которой, ссылкой (<http://www.litera.ru/slova/verochka/txt.htm>), я тут же и воспользовался:

Этот лес в моем окне —
Темный лес, который вечен, —
Каждый вечер, каждый вечер
Приближается ко мне.

Я боюсь глядеть в окно:
Жутко, сумрачно и голо.
Здесь когда-то уколело
Палец мне веретено.

Не знаю... По-моему, хорошо. По-моему — стихи.

Или вот — из «больничного» стихотворения «Меня везли...»:

Коленка матово желтела,
Струна гудела,
И равнодушно мимо тела
Душа глядела.
Во тьме мерцала склянка с кровью,
Струились лица,
И шла старуха — в изголовье,
В ногах — девица.

Полтора десятка стихотворений. То, что они профессионально отобраны (держателем сайта, надо полагать, ну а если автором, то вообще замечательно), в этом я убедился, начав читать уже самую книгу. Это было странное чтение:

Ревет турбина самолетным горлом.
Срывая связки, словно тормоза,
И по лицу оставленного города
Неоновая катится слеза.

Иллюминатор обморочно валится:
Перевернувшись, по небу плывет

??!

И тут же рядом — стихи, продолжающие ту Родионову, которая и представлена в интернетовской подборке. Цитировать не буду, назову только несколько стихотворений: «А человек укладывал багаж...», «Дорога длилась, длилась...», «А небо плохо слышит наши крики...». Но и в этих стихах, как правило, попадают провисающие строчки. И при том стихотворение — возникает. Мне кажется, поэзией стихи эти делает счастливо найденное автором поэтическое воплощение литературных традиций русской психологической прозы. Ориентация автора на психологическую сюжетность подчиняет используемые, не всегда самые свежие и сильные, даже не всегда собственные, но — уместные, но — работающие, поэтические средства. В качестве примера сказанному процитирую целиком одно из стихотворений Родионовой: «Вот и кончен маскарад — / Полно врать! / Здравствуй, бедный мой Марат, / Ты не рад?.. / Что же твой доселе ловкий / Язычок? / Перетянут, вишь, веревкой / Кадычок. / Моя песенка, бывая / Тоска, — / Как нелепо ты свисаешь / С потолка! / Неужели даже пуль / Не скопил — / Некрасиво так свой путь / Загубил?.. / Девки, денежки, дела — / Позади./ Это я к тебе пришла — / Погляди! / Ни записки, ни письма — / Все, петля... / Я пришла к тебе сама! / Я пришла!.. / Но хранят нездешний шорох / Листы: / „Это я к тебе пришел, / А не ты...”»

О самой же Родионовой Интернет дает очень немногие сведения, вот они: «Ольга Родионова (Дашкевич). Сетевые имена — Волчица, Верочка, Аннабель Ли». Родионова о себе: «Родилась в Сибири, чем горжусь и причастность к Сибири лелею. Росла вундеркиндом: рисовала, писала стихи чуть не с пеленок, танцевала, пела... Читала, читала, читала. В результате не стала никем. Журналистка. С 1993 года живу в Америке, сначала в Нью-Йорке, затем в штате Нью-Джерси. Все, что вокруг меня, за реальность признаю, но не особенно. Очень реальные только два объекта в моем пространстве — сын и дочь. Сын в три года написал стих: „Вот ангелы запели, играя на свирели”. Дочь в три года создала картину „Мальчик, прыгающий из окна”. Любимые книги — „Белая гвардия” Булгакова и „Московская сага” Аксенова. В обеих — потрясающее ощущение Дома». (<http://www.litera.ru/slova/verochka/>)

До выхода книги в «Геликон Плюсе» все ее поэтические публикации — исключительно сетевые.

Ну а завершить этот обзор я хотел бы обращением к держателям поэтических сайтов с вполне маниловским, наверно, предложением: может быть, есть смысл на сайтах, представляющих современную поэзию, сделать вот что: вывесить при входе на сайт на отдельной странице что-то вроде визитной карточки сайта — пять-шесть поэтов с небольшими, в три-четыре стихотворения, подборками, которые держатели сайтов считают лучшими или хотя бы наиболее характерными для общего корпуса представленных поэтических текстов. Чтобы, зайдя на сайт, читатель имел возможность сразу решить, остаться здесь или гулять дальше. Понимаю все возникающие здесь сложности: а кто будет судьей? а как потом выстраивать отношения с авторами, не попавшими в визитную карточку? и т. д. — и все же... В моем, например, случае паническое бегство с сайта «Сетевой словесности» в конечном счете завершилось возвращением на него и благодарным вдумчивым чтением.

Составитель **Сергей Костырко**.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

5 лет назад — в № 7 за 1995 год напечатана повесть Алексея Варламова «Рождение».

15 лет назад — в № 7 за 1985 год напечатаны рассказы Георгия Семенова «Земные пути».

30 лет назад — в № 7 за 1970 год напечатаны рассказы Василия Шукшина «Срезал», «Крепкий мужик» и др.

35 лет назад — в № 7 за 1965 год напечатана статья А. Твардовского «О Бунине».

55 лет назад — в № 7 за 1945 год напечатан рассказ Андрея Платонова «Никита».